



**Библиотека
Московской
школы
политических
исследований**

Библиотека Московской школы
политических исследований

Редакционный совет:

А. Н. Мурашев

В. А. Найшуль

Е. М. Немировская

Ю. П. Сенокосов

А. Ю. Согомонов

М. Ю. Урнов

Ричард Пайнс

СОБСТВЕННОСТЬ
И СВОБОДА

*Московская
Школа
Политических
Исследований*

2008

ББК 66
П 37

Перевод с английского языка *Демида Васильева*
Дизайн серии *Андрея Бондаренко*

*Книга издана при поддержке Института “Открытое общество”,
Корпорации Карнеги (Нью-Йорк) и группы компаний “Рольф”.*

Пайпс, Ричард

П 37 Собственность и свобода. Пер. с англ.яз (Richard Pipes. Property and Freedom. Alfred A. Knopf, New York, 1999). — М.: Московская школа политических исследований, 2008. — 416 с. (печатается по изданию МШПИ, 2001 г.).

В этой книге известный американский историк и политолог анализирует психологические, культурно-исторические, нравственно-философские аспекты отношений собственности, основанных на универсальном свойстве человеческой природы — стремлении к обладанию личным имуществом. Это свойство, по мнению автора, определяет социально-экономическое и политическое измерения свободы, характер отношений между государством и личностью. Особое место в книге занимает ретроспектива правосознания в России, обусловленного логикой ее “особого пути”, в сопоставлении с культурой собственности и свободы западного мира.

ББК 66

ISBN 978-5-93895-086-3

© Richard Pipes, 1999
© Московская школа политических исследований, 2008

Содержание

Введение	9
Определения	14
1. Идея собственности	17
1. Классическая античность	19
2. Средние века	29
3. Появление “благородного дикаря”	36
4. Начало нового времени	43
5. Англия семнадцатого века: освящение собственности ...	49
6. Франция восемнадцатого столетия: на собственность начинают нападать всерьез	59
7. Социализм, коммунизм и анархизм	66
8. Двадцатый век	83
2. Институт собственности	91
1. Собственнические начала в мире животных	92
2. Собственнические устремления у детей	100
3. Собственность у первобытных народов	106
4. Общества охотников и собирателей	117
5. Появление земельной собственности	121
6. Земледельческие общества	126
7. Появление политической организации	129
8. Частная собственность в древнем мире	133
9. Феодальная Европа	142
10. Средневековые города	145
11. Европа в начале нового времени	150
12. Что в итоге	156
3. Англия и рождение парламентской демократии	163
1. Англия до нормандского завоевания	165
2. Правление норманнов	169
3. Значение обычного права	175
4. Налогообложение	178

5. Тюдоры	179
6. Ранние Стюарты	182
7. Республика	194
8. Поздние Стюарты	195
9. Славная революция	197
10. Континентальная Европа	200
4. Вотчинная Россия	210
1. Домосковская Русь	212
2. Новгород	222
3. Московия	226
4. Русский город	236
5. Российская деревня	239
6. Петр Великий	243
7. Екатерина Великая	248
8. Освобождение крестьян	261
9. Подъем денежной экономики	266
10. Заключительные замечания	269
5. Собственность в двадцатом столетии	271
1. Коммунизм	273
2. Фашизм и национал-социализм	282
3. Государство-благодетель	291
4. Современные корпорации и собственность	301
5. Налогообложение	305
6. Растущая власть государства	310
7. Защита окружающей среды против частной собственности	321
8. Конфискации	328
9. Льготы и пособия	331
10. Контракты	336
11. Меры утверждения (равенства) при найме на работу ...	345
12. Меры утверждения (равенства) в высших учебных заведениях	355
13. Школьные автобусы	361
14. Подводя итоги	363
Предостережения	366
Примечания	379
Именной указатель	411

*Я посвящаю эту книгу моей жене Айрин,
которая на протяжении более полувека создавала
мне идеальные условия для научных занятий*

Хотел бы выразить признательность нескольким моим коллегам, которые нашли время прочитать отдельные разделы этой книги и предложили свои критические замечания: Томасу Виссону (из Гарварда), Ричарду Эпстайну (из Чикаго), Натану Глейзеру и Марку Кишлански (из Гарварда), а также Дугласу Порту (из Вашингтонского университета). За ошибки, которые, возможно, вкрались в книгу, никакой ответственности они не несут.

Ценными советами, как всегда, помог Эшбел Грин, мой редактор в издательстве Кнопф.

Фонд Джона Олина щедро финансировал мою работу. Я преисполнен чувством глубокой благодарности ему и его исполнительному директору Джеймсу Пирсону.

Хотел бы также поблагодарить Фонд Марка ДеВольфа Хау при Гарвардской школе права за поддержку редакционной работы над этой книгой.

Введение

Ничто не захватывает воображения так полно и не волнует людские чувства так сильно, как право собственности...

Блэкстоун, *Комментарии*¹

Собственность никогда не упразднялась и никогда не будет упразднена. Вопрос лишь в том, кто ею обладает. И самая справедливая из всех когда-либо придуманных систем та, которая делает обладателями собственности скорее всех, чем никого.

А. Н. Уилсон²

Все ранее написанные мною книги (за единственным исключением предназначенного для колледжей учебника по современной Европе) были книгами о России, прошлой и настоящей. У этой тема иная, и все же она является естественным продолжением моей прежней работы. С того времени как я серьезно заинтересовался Россией, я начал сознавать, что одно из главных отличий ее истории от истории других европейских стран связано со слабым развитием собственности. Западные историки (в отличие от западных философов и политических теоретиков) воспринимают собственность как должное: они редко уделяют ей большое внимание, несмотря на то что она тесно связана с каждой гранью западной жизни и играет огромную роль в истории западной мысли: “Если, просматривая список книг об американских взглядах и настроениях, вы захотите взглянуть, что значит под словом “собственность”, вы скорее всего ни на что не набредете. Ваши глаза скользят по списку: прогресс, сухой закон (*progrress, prohibition*)... далее следует пробел, где, по вашим предположениям, могла бы быть “собственность” (*property*). Но вместо этого в ряду появляется вдруг, к примеру, проституция (*prostitution*)”³.

В случае с Россией как должное следует принимать не собственность, а ее отсутствие. Одной из главных тем западной политической теории на протяжении последних 2500

лет был спор по поводу достоинств и недостатков частной собственности, в России же эта тема едва затрагивается ввиду единодушного по существу мнения, что речь идет о безусловном зле.

Слово “собственность” вызывает у нас представление о физически осязаемых предметах: недвижимости, банковских счетах, акциях и облигациях. Но в действительности оно имеет намного более широкое значение, потому что в современном мире оно стало все больше относиться к невещественным видам имущества, таким как кредиты, патенты, авторские права. Более того, как мы покажем по ходу дела, в семнадцатом и восемнадцатом столетиях западная мысль стала наполнять это понятие всеобъемлющим содержанием, расширяя его на все, что человек может считать своим, начиная с жизни и свободы. Вся совокупность современных представлений о правах человека проистекает из такого расширительного понимания собственности. Еще двести лет назад это было отмечено Джеймсом Мэдисоном: “Собственность... в конкретном смысле слова означает “господство, которого человек добивается и которым пользуется в отношении вещей внешнего мира, не допуская к ним никакого иного индивидуума”. В более широком и более точном смысле она относится ко всему, что человек ценит и на что имеет право; *притом что за всеми прочими людьми признаются такие же возможности*. В первом случае принадлежащие человеку земля, товары, деньги называются его собственностью. Во втором — человек выступает собственником своих взглядов и свободы их распространения. Он обладает особо ценной собственностью на религиозные убеждения и определяемые ими поведение и действия. Очень дорога ему собственность, представленная безопасностью и свободой его личности. В сфере его собственности входит свободное использование данных ему способностей и свободный выбор способов их применения. Короче, если говорится, что человек имеет право на свою собственность, то точно так же можно сказать, что он обладает собственностью на свои права”⁴.

Лет сорок назад мне явилась мысль, что собственность как в узком, так и в широком значении слова дает ключ к пониманию, откуда берутся политические и юридические институты, которые служат гарантией свободы. Эта мысль послужила основой для обзора политической истории России, который я опубликовал в 1974 году под названием “Россия при

старом режиме”. Там я доказывал, что тоталитаризм, достигший своей вершины в Советском Союзе, корнями уходит в “вотчинную” систему правления, преобладавшую на протяжении большей части российской истории, систему, которая не проводила различий между верховной властью и собственностью, позволяя царю быть одновременно и правителем, и собственником своего царства.

Представление о взаимосвязанности собственности и свободы едва ли ново — оно родилось в семнадцатом и стало общим местом в восемнадцатом веке, — но, насколько я знаю, никто прежде не пытался показать эту взаимосвязь на историческом материале. И о том, и о другом написано необъятно много: существуют сотни, если не тысячи работ о собственности и столько же о свободе. Следуют они, однако, самостоятельными, непересекающимися путями. В одном случае внимание авторов поглощено развитием свободы и обеспечивающих ее политических учреждений, экономические же основы этого процесса почти полностью выпадают из поля зрения. В другом мы обычно имеем дело с работами экономистов, которые подают историю собственности без учета ее политических и культурных сторон. Юридические трактаты на эту тему, как правило, пренебрегают и философскими, и экономическими, и политическими ее измерениями. В итоге мы остаемся без основанного на конкретном историческом материале объяснения, каким же образом собственность расширяет свободу и как ее отсутствие открывает дорогу произволу власти.

К восполнению этого пробела я и стремился. Моя исходная гипотеза состояла в том, что общественные гарантии собственности и личной свободы тесно взаимосвязаны: если собственность в каком-то виде еще и возможна без свободы, то обратное немислимо.

Чтобы проверить эту гипотезу, я начал проследивать взаимоотношения собственности и политических систем начиная с первых страниц писаной истории. Приступая к этой работе, я и представления не имел об ожидавших меня трудностях. Сознавал, конечно, сколь многообразные формы принимала собственность в разные времена в разных обществах, но не предвидел, сколь много обозначаемых этим словом явлений остались не отраженными в документах, и не предполагал, как велико окажется число случаев, когда нечто, теоретически относимое всего лишь к владению, то есть

физическому обладанию, в действительности составляет предмет собственности. Не предвидел я и трудностей в установлении связей различных видов собственности с политикой, особенно в незападных странах, где документы-источники остаются неопубликованными, а вторичная литература по существу отсутствует. Для изучения экономики древнего Китая и классической Греции, Месопотамии и Мексики, средневековой Франции и современной Англии с целью выяснить ее влияние на политическое развитие каждой из этих стран потребовались бы целые бригады историков. Я решил отказаться от такого “неподъемного” дела и поставил себе более скромную задачу — написать эссе, в котором рассмотреть проблему на выборочном материале, пожертвовав широтой охвата ради глубины рассмотрения... Я ни в коем случае не претендую на систематическое и всестороннее освещение проблемы, удовлетворяясь тем, что на нескольких исторических примерах показываю взаимоотношения экономики и политической власти.

В первых двух главах представлена история развития идеи и института собственности. Середина книги — главы 3 и 4 — посвящены взаимосвязи отношений собственности и политики в Англии и России, двум крайним примерам, на которых раскрывается суть отстаиваемой мною точки зрения. В заключительной главе речь идет главным образом о Соединенных Штатах, и упор здесь делается на опасности, которые несет свободам государство-благодетель, выступающее за социальное и экономическое равенство.

Даже при этих ограничениях книга так далеко выходит за пределы моей научной специализации, что я выпускаю ее с некоторым внутренним трепетом. За исключением главы о России и частично главы об истории идеи свободы использованные мною сведения взяты из вторичных источников, которые часто противоречат друг другу. Не исключено, следовательно, что специалисты найдут немало оснований критиковать меня за ссылки на тот или иной факт либо за то или иное его толкование. Думаю, они все же примут во внимание, что если задача истории — содействовать постижению сути, то историк должен время от времени выходить за границы своей специализации и вторгаться в области, где его знания производны. В защиту этого мнения могу сослаться на авторитет Якоба Буркхардта, писавшего, что дилетантизм “обязан своей дурной репутацией искусствам, в которых ты,

конечно, либо ничто, либо мастер, отдающий своим занятиям всю жизнь, ибо искусство требует совершенства.

В науке, напротив, мастерства можно достичь лишь в ограниченной области, а именно путем специализации, и этого мастерства следует добиваться. Но если нет намерения отречься от возможности составлять себе общие представления — отказаться, по сути дела, от признания важности таких представлений, — следует быть дилетантом во многих областях, вторгаясь в них, по крайней мере, в частном порядке, чтобы расширять собственные познания и обогащать многообразие исторических мнений. Иначе останешься невеждой во всем, что лежит за пределами твоей специальности, и в целом, как может при случае обнаружиться, довольно-таки темным малым”⁵.

*Кембридж, Массачусетс
Октябрь 1998*

Ричард Пайпс

Определения

Владение (possession) означает реальное обладание имуществом, вещественным или неосязаемым, при отсутствии формального на то права: это собственность *de facto*, но не *de jure*. Обычно его основой является длительный срок пользования и/или обретение по наследству, что в английском праве именуется “правом давности” (“*prescription*”) и осуществляется мерами физического принуждения либо молчаливой общественной поддержкой. Хотя предметы владения не подлежат продаже, на деле владлец почти всегда полномочен передать их своему наследнику по завещанию, чем и поддерживается тенденция превращения владения в собственность. В истории преобладала, а во многих частях мира используется и поныне именно эта форма обладания имуществом.

Собственность (property) означает формально признанное государственной властью право собственника или собственников как на исключительное, без чьего-либо участия, пользование своим имуществом, так и на любой способ распоряжения им, включая продажу. “Что отличает собственность от всего лишь преходящего владения, так это то, что собственность является правом, защитниками которого готовы выступать общество либо государство, обычаи либо соглашения или законы”. На деле это равнозначно признанию за собственником высшей власти в отношении его собственности. Понятие возникло в древнем Риме, где то, что мы понимаем под “собственностью”, тамошние юристы называли *dominium**.

* Этимологически “property” восходит к латинскому *proprius* в значении: свойственный данному человеку, лично ему присущий. На этой основе византийская юриспруденция выработала термин *proprietas*, или “собственность”. [То же по-русски: “собственность” идет от древнерусского, церковнославянского собство “свойство, своеобразие, сущность”. См.: М. Фасмер. *Этимологический словарь русского языка*. Т. III. М., 1971. С. 704. — Прим. ред.]

Существуют два вида собственности: производственная, то есть способная создавать новую собственность (например, земля, капитал), и личная — та, что идет исключительно в потребление (например, жилище, одежда, оружие, драгоценности). Так это понимается в обиходе. Но в более широком смысле, по терминологии, которую усвоила западная теоретическая мысль, “собственность” с конца Средних веков стала охватывать все лично присущее и принадлежащее человеку (латинское *suum*), включая его жизнь и свободу. Именно такое широкое определение собственности (*property*) или “личного достояния” (“*proprietu*”), как повелось говорить в Англии в семнадцатом веке и как впоследствии, по этому примеру, стали выражаться в американских колониях, перекидывает философский мостик между собственностью и свободой.

Некоторым современным теоретикам, оказавшимся под влиянием Маркса, больше нравится определять “собственность” (в узком, обычном смысле слова) не как право на некоторые “вещи”, а как складывающиеся “между людьми отношения по поводу вещей”⁶. “Право собственности не следует отождествлять с предметом обладания... право собственности это отношение не между собственником и предметом, а между собственником и другими людьми по поводу предметов обладания”⁷. Но такое определение едва ли можно считать удовлетворительным, поскольку “собственность” включает в себя гораздо большее, нежели право на “вещи”.

Обладать собственностью можно двояко: (1) сообща и (2) на частной основе. Правом на собственность, принадлежащую сообществу, совместно обладают все его члены, но само сообщество ею не распоряжается; равным образом у него нет на нее и никаких коллективных прав (например, в отношении современной кооперативной квартиры). Частная собственность принадлежит отдельному человеку, группе родственников или объединению индивидуумов. Что касается “коммунистической собственности”, то это внутренне противоречивое понятие, поскольку “собственность” относится к области частного права, а при коммунизме государство, общественный институт, будучи носителем верховной власти, является в этом качестве и единственным собственником средств производства.

Читателю следует иметь в виду, что в повседневном обиходе очень трудно видеть правовые различия между владением и собственностью. Соответственно, в этой книге, за ис-

ключением особо оговариваемых случаев, слова “владение” и “собственность” могут использоваться как равнозначные.

Слово *свобода* употребляется в настоящем исследовании в четырех значениях: (1) *политическая свобода*, то есть право человека участвовать в выборах должностных лиц, берущих на себя управление обществом, в котором он живет; (2) *правовая свобода*, то есть право человека в своих отношениях с другими людьми и государством прибегать к суду третьей стороны, представляющей закон; (3) *экономическая свобода*, то есть право свободно пользоваться и распоряжаться своим имуществом; (4) *права личности*, то есть право индивидуума на свою жизнь и свободу и возможность поступать как угодно при условии, что это не ущемляет свобод и прав других людей; иными словами, отсутствие принуждения. Политическая демократия не обязательно включает в себя свободу и права личности: “между личной свободой и демократической формой правления неременной связи не существует”⁸. Так, граждане древних Афин обладали политическими, но не гражданскими правами, а привилегированные подданные некоторых просвещенных деспотов были наделены правами гражданскими, но не политическими.

Свобода *не* предполагает так называемого права на обеспечение и материальную помощь со стороны государства (вроде того, что подразумевается, когда бросаются лозунговыми фразами “свобода от нужды” и “право на жилище”), ибо это ущемляет права других, именно тех, кто должен будет оплачивать такие “свободы”. Подобные “права” в лучшем случае представляют собой моральные требования, в худшем же, если государственная власть берется воплощать их в жизнь, являются незаслуженными привилегиями.

1. Идея собственности

К исследованию собственности можно подходить двояко — рассматривать ее как понятие и как институт. Эти два подхода дают очень разные результаты. На протяжении всей истории мысли собственность имела неоднозначную репутацию, то связывавшую ее с процветанием и свободой, то с порчей нравов, социальной несправедливостью и войной. Стержнем утопических фантазий является, как правило, устранение различий между “моим” и “твоим”. Многие мыслители даже из числа сторонников собственности почитают ее в лучшем случае за неизбежное зло. С другой стороны, история всех обществ, от самых примитивных до наиболее развитых, обнаруживает повсеместное распространение притязаний на собственность и тщету всех попыток добровольно ли, силой ли основать общественное устройство, не признающее собственности. В этом случае, следовательно, необычайно велик разрыв между тем, чего человечество, по его мнению, хочет, и тем, что, судя по его действиям, оно на деле выбирает. Объяснение этому разрыву Льюис Мамфорд предложил искать в том, что человек живет в двух мирах — внутреннем и внешнем, из которых первый это мир идей, желаний и образов, а второй — жесткая, неустраимая действительность. “Если физически окружающая нас среда это земля, то мир идей соответствует небесам”¹.

Соответственно, мы разобьем наш разговор на две части. В этой главе речь пойдет о собственности в представлениях западных философов, теологов и политических мыслите-

лей*. Следующая глава будет посвящена институту собственности, каким он видится с точки зрения истории, психологии, антропологии и социальной биологии. Расчленение это, конечно, искусственное, и мы прибегаем к нему исключительно ради ясности изложения; в действительности идеи и события постоянно взаимодействовали. Как мы покажем, всякая перемена в отношении к собственности может быть объяснена политическими или экономическими сдвигами.

Со времен Платона и Аристотеля вплоть до наших дней споры о собственности вращаются вокруг четырех основных тем, касающихся ее связи, соответственно, с политикой, этикой, экономикой и психологией.

1. Политический довод *в пользу* собственности (с оговоркой, что не допускается грубого злоупотребления ею) сводится к тому, что она способствует упрочению стабильности в обществе и обузданию власти государства. *Против* собственности приводится то соображение, что непременно сопутствующее ей неравенство порождает общественную напряженность.

2. Нравственное оправдание собственности основывается на том, что каждый имеет право на плоды своего труда. Критики в ответ указывают, что многие собственники не прилагают никаких усилий для приобретения того, чем они владеют, и что по той же логике всем должны предоставляться равные возможности обладать собственностью.

* Я ограничиваюсь рассмотрением идей, представляющих только мысль Запада, — отчасти потому, что за эти пределы почти не выходит существующая вторичная литература, отчасти же ввиду моего недостаточного знакомства с другими цивилизациями. Тема собственности имеет, однако, свою историю в развитии китайской и других незападных цивилизаций [см.: Arnold Künzli, *Mein und Dein: Zur Idee der Eigentumsfeindschaft* (Köln, 1986), 43–60]. Отражение этой темы главным образом в классической западной, но также в персидской, вавилонской и индийской, равно как китайской, мифологии прослеживается в кн.: Bodo Gatz, *Weltalter, Gol-dene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen* (Hildesheim, 1967). О понимании собственности современными мусульманскими правоведами см.: Sohrab Behdad in *Review of Social Economy* 41, No. 2 (1989), 185–211. Наиболее полный разбор западных взглядов представлен в кн.: Richard Schlatter, *Private Property: The History of an Idea* (New Brunswick, N.J., 1951). Полезна также работа Александра Грэя [Alexander Gray, *The Socialist Tradition: From Moses to Lenin* (London etc., 1947)], прослеживающая представления о собственности у авторов-социалистов и их предшественников.

3. Экономические соображения в пользу собственности состоят в том, что она является самым действенным средством создания богатства, тогда как, по мнению критиков, экономическая активность, подхлестываемая погоней за прибылью, ведет к расточительной конкуренции.

4. Психологическая защита собственности строится на утверждении, что она поддерживает в человеке чувство личного достоинства и самоуважения. Другие в противовес этому говорят, что она разлагает личность, заражая человека жадностью.

Эти четыре пары мнений полностью исчерпывают весь набор доводов, которые за последние три тысячи лет выдвигались за и против собственности. В самой основе спора лежит противостояние морального и прагматического подходов к делу².

1. Классическая античность

Этический взгляд на собственность, который преобладал в этих спорах вплоть до нового времени, складывался на основе упорно державшегося представления о “золотом веке”. Наиболее известны образы золотого века, представленные иудаистским, христианским и мусульманским описаниями рая (Эдема), но в том или ином виде они одинаково приняты всеми цивилизациями. Важнейшей отличительной особенностью этого мифического прошлого является отсутствие в нем частной собственности: в золотом веке люди всем, говорят, владели сообща, и слова “мое” и “твое” были неведомы. Поскольку, как будет показано в следующей главе, никакого общества без того или иного вида собственности никогда не существовало, представление об идеальном мире без собственности следует отнести на счет не коллективной памяти, а коллективных вождлений. Поддерживаются они убеждением, что неравенство положений и имущественных состояний “противоестественно”. Оно, мол, сотворено людьми, а не Богом: ибо разве все существа не рождаются равными, а после смерти разве не все они одинаково обращаются в прах?

Самое раннее из известных описаний золотого века встречается у Гесиода, современника Гомера, в поэме “Труды и дни”. Этот греческий поэт начала седьмого века до н. э. повествует о четырех “металлических” веках, в которые выпало

жить человечеству, — золотом, серебряном, бронзовом и железном, причем каждый следующий век был отмечен чертами все более глубокого разложения нравов. Первый, золотой век, век правления титана Кроноса, был временем изобилия и всеобщего мира. Но сам Гесиод жил в тот век, который он назвал железным, и ему выпало наблюдать, как насилие и “постыдная жажда наживы” надругаются над справедливостью³. Этот образ благословенного детства человечества вошел в основные произведения греческой и римской литературы. Как мы увидим, идея золотого века оказала огромное влияние на европейскую мысль эпохи Возрождения; она вдохновляла путешественников, отправлявшихся открывать новые земли, и она же определяла отношение общества к их открытиям.

Первые теоретические нападки на собственность обнаруживаются в “Государстве” Платона, проложившем дорогу всем последующим утопиям. “Государство” и его продолжение “Законы” не были первыми произведениями, поднимавшими вопрос об уничтожении собственности как причины социальных распрей, но доплатоновские писания не пережили своего времени и о них мы знаем только понаслышке. Платон писал в годы, когда Грецию сотрясали внутренние социальные распри в городах-государствах и раздоры между ними. Его, говорят, вдохновлял пример Спарты, которая не допускала у себя сосредоточения богатств в руках верхушки избранных и которая в затянувшейся Пелопоннесской войне в конечном счете одержала победу и подчинила себе Афины. Причину военного торжества Спарты широко было принято усматривать в написанных, как считалось, ее легендарным основателем Ликургом законах, которые не позволяли заниматься торговлей и ремеслами, чтобы у граждан не было помех для исполнения воинского долга. Спартамцам было отказано в каких бы то ни было правах не только на личное имущество, но и на жен и детей; жен мужчины должны были делить между собой с расчетом на создание по возможности более здорового и сильного потомства, а детей с семилетнего возраста передавать государству для военной подготовки. Обобщая рассказы греческих историков, Плутарх писал, что Ликург повелел спартанской знати отказаться от всякой собственности. Он также распорядился изъять из обращения все золото и серебро, заменив их железными монетами. В результате был положен конец роскоши, воровству и взяткам, прекратились судебные тяжбы. На месте пропасти, разделявшей богатство и

бедность, воцарилось всеобщее равенство. Афинянину, видевшему, как честолюбие и жадность разрушают его собственный город-государство, общество равных, целиком посвятившее себя государственным заботам, должно было казаться в высшей степени привлекательным. Как будет отмечено в следующей главе, в Афинах существовала высокоразвитая система частной собственности, чем и объясняется внимание, которое уделяли этому вопросу афинские философы.

Свои идеи утопического коммунизма Платон вложил в уста Сократа, выступающего в Книгах 5–7 “Государства”. Он ставил себе задачу придумать социальный порядок, при котором правящей верхушкой будут двигать не своекорыстные побуждения, а исключительно заботы об общем благе. С этой целью руководители государства лишались всякого имущества. О современных ему политических раздорах Сократ говорит: “Разве не оттого происходит это в государстве, что невпопад раздаются возгласы: “Это — мое!” или “это — не мое!” И то же самое насчет чужого. А где большинство говорит таким же образом и об одном и том же: “Это — мое!” или “это — не мое!”, там, значит, наилучший государственный строй”⁴.

Население идеального государства Платона делится на две касты: правителей, именуемых “стражами”, которых выбирают из старейших и мудрейших членов общества, и всех остальных. Стражи, управляющие делами государства, обретают свою должность, пройдя суровые испытания. Им не полагается иметь никакой собственности, ни домов, ни земли, и это должно содействовать тому, “чтобы они не разнесли в клочья государство, что обычно бывает, когда люди считают своим не одно и то же, но каждый — другое”⁵. Платон считал, что собственность и добродетель несовместимы: “Разве не в таком соотношении находятся богатство и добродетель, что, положи их на разные чаши весов, и одно всегда будет перевешивать другое?”⁶ Подобно спартамцам, стражи живут сообща, жены и дети у них общие; удовлетворение их простейших материальных нужд обеспечивают рядовые граждане, статус которых Платон оставил неопределенным, но которым, по видимому, разрешается и обзаводиться семьей, и обладать имуществом. Как следствие, распри в среде правителей прекращаются: исчезают причины для насилия, ссор и лести. Воплощением этого идеала касты избранных, бескорыстных служителей государства 2500 лет спустя станут (теоретически по крайней мере) партии коммунистов и нацистов.

В “Законах”, позднее созданном произведении, Платон попытался представить образ государства, более близкий к действительности, и поэтому не стал уже настаивать на отмене семьи и передаче детей на воспитание государству. Но прежнее увлечение утопией всеобщего равенства сохранилось. Соглашаясь теперь на существование частной собственности, он хотел, однако, чтобы государство позаботилось о недопущении крайностей богатства и бедности, особенно в распределении земли. Идеал мира, не знающего собственности, остался:

- наилучшим образом устроенное государство тщательнейшим образом соблюдает древнее изречение, гласящее, что у друзей на самом деле все общее. Существует ли в наше время где-либо и будет ли когда, чтобы общими были жены, дети, все имущество, и чтобы вся собственность, именуемая частной, всеми средствами была устранена из жизни? Чтобы измышлялись по мере возможности средства так или иначе сделать общим то, что от природы является частным, — глаза, уши, руки, — так, чтобы казалось, будто все сообща видят, слышат и действуют, все восхваляют или порицают одно и то же? По одним и тем же причинам все будут радоваться или огорчаться, а законы по мере сил как можно больше объединят государство: выше этого, в смысле добродетели, лучше и правильнее никто никогда не сможет установить предела⁷.

Платоновское видение идеального общества оспорил в “Политике” Аристотель. Он разделял мнение своего учителя, что крайнее неравенство в распределении богатства ведет к общественным распрям⁸. Но институт собственности он считал несокрушимой и в конечном счете положительной силой. По мнению Аристотеля, Платон смешал и принял за одно целое разные составляющие политического устройства общества — семью, общину (деревню) и государство. Его ошибка состояла-де в том, что он уподоблял государство домашнему хозяйству и, соответственно, приписывал ему власть над имуществом⁹. В действительности же собственность есть атрибут домашнего хозяйства, но не общины и не государства: “Государство должно иметь собственность, но самая собственность вовсе не составляет части государства”¹⁰.

Свое неприятие общей собственности Аристотель обосновывал не только логически, но и главным образом по сообра-

жениям пользы. Это непрактично, ибо ни один человек не станет должным образом заботиться о вещах, которые ему не принадлежат: “...трудно выразить словами, сколько наслаждения в сознании того, что нечто принадлежит тебе, ведь свойственное каждому чувство любви к самому себе не случайно, но внедрено в нас самой природой”¹¹. Удовлетворение любви к самому себе образует, таким образом, основу хорошего общества. Аристотель отвергает утверждение Платона, что общая собственность кладет конец общественным разногласиям, и настаивает, что, наоборот, люди, владеющие вещами сообща, склонны ссориться из-за них больше, чем те, кто владеет имуществом лично. Причину общественных разладов он видит не в жажде собственности, а в самой человеческой природе — “скорее... следует уравнивать человеческие вожделения, а не собственность”¹², — откуда следует, что разногласия лучше всего гасить просвещением, а не упразднением частной собственности. Более того, Аристотель утверждает, что обладание имуществом поднимает человека на новые этические высоты, поскольку дает ему возможность быть щедрым: “щедрость сказывается именно при возможности распоряжаться своим добром”¹³ — соображение, которое очень нравилось потом средневековым христианским богословам. Милее всего Аристотелю был тот строй, который опирается на средний класс в условиях имущественного равенства¹⁴.

Разногласия двух афинских философов задали на последующие 2500 лет ход мысли, обращенной к этому предмету: непрекращающийся спор между этическим идеализмом и утилитаристским реализмом. На протяжении всей истории западной мысли авторы, пишущие о собственности, будут, вообще говоря, присоединяться либо к Платону, либо к Аристотелю, подчеркивая либо потенциальные блага отмены частной собственности, либо осязаемые выгоды от ее признания.

В четвертом веке до н. э., после смерти и Платона, и Аристотеля, когда стоики ввели в оборот понятие естественного права, обсуждение вопроса о собственности поднялось на более высокий, более абстрактный уровень. Вклад стоицизма в формирование западной интеллектуальной традиции уступает, вероятно, только вкладу древнееврейского монотеизма. Если монотеизм выдвигал революционное представление о всемогущем и всепроникающем, но лишенном плоти Боге, который правит миром, то теория естественного права утверждала, что мир Божий устроен рационально и доступен по-

стижению человеческим разумом. Хотя понятие естественного права, как и очень многое другое, в зародыше уже присутствовало у Аристотеля, вызрело оно только после его ухода из жизни, сначала в Греции под македонской властью, а затем в Риме.

Платон и Аристотель мыслили исключительно в понятиях, ограниченных представлениями о городах-государствах, небольших сообществах граждан однородного этнического состава, одной религии и культуры. Политика связывалась для них с обычаями, а не с законами; отсюда и отсутствие конституционных установлений в идеальном государстве Платона. (Согласно Плутарху, Ликург не разрешил, чтобы установленные им в Спарте законы были оформлены в письменном виде.) Но вопрос о законах обострился в четвертом веке, когда Филипп Македонский и его сын Александр Великий покончили с *полисом*, создав вместо него сначала национальное государство, а потом многонациональную империю. В зените своего могущества Македонская империя простиралась от Эгейского моря до реки Инд и Аравийского полуострова. Помимо греков, подданными македонских правителей оказались армяне, бактрийцы, евреи, египтяне, индийцы, парфяне, согдиане и множество других народностей, говоривших на разных языках и державшихся разных вероисповеданий. А также следовавших разным законам. В интересах имперского единства и действенного управления своими владениями македонские правители должны были каким-то образом примирить между собой эти разные законы. Но их существование поднимало и фундаментальной важности философский вопрос: что, понятий справедливости существует столько же, сколько существует народов, то есть нет единого для всех различия между правым и неправым? Либо разные правовые нормы и процедуры суть всего лишь приспособления всеобщих законов к местным условиям?

Ответ дала школа стоиков, возникшая одновременно с образованием Македонского царства. Главное для нее представление о разумности миропорядка было заложено уже в ранней греческой науке, которая различала бесконечное многообразие явлений природы и основополагающее единство законов, которым природа подчиняется. Со временем такое понимание вещей было приложено и к делам человеческим. Его можно видеть в замечаниях, которые в “Никомаховой этике” роняет Аристотель по поводу существования двух

форм справедливости: “по закону” (по уговору) и “по природе”¹⁵. Первая находит свое выражение в действующих законах, приспособленных к потребностям данного общества, и поэтому изменяется от страны к стране, тогда как вторая одинакова для всего человечества.

У Аристотеля не было нужды развивать эту мысль дальше, поскольку он имел дело с однородными обществами. Занялся этим Зенон, основатель школы стоиков: “Основопологающим принципом этики и политики стоиков является идея существования всеобщего и всемирного закона, составляющего разумное начало и в природе вообще, и в человеческой природе...”¹⁶ Как физический мир имеет свои всеобщие и вечные законы, так же точно есть они и у человечества. Революционным элементом в философии стоиков было утверждение, что основополагающие начала общественного устройства не подлежат изменению, поскольку они коренятся в естественном порядке вещей. Сердцевину этого порядка составляет равенство мужчин и женщин, свободных и рабов. Суть свободы в том, чтобы жить в согласии с законами природы.

За те три столетия, что пролегли между Аристотелем и Цицероном, представление о естественном праве получило широкое распространение в Средиземноморье, хотя вершинный ее успех был еще впереди, в Европе шестнадцатого-семнадцатого веков, где он помог юристам и политическим мыслителям очистить свои области знаний от богословов. Отмечено, что после Платона и Аристотеля никто не мог писать о частной собственности, оставляя без внимания вопрос о ее “естественности”¹⁷. Действительно, до конца восемнадцатого столетия, а в некоторых отношениях и по сей день, ученые разговоры о собственности вертятся вокруг вопроса о том, принадлежит она к “естественному” или “договорному” порядку вещей. Это основной вопрос, в котором сталкиваются нравственный и прагматический подходы к делу: ибо если собственность существует по уговору, с ней можно покончить, если же она принадлежит царству природы, ее следует принимать как не подлежащее изменению условие жизни.

Философия стоиков и понятие естественного права приобрели большее влияние в Риме, чем у себя на родине, в Греции. Древние римляне не были склонны предаваться отвлекающим размышлениям и не погружались в споры о достоинствах и недостатках частной собственности, как не придумывали и идеальных обществ. Но те, кто кичится сво-

им прагматизмом, часто выбирают дороги, проложенные идеалистами. Римские поэты приняли греческое представление о золотом веке, когда всеми благами люди владели сообща, о веке, который ушел в небытие, когда восторжествовала жадность, а с нею пришли насилие и общественные распри. Вергилий описывал золотой век как время, когда

Вовсе не знали... поля власти,
Даже значком отмечать иль межой отмежевывать нивы
Не полагалось. Все сообща добывали. Земля же
Плодоносила сама, добровольно, без понужденья¹⁸.

Иначе — в изображении Овидия — выглядит век железный:

Принадлежавшие всем до сих пор, как солнце и воздух,
Длинной межою поля землемер осторожный разметил¹⁹.

Сенека, главный римский стоик, которого называют “миллионером с большой совестью”, никогда не уставал превозносить бедность*. “Кому и в бедности хорошо, тот богат”, — ставлял он своего друга Луцилия²⁰.

- Общественные добродетели сохранялись в непорочной чистоте, пока стяжательство не развело общество и не принесло в него нищету, ибо, назвав что-то своим, люди перестали владеть всем... Как счастлив был изначальный век, когда природные блага лежали к общим услугам и пользовались ими все без разбору; жадность и роскошь не разобщали смертных и не делали их жертвами друг друга. Природой они наслаждались сообща, что позволяло им надежно держать в руках общественное богатство. Почему мне не считать их самыми богатыми людьми, такими, что среди них не найти ни единого бедняка?²¹

Это восхваление общественного равенства сделало стоицизм своего рода религией, сумевшей оказать влияние и на христианство во времена его становления.

Главный вклад римлян в развитие представлений о собственности относится к области права. Римские юристы первыми выдвинули отсутствовавшее в греческом словаре понятие абсолютной частной собственности, которую они называли *dominium* и распространяли на землю и рабов. Чтобы

* Künzli, *Mein und Dein*, 134. Хотя стоицизм сильно повлиял на раннее христианство, все же философы-стоики принадлежали к высшему классу и, в отличие от ранних христиан, не ждали царства Божия впереди, а видели его позади, в потерянном золотом веке.

предмет собственности подпадал под понятие *dominium*, он должен был отвечать четырем критериям: законность приобретения, исключительность, абсолютность и постоянство²². Самое известное определение *dominium* выглядит в римском праве как “право использовать и потреблять свое имущество в соответствии с законом” (*jus utendi et abutendi re sua quatenus iuris ratio patitur*)*. Римская юриспруденция далеко продвинулась в стараниях учесть все мыслимые тонкости касательно прав собственности: как их приобретают, как теряют, как передают, как продают²³. *Dominium* имел в древнем Риме такое абсолютное значение, что там не возникало и намека на право государства безвозмездно отчуждать частную собственность**.

При всем их прагматизме римские юристы вынуждены были искать философские обоснования законов, ибо, как и в случае с македонцами, чьи владения вышли за пределы города-государства и стали сначала национальным государством, а затем империей, римляне столкнулись с поразительным многообразием правовых норм и процедур, не совпадавших ни с римскими, ни между собой. Проблема возникла еще даже до того, как Рим стал властелином Итальянского полуострова, ибо издревле римским судам приходилось разбирать дела иностранцев, посещавших город либо состоявших в браке с римлянами. К ним нельзя было применять местное право, *jus civile*, распространявшееся исключительно на римских граждан. Римские юристы должны были поэтому искать общие принципы, единые для всех правовых систем, с которыми они соприкасались. По мере расширения римских вла-

* *Utendi* означало право пользования, а *abutendi* — право употребления, то есть распоряжения по своему усмотрению (но не “злоупотребления”, как иногда переводят этот термин). Согласно современным научным изысканиям, это знаменитое определение собственности возникло не в римской древности, а лишь в шестнадцатом веке, хотя само понятие было известно и древним римлянам [Vittorio Scialoja, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I. (Roma, 1928), 262]. Было отмечено, что “ни один из древних юридических текстов не содержит римского определения собственности” [Alan Rodger, *Owners and Neighbours in Roman Law* (Oxford, 1972), I].

** С. Reinold Noyes, *The Institution of Property* (New York, 1936), 84. Римское право, однако, признавало и другие формы собственности, такие как *possessio* (временное владение) и *usufructus* (пожизненное владение), позднее принятые в феодальной Европе.

дений в бассейне Средиземного моря складывалось международное право (*jus gentium*), сводившее воедино правила, признаваемые всеми известными Риму народами. Под воздействием философии стоицизма международное право постепенно слилось с естественным правом (*jus naturale*); этот процесс завершился в начале третьего века н. э., когда всем подданным империи было предоставлено римское гражданство²⁴. Так явился на свет основополагающий постулат западной мысли: правильное и неправильное — понятия не произвольные, а коренящиеся в природе и, соответственно, обязательные для всего человечества; этические проблемы надлежит решать, опираясь на естественное право, которое разумно и превосходит действующее право (*jus civile*) отдельных обществ. Существенной составляющей естественного права является равенство людей, особенно равенство перед законом, и принцип прав человека, включая права собственности, появившиеся прежде государства и, следовательно, от него не зависящие*. Полторы тысячи лет спустя этим представлениям суждено было образовать философскую основу западной демократии.

Поначалу римские философы и юристы относили частную собственность не к естественному праву, а к праву международному. Со временем, однако, по мере того как оба понятия сливались, они стали усматривать ее основы в естественном праве²⁵. Теоретическая защита частной собственности как задача естественного права не была, однако, до конца выполнена ранее шестнадцатого — семнадцатого веков, то есть до наступления времени Жана Бодэна и Гуго Гроция. Но что мысль об этом приходила уже римлянам, явствует из утверждения Цицерона, что государство не может посягать на частную собственность, поскольку оно само было создано для ее защиты²⁶.

* Shlatter, *Private Property*, 23. Нерешенной проблемой оставалось рабство, которое, несмотря на его повсеместную распространенность в древнем мире, широко признавалось явлением противоестественным. [James Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, II (New York, 1901), 583.] Один из путей преодоления этой трудности был предложен римским юристом Ульпианом, который отнес рабство к компетенции гражданского права, лишившего рабов всех прав, в отличие от естественного права, согласно которому все люди равны. [John Hine Mundy in R.W. Davis, ed., *The Origins of Modern Freedom in the West* (Stanford, Calif., 1995), 120.]

2. Средние века

Отцы церкви испытывали серьезные трудности, сталкиваясь с вопросом о частной собственности. В Писании сказано, что Иисус побуждал богатых раздать имущество беднякам, ибо обладание богатством есть препятствие спасению. Он сам, как и его ученики, расстался со своим имуществом. Евангелия, как и другие части Нового завета, изобилуют осуждениями богатства и призывами к отказу от него, предупреждениями вроде того, что содержится в хорошо знакомом афоризме: “Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Небесное”²⁷. Между тем сам Иисус в личной жизни аскетом не был: от собственности и даже от богатства он не бежал прочь, а посещал дома богатеев и позволял им быть гостеприимными хозяевами²⁸. Проникнутый ожиданием грядущего царства Божия, Новый Завет “не предлагает, по-видимому, какой-либо определенной теории собственности”²⁹.

Некоторые историки сомневаются, действительно ли Иисус выдвигал какую-то программу преобразования общества: по словам одного ведущего специалиста в этой области, он скорее призывал “готовиться к вступлению в царство Божие”, которому предстояло появиться “в рамках существующего миропорядка”*. Во всяком случае, ранние христиане считали, что следовать учению Иисуса должны лишь они сами.

- Новый общественный порядок... ограничивался пределами христианской общины; это не была народная программа общей социальной реформы. Внутри самой церкви... единственно возможным видом коммунизма был тот, что отличался от всех других форм коммунизма, и обозначить его можно как религиозный Коммунизм Любви. Иными словами, это был коммунизм, который в обобществлении собственности видел подтверждение любви и религиозно-

* Ernst Troeltsch, *The Social Teaching of the Christian Churches*, I. (Chicago and London, 1976), 61. Со ссылкой на Ницше Хэйвелок Эллис пишет: Иисус “никогда не отвергал мир, государство, культуру, работу; он просто никогда не знал и не понимал, что все это существует... Единственной действительностью для него была действительность внутреннего мира, настолько живая, что она позволяет чувствовать себя “на Небесах” и “в вечности”; вот это и подлежало “спасению”. [Affirmations (Boston and New York, 1915), 49.]

го духа самопожертвования. Это был коммунизм чисто потребительский, коммунизм, основанный на предположении, что его приверженцы будут по-прежнему зарабатывать на жизнь частным предпринимательством, чтобы иметь возможность быть щедрыми и делать пожертвования. Главное же, там не было вообще никакой теории равенства, будь то абсолютное равенство в распределении имущества или относительное равенство в виде вкладов, вносимых в общую жизнь разными членами коммуны соответственно их способностям и заслугам... Наконец... не было никакого неприятия того, что образует действительное препятствие на пути к истинному коммунизму, не было возражений против института семьи, столь тесно связанного с частным предпринимательством³⁰.

Ранняя христианская церковь принимала частную собственность как жизненную данность и все силы направляла на уговоры верующих по возможности больше заниматься благотворительностью. Имущество считалось злом лишь в случае, если использовалось в корыстных целях*.

Но церковь, основанная на проповеди самоотречения, вскоре выросла в могучую державу брэнного мира с огромными земельными владениями и другими видами богатства, которые считались необходимыми для выполнения ее религиозных и светских обязанностей. Она также столкнулась с действительностью, которую молчаливо принимал Иисус, но часто не умели понять более ревностные христиане, а именно с тем, что для миллионов верующих обладание материальными благами является необходимостью; очевидно, что не каждый мог добровольно обречь себя на нищету, не каждый готов был целиком посвятить жизнь христианскому благочестию и стать священнослужителем, монахом или монахиней, равно как не каждый был способен связать себя обетом безбрачия.

Следовало, стало быть, найти компромисс между христианским идеалом и мирской действительностью.

Он был найден и оказался весьма удовлетворительным. основополагающая посылка христианских богословов со-

* “Частые призывы не придавать никакого значения собственности и все речи насчет общности имущества... имели единственной целью подвигнуть на энергичную благотворительную деятельность. Во всех этих разговорах само обладание частной собственностью подражумевалось непременно”. [Ernst Troeltsch, *Social Teaching*, I, 115–16.]

стояла в том, что собственность имеет своим источником не естественное, а договорное право, то есть действующий закон, который и надлежит блюсти в качестве такового. *Потенциально* она, мол, является злом и способна осквернить душу и ввести во грех. Но, как говорил Августин, общество без собственности возможно только в раю, поскольку оно требует от людей совершенства³¹ — того совершенства, к достижению которого большинству человечества путь прегражден первородным грехом*. Более того, имущество само по себе не имеет отношения к нравственности и становится злом только в случае, если порождает жадность. “Золото, это плохо?” — вопрошал он и отвечал: “Нет, это благо. Но злые люди используют благое золото во зло, а добрые люди используют благое золото во благо”³². По Августину, наставления Иисуса насчет раздачи имущества были советами, а не приказами³³. В мире, каким мы его знаем, следовать им могут лишь немногие избранные. В собственности Августин видел ответственность, а не разрешение на свободу действий; это была в его глазах своего рода “доверенность” на часть общего блага, выдаваемая отдельным людям.

В пользу терпимости, проявляемой ими в отношении собственности, христианские богословы имели возможность ссылаться и на соответствующие места в Ветхом завете, которые указывают, что на собственности лежит печать божественного благословения. Восьмая заповедь, запрещающая воровство, очевидным образом подразумевает неприкосновенность собственности; то же относится и к десятой заповеди, которая не велит желать чего-либо, принадлежащего “ближнему твоему”. Есть там (Бытие, 13) и рассказ об Аврааме и Лоте, которые разделили владения, чтобы положить конец распрям между своими пастухами, и тем самым определили долю каждого в их первоначально общей земельной собственности. Ссылались также и на ветхозаветную историю про царя Ахава (3-я Книга царств, 21), возжелавшего заполучить виноградник некоего Навуфея и взамен предложившего владельцу либо другой виноградник, либо столько серебра, сколько он стоит. Когда Навуфей отказался расстаться со своей землей,

* Как говорит Матфей (19: 16–21), Иисус, спрошенный неким юношей, как ему достичь вечной жизни, велел соблюдать заповеди и добавил, что при желании достичь совершенства следует также продать имение свое и раздать деньги нищим.

Иезавель, жена Ахава, устроила так, что Навуфей был ложно обвинен в богохульстве и в конечном счете до смерти забит камнями, после чего Ахав завладел его виноградником. За это преступление ему и его жене Бог устами пророка Илии посулил бесславную смерть. Эта история должна была показать, что жадность рождает грех, но вместе с тем она подтверждала нерушимость собственности.

В правовой традиции иудаизма богатство считалось знаком благословения: раввины запрещали верующим отказываться от имущества или чересчур увлекаться раздачей милостыни, чтобы избежать собственного превращения в нахлебников общины. В отличие от христианской части Библии, Ветхий завет не восхваляет ни бедность, ни бедняков³⁵. В то же время он изобилует осуждениями богачей за творимые ими несправедливости и полон призывов не отказывать в заботе и помощи не только членам своей общины, но и чужакам и даже животным*. Следуя этим наставлениям, еврейские общины создали беспрецедентную, по-видимому, в древнем мире систему благотворительности, основу которой, как и предписывал Ветхий завет, составляла десятина, собираемая в пользу “пришельца, сироты и вдовы”³⁶.

Сводом католических воззрений на собственность стала “Summa Theologica” Фомы Аквинского. Аквинат подошел к предмету с позиций справедливости, которую он определял как “постоянное и неизменное стремление каждому воздать должное”³⁷. Он соглашался, что в определенном смысле “противоестественно человеку обладать внешними вещами”, ибо все блага принадлежат Богу и находятся в общей собственности детей божьих³⁸. Тем не менее, опираясь на “Политику” Аристотеля, он доказывал, что общая собственность не дает ни эффективности, ни лада в человеческих отношениях, а ведет лишь к раздорам. Для духовного совершенствования

* В Пятикнижии, однако, есть некоторые установки, предупреждающие против чрезмерного сосредоточения богатства в одних руках, особенно земельной собственности. Теоретически вся земля принадлежит Богу и поэтому не может быть куплена навсегда, а лишь самое большее на сорок девять лет, по истечении которых (в так называемый юбилейный год) вся земля, проданная первоначальным владельцем ввиду, как предполагается, крайней для него необходимости, должна быть ему возвращена. {Левит 25: 10, 23–28}. Это требование никогда, по-видимому, не воплощалось в жизнь. [Max Weber, *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*, III (Tubingen, 1921), 77.]

человеку необходима надежная опора, обеспечить которую способна только собственность. У Аристотеля Аквинат взял также мысль о том, что обладание имуществом позволяет человеку заниматься благотворительностью, то есть выполнять свой христианский долг; раздача милостыни является, мол, существенным следствием наличия собственности, и богатые морально обязаны отдавать беднякам излишки своего имущества³⁹. Общество должно ставить преграды любым злоупотреблениям, которые порождает богатство.

Вот какими, обобщенно, представляются взгляды отцов церкви на этот предмет. Церковные теоретики раннего Средневековья признавали, что “человеческая жизнь, такая, какова она есть, нуждается в дисциплине, нуждается в принудительном упорядочении. Они, таким образом, стали различать идеал, который, по их мнению, соответствовал также изначальному состоянию человека, и действительность. Идеальный человек, следующий своей истинной природе и повинующийся законам разума и справедливости... без такой принудительной дисциплины мог бы и обойтись. Но будучи на деле существом, подлинные инстинкты и природа которого постоянно подавляются его же низменными свойствами, человек может быть огражден от анархии и беспорядка только с помощью суровой дисциплины... Частную собственность... с порождаемым ею огромным неравенством они никак не могли считать изначальным и естественным институтом. В изначальном и естественном состоянии права собственности не могли бы быть чем-либо иным, помимо права пользоваться тем, что составляет потребность человека. Но с учетом опять-таки нынешнего действительного состояния человеческой природы они сочли необходимым строгое регулирование этого права пользования. Частная собственность есть на деле один из дисциплинирующих институтов, позволяющих сдерживать порочные склонности человека и противодействовать им”^{39,40}.

Вопреки ложному, но широко распространенному представлению, церковь не одобряла, тем более не проповедовала коммунизм, и поэтому поддерживать его ссылками на авторитет отцов церкви неуместно⁴¹. По замечанию, сделанному век назад русским философом Владимиром Соловьевым, христиане призывают своих последователей раздавать собственное богатство, тогда как социалисты предлагают захватывать и распределять богатство других. Поэтому церковь была вполне последовательна, когда объявляла еретиками в двенадцатом

веке вальденсов, проповедовавших бедность, а позднее анабаптистов, стремившихся ввести коммунизм. Вообще “почитание нищеты” было одним из отличительных признаков еретических движений, но не официальной церкви⁴². В конце тринадцатого и начале четырнадцатого веков внутри ордена францисканцев разгорелся яростный спор между спиритуалами, которые выступали за отказ от всякого имущества, и традиционалистами, желавшими сохранить накопленные орденном значительные богатства. При папе Иоанне XXII церковь расправилась со спиритуалами, приговорив более сотни их к сожжению на костре. Выпущенная в 1323 году папская булла объявляла ересь утверждения, будто у Христа и апостолов не было никакого имущества⁴³. Шестью годами позже, в другой своей булле, Иоанн XXII утверждал, что собственность (*dominium*) человека на принадлежащее ему имущество не отличается от собственности на мир, которую Бог вручил человеку, созданному им по своему образу. Следовательно, это естественное право, и оно древнее человеческих законов⁴⁴.

Основатели протестантизма пошли дальше проявленной католической церковью терпимости в отношении собственности: и Лютер, и Кальвин собственность горячо поддержали, увязав ее с трудом, который они считали христианским долгом. Лютер осудил восставших крестьян Германии и назвал их “бешеными псами” за захват поместий, пояснив, что Евангелия не призывают обращать чужую собственность в общую, сохраняя при этом свое имущество, а учат христиан по доброй воле расставаться с тем, что они имеют⁴⁵. Кальвинисты относились к собственности еще более благосклонно. Кальвин одобрительно отзывался о промышленности, торговле и больших прибылях, которые они приносят отдельным людям; он отвергал средневековые запреты на ростовщичество и признавал благотворность денег и кредита⁴⁶. Среди историков широко признано, что кальвинизм сильно способствовал подъему капиталистического духа.

К концу Средних веков с признания собственности достойной сожаления, но неизбежной действительностью католическая церковь переключилась на принципиальную ее защиту. Эта перемена представляла собой реакцию на нападки, которым богатства церкви подверглись со стороны светских властей. Проблема приобрела остроту в начале четырнадцатого века, когда король Франции Филипп IV (Филипп Красивый) в поисках денег на войну против Англии обложил духо-

венство налогом и ввел запрет на вывоз из страны драгоценных металлов, распространявшийся и на вывоз доходов папского престола. В стремлении защитить церковные владения от посягательств короны богословы стали теперь говорить о собственности как о неотъемлемом праве; прежде всего это касалось церковной собственности, но по смыслу распространялось на собственность вообще. По ходу этой полемики церковные теоретики выдвинули доктрину позднее принятую и такими видными светскими авторами, как Бодэн и Гроций, — согласно которой государственная власть, сколь бы безгранична она ни была во всем прочем, на собственность подданных все же не распространяется. Доводы в пользу этой точки зрения подкреплялись ссылками на римское право, которое уже в начале двенадцатого века было заново открыто и преподавалось в итальянских университетах.

Видным проповедником этой новой церковной теории собственности был Эгидиус Романус (Колонна), ученик Фомы Аквинского, настаивавший, что Филипп IV не вправе присваивать церковное имущество, потому что права собственности древнее и выше прав государства. Церковь и римский понтифик суть верховные господа всего земного и в конечном счете являются собственниками всех мировых ресурсов. Пользуясь феодальным словарем, он утверждал, что у королей есть верховная власть, но нет прав собственности на владения вассалов⁴⁷.

Иоанн Парижский, противник Эгидиуса Романуса, говорил в защиту Филиппа IV, что частная собственность дарована властью правителя и церковные владения также существуют по королевской воле. Но он соглашался, что права собственности не дано нарушать ни королю, ни папе⁴⁸. В этих спорах влияние римского права сказывалось очевидным образом. Иоанн Парижский считал, что “отдельные люди в своем личном качестве сами по себе обладают правом, властью и хозяйскими полномочиями, так что любой, раз он хозяин, может направлять, употреблять, использовать, сохранять, отчуждать свою собственность, как ему угодно, лишь бы при этом не причинялся вред другим... И следовательно, в таких делах ни князь, ни папа не являются хозяевами или распорядителями...”⁴⁹.

Разгоревшийся к концу Средних веков спор между папским престолом и светскими властями имел своим результатом укрепление статуса частной собственности, поскольку

обе столкнувшиеся стороны, изыскивая разные правовые основания собственности, сошлись в том, что она неприкосновенна и подлежит защите от посягательств, откуда бы они ни исходили будь то со стороны святейшего престола или от королевского двора*.

3. Появление “благородного дикаря”

На протяжении всех Средних веков европейцы не расставались с мифом о золотом веке, когда человек был безгрешен, а собственность неведома. Иные верили, что и в их время существуют некие далекие земли, часто представлявшиеся затерянными островами на краю света, где люди по-прежнему живут в этой благодати. В наказание за первородный грех большинству человечества доступ в это царство благоденствия закрыт, но туда, преодолев огромные трудности, могут попасть герои и святые⁵⁰. Отцы церкви веками вели споры о возможности существованиярая на земле⁵¹. Этот миф мог быть в числе идей и представлений, вдохновивших Колумба на его увенчавшееся открытием путешествие: некоторые историки считают, что перед своим первым плаванием он прочитал книгу Пьера д’Айи “*Imago mundi*”, описывавшую счастливую страну гипербореев, по существу достигших бессмертия**.

При первой встрече с жителями островов Карибского моря Колумба и его до смешного избыточно одетых спутников более всего поразила нагота туземцев, заставившая вспом-

* “Противоположные притязания на верховную юрисдикцию, подкрепляемые обилием ссылок на казавшиеся убедительными авторитетные суждения в пользу властителей, у которых не было единого земного господина, как раз и выводили в область, где можно было использовать естественное право, пуская в ход блестящую диалектику, действовавшую как *deus ex machina*... Все, включая крайних приверженцев какой-либо одной стороны, признавали, что и папа, и император должны подчиняться естественному праву...” [F. Pollock, *Essays in the Law* (London, 1922), 45–46.]

** Gilbert Chinard, *L’exotisme américain dans la littérature française au XVI siècle* (Paris, 1911), xii-xv. Но Сесиль Джейн [Cecil Jane, *Select Documents Illustrating the Four Voyages of Columbus, I* (London, 1930), lxxxix-xl] сомневается во влиянии д’Айи, потому что невозможно установить, когда появилась его книга: возможно, она увидела свет, когда Колумб уже вернулся из своего первого плавания.

нить об Адаме и Еве до их грехопадения*. Впечатлило Колумба и то, что туземцы были “беззлобны”, и “если их просили отдать принадлежавшую им вещь, никогда не отказывали; напротив, сами приглашали каждого попользоваться их имуществом...”⁵² Колумб, по его признанию, так и не сумел выяснить, была ли у туземцев частная собственность, но домой он увез впечатление, что “в том, чем владел один, другие имели свою долю, особенно в съестных припасах”⁵³. В собственноручно написанном отрывочном отчете о своих путешествиях Колумб говорит, что в Америке “всегда весна, соловей поет, цветы цветут, деревья покрыты зеленью, ручьи бегут своими извилистыми путями, горы вздымаются вверх, а жители безгрешны и счастливы”⁵⁴.

Эти первые впечатления задали тон всей утопической литературе последовавших пяти столетий, которой они предоставили подтверждение, что испорченный человек может достичь совершенства, стоит ему лишь перенять образ жизни “благородных дикарей”⁵⁵. А самым замечательным качеством жизни дикарей, помимо незнания стыда, было их незнакомство с собственностью. Один французский историк литературы прочерчивает прямую линию от первого письма Ко-

* Историк литературы, изучивший изданные во Франции до 1610 года рассказы о сотнях путешествий в Америку, Африку и на некоторые острова Ост-Индии, обнаружил, что самое видное место в них занимает тема наготы. [Geoffroy Atkinson, *Les nouveaux horizons de la Renaissance française* (Paris, 1935), 63–75.]

** Howard Mumford Jones, *O Strange New World* (New York, 1964), 14. Последующие контакты с жестокими обитателями Карибских островов, откармливавших захваченных в плен детей на съедение, как поросят, не нарушили этой идиллической картины; даже мудрый Монтень в эссе “Каннибалы” как бы защищал их, говоря, что они не хуже европейцев.

*** Впервые, как считается, это выражение появилось в драме Драйдена “Завоевание Гранады” (1670): “Я волен... благородный дикарь”. [Karl-Heinz Kohl, *Entzauberter Blick* (Berlin, 1981), 34.] Но сам образ, если и не представляющее его словосочетание, имеет корни в классической древности: греческий географ Страбон (ок. 63 г. до н. э. — ок. 24 г. н. э.) писал о скифах, что это варвары, пожиравшие плоть своих поверженных врагов, и все же, поскольку они не ведали собственности и всем, включая женщин и детей, владели сообща, считал их “самыми прямодушными и менее всего предрасположенными к коварству людьми”. [The Geography of Strabo, trans. H. L. Jones, III (Cambridge, Mass., and London, 1961), Book VII, 3, 7–9, p. 195–209.]

лумба, в котором он описывает свое открытие, до написанного два с половиной века спустя “Рассуждения о неравенстве” Руссо, где собственность объявляется источником всех общественных зол⁵⁴.

В начале пятнадцатого века сходные с Колумбовыми впечатления донесли до читающей европейской публики рассказы о двух других путешествиях, сильно поспособствовавшие созданию образа благородного дикаря.

Америго Веспуччи, итальянский географ и исследователь, по имени которого названа Америка, в своих “Путешествиях”, появившихся в 1505–1506 годах, зачарованным пером написал портрет индейцев Нового Света. По его словам, над ними нет “капитанов” и живут они вольно. Если им случается воевать, то только чтобы отомстить за родных, но не для того, чтобы захватить имущество. Не ведают они ни религии (за что он их бранит), ни законов, ни брака. Они не занимаются торговлей и ничуть не ценят золота и дорогих камней⁵⁵. Они живут в земном раю.

Подвизавшийся в Испании итальянец Петер Мартир д’Ангиера выпустил в 1516 году описание Нового Света (*De Orbe Nuovo*). Увиденное Колумбом он представил следующим образом: “Земля у них общая, как солнце и вода, и нет у них *Моего* и *Твоего* (семян всех несчастий). Они довольствуются столь немногим, что и в такой большой стране ощущаются скорее избытки, чем нехватки. Так что... они, похоже, живут в золотом мире, не обремененные трудом, и их открытые сады не изрыты канавами, не разделены заборами и не разгорожены стенами. Они честно обращаются друг с другом, обходясь без законов, без книг, без судей”⁵⁶.

Не много времени понадобилось, чтобы европейцы, познакомившиеся с Америкой уже в качестве торговцев и поселенцев, пришли к совершенно иному мнению о тамошних индейцах. Подолгу общавшиеся с туземцами склонны были считать их не более как презренными варварами, пригодными лишь для обращения в рабство. Их незнакомство с частной собственностью воспринималось теперь как свидетельство недоразвитости⁵⁷. Уже в 1525 году доминиканский монах писал, что “на материке они едят человеческое мясо. Они предаются содомии больше, чем любой другой народ. Им совершенно чуждо правосудие. Они ходят голыми. Они не уважают ни любви, ни целомудрия... они глупее ослов и отказываются как-либо исправляться”⁵⁸.

Сэмюэл Перчас, английский издатель литературы о путешествиях, в сочинении 1625 года называл американских индейцев бесчеловечными и отзывался о них как о животных, притом хуже диких зверей⁵⁹. Некоторые французские авторы, опираясь на собственные впечатления, также рисовали крайне нелестный портрет индейцев, изображая их звероподобными⁶⁰. Разочарование ширилось по мере того, как живые свидетели сообщали о таких отталкивающих явлениях, как жертвоприношения и истязания людей. Вскоре “благородный дикарь” Америки превратился в дьявола⁶¹. Но первоначальный образ не исчез бесследно, поскольку многие европейцы и некоторые американцы по сию пору сохраняют романтические представления об американском индейце, навеянные рассказами первооткрывателей.

Когда образ индейца оказался запятнанным, европейцы, занятые поисками земного рая, обратили взоры к островам Тихого океана: в восемнадцатом веке американскую утопию вытеснила австралийская. Избранной землей стал остров Таити. Замеченный португальцами в начале семнадцатого века, он был забыт, а потом “заново открыт” англичанами и французами полтора столетия спустя. Славу земного Эдема острову создал рассказ о путешествии, предпринятом в 1768 году Луи де Бугенвилем. Вышедшее из-под пера французского путешественника описание туземцев не было для них однозначно благоприятным, поскольку подчеркивало их жестокость на войне и неистребимую привычку грабить чужаков. (Воровство у своих, замечал автор, карается повешением.) Он, однако, усиленно превозносил их равнодушие к материальным благам: “Дома они сами или нет, их жилища открыты днем и ночью. Плоды каждый собирает с первого попавшегося ему дерева или берет все ему понадобившееся в любом доме, куда войдет. Похоже, что в отношении совершенно необходимых для жизни вещей у них нет никакой личной собственности и что на такие вещи все они имеют равные права”⁶².

Общность владения распространялась и на женщин. Бугенвиль и его спутники были поражены, с какой непринужденной легкостью таитянки отдавались любому приглянувшемуся им мужчине, и еще больше удивлялись тому, что соитие происходило порой принародно. Поэтому он окрестил Таити “Новой Китерой” — по названию острова, который греческая мифология связывала с культом Афродиты (Венеры). Дидро в своих комментариях к дневнику Бугенвиля подчеркивал поло-

вую распущенность жителей Таити, не обращая внимания на наблюдения путешественника, противоречившие этому утверждению⁶³. Так произошла “эротизация” благородного дикаря, что, возможно, внесло свой вклад в рост сексуальной вольницы последних лет французского *старого порядка*.

В 1769 году Филибер Коммерсон выступил с другим рассказом о волшебном острове Таити, который он увидел сквозь розовые очки Руссо, и осужденное своим предшественником воровство представил как убедительное доказательство, что аборигенам неведомо чувство собственности⁶⁴.

Обычно мы обращаем внимание на политическое и экономическое значение географических открытий. Но не менее существенно они повлияли на общественно-теоретическую мысль Запада. Ибо открытие Америки и островов Тихого океана придало силы утопическому идеализму в его противостоянии прагматическому идеализму христианских богословов и новым течениям мысли, связанным с возрождением теорий естественного права.

Исходным образцом такого утопического идеализма послужила “Утопия” Томаса Мора. Литература о путешествиях в далекие страны оказала на Мора такое сильное влияние, что его книгу, вышедшую в 1516 году, некоторые современники принимали за подлинный отчет об открытии нового мира⁶⁵. Сегодня ученые любят напирать на то, что Мор следовал Платону и Эразму Роттердамскому, но не подлежит сомнению и то, что он писал под впечатлением знакомых ему, конечно же, отчетов об открытиях путешественников. Тем не менее в его изображении земного рая произошла любопытная смена представлений. В рассказах путешественников обычной темой была вольная жизнь “благородных дикарей”, не ведающих ни о правительствах, ни о законах. В “Утопии” Мора, как, по существу, и во всех последующих придуманных идеальных республиках, главенствующая тема это суровая дисциплина*. Как и средневековые теологи, сочинители утопий считают человека существом порочным, но, в отличие от богословов, верят, что его можно довести до совершенства, подчинив, при необходимости насильственно, власти разума. Под разумной жизнью они обычно понимают жизнь в усло-

* Следует заметить, что Томас Мор в жизни делал то, что и поповедовал, — надевал на голое тело власяницу и носил кнут для самобичевания.

виях образцового равенства: в глазах утопистов равенство замещает свободу как высшее благо⁶⁶. Раз человек в его нынешнем состоянии является жертвой страстей и раз им движет не разум, а себялюбие, он, для его же блага, должен быть поставлен в условия железного порядка. Это общее для сочинителей утопий представление — что человек, будучи порочным, в основе своей остается хорошим и с помощью законов и просвещения может быть сделан добродетельным — ведет к созданию очень реакционной доктрины. Утописты изобретают сказочные общества, где людей лишают всех желаний и устремлений, так что на будущее они готовят жизнь, диаметрально противоположную той (воображаемой), какая была у жизнерадостных туземцев в Америках и на Таити, и более похожую на мрачную Спарту.

Остров, придуманный Мором, — скучное место, где все города построены по одному плану и все жители облачены в одинаковые одежды. В жилые дома доступ открыт любому, и ими обмениваются каждые десять лет, по жребью. Для уединения места нет. Утопийцы питаются в общих столовых, где их обслуживают рабы. Никому не позволено перемещаться по острову без разрешения, повторное нарушение этого правила влечет за собой обращение в рабство. Женщины не должны вступать в брак в возрасте до восемнадцати лет, мужчины — до двадцати двух. Добрачная половая связь и адюльтер уголовно наказуемы. Граждане не должны вмешиваться в дела управления; за подачу частных “советов по вопросам, представляющим общественный интерес”, они подлежат смертной казни. Свободное от работы время они могут проводить как им угодно, но “не бражничать и не бездельничать”. И разумеется, они понятия не имеют о частной собственности, деньги не ходят и используются только в торговле с внешним миром, ибо Мор считал, что с отменой денег в небытие уйдет всякое зло, преследующее человечество: “Со всем уничтожив употребление денег, утопийцы избавились и от алчности. Какое множество бед отсекли они, какую жатву преступлений вырвали они с корнем! Ибо кому не известно, что с уничтожением денег отомрут обманы, кражи, грабежи, раздоры, возмущения, тяжбы, распри, убийства, предательство, отравления, каждодневно наказывая которые, люди скорее мстят за них, чем их обуздывают; к тому же одновременно с деньгами погибнут страх, тревога, заботы, тяготы, бессонные ночи. Даже сама бедность, которой одной только,

казалось, и нужны деньги, после полного уничтожения денег тут же сама исчезнет”⁶⁷.

Золото и серебро идут на изготовление ночных горшков, из них также делают цепи, в которые заковывают рабов*. Итог — душевное спокойствие и возможность посвящать себя интеллектуальным поискам.

Р. У. Чемберс справедливо заметил, что “немногие книги были поняты так превратно, как “Утопия”: она ввела в английский язык слово “утопический” для обозначения чего-то воображаемого и недостижимого. Но что особо отличает “Утопию”, так это размах, с каким она рисует общественные и политические преобразования, которые впоследствии либо действительно проводились в жизнь, либо воспринимались как программа практической политики. Утопия изображена как строго добродетельное и высоконравственное государство, которое мало кому из нас пришлось бы вполне по вкусу; и все же словом “утопия” мы уверенно обозначаем уютный рай, где жизнь имеет единственный недостаток: она слишком счастливая и устроена слишком идеально, чтобы стать действительностью”**.

Почти то же самое можно сказать и о другой ранней утопии — о написанном в 1602 году (но увидевшем свет лишь тридцатью пятью годами позже) “Городе Солнца” Томмазо Кампанеллы. Доминиканский монах и религиозный фанатик, которого инквизиция двадцать семь лет продержала в тюрьме как еретика, Кампанелла придумал общество, в котором все будет находиться в общей собственности, включая и плоды умственного труда. Город Солнца окружен стеной, и правит им священник по имени Хо (“Метафизик”) совместно с тремя соправителями, один из коих — “Любовь” — управляет половыми отношениями, подбирая пары мужчин и женщин в целях создания самого здорового потомства. Го-

* Четыреста лет спустя, перекликаясь с Мором, Ленин пообещал, что после победы коммунизма в мировом масштабе из золота будут сделаны общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира. [В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 44. М., 1964. С. 225.]

** R. W. Chambers, in Robert V. Adams, ed., *Sir Thomas More, Utopia* (London, 1935), 125. Грэй [Gray] идет дальше, говоря, что “никакая утопия никогда не предлагала таких условий жизни, на которые мог бы согласиться хоть один здравомыслящий человек”. [*Socialist Tradition*, 62.]

род руководит также воспитанием детей. Семья отменена, потому что, на взгляд Кампанеллы, она является причиной жажды материальных благ. Нет здесь, конечно, и частной собственности: “Все у них общее”, даже искусства, почести и наслаждения. Тем самым устраняется себялюбие и остается только любовь к государству. Мятежники караются смертью. Обитатели Города Солнца живут сообща. В отличие от “Утопии” Мора, здесь нет рабов, ибо всякий труд облагораживает. Люди не подвержены ни обжорству, ни пьянству и не знают таких болезней, как подагра или простуда. Коммунистическая фантазия Кампанеллы, как и сочинение Мора, оказала влияние на Ленина⁶⁹.

Эти две ранние утопии имели между собой то общее, что их сочинили священники, для которых идеалом был монастырь. Но если в монастырских кельях обитали люди, оставившие мирскую жизнь добровольно, то в утопические общества всех имелось в виду загнать с помощью государства. Идеальный мир пребывающих в естественном состоянии и ничем не скованных людей превратился, таким образом, в управляемое предприятие, где нет места для индивидуализма и все подчинено обязательным правилам, всякое нарушение которых влечет за собой драконовские наказания. Личная собственность и семья исчезают. Ради насаждения добродетели все утопии устраняют возможность выбора. Ниже, опираясь на слова Фридриха Хайека, мы покажем, что так оно и должно быть, потому что люди мало в чем могут соглашаться друг с другом и любая попытка добиться их единодушия сверх этого минимума требует принуждения.

Мрачное и суровое настроение ума утопистов оказалось в противостоянии с охватившим Западную Европу в те же самые времена кипучим духом индивидуализма и предпринимательства.

4. Начало нового времени

На каком-то рубеже европейской истории, в период, расплывчато определяемый как “начало нового времени”, отношение к собственности серьезно переменялось. Это было следствие существенного расширения торговли, которое началось в позднем Средневековье и было ускорено открытием Нового Света. До того “собственность” означала в основном

владение землей; а поскольку земля была неотделима от прав суверенной власти, обсуждение вопроса о собственности поднимало вопросы о королевской (или папской) власти. С подъемом торговли, однако, собственность в некоторых частях Европы стала также означать капитал; а капитал с политикой не связывали, его воспринимали как личное имущество и в качестве такового безоговорочно считали достоянием собственника. Последовал пересмотр прежних взглядов: если в теоретических дискуссиях предшествующего тысячелетия собственность принималась за неизбежное зло, то теперь допускалось рассматривать ее как положительное благо. Такое к ней отношение преобладало до второй половины восемнадцатого века, когда уравнивательные настроения снова породили нападки на институт собственности, причем на сей раз в неведомом прежде бескомпромиссном духе.

Еще два обстоятельства способствовали укреплению идеи собственности.

Одним был подъем индивидуализма. На человеческое общество стали все больше и больше смотреть как на абстрактное понятие, образуемое сложением индивидуумов, а общественное благополучие считать суммой процветания отдельных личностей. Личное процветание, в свою очередь, стало считаться вознаграждением за разумную жизнь. Ранний флорентийский гуманист Леонардо Бруни (ок. 1370–1444) превозносил богатство как незаменимую предпосылку деятельной политической жизни, которая единственно и достойна называться “добродетельной”. “В конце концов, писал он, нам требуется много материальных благ для наших деяний, и чем величественнее, чем ярче наши доблестные действия, тем больше мы зависим от наличия материальных средств для их осуществления”⁷⁰. Леон Баттиста Альберти (1404–1472), еще более видный итальянский гуманист эпохи Ренессанса, проповедовал “буржуазную” мораль, весьма схожую с той, что тремя веками позже отстаивал Бенджамин Франклин: “Будь добродетелен, и ты будешь счастлив — такова основная идея, с которой выступали (эти два человека). Добродетель равнозначна экономической эффективности; вести добродетельную жизнь — значит управлять своим телом и душой. Отсюда необходимость воздержанности: высшая доблесть для Альберти это “*sobrietà*”, для Франклина — бережливость... Цель мудрого состоит, таким образом, в полнейшем подчинении жизни разуму и экономическому расчету”⁷¹.

Литература шестнадцатого — семнадцатого веков дает много примеров безоговорочной поддержки тех, кто заботится о личном благе, что в более ранние времена обнаружить было бы трудно. Мы отметили это у Кальвина. То же находим и у Спинозы, который писал в своей “Этике”: “Чем более кто-либо стремится искать для себя полезного, то есть сохранять свое существование, и может это, тем более он добродетелен; и наоборот, поскольку кто-либо небрежит собственной пользой, то есть сохранением своего существования, постольку он бессилён”⁷².

Наконец, следует отметить возвращение идеи стоиков о естественном праве. С нею никогда не расставались и в Средние века, но тогда ее отождествляли с волей Божьей, как она выражена в Священном Писании⁷³. В поисках более рационального обоснования земной власти теоретики времени Ренессанса, не довольствуясь ссылками на Священное Писание, обратились к римским литературным и юридическим текстам⁷⁴. Они вернули к жизни начиненную революционной взрывчаткой идею о том, что естественное право возникло прежде действующих законов и что все люди обладают врожденными правами, которые правительства не могут у них отбирать, ибо и само государство создавалось для защиты этих прав.

Хотя местом, где впервые широко развернулась торговля, была Италия, итальянские города-государства не родили никакой экономической доктрины в пользу капитализма. Однако указания на вызванные новыми условиями перемены во взглядах мы находим в замечательном трактате Альберти о семье. Исполненный гордости за то, что родился в состоятельной семье, этот типичнейший житель эпохи Возрождения превозносит богатство без малейших угрызений совести. В его трактате, написанном в форме диалога, ставится знак равенства между материальным благополучием (честно обретенным) и добродетелью. Участник диалога по имени Джанноццо (Вернер Зомбарт видел в нем одного из первых носителей “духа капитализма”) восхваляет блага, доставляемые прибылью от промышленной и торговой деятельности, такие как основательный дом в городе и вилла в сельской местности⁷⁵. Богатство, с которым обращаются должным образом, то есть разумно, не проявляя ни жадности, ни расточительства, составляет важную основу семейного счастья, приносит человеку славу и позволяет ему по-

могать своей стране. Более того, оно является необходимым условием личной свободы и достоинства: “Есть, пожалуй, своего рода рабство в необходимости умолять других людей о помощи в удовлетворении наших нужд. Вот почему мы не презираем богатства, а учимся управлять собой и обуздывать свои желания в нашей свободной и счастливой жизни в условиях благополучия и изобилия”⁷⁶.

Были и возражения, но в целом именно положительная оценка собственности и богатства стала господствовать в западной мысли семнадцатого и восемнадцатого веков.

Одно из ранних обращений к естественному праву как основанию собственности находим у Жана Бодэна в его “Шести книгах общего благополучия” (*Six Books of the Commonwealth* — 1576), первом в новое время трактате, содержащем систематизированное изложение политических взглядов⁷⁷. Задачей Бодэна было обосновать королевскую прерогативу, чем он и занялся, предложив непривычное толкование полномочий суверенного правителя как “не ограниченных ни властью, ни обязанностями, ни временем”⁷⁸. Под отсутствием ограничений “властью” Бодэн понимал свободу от ограничений, налагаемых человеческой волей и человеческими законами (аристотелевскими “договорными законами”). Всегда и всюду, однако, суверен следует божественному и естественному праву, что требует от него соблюдения и уважения прав собственности его подданных на том основании (прежде указанном Фомой Аквинским), что “каждому следует воздать должное”. Своим происхождением государство обязано тому обстоятельству, что, пребывая еще в естественном состоянии, люди почувствовали необходимость в защите своего имущества и заключили между собой политическое соглашение. Основой государства является обладающее собственностью домашнее хозяйство. Власть суверена останавливается у порога домашнего хозяйства; власть (*imperium* или *potestas*) никогда не следует смешивать с собственностью (*dominium* или *proprietas*). Словами Сенеки Бодэн утверждает, что “короли владеют всем, но собственность принадлежит отдельным людям”⁷⁹. Идеальное государство Платона, не знающее различий между “моим” и “твоим”, представляется ему внутренне противоречивым, поскольку “ничто не может быть общественным там, где нет ничего частного”, точно так же, как не может быть короля там, где короли все⁸⁰. Откуда следует, что суверен при всем его всевластии не может присваивать иму-

щество своих подданных. Без их согласия он не должен ни отбирать у них собственность, ни облагать их налогами (произвольное налогообложение равнозначно конфискации), потому что божественное право устанавливает: “никто не может захватывать то, что является собственностью другого”⁸¹. Нет у суверена и права отчуждать какую-либо часть королевских владений, ибо они даны ему в пользование, а не в собственность⁸².

В своем трактате Бодэн сформулировал основополагающий принцип западной политической теории и практики, вызревший уже во времена позднего Средневековья при обсуждении королевских притязаний на церковное имущество, а именно, что государство не может предъявлять никаких прав на чью-либо частную собственность.

Следующим теоретиком, который, используя ссылки на естественное право, значительно помог утвердиться представлению о неприкосновенности собственности, был голландский юрист Гуго Гроций. В новаторском трактате Гроция “О праве войны и мира” (1625), заложившем, как широко признано, основы международного права, речь идет главным образом об отношениях между суверенными государствами, но по ходу дела обсуждаются и гражданские права⁸³. В другой книге, посвященной голландским законам, Гроций уделяет также внимание собственности⁸⁴. Его важнейшая посылка состоит в том, что все люди обязаны “сохранять общественный мир” и что “главным условием мира в сообществе является уважение прав друг друга”⁸⁵, среди которых видное место принадлежит правам собственности.

К теме собственности Гроций обращается в начальных главах второй книги “О праве войны и мира”, где он пытается установить законные причины войны. Среди них он называет прежде всего и главным образом защиту и возвращение собственности: “в случае необходимости ради сохранения имущества можно даже убить похитителя”⁸⁶. Это заявление подводит его к вопросу о происхождении и правовой основе собственности. Изначально, говорит он, люди всем владели сообща, как это, мол, по сей день принято у американских индейцев. Но природное изобилие имеет свои пределы: “Всемогущий Бог сотворил все видимые и осязаемые вещи на благо человечества в целом... Но среди сотворенных вещей некоторые по природе своей таковы, что их достаточно, чтобы ими могли пользоваться все люди, например, солнце,

луна, звезды и небо и до известной степени также воздух и море; других вещей не хватает, именно тех, которыми не могут пользоваться в равной мере все. Среди них... некоторые таковы, что они потребляются немедленно или по ходу их использования, немедленно, как мясо и питье; сама природа этих вещей не допускает их сохранения для совместного пользования; ибо как только некто в единоличном порядке потребляет некоторую часть общих припасов, она служит поддержанию жизни только этого человека и никого больше; здесь-то мы уже и замечаем некое подобие собственности, возникающей из действия, совершаемого в соответствии с законами природы⁸⁷.

Рост населения, развитие честолюбия и жадности побудили людей требовать признания своей собственности на стада, пастбища и пахотные земли по “праву первой заимки”. Произошло это до появления государства.

Как и Бодэн, Гроций цитирует Сенеку, настаивая на необходимости различать власть и собственность. И точно так же, определяя суверенную власть как не подлежащую никакому внешнему ограничению, он считает ее подчиненной естественному праву: это право “настолько незыблемо, что и сам Господь не может его изменить”⁸⁸.

Таким образом, в течение семнадцатого века в Западной Европе широко распространилось мнение, что существует естественное право, которое разумно, неизменно, незыблемо и возвышается над человеческими (действующими) законами; что одним из установлений естественного права является неприкосновенность частной собственности и что суверены обязаны уважать собственность своих подданных, даже отказывая им в праве участвовать в делах государства. Более того, признанием за подданными права на беспрепятственное пользование их собственностью оправдывался отказ им в политических правах, потому, мол, что на основах взаимности подданные должны были предоставить суверену полную свободу действий в управлении государством. Именно это, надо полагать, имел в виду Карл I, когда, стоя на эшафоте, говорил, что свобода и воля людей “состоят в том, чтобы получать от правительства те законы, которые позволяют им в наибольшей степени владеть своей жизнью и своим имуществом. А не в том, чтобы участвовать в управлении государством. Нет, господа, это совсем не их дело”⁸⁹.

5. Англия семнадцатого века: освящение собственности

В семнадцатом веке весь набор идей, связанных с естественным правом, получил применение в кромвелевской и “Славной” революциях в Англии. Вообще-то это тема главы 3, но несколько слов о политических событиях в Англии семнадцатого века следует сказать уже здесь, потому что тогдашним английским теоретикам они послужили основой для обновления представлений о собственности и ее взаимоотношениях с политической властью.

В первой половине семнадцатого века Англия пережила ряд столкновений между короной и парламентом, спорившими о соотношении своих полномочий, в особенности о праве короля вводить налоги без парламентского согласия; в 1649 году этот конфликт завершился казнью Карла I. В годы республики, пришедшей на смену монархии, королевские поместья, всегдашний источник доходов короны, были конфискованы. Возникло небывалое положение: у страны больше не было короля, а вся земельная собственность короны попала в руки государства, которое распродало большую ее долю частным лицам. Эта беспрецедентная ситуация вызвала к жизни новые политические идеи, ставшие плодом впервые предпринятого осмысления взаимосвязи между собственностью и свободой.

В это бурное время понятие “собственность” претерпело революционное по последствиям изменение: оно стало охватывать все, на что индивидуум мог притязать и что мог считать своей собственностью в силу естественного права. Пробраз этой идеи присутствовал уже в средневековой мысли, которая в понятие *suum* включала все, что принадлежало человеку на основании его врожденного или “естественного” права, и относила сюда, помимо земных благ, его жизнь и свободу⁹⁰. Формулу Платона *suum cuique tribuere*, переведенную с греческого на латынь и пущенную в оборот Цицероном, Фома Аквинский приводил как определение справедливости (“постоянное и неизменное стремление дать каждому то, что ему принадлежит”⁹¹.) В середине семнадцатого века Томас Гоббс перевел эту фразу как “воздать каждому ему присущее”, то есть *suum*⁹².

Намеки на такие представления встречались в работах Гроция. “Принадлежащие индивидууму вещи” он делил на

“отчуждаемые” и “неотчуждаемые”. К первым он относил “вещи, которые по своей природе могут принадлежать одному лицу так же, как и другому”. А “неотчуждаемые вещи суть вещи, которые в силу своей природы принадлежат одному человеку настолько, что не могут принадлежать другому, такие как жизнь человека, его тело, свобода, честь”, образующие достояние личности, освященное законами природы. Это разграничение позволило Гроцию отрицать право людей на отказ от свободы и на согласие поступать в кабалу⁹³. Возможно, что эти строки, написанные между 1618 и 1621 годом, когда Гроций отбывал тюремный срок за политическое инакомыслие, являющиеся первым в истории мысли представлением теории “неотчуждаемости” свободы, заложившей основы понятия неотъемлемых прав.

В Англии семнадцатого столетия эти идеи приобретали непосредственно политическое значение. С самого начала конфликта, разгоревшегося между короной и общинами, делались ссылки на “прирожденное право” англичан. Это понятие впервые появилось в шестнадцатом веке, но тогда оно означало наследственное достояние, то есть нечто такое, на что мог предъявлять право родившийся в семье, которая обладала определенными правами, например правом претендовать на корону. Теперь оно обрело много более широкое значение и включило в себя права, которыми любому, пусть и самому убогому, человеку дано пользоваться просто потому, что он человек. Уже в 1621 году палата общин объявила привилегии парламента “древним и бесспорным прирожденным правом и наследственным достоянием английских подданных”⁹⁴. В 1640 году в прениях по поводу назначенного королем сбора “корабельных денег”, широко воспринимавшихся как незаконный налог, один член парламента утверждал, что подданные короля “имеют природенное право на законы королевства”⁹⁵. Шестью годами позже один радикал-левеллер настаивал, что “естественным образом, по рождению все люди одинаково сотворены и обладают одинаковыми правами на собственность, свободу и волю”⁹⁶. Понятие “неотъемлемых прав”, распространяемое английскими радикалами в семнадцатом веке, охватывало, как говорилось, “все, в чем есть разумная нужда”, включая религию человека и даже права собственности на свою жену⁹⁷. Вместе с понятием *suum* это легло в основу современного представления о правах человека, представления, ни где за пределами западной цивилизации не известного.

Прерогативы короны отстаивали несколько теоретиков, среди которых наиболее известен Томас Гоббс. Основные сочинения Гоббса появились между 1640 и 1651 годом, то есть во время и сразу после правления Карла I. Гоббс, по его собственным словам, начал исследование “естественной справедливости”, задавшись вопросом о том, на каком основании кто-либо может утверждать, что нечто ему принадлежит. Он пришел к выводу, что природных корней собственность не имеет, а появляется по соглашению, поскольку, как он считал вместе с большинством своих современников, естественный порядок вещей предполагает, что все блага находятся в ничейной собственности и борьба за обладание ими порождает “войну всех против всех”⁹⁸. Повинуясь инстинкту самосохранения, желая избежать участия в бесконечной драке, люди отказались от права управлять собой и передали его государству. Государство, стало быть, возникает прежде общества и (в противоположность тому, что думали Бодэн и Гроций) не вырастает из него: до появления государства существовали только враждовавшие между собой индивидуумы. Гоббс высмеивал тех, кто принимал свободу “за свое приращенное и доставшееся по наследству право”; свободу, считал он, дарует верховная власть⁹⁹. Частная собственность есть творение государства, которое защищает ее обладателей от посягательств их собратьев. Власть верховного правителя абсолютна, единственная ей альтернатива — анархия, то есть возвращение к исходному состоянию человечества — постоянным раздором. Поскольку своим существованием собственность обязана именно королю, он обладает законным на нее правом: может облагать ее налогами и конфисковывать без согласия подданных.

Доктринерские суждения Гоббса совсем не учитывали того, что после прихода к власти Тюдоров действительно происходило с отношениями собственности в Англии. Более реалистический взгляд на прерогативы короны в отношении ее подданных и их собственности предложил в своей “Океании” (*Oceania* — 1656)* современник Гоббса Джеймс Харрингтон. В “Океании”, одной из первых работ по политической социологии, делалась попытка указать реальные, а не метафизические причины крушения английской монархии. Харрингтон

* James Harrington, *The Commonwealth of Oceana; and A System of Politics*, ed. J. G. A. Pocock (Cambridge, 1992). Это необычный вид утопии: она предполагает сохранение частной собственности.

следовал методологии Маккиавелли, стараясь описывать вещи не такими, какими им следует быть, а такими, каковы они на самом деле. В толковании политических событий Харрингтон исходил из того, что они отражают разногласия не по поводу власти, а по поводу собственности, под которой он понимал землю. Его основная посылка состояла в том, что “всякое правительство представляет интерес, а преобладающий интерес образует вещество и основу правительства”¹⁰⁰. Он первым выдвинул политическую теорию, которая рассматривала политическую власть как побочный продукт экономики или, точнее, как следствие распределения собственности между государством и населением. Он говорил о “равновесии” прав собственности короны и подданных, что в век научных достижений в области механики звучало очень привлекательно. Его главная мысль отличалась и простотой, и новизной: кому принадлежит богатство страны, тот должен главенствовать в ней и политически, в значительной мере потому, что политическая власть держится на военной мощи, а вооруженным силам надо платить. С точки зрения политической и социальной стабильности, более всего занимавшей его ум после волнений 1640-х годов, не может быть положения хуже того, при котором король и аристократы владеют одной половиной национального богатства, а простой народ другой, ибо такое распределение богатства чревато беспорядками и даже гражданской войной, так как первые добиваются неограниченной власти, а вторые — свободы¹⁰¹. Стабильность достигается, когда одна из трех групп приобретает “преобладающий интерес”. Абсолютная монархия утверждается, когда короне земля принадлежит вся или, по крайней мере, на две трети, аристократы закрепляются у власти — когда знать имеет такую же долю. Когда две трети земли или более принадлежат народу, торжествует демократия¹⁰². Верховная власть рано или поздно следует модели распределения богатства*. Коренную причину крушения монархии в 1649 году Харрингтон усматри-

* Это суждение не означает, однако, что Харрингтон “предвосхитил” Маркса, как утверждают некоторые историки. По Марксу, собственность (на средства производства) определяет природу и действия правительств, которое само является послушным орудием в руках собственников. По Харрингтону, как и по Марксу, распределение собственности определяет природу государства и его политики, но государство является и самостоятельной силой. По Марксу, государство — это орудие, которое служит частным интересам; по Харрингтону, оно с ними соперничает.

вал в земельной политике ранних Тюдоров, которая облагодетельствовала йоменов за счет короны и знати. Генрих VII поделил крупные поместья между мелкими собственниками, а Генрих VIII продолжил эту линию, передав им и конфискованные церковные владения. По Харрингтону, к началу правления Елизаветы соотношение земельной собственности в Англии решительно переместилось от короны и аристократии к простолюдинам, каковыми он считал джентри и йоменов¹⁰³. Эти новые собственники смогли выставить более многочисленную армию, чем корона, а потому и взяли верх в гражданской войне. Они также потребовали и в конце концов получили голос в управлении страной. С мнением Харрингтона, что в его время большинство англичан были в той или иной степени собственниками, современные историки согласны¹⁰⁴.

Последователем Харрингтона был Генри Невиль, сочинение которого “Воскрешенный Платон” (*Plato Redivivus*) вышло в свет в 1681 году¹⁰⁵. Но еще в 1658-м, за два года до “Океании” Харрингтона, Невиль призывал палату общин обратить внимание на произошедший в Англии резкий сдвиг в отношениях собственности: “Общины до Генриха VII никогда не голосовали против. Все зависело от лордов. В те времена трудно было бы найти в этой палате так много джентльменов, владеющих землей. Сейчас джентри не зависят от лордов. Сила на стороне джентри. Вся земля в их руках”¹⁰⁶.

Невиль принимал исходную мысль Харрингтона о том, что всюду и во все времена “господство основывается на собственности” и характер правления определяется распределением собственности между правителем и подданными¹⁰⁷. В отличие от таких азиатских монархий, как персидская, ассирийская и Оттоманская (он мог бы добавить: и русская, если бы знал о ней), где монарх является “абсолютным собственником всех земель”, в Англии монарху принадлежит очень мало: по оценке Невилля, после реставрации король удержал в своей собственности всего лишь десятую часть земли, тогда как остальные девять десятых перешли в руки его подданных. “Последствия вот какие: естественная часть нашей (системы) управления, а ею является власть, следом за собственностью перешла в руки народа; в то же время искусственная ее часть, а это пергамент, письменно удостоверяющий форму правления, сохраняется как ее каркас”.

Из-за того, что принцы “расстались с унаследованным”, “король должен брать свой ненадежный доход из народных

кошельков и в мирное время обращаться к парламенту за хлебом насущным... И этого одного... достаточно, чтобы поставить короля в зависимость от его народа...”¹⁰⁸.

Такое положение вещей обеспечивает народу Англии “полную свободу в том, что касается жизни, собственности и личности каждого”¹⁰⁹. В противоположность этому, во Франции король, финансово независимый от подданных, может вести себя, как деспот.

Харрингтон и в меньшей степени Невиль сильно повлияли на политическую жизнь как Англии, так и Соединенных Штатов*, хотя и не совсем так, как, возможно, хотели бы или ожидали, поскольку ссылками на их теории действующие политики оправдывали введение имущественных цензов и для избирателей, и для законодателей¹¹⁰.

Сильнейшим образом повлиявшая на умы работа Джона Локка “Два трактата об управлении” (*Two Treatises of Government*) явилась, с точки зрения развития идеи собственности, шагом назад, потому что в основе ее лежало метафизическое понятие естественного права, а не политическая социология. Локк взялся опровергнуть утверждения, сходные с гоббсовскими и содержащиеся в роялистском трактате Роберта Филмера “О патриархате” (*De Patriarcha*), написанном в начале века, но увидевшем свет в 1680 году. Сочинение “Два трактата” вышло анонимным изданием в 1690-м, через два года после высылки Якова II и восшествия на трон Вильгельма и Марии, и долгое время его ошибочно воспринимали как попытку обосновать Славную революцию; на самом же деле оба трактата были написаны задолго до нее**.

В книге Локка собственность рассматривается как источник и *raison d'être* любой системы правления. Многие комментаторы считают, что “собственность” у Локка имеет два

* Джон Адамс хвалил Харрингтона за открытие политического “баланса” и сравнивал его с Уильямом Гарвеем, создателем учения о кровообращении. [*The Works of John Adams*, ed. Charles Francis Adams, IV (Boston, 1851), 428.] “Харрингтон, — писал он, — показал, что власть всегда следует за собственностью”. [*Ibid.*, IX (Boston, 1854), 376.]

** Современные исследования показали, что “Два трактата” были составлены в 1679–1680 годах, то есть за десятилетие до Славной революции. [Peter Laslett in John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett (Cambridge, 1960), 35.]

разных значения: иногда он говорит о ней в узком смысле, имея в виду некое имущество (“поместье”), в других же случаях он употребляет то же слово в широком смысле, обозначая им общие права, вытекающие из естественного права. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что он последовательно вкладывает в это понятие именно второй, широкий смысл. Одно из его пояснений: “Когда здесь и в других местах я говорю о собственности, следует понимать, что имеется в виду собственность, которой люди располагают в отношении своих личностей, как и материальных благ”, то есть в отношении “жизни, свобод и имущества”¹¹¹ — всего того, что по-латыни называется *suum*, а по-английски “достоянием по праву” (“propriety”) и входит в сферу, где каждый человек сам является верховным владыкой* . Подобно Бодэну, Гроцию и Харрингтону и в отличие от Гоббса и Филмера, Локк считал, что собственность предшествует верховной власти. Естественным состоянием была не свирепая обстановка джунглей (как полагал Гоббс), а счастливая жизнь в условиях всеобщей свободы и равенства.

А раз так, почему же человечество порвало с этой благословенной жизнью и предпочло ей существование на основе общественных и политических соглашений? Ответ Локка: ради собственности (понимаемой всегда в широком смысле)¹¹². С развитием торговли и изобретением денег явились жадность и распри. И тогда люди пожертвовали своей неограниченной свободой и равенством ради своей безопасности и своей собственности; в итоге появилось государство. И это остается его главной задачей: “*политической властью... я считаю право создавать законы... для регулирования и сохранения собственности...*”¹¹³, откуда по необходимости следует, что “сохранение собственности является целью правительства, и именно ради этого люди вступают в общество”¹¹⁴. Таким происхождением государства определяется то, что оно держится или падает в зависимости от способности выполнять эту свою высшую задачу. Локк заявляет о праве народа восставать против монарха, который с этой задачей не справляется.

* Это представление было принято в США и вошло в Пятую поправку к Конституции, запрещающую правительству лишать граждан “жизни, свободы и собственности” без надлежащего по закону разбирательства.

Локк выдвинул идею, что источником материального богатства является труд, и эта мысль очень понравилась стране, в которой значительную часть жителей составляли самостоятельные фермеры, ремесленники и лавочники. По Локку, собственность образуется тогда, когда человек прилагает свой труд к ничейному предмету. И дело обстоит именно так, потому что мы, конечно же, “обладаем собственностью” на самих себя и, в расширительном смысле, на все, что мы производим: “Хотя земля и все низшие существа принадлежат сообща всем людям, все же каждый человек обладает некоторой *собственностью*, заключающейся в его собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. Мы можем сказать, что *труд* его тела и *работа* его рук по самому строгому счету принадлежат ему. Что бы тогда человек ни извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим *трудом* и присоединяет к нему нечто, принадлежащее лично ему, и тем самым делает его своей *собственностью*. Так как он выводит этот предмет из того состояния общего владения, в которое его поместила природа, то благодаря своему *труду* он присоединяет к нему что-то такое, что исключает общее право других людей. Ведь, поскольку этот *труд* является исключительной собственностью трудящегося, ни один человек, кроме него, не может иметь права на то, к чему он однажды его присоединил, по крайней мере в тех случаях, когда достаточное количество и того же самого качества (предмета труда) остается для общего пользования других”*.

К словам Декарта “мыслю — следовательно, существую” Локк, по сути дела, добавил “существую — следовательно, имею собственность”: я обладаю собственностью на самого себя, то есть на все, что создаю. Более того, представление, что простейший вид нашей собственности это мы сами, то есть наша личность, наше тело, означает, что собственность

* Locke, *Two Treatises of Government*, 305–6. [Локк, “Два трактата об управлении”. Сочинения в трех томах. Т. 3. С. 77.] Локк не был первым, кто выдвинул это соображение; на полвека ранее оно появилось у левеллера Ричарда Овертона [Schlatter, *Property*, 132–33]. А еще до того, двумя тысячелетиями раньше, Перикл говорил, что каждый афинянин способен “сам по себе... проявить свою личность” (см. ниже, стр. 161). В недавнее время идея была подхвачена Робертом Нозиком [в *Anarchy, State, and Utopia* (New York, 1974), 171 ff.].

по необходимости предполагает свободу. Ибо сказать, что мы “принадлежим себе”, то есть являемся своей “собственностью”, равносильно утверждению, что мы вольны располагать собой, в чем и состоит смысл свободы.

Как ни привлекательна и даже как ни очевидна трудовая теория собственности, но это палка о двух концах, потому что ее можно использовать и для нападков на собственность. Как оправдать унаследованное богатство, к созданию которого не были приложены никакие личные усилия? Или что сказать о тех, кто, создавая продукцию на фермах либо на заводах, в собственность ее отнюдь не получает? Как мы увидим ниже, радикальные, антисобственнические идеи, подсылаемые теорией Локка, в девятнадцатом веке были использованы социалистами и анархистами, говорившими, что при “капиталистическом” способе производства трудящимся массам не достаются плоды их труда и поэтому средства производства подлежат национализации¹¹⁵.

Концепция Локка имела, однако, ясный и однозначный политический смысл: король не должен нарушать ни одно из прав собственности своих подданных; если он такое допускает, то оказывается в “состоянии войны” с ними и повиноваться ему не следует¹¹⁶.

Частная собственность неприкосновенна — этот принцип в Англии и ее владениях стал в семнадцатом веке общепринятым. При всем том звучали и голоса несогласных. С самыми радикальными возражениями выступали так называемые *диггеры* (“копатели”). Основатель и предводитель этого развернувшегося в 1648–1652 годах движения Джерард Уинстенли призвал горстку своих сторонников “перекопать” общинные пустоши, на которые приходилась немалая часть английской земли. Этим они и занимались, пока правительство и фермеры объединенными усилиями не остановили их и не прогнали с общинных земель. Уинстенли пошел, однако, дальше этих противозаконных действий и занялся разработкой теории коммунистического толка. Один из постулатов гласил, что ни земля, ни плоды ее не должны быть предметами купли-продажи¹¹⁷. В особенности обращает на себя внимание его неприязнь к интеллектуальной собственности: ученые, монополизировавшие знания, это, по его словам, такое же зло, как и помещики, монополизировавшие землю. Его идеалом была грубая тирания в стране, где все трудятся, а за уклонение от работы секут или отрубает голову¹¹⁸.

Представления о священном характере собственности и соответствующем ему политическом устройстве, наполненные в семнадцатом веке революционным содержанием, в восемнадцатом столетии, по крайней мере в Англии, приобрели консервативный смысл. На сей раз широко распространилось мнение, что, коль скоро политика следует за собственностью, законное право участвовать в политической жизни имеют только обладатели собственности. Возражая радикалам-левеллерам, шумно требовавшим всеобщего избирательного права, Генри Айртон, зять Оливера Кромвеля, выдвигал потрясающие своей нелогичностью доводы: “Хочется, чтобы все мы задумались, на каком основании вы утверждаете, что все люди должны иметь право участия в выборах. На основании естественного права? Если это служит для вас основанием, тогда, я полагаю, вы должны отрицать также и собственность... Согласно тому же естественному праву, которое, как вы говорите, дает одному человеку равное с другим право выбирать того, кто будет им управлять, согласно тому же естественному праву он имеет равное право на все блага, которые он видит, на мясо, на напитки, на одежду, право брать все это и использовать для поддержания своей жизни”¹¹⁹.

Один из публицистов-вигов предлагал более разумные доводы: “Признано, что всякое правительство создается человеком, и создавать его должны те люди, которым принадлежит территория, подлежащая управлению. Подобным же образом должно быть признано, что английская территория принадлежит фригольдерам Англии, и, стало быть, им же принадлежит естественное право устанавливать такое правительство, какое им будет угодно”¹²⁰.

Согласие с этой позицией влекло за собой два следствия. Во-первых, политическая власть ставилась в зависимость от землевладельцев. Во-вторых (по афинскому образцу), от участия в политической жизни отстранялся всякий, кто не имел земельной собственности. В Англии, где земли было немного, применение этого принципа вело к довольно резкому сокращению круга лиц, наделенных избирательными правами. В североамериканских колониях, где некоторые штаты, последовав английскому примеру, признали наличие земельной собственности необходимым условием участия в выборах, но где при этом в земле недостатка не было, ограничительное действие этого принципа ощущалось гораздо меньше¹²¹.

В последние годы восемнадцатого столетия появился новый подход к вопросу о собственности. Английские либералы, ранее использовавшие теорию естественного права в борьбе против королевской власти, были напуганы тем, какое применение эта теория получила у французских *философов-радикалов*. В результате некоторые предпочли теперь оправдывать собственность ссылками на ее полезность и указывать, что, каковы бы ни были ее пороки с нравственной точки зрения, она, тем не менее, лучше всего, что предлагается взамен, поскольку наиболее благоприятствует общему процветанию. Первым с таким взглядом на вещи выступил Дэвид Юм, который представил собственность всего лишь как “соглашение”, которое люди уважают ввиду его полезности. “Что является собственностью человека? — спрашивал он, и отвечал: — “Любая вещь, которой он, и только он, может пользоваться по закону. Но каким правилом обладаем мы, чтобы быть в состоянии различать такие вещи? Здесь мы должны обратиться к указам, обычаям, прецедентам, аналогиям и сотне других обстоятельств, из коих некоторые являются постоянными и неизменными, а некоторые изменчивыми и произвольными. Но конечным пунктом, в котором все явно завершается, является интерес и счастье человеческого общества”¹²².

Из чего именно складываются эти “интерес и счастье”, разъяснил самый влиятельный экономист того времени Адам Смит. На его взгляд, частная собственность доказала свою ценность тем, что подняла производительность. Как раз этим он обосновывал и свой вывод о запретительно высокой стоимости рабского труда, поскольку “человек, не имеющий права приобрести решительно никакой собственности, может быть заинтересован только в том, чтобы есть возможно больше и работать возможно меньше”¹²³. Как увидим, два столетия спустя, ввиду непреодолимых трудностей с нравственным оправданием собственности, утилитаристские доводы в ее пользу в основном вытеснили противостоящие им теории.

6. Франция восемнадцатого столетия: на собственность начинают нападать всерьез

Если в Англии прославление частной собственности, при поддержке многочисленного слоя ее обладателей, шло полным ходом, то в монархической Франции впервые было раз-

вернуто широкое на нее наступление*. Направление ему задавали интеллектуалы, которые вычерчивали схемы земного рая, вдохновляясь сочинениями древних авторов и рассказами путешественников о далеких землях. Этими стараниями была создана целая литература *экзотизма*, возводившая в идеал жизнь неевропейцев¹²⁴. Важнейшим отличительным признаком этой райской жизни считалось отсутствие у беззаботных дикарей понятий “мое” и “твое”. Подразумевалось, что современное человечество, испорченное институтом собственности, обретет счастье, стоит ему лишь избавиться от его тлетворного влияния.

Если англичан обсуждать происхождение и природу собственности побудили строго прагматические соображения, вызванные попытками короля осуществлять власть и править по своему произволу, особенно его самоуправством в налоговых делах, то во Франции интерес к вопросу о собственности вырос из философского неприятия существующего мира. Французские философы считали этот мир извращением мира подлинного или идеального, мира, каким он должен и может быть. Навестив Руссо, который в то время более чем кто-либо другой из его соотечественников настраивал общественное мнение Франции против частной собственности, Джеймс Босуэлл услышал из уст хозяина дома: “Сэр, мне совсем не нравится этот мир. Здесь я живу среди фантазий, я терпеть не могу мир, каков он есть... Человечество вызывает у меня отвращение”¹²⁵. Несдержанно, но честно: в утопиях всегда находили себе выход человеконенавистнические чувства.

Как ни соблазнительно утверждать, что у любой политической или общественной идеи есть свои социальные и экономические корни, трудно все же обнаружить почву для той неприязни, какую во Франции ее мыслители восемнадцатого века питали к собственности. В имевшем место народном недовольстве общественными и экономическими условиями жизни выражалось не осуждение собственности, а желание получить ее побольше. Философский социализм был движением, направляемым “теми людьми, которые”, по словам

* “Эгалитаристские доктрины имели распространение только во Франции и не получали сколько-нибудь значительного отклика в Англии либо других странах континента, где прямые нападки на частную собственность по существу не были известны вплоть до 1789 года”. [Frank E. Manuel and Fritzie P. Manuel, *Utopian Thought in the Western World* (Cambridge, Mass., 1979), 357.]

Троллопа, “пусть и мало что успели создать, зато многое сумели подвергнуть сомнению”. В их образе мысли центральная роль отводилась материалистическому учению о человеке. Теория познания, изложенная Локком в его “Опыте о человеческом разумении” (*The Essay on Human Understanding* — 1690) и утверждавшая, что никаких “внутренних” идей у человека нет, а возникают они исключительно на основе чувственных восприятий, в Англии оставалась малопонятной гносеологической доктриной, лишенной какого-либо политического значения. Во Франции, однако, ее приложили к политике и вывели из нее убеждение, что посредством должного изменения окружающей человека среды единственного источника его идей можно выправить человеческое поведение и создать идеальное общество. А отличительной чертой идеального общества, как прорицал еще Платон, будет равенство.

Наступление восемнадцатого века было, таким образом, отмечено решительным разрывом с традиционными представлениями о природе человека. На протяжении тринадцати столетий после победы христианства считалось, что грехопадение закрыло человеку дорогу к совершенству и обратило его в испорченное существо, которое надо держать в узде, без чего оно непременно собьется на путь порока. Христианский взгляд был консервативным в том смысле, что природа человека виделась ему как не поддающаяся изменениям. Но теперь явилось другое видение, и со временем оно возобладало в западной мысли; из него следовало, что учение о первородном грехе должно быть полностью отвергнуто. Теперь утверждалось, что не существует никакой природы человека, существует только поведение человека, и оно определяется социальной и интеллектуальной средой. Задачей философа стало разработать общественную систему, которая сделала бы практически невозможным порочное поведение человека. Стоило принять эту точку зрения — а век спустя она стала общепринятой у социалистов и либералов, — и уже не оставалось никаких теоретических преград для переименования социальной и интеллектуальной среды во имя совершенствования человека.

Начиная с Гельвеция, французские философы считали, что решающая роль в необходимой перестройке воззрений и поведения людей принадлежит “образованию”, под которым, помимо школьного обучения, они понимали воздействие, оказываемое на человека его окружением и законами. В част-

ной собственности они видели основное препятствие для добродетельной жизни, ибо она разрушает личность и рождает невыносимое общественное неравенство.

Показательным образцом направленной против собственности французской литературы восемнадцатого века может служить анонимно изданный в 1755 году “Кодекс природы” (*Code de la Nature*), автор которого прикрылся псевдонимом Морелли, и его истинное имя осталось тайной, не разгаданной по сей день. Морелли отверг точку зрения, согласно которой людей надо принимать такими, каковы они суть в их нынешнем состоянии, потому что они, как он был убежден, испорчены своим прошлым: их истинную природу изуродовали общественные институты, особенно частная собственность. “Естественные” люди и сейчас, мол, существуют среди американских индейцев, которые сообщают охотятся и ловят рыбу, не имея никакого понятия о личном имуществе. Современного же человека совершенно извратила жажда собственности: “Единственный порок, какой я знаю во вселенной, — это *жадность*; все другие пороки, какое бы название им ни давали, представляют собою только его оттенки и степени: это Протей, Меркурий, это основа, которая приводит ко всем порокам. Анализируйте тщеславие, фатовство, гордость, честолюбие, хитрость, лицемерие, злодейство; разложите на составные части даже большинство наших лжедобродетелей — всюду вы получите в конечном результате этот тонкий, губительный элемент любостяжание”¹²⁶.

Морелли начертал своего рода конституцию, призванную устроить жизнь человечества на “естественных” началах. Первая ее статья гласит: “В обществе ничто не будет принадлежать отдельно или в собственность кому бы то ни было...”¹²⁷ Отменяя собственность, Морелли рассчитывал создать “условия, в которых человеку по существу невозможно будет предаваться пороку или проявить какую-либо зловредность”¹²⁸. У Морелли, как и в других утопиях, общество будущего устанавливает для себя мрачную жизнь по строгому расписанию.

Более всего, однако, антисобственнические чувства во Франции были подогреты не напыщенным трактатом Морелли, а сочинением Жана-Жака Руссо “Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми” (1755), представленным на конкурс в Дижонскую академию как ответ на вопрос: “Каков источник неравенства между

людьми, и согласуется ли оно с естественным правом?” Работа Руссо, отвергнутая академией, поскольку рукопись превышала установленный объем, открывалась строками, которые стали знаменитыми благодаря частому их цитированию, хотя они и не отличались никакой оригинальностью, а лишь воспроизводили настроения античных классиков: “Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: “Это мое!” и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы себе подобным: «Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли — для всех, а сама она — ничья!»*"

Этот всплеск красноречия, лишенный какой-либо опоры в свидетельствах истории, отразил ту особую методологию Руссо, которая устанавливала, что чем больше мы знаем, тем меньше понимаем. Чтобы понять человека в его первоначальном состоянии, говорил Руссо, надо закрыть глаза на факты и рассуждать “гипотетически” или “условно”¹²⁹. В своем “Рассуждении” Руссо представил бессвязное описание того, как из первоначального равенства выросла частная собственность и как она породила ревность и зависть, рабство и войны. Существующее имущественное неравенство он изобразил как зло, но упразднить частную собственность, как ни странно, не предложил. Из его рассуждений следовало, что вред заключается не в собственности как таковой, а в ее неравном распределении; собственность, нажитую честным трудом, он всецело одобрял.

В тогда же опубликованном “Рассуждении о политической экономии” Руссо, примечательно непоследовательный в своих писаниях, назвал право собственности “самым священным из всех прав граждан и в некоторых отношениях более важным, чем сама свобода”. Это “подлинная основа гражданского общества”¹³⁰. Но потом в наиболее знаменитой своей

* Jean-Jacques Rousseau, *Discourse on the Origin of Inequality* (Indianapolis, 1992), 44. [Жан-Жак Руссо. *Трактаты I* Пер. А. Хаютина. М., 1969. С. 72.] Морелли, книга которого вышла в том же году, твердил то же самое, хотя и не столь красочным языком. [Morelly. *Code de la Nature* (Paris, 1910), 34.] Читатель припомнит, что и Вергилий, и Овидий описывали золотой век как не ведавший никаких размежеваний земельной собственности.

книге “Общественный договор” (1762) он снова подсказывал, что, поскольку собственность существует с одобрения общества, “право, которое каждое частное лицо имеет на свою собственную землю, всегда подчинено тому праву, которое община имеет на все земли...”¹³¹. Однако именно его антисобственнические взгляды — представления об “искусственности” собственности и “естественности” коммунизма, о том, что государство имеет законное право определять способы использования собственности, — оказали наибольшее влияние на западную мысль*. Благодные чувства, высокопарные слова, путанные мысли и пренебрежение к действительности были тут представлены как раз в той смеси, которая способна была привлечь интеллектуалов, не желавших, подобно ему самому, “терпеть мир каков он есть”. Робеспьер, говорят, перечитывал “Общественный договор” ежедневно¹³².

“С середины восемнадцатого века, — пишет Франко Вентури, — никогда больше не дано было исчезнуть представлению, что отмена собственности могла бы изменить саму основу человеческого общества, могла бы покончить с традиционной моралью и со всеми унаследованными от прошлого политическими формами”. Коммунизм родился “в середине пути, пройденного восемнадцатым веком”¹³³, — до появления промышленного капитализма и вызванного им вопиющего социального неравенства. Это было чисто умозрительное построение, появившееся в воображении мыслителей, обративших свой взор вспять, к золотому веку. Он обладал неотразимой привлекательностью в глазах интеллектуалов, любивших перекладывать груз своих личных проблем на общество, в котором им выпало жить. Ибо в мире совершенно равного распределения материальных благ высший социаль-

* Два века спустя английский историк-социалист Р. Г. Тоуни по существу повторил Руссо, заявив, что “личность не имеет никаких абсолютных прав... все права ... условны и производны... они зависят от цели или задачи общества, к которому личность принадлежит. Они обусловлены тем, что их использование должно содействовать, а не препятствовать достижению этой цели. А на практике это означает, что, если общество хочет быть здоровым, людям следует видеть в себе не обладателей прав, а облеченных доверием исполнителей функций и орудия достижения общественной цели”. [R. H. Tawney, *The Acquisitive Society* (New York, 1920), 51]. Гитлер держался тех же взглядов на права, включая права собственности; см. ниже, стр. 288.

ный статус и сопутствующая ему власть зависели бы от умственных способностей, которые они считали своим исключительным достоянием.

Широкое распространение антисобственнических настроений не привело их, однако, к безраздельному господству во Франции восемнадцатого века, ибо существовали еще и французы, мыслившие практически и видевшие достоинства собственности. Самые влиятельные среди них принадлежали к школе физиократов, державшейся понятия естественного права и рассматривавшей собственность как его неотъемлемую часть. Ведущий физиократ Мерсье де ля Ривьер повторял Локка, заявляя: “Именно от природы каждому человеку дана исключительная собственность на саму его личность и на все вещи, приобретенные его стараниями и трудами”¹³⁴. “Собственность можно рассматривать как ствол дерева, из которого ветвями растут все общественные институты”¹³⁵. Согласно физиократам, земля представляет собой самый главный вид собственности, потому что лишь сельское хозяйство дает прирост существующему богатству. Государством должны управлять землевладельцы, ибо только о них можно сказать, что им принадлежит отечество: отечество (*patrie*) и наследственное имущество (*patrimoine*) суть одно и то же¹³⁶.

Под сильным влиянием физиократов французские революционеры держались за собственность как за священный институт. В мае 1789 года Генеральные штаты составили проект своих требований (*cahiers de doléances*), определив при этом свободу и собственность как священные права, которые государство обязано соблюдать¹³⁷. Освящение прав собственности служило основанием для отмены феодальных прав, которые революционеры объявили отнюдь не правами, а привилегиями. В августе того же года Национальное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина, которая провозглашала собственность одним из “естественных и неотъемлемых прав человека”¹³⁸. Статья 2 конституции, принятой Конвентом в 1793 году, устанавливала, что “равенство, свобода, безопасность и собственность” принадлежат к числу основных и неотъемлемых прав человека. Тем же духом проникнут кодекс Наполеона (*Code civile*) 1804 года, который отбросил все ограничения собственности, сохранявшиеся с феодальных времен, и взял из римского права, слово в слово, ее определение: “Собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами абсолютнейшим образом

при условии, что это пользование не будет таким, которое запрещено законами или регламентом.

Никто не может быть принуждаем к уступке своей собственности, если только это не делается ради общего блага и если заранее не предоставляется справедливое возмещение”¹³⁹.

Добиваясь низложения аристократии и отмены ее привилегий, французские революционеры опирались на принцип частной собственности, но в своей законодательной практике последовательными его сторонниками себя не показали. Они без компенсации секвестировали имущество церкви и эмигрантов; они также поставили под государственный контроль передачу собственности по наследству. В оправдание таких своих действий они говорили, что раз, мол, собственность была учреждена государством, ему, государству, принадлежит и право регулировать ее в общественных интересах. Так, в 1791 году в Национальном собрании по ходу дебатов о свободе граждан распоряжаться собственностью, полученной по завещанию, Мирабо провозгласил, что право собственности есть творение общества, и поэтому общество посредством законов не только защищает это право, но может и определять способы его использования. Это было перепевом реакционных доктрин Гоббса и Филмера, что прикрывалось подменой слов — говорилось “общество” вместо “государство”. Якобинцы, а вслед за ними еще более радикальные коммунисты повели широкое наступление на частную собственность.

Это были предвестники будущего обращения с собственностью. Понятие неотчуждаемости частной собственности вскоре вынужденно отступило под натиском антисобственнических страстей, которые стали задавать тон господствующим умонастроениям с середины девятнадцатого столетия и до конца двадцатого.

7. Социализм, коммунизм и анархизм

Девятнадцатый век стал свидетелем разросшегося несоответствия между возобладавшими настроениями в отношении собственности и действительной ролью, какую она приобрела в общественной жизни. В Европе, где в частных руках сосредоточилась огромная масса новообразованных капиталов, значение собственности достигло наивысшего уровня.

Собственность обрела статус нерушимого института, защищаемого конституциями от угроз, исходящих от государства, и гражданским правом от посягательств со стороны сограждан. В то же время общественное мнение воспринимало ее все более враждебно: впервые в истории ощутимый вес набрали требования государственного регулирования или даже отмены собственности. Ранее, если не считать звучавших время от времени голосов отдельных инакомыслящих, таких как Томас Мор, Кампанелла или Уинстенли, критика собственности направлялась против ее крайних проявлений — неравенства в ее распределении и порождаемой ею жадности. Теперь, однако, собственность подверглась нападкам как институт, которому внутренне присуща безнравственность. Его традиционное оправдание в виде ссылки на естественное право было поставлено под сомнение:

- Из представлений о собственности как естественном праве следуют некоторые неожиданные выводы, подрывающие основы самих этих представлений. Если собственность важна для развития естественной свободы человека, она не должна быть исключительным достоянием и отвратительной привилегией немногих; все тогда должны быть обладателями собственности. Та самая теория естественных прав, которая объявила частную собственность священной и ради нее разрушила замок феодализма, вылилась и в противоположную концепцию, а именно в коммунизм... Таким образом, полное отрицание индивидуализма логически вытекает из представлений о (высшей самооценности) личности¹⁴⁰.

Говоря словами Пьера-Жозефа Прудона, одного из основателей анархизма, “если свобода человека священна, она священна в отношении каждого... если для своего осуществления, то есть для реального проявления в жизни, она требует собственности, тогда материальные приобретения необходимы всем...”¹⁴¹.

Очевидно, что этому повороту в настроениях каким-то образом содействовало распространение демократии. Ибо с расширением избирательного права, а затем и превращением его во всеобщее правительство оказались в зависимости от массы избирателей, которые, обладая незначительным имуществом, если вообще обладая хоть чем-нибудь, требовали от государства обеспечить более справедливое распределение национальных ресурсов. Со временем в демократических

странах это требование стало удовлетворяться с помощью таких установлений, как налог на наследство и прогрессивная шкала налогообложения, и финансированием программ социальной поддержки за счет полученных таким образом средств. В странах с тоталитарными режимами это привело либо к повальным экспроприациям, либо к государственно-му регулированию производственных ресурсов, так что собственность на них превратилась в условную; в обоих случаях нарушение прав собственности служило упрочению власти правителей за счет частных собственников.

Другим фактором роста антисобственнических настроений были изменения в природе собственности. Хотя торговля и промышленность, а также созданные ими богатства в денежной форме существовали с самых ранних дней писаной истории и хотя денежный капитал играл существенную роль в западной экономике со времен позднего Средневековья, все же до девятнадцатого столетия “собственность” на практике означала “земля”. Даже в Англии восемнадцатого — начала девятнадцатого веков, в разгар промышленной революции, споры о собственности вращались вокруг земельных владений: до принятого в 1867 году закона о реформе избирательное право в Англии предоставлялось исключительно владельцам или арендаторам земельных участков в городе или в сельской местности, оцениваемых во столько-то или приносящих такой-то доход. В романах Треллопа, написанных в годы расцвета викторианской эпохи, когда нация полным ходом шла к тому, чтобы отправить сельское хозяйство на обочину своей экономической жизни, сюжетные узлы завязываются вокруг собственности (наряду с любовью), причем собственность означает поместья и приносимые ими доходы. Понадобилось время для общественного осознания того факта, что капитал заместил земельное владение в качестве основной формы богатства.

Далее, взаимоотношения землевладельца с его арендаторами или работниками сильно отличаются от тех, что связывают промышленника с его наемной рабочей силой. В первом случае физическое соседство и общая зависимость от капризов природы создают единение наподобие политического. Складываются личные связи, унаследованные порой от прежних поколений. Все это приводит к тому, что имущественные различия воспринимаются как “естественные” и оказываются не столь раздражающими. Во втором случае

взаимоотношения имеют безличностный характер: работник делает свою работу, хозяин оплачивает его труд, и тем их связь друг с другом исчерпывается. Если нужда в работнике отпадает, его увольняют. В начальных фазах индустриализации бывали случаи, когда отношения между работодателем и работником строились по-деревенски, оставались патриархальными, но в зрелой капиталистической экономике хозяин не несет ни моральной, ни социальной ответственности за своих работников. В той мере, в какой эта ответственность признается, она ложится на государство. Не подлежит сомнению, что согнать с земли фермера-арендатора есть дело намного более хлопотное, чем уволить с завода рабочего. Соответственно, имущественные различия становятся более ощутимыми, и мириться с ними труднее.

Первая половина девятнадцатого столетия отмечена безудержным ростом капиталистических состояний и приливом враждебного к ним отношения. Сначала, как и в прошлом, эти враждебные чувства замыкались на неравенстве. Однако во второй половине века они вылились в общее наступление на институт собственности как таковой. За исключением классического либерализма, которому пришлось все глубже увязать в обороне, большинство политических движений и идеологий второй половины девятнадцатого века — от крайне радикальных, вроде анархизма и коммунизма, до либерализма и даже национализма — взяли на вооружение критику частной собственности.

Задним числом легко видеть, что ярость нападок подогревалась убеждением, что капитализм и развитие промышленности разрушают остатки социального равенства и безопасности, обрекая человечество на жизнь в условиях постоянно возрастающего имущественного неравенства. Это убеждение наиболее полно выразилось в марксистской теории “обнищания”, согласно которой капитализм беспощадно погружает рабочий класс в нищету, пока у того не остается иного выхода, как восстать и упразднить собственность. В этих своих рассуждениях теоретики социализма упустили из виду два обстоятельства. Первое состояло в том, что даже в исходной, наиболее жестокой фазе индустриализации, в конце восемнадцатого — начале девятнадцатого веков, в Великобритании, стране-зачинательнице капиталистического промышленного развития, положение низших классов было далеко не безнадежным, на что указывают падение уровня

смертности и устойчивый рост населения¹⁴². Второе, чего они недосмотрели, это дальнейшее движение новой экономики, в ходе которого создаваемое ею богатство со временем просачивалось “вниз” на благо всего населения, так что к концу столетия смешными стали предсказания об “обнищании” и якобы неизбежной социальной революции в передовых промышленных странах. Действительно, в двадцатом столетии социальные революции происходили исключительно в аграрных странах с допромышленной и докапиталистической экономикой, со слабо развитыми правами собственности и, соответственно, низкими темпами экономического роста.

Как и следовало ожидать, исходя из того, что мы знаем о взглядах французских философов, теоретическое наступление на собственность под знаменем коммунизма впервые развернулось во Франции, причем в то самое время, когда собственность праздновала здесь свои величайшие юридические победы, закреплявшие ее как основу свободы. В 1790-е годы несколько французских революционеров во главе с Жаком Пьером Бриссо, бросая вызов господствовавшему мнению, объявили собственность “кражей”¹⁴³. Якобинцы на излете своей диктатуры намечали законодательные меры (так называемые законы вантоза), по смыслу близкие коммунизму¹⁴⁴. Сподвижник Робеспьера Луи де Сен-Жюст начертил программу массовой экспроприации крупных состояний; законы вантоза объявляли также подлежащим экспроприации имущество “признанных врагов революции”. Якобинцы так никогда и не осуществили этой радикальной программы; выдвинув же ее, они сильно поспособствовали падению своей власти, ибо напугали выигравших от революции мелких собственников, которые объединились теперь с состоятельными людьми. Однако то было предвестие будущего.

Прародителем современного коммунизма был француз Франсуа Ноэль (“Гракх”) Бабёф, последователь Морелли. Его историческое значение определяется двумя обстоятельствами: во-первых, он требовал установления общей собственности на все экономические ресурсы, а не распределения их поровну среди отдельных собственников, как обычно настаивали критики собственности¹⁴⁵; во-вторых, в его случае враждебное отношение к собственности, которое полутора веками ранее выразил Уинстенли, перешло от мысли к действию. Бабёф организовал заговор с целью свергнуть дирек-

торию, правившую Францией после падения якобинцев, но был разоблачен и казнен прежде, чем успел его осуществить. В 1828 году его сподвижник Филиппо Буонарроти обнародовал программу их группы, называвшуюся “Заговор во имя равенства” и представлявшую собой первый коммунистический манифест¹⁴⁶. Как и Ленин столетие спустя, Бабёф и его сторонники подхватили распространенную среди якобинцев мысль о том, что французская революция остановилась на полпути¹⁴⁷: она ограничилась областью политики, а должна была сопровождаться социальным переворотом, который дополнил бы свободу равенством. Мир представлялся Бабёфу сушим адом, в котором хозяйничают бессовестные мошенники. Его следовало разрушить и заменить коммунистическим сообществом: “Мы стремимся к... *общей собственности* или к *общности благ!*.. Покончим с частной собственностью на землю. *Земля не принадлежит никому... плоды ее принадлежат всем.*”¹⁴⁸

Равенство есть “первая заповедь природы” и “первая потребность человека”, но до сих пор оно оставалось пустым лозунгом. “Мы хотим равенства на деле или смерти” и “мы добьемся этого подлинного равенства, чего бы то ни стоило!”; “подлинным” равенством в его понимании было то, которое основывается на общей собственности. “Горе тому, кто станет сопротивляться столь определенному решению!” Если нужно, пусть погибнут все искусства. Установление такого порядка потребует, по Бабёфу, длительной диктатуры. Идеалом Бабёфа было аскетическое сообщество, сурово наказывающее всякого, кто уклоняется от исполнения его требований.

“Равенство” у бабувистов обрело новый смысл. Для Локка и идеологов французской революции оно означало равенство возможностей. Локк видел в нем один из аспектов свободы и определял его как имеющееся у каждого человека “право свободы личности, над которой ни один другой человек не имеет власти и свободно распоряжаться которой может только он сам”¹⁴⁹. У Бабёфа и коммунистов оно стало означать равенство вознаграждений, что в двадцатом веке было усвоено философиями, предписывающими социальную благотворительность государства.

В Англии у Бабёфа был двойник в лице Уильяма Годвина. Муж одной из первых феминисток Мэри Уоллстоункрафт и отец Мэри Шелли, Годвин познакомил Англию с идеями

французского радикализма. В его сочинениях мало оригинального, и порой они граничат с нелепостью. Самое значительное из них, “Рассуждение о политической справедливости”¹⁵⁰, было написано в ответ на “Размышления о Французской революции” Бёрка и, появившись в 1793 году, в разгар революционных событий во Франции, вызвало бурное одобрение интеллектуальной элиты: оно так вскружило головы Вордсворту, Колриджу и Саути, что они намеревались сейчас же приступить к созданию коммунистического общества. Воспроизводя представленную во французской радикальной литературе критику частной собственности, Годвин заключал, что собственность и семья суть источники всех зол, которые преследуют человечество. Справедливость требует, мол, равенства в распределении ресурсов этого мира; неравенство развращает богатых и уводит бедных прочь от высоких ценностей жизни*. Стоит устранить собственность, и человечество сразу испытает беспрецедентный прилив духовных сил. Исчезнет преступность, исчезнут войны. Духовное восторжествует над материальным, а воля над необходимостью. Человек обретет бессмертие, поскольку, “вообще говоря, мы бодем и умираем, потому что соглашаемся терпеть эти несчастья(!)”¹⁵¹. Годвин обезоруживающе признавал, что его предложения выдвигаются применительно к “возможному стечению обстоятельств” и что “основные доводы, излагаемые в этой части работы, не имеют никакого отношения ни к истинному, ни к ложному”¹⁵².

Нет нужды излагать взгляды на собственность, которых держались видные социалисты первой половины девятнадцатого века Сен-Симон, Роберт Оуэн и Луи Блан, потому

* Именно как отповедь Годвину появился в 1798 году “Очерк о законе народонаселения”, в котором Мальтус доказывал практическую неосуществимость всеобщего равенства ввиду того, что для растущего населения не хватит продовольствия.

** William Godwin, *Political and Philosophical Writings*, III (London, 1993), 465. Макс Беер раскрывает смысл этого вообще-то невразумительного заявления, указывая, что в душе Годвин был кальвинистским проповедником, считавшим, что “в историческом взгляде на общество мало толку по сравнению со взглядом философским, который он относил к знаниям “высшего порядка и более существенного значения”. [*A History of British Socialism*, I (London, 1919), 115.] Годвин действительно готовился стать служителем кальвинистского прихода.

что в основном они повторяли известные уже доводы Гельвеция и Руссо, Морелли и Мабли, Бабёфа и Годвина¹⁵². Все они призывали к перераспределению, если не к полной отмене, частной собственности.

Не столь традиционные рассуждения об этом предмете можно найти в трудах Прудона. Известность Прудону обеспечивает его заявление: “Что есть собственность? Это кража”¹⁵³ — красное словцо, которым он так гордился, что никогда не устал его повторять. Большевики использовали его в 1917–1918 годах, чтобы лозунгом “грабь награбленное” подталкивать русских крестьян и рабочих к захвату частного имущества. Весьма убедительно Прудон показывал, что каждый довод в пользу собственности есть одновременно и довод против нее. Если, как считается, первое завладение ничейной землей служит основанием для предъявления права собственности на нее, то что делать опоздавшим? А если собственность — это фундаментальное право, то все должны иметь равную возможность пользоваться им; равенство же есть отрицание собственности. Приложение труда к ничейному предмету, служащее, по мнению Локка, оправданием собственности, имеет мало смысла в мире, где все производственные ресурсы кем-нибудь уже захвачены. Прудон не был против частной собственности как таковой, он выступал лишь против порождаемых капитализмом злоупотреблений ею, когда капиталисту позволено присваивать в виде ренты, процента и т. д. богатства, на которые он не имеет морального права. Власть, однако, была в глазах Прудона еще большей мерзостью, чем неравенство, и к концу жизни в своей посмертно опубликованной “Теории собственности” он представил собственность и семью как единственно надежные рубежи защиты от тирании.

До 1840-х годов против собственности выдвигались возражения в основном морального порядка. Теперь, однако, выстроилась новая линия рассуждений, представивших собственность как историческое отклонение, как преходящее явление, связанное с одним определенным строем экономической жизни, а именно “капитализмом”. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, основатели того, что они окрестили “научным социализмом”, взялись рассматривать вопрос о собственности, отставив в сторону этические соображения и следуя, как они утверждали, строго научным, “неценностным” критериям.

Они исходили из того, что первоначально человечество не знало частной собственности на землю; она, мол, представляет собой современное явление, побочный продукт капиталистического способа производства¹⁵⁴. Поначалу это убеждение держалось на метафизической конструкции, именуемой “диалектикой”, но с середины века в поддержку ему стали поступать плоды изысканий тогдашних историков аграрных отношений. Один из них, Георг Хансен, в работах, появившихся в 1837–1838 годах, настаивал, что в сельских поселениях древней Германии земля находилась в коллективной собственности¹⁵⁵. Такие заключения как бы получали подтверждения и в результатах исследований, проведенных в 1840-х годах в России прусским специалистом по аграрным делам Августом фон Гакстгаузенем. Он привлек международное внимание к существованию *мира*, то есть перераспределительной общины, в которой русские крестьяне держали землю сообща и время от времени перераспределяли ее между собой с учетом изменений в составах семей. Гакстгаузен предположил, что *мир* имеет древнее происхождение и представляет собой уцелевший пережиток института, некогда повсеместно распространенного¹⁵⁶. В следующее десятилетие вышли в свет две книги юриста и историка Георга фон Маурера, в которых утверждалось, что у древних германских племен, не знавших никакой земельной собственности, впервые она появилась лишь под влиянием римлян¹⁵⁷. Взгляды Маурера получили широкое распространение, потому что они понравились как националистам, так и социалистам. Концепция первобытного коммунизма получила мощное подкрепление от английского историка права Самнера Мэйна, который нашел ей подтверждения в Индии. В 1875 году Мэйн обобщил результаты своих исследований утверждением, что во всех первобытных обществах земля находилась в коллективном владении: “Коллективное владение землей у групп людей, либо связанных между собой кровным родством, либо считающих или предполагающих себя родственниками, может быть теперь возведено в ранг твердо установленного явления, некогда повсеместно свойственного тем человеческим сообществам, цивилизация которых объединена с нашей либо четко выраженной связью, либо по аналогии”¹⁵⁸.

Так сложилось убеждение, что между временем кочевников, не знавших никакой частной собственности, и открывшейся позднее эпохой полностью оседлой жизни земледель-

цев имел место переходный период коллективного землевладения или первобытного коммунизма¹⁵⁹.

Но тем, кто разделял это убеждение, предстояло еще показать, почему и каким образом коллективное владение превратилось в частную собственность. Эту задачу выполнил американский антрополог Льюис Морган, представивший итоги своих исследований об американских индейцах. Изданная в 1877 году работа Morgana “Древнее общество” обрела историческое значение благодаря тому применению, какое она получила у Энгельса. По Morgану, в условиях “дикости”, то есть на низшей ступени развития человеческого общества, люди не знали никакой частной собственности, если не считать владения личными вещами (оружием, посудой, одеждой). До времени не было у них ни приобретательских страстей, ни “жажды наживы”. Земля была общим достоянием племени, жилищами владели их обитатели. Понятие собственности складывалось лишь постепенно: сначала землю, принадлежавшую племени, поделили между кланами, а уж потом она была передана в руки отдельных людей. Причины, определившие именно такое развитие, имели объективный характер, конкретно были связаны с ростом населения и техническими нововведениями. Теперь же, считал Морган, собственность породила такие глубокие социальные размежевания, что это создает угрозу самоуничтожения человечества. Единственный выход он усматривал в возвращении к первоначальным условиям экономического равенства, то есть в мир без собственности.

В доктринах основоположников “научного социализма” частной собственности принадлежит центральное место. Достаточно сказать, что в выпущенном в 1848 году “Манифесте коммунистической партии” Маркс и Энгельс заявляли, что “коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности”¹⁶⁰. И тем не менее они очень мало сделали для того, чтобы уяснить происхождение частной собственности. При всех их притязаниях на научность используемой методологии они подходили к этой проблеме по существу так же, как и близкие им по образу мысли предшественники, то есть строили теоретическую модель общества, существовавшего до появления собственности, а затем, опираясь на минимум антропологических и исторических данных, которые в основном не были им известны, описывали, каким образом собственность могла бы

возникнуть и получить развитие*. Предложенная ими схема была абстрактной (“метафизической”), хотя “впрыскивание” терминов из словарей экономики, социологии и психологии позволяло ей выглядеть более научной, чем прежние теории. Их представления опирались не на эмпирические данные, а на романтическую мечту о всечеловеческом братстве; пафос их был тот же, что и в шиллеровской “Оде к радости”.

Главное возражение против собственности вызывало у них то, что она обезчеловечивает людей, порождает “самоотчуждение” человека, заставляя его подчинять свою личность деньгам (представление, заимствованное у Людвиг Фейербаха и Моисея Гесса). В отличие от Гегеля, для которого собственность была “свободой человека, осуществляемой в мире явлений”, Маркс и Энгельс придавали ей прямо противоположное значение: “собственность это не осуществление личности, а ее отрицание”¹⁶¹.

Как возникла собственность?

Уже в самых ранних своих работах Маркс и Энгельс исходили из того, что изначально всякая собственность была коллективной; так они считали еще до появления книг Гакстгаузена, Маурера, Мэйна и Моргана. Поскольку семьи, организованные в племя, распоряжались движимым и недвижимым имуществом, постольку они были подчиненными частями общины в целом и не могли страдать от “отчуждения”, которое становится отличительной чертой зрелого капитализма. Лишь позднее Маркс и Энгельс нашли в трудах Маурера и Моргана подкрепление этим своим априорным представлениям.

По Марксу, даже в древнегреческом полисе, экономически относительно развитом, общинное преобладало: частная собственность существовала, но “как отклоняющаяся от нормы и подчиненная общинной собственности форма”¹⁶² — в немалой степени потому, что общество насаждало рабство,

* Ю. Дж. Хобсбом, почитатель Маркса и Энгельса, признает, что их знания истории “были скудными в том, что касается доисторических времен, первобытных общин и доколумбовой Америки; в отношении Африки этих знаний не было, в сущности, вообще. Не поражают они знаниями древней и средневековой истории Ближнего Востока, но заметно лучше осведомлены о прошлом некоторых частей Азии, особенно Индии, но не Японии”. [E. J. Hobsbawm, Introduction to Marx's *Pre-Capitalist Economic Formations* (London, 1964), 26.1

критически важный институт древнего общественного и экономического строя. Феодалная собственность, “подобно племенной и общинной собственности... также покоится на известной общности”, скрепленной общей эксплуатацией труда крепостных крестьян¹⁶³.

Появление частной собственности Энгельс объяснял, опираясь на данные Моргана. В “Происхождении семьи, частной собственности и государства” (1884) он попытался показать, каким образом в племенах охотников-собирателей сложились семьи и как, одновременно, появилась собственность. Ее он выводил из разделения труда: “Частная собственность образуется повсюду в результате изменившихся отношений производства и обмена, в интересах повышения производства и развития обмена, следовательно, по экономическим причинам. Насилие не играет при этом никакой роли”*.

Такое представление о происхождении частной собственности примечательно своей несостоятельностью, поскольку здесь не принимается во внимание тот элементарный факт, что до недавнего времени — кстати, как раз до времени жизни Энгельса — основным видом собственности была земля, которая на протяжении большей части истории “товаром” в обычном смысле слова не являлась и никакого отношения к разделению труда не имела.

Настоящая частная собственность, то есть собственность, которая, по Марксу и Энгельсу, совершенно неподвластна обществу, впервые появилась при капитализме. Однако при всей кажущейся свободе, которую дает капиталисту его богатство, он так же поработен, как и эксплуатируемый им

* Frederick Engels, *Herr Eugen Dühring's Revolution in Science* (New York, 1939), 179–80 (Part II, Section ii). [Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. *Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом*. — К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения. Т. 20. М., 1961. С. 166.] О разделении труда как основе частной собственности говорится уже в “Немецкой идеологии”, написанной в 1845-1846 годах. В одном из ранних очерков Энгельс описывал торговлю как деятельность, в которой все ее участники не сотрудничают в стремлении к взаимной выгоде, а являются естественными врагами, потому что выигрыш одного означает здесь проигрыш другого: “Словом, торговля это узаконенное мошенничество”. [Marx-Engels Gesamtausgabe, Teil I, Band 3 (Berlin, 1985), 473.] И этот детский лепет коммунисты с серьезным видом воспроизводили в своих научных изданиях Маркса и Энгельса.

пролетарий. Ключевую роль здесь играет понятие “отчуждения”. Капиталист вынужден накапливать богатство, отказывая себе в удовлетворении своих желаний, что равнозначно лишению себя *возможности наслаждаться собственным богатством*. В своих “Экономическо-философских рукописях 1844 года” Маркс говорил о деньгах как об отчужденном “я” и указывал, что, поскольку сбережения суть отложенное потребление, заключенное в деньгах богатство сохраняется как неиспользуемое, а погоня за деньгами обрекает их обладателя на “аскетическое” поведение: “Чем меньше ты ешь, пьешь, чем меньше покупаешь книг, чем реже ходишь в театр, на балы, в кафе, чем меньше ты думаешь, любишь... тем больше ты сберегаешь, тем *больше* становится твое сокровище, не потраченное ни молью, ни червем, твой *капитал*. Чем ничтожнее твое *бытие*, чем меньше ты проявляешь свою жизнь, тем больше твое *имущество*, тем больше твоя *отчужденная* жизнь, тем больше ты накапливаешь своей отчужденной сущности”*

“Практический аскетизм” капиталиста имеет свое подобие в неизбежном самоотречении рабочего, которого обрекает на эту участь отлучение от средств производства, находящихся в руках капиталиста. Его последствия — это и нищета, и обесчеловечение.

Два взаимно враждебных класса оказываются, таким образом, связанными “диалектическими” взаимоотношениями: “Пролетариат и богатство — это противоположности. Как таковые, они образуют некоторое единое целое. Они оба порождены миром частной собственности... Частная собственность как частная собственность, как богатство, вынуждена сохранять свое *собственное существование*, а тем самым и *существование* своей противоположности — пролетариата...”

* Shlomo Avineri, *The Social and Political Thought of Karl Marx* (Cambridge, 1968), ПО. [К. Маркс, *Экономическо-философские рукописи 1844 года*. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 42. М., 1974. С. 131.] Некоторые современные специалисты по истории экономики придерживаются взглядов, прямо противоположных тем, что высказывал Маркс в приведенном отрывке; ссылаясь на пагубный опыт стран коммунистического блока, они заключают, что “чрезмерное накопление капитала при слишком малом производстве потребительских товаров может быть причиной *низких* темпов экономического роста” [Nathan Rosenberg and L. E. Birdzell, Jr., *How the West Grew Rich* (New York, 1986), 168]. — Курсив мой. — Авт.

Напротив, пролетариат как пролетариат вынужден упразднить самого себя, а тем самым и обуславливающую его противоположность — частную собственность, — делающую его пролетариатом¹⁶⁴.

В конечном счете обездоленные опрокинут собственников и по ходу дела вовсе упразднят собственность. Экономические ресурсы сначала будут национализированы, а потом станут общим достоянием, и это приведет к тому, что каждый будет вносить свой вклад сообразно его способностям, а получать по потребностям, что и является высшей целью коммунизма.

Новый коммунистический строй, в представлениях Маркса и Энгельса, соединит изначальную общность собственности с высоко поднятой капитализмом производительностью. Маркс был убежден, что промышленное машинное оборудование упростит труд настолько, что от рабочих не потребуется никакого особого мастерства и никаких нудно повторяющихся движений: "...природа крупной промышленности обуславливает перемену труда, движение функций, всестороннюю подвижность рабочего..."¹⁶⁵

- В коммунистическом обществе... общество регулирует все производство и именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, — как моей душе угодно — не делая меня, в силу этого, охотником, рыбаком, пастухом или критиком¹⁶⁶.

Общество будущего воплотит в жизнь анархистский идеал ассоциации свободных и равных производителей, над которой не будет государства-надсмотрщика и которая предоставит каждому все условия для самореализации личности¹⁶⁷. Человек не будет более подвергаться "атомизации" как следствию его противостояния обществу.

Эту романтическую теорию, опиравшуюся на самые зыбкие и впоследствии по большей части опрокинутые доказательства, в дальнейшем стала как бы в обязательном порядке усваивать социалистическая литература, да и значительная часть литературы вообще. Но уже и в свое время она натолкнулась на сопротивление. Учение, построенное на критике первобытного коммунизма, всегда занимавшей центральное место в антисобственнических писаниях, было подорвано работами тогдашних авторов и разрушено антропологами в двадцатом веке.

В 1850-е годы русский ученый Борис Чичерин выразил несогласие с тем, как толковали *мир* русские национал-романтики, известные под именем славянофилов, и как его преподнес Западу Гакстгаузен. Чичерин доказывал, что *мир* — это отнюдь не древний институт, воплощающий в себе докапиталистический, чуждый приобретательству дух совместной жизни; он является творением царистского государства, возникшим в конце шестнадцатого века в связи с введением крепостного права и предназначенным для того, чтобы на основе коллективной ответственности обеспечить удержание крестьян на земле и сбор с них податей¹⁶⁸.

Далее последовали удары по Мауреру. В 1883 году американец Денмэн У. Росс показал, что рассуждения о первобытном коммунизме германских племен основывались на неверном прочтении Тацита и Цезаря, основных источников сведений по этому предмету. Отсутствие межей на полях древних германских земледельцев (отмеченное Цезарем) означает, что земля не была поделена, а не то, что она находилась в совместной собственности: “Следует строго различать совместное владение и коммунизированную собственность. Это очень разные вещи. У нас полно ранних свидетельств о совместных владениях, но ни одного о коммунистической форме собственности”¹⁶⁹. По мнению Росса, ни одно из существующих свидетельств не указывает, что ранняя германская община обладала правами на земли своих членов: “Община не была корпорацией-землевладельцем”, и поэтому земельные споры разрешались не судом общины, а поединками заинтересованных сторон.

Главное наступление на теорию древнего коммунизма развернул знаменитый французский историк Фюстель де Куланж, автор “Древнего города”, работы, в которой появление частной собственности во времена классической античности он представил как следствие религиозного почитания семьи и домашнего очага. В 1889 году Фюстель де Куланж напечатал пространную статью, впоследствии развернутую им в книгу, в которой он отверг теорию первобытного коммунизма на том же основании, что и Росс, но пошел дальше него, отрицая существование у древних германцев даже совместных владений¹⁷⁰. Бил он главным образом по фон Мауреру. Для теорий Маурера у Тацита и Цезаря нет никаких подтверждений: “Весь состав германского права на деле таков, что верховное значение в нем отводится собственности”¹⁷¹. Со-

вместное владение землей требовало бы периодического ее перераспределения, на что в свидетельствах о жизни древних германцев какие бы то ни было указания отсутствуют. Он считал, что широко распространенная вера в первобытный коммунизм проистекает не из исторических данных, а из общественного климата, установившегося в Европе в конце девятнадцатого столетия: “В ряду идей, захвативших сейчас воображение людей, есть одна, взятая у Руссо. Это представление, что собственность противоестественна, а коммунизм отвечает природе; и эта идея имеет власть даже над авторами, которые подчиняются ей, не сознавая, что они делают”¹⁷².

Тогда подобные соображения не поколебали общественного мнения не только из-за предвзятой благорасположенности в пользу “естественного коммунизма”, но и потому, что начиная с середины девятнадцатого века даже либералов охватило беспокойство по поводу растущего неравенства в распределении богатства. Показателен случай Джона Стюарта Милля, который в своих широко читаемых “Основах политической экономии” (1848) пододвинул либеральную идеологию к социализму¹⁷³. Милль считал коммунизм справедливым, работоспособным и, возможно, совместимым со свободой: “Законы собственности, писал он, все еще не приведены в соответствие с теми принципами, на которых зиждется оправдание частной собственности”¹⁷⁴. Он одобрял частную собственность потому, что она поднимает производительность труда, а не потому, что служит делу свободы: в своем самом известном труде “О свободе” (1859) о собственности он едва вспоминает. От традиционных либеральных воззрений на этот предмет Милль отклонился в двух направлениях. Во-первых, он усомнился, следует ли наследникам предоставлять неограниченные права на имущество уходящих из жизни обладателей собственности. В идеале он предпочел бы, установив некие предельные нормы, “ввести ограничения не на то, что люди могут дарить, а на то, что следовало бы позволять людям получать в дар или по наследству”¹⁷⁵. Во-вторых, он поставил под вопрос отношение к земле просто как к одному из видов имущества, поскольку, с одной стороны, никто никогда ее не создавал, а с другой, потому что если обзаводясь движимым имуществом, никто не лишает своих сограждан возможности поступать точно так же, то приобретающий землю закрывает к ней доступ другим¹⁷⁶. Притязания землевладельцев должны быть по-

этому подчинены требованиям государства, и его следует наделить правом изымать (с соответствующей компенсацией) землю, которую ее собственники не умеют производительно использовать: "... в случае с собственностью на землю ни одному человеку не следовало бы предоставлять какого-либо исключительного права, если способность этого человека производить положительное благо нельзя доказать"*.

Милль был одним из первых либералов, который "приправил" либерализм социалистическими идеями, подчеркнув всезаменяющее значение равномерного распределения производственных ресурсов. Его идеи способствовали подъему в Англии "нового либерализма", возникшего отчасти из страха перед социализмом, а отчасти благодаря осознанию, что в современных условиях для устранения бедности недостаточно одного только упорного труда и трезвости, как когда-то общепринято было думать. На рубеже веков появились философские течения, которые за нищету, алкоголизм и воровство вину возлагали не на бедняков, пьяниц и воров, а на капитализм, заставивший их вести такую жизнь¹⁷⁷. Это, мол, встроено в "систему". Не объясняя, почему антиобщественное и разрушительное поведение существовало задолго до появления капитализма и почему оно не исчезает в некапиталистических обществах, сторонники этой теории требовали, чтобы государство вмешалось и взяло под защиту своих обиженных судьбой граждан. Такого рода идеи подводили теоретическую основу под общественные реформы, которые в двадцатом веке привели к появлению государства-благотворителя.

Таким образом, на пороге двадцатого столетия либералы пошли на ограничения частной собственности. Свое согласие с этим они выразили готовностью увязывать притязания собственников с требованиями социальной справедливости и возлагать на государство моральную обязанность урезать право абсолютной собственности в интересах общего блага.

* John Stuart Mill, *Principles of Political Economy* (London, 1909), 235. [Джон Стюарт Милль. Основы политической экономии, Т. I. Кн. II. М., 1980. С. 385.] В этом отношении Милля предвосхитил Томас Джефферсон, который, проведя некоторое время во Франции накануне революции, пришел к выводу, что оставлять землю под паром безнравственно, хотя он не мог, по-видимому, примирить эти представления со своей преданностью собственности, которую считал священной [William B. Scott, *In Pursuit of Happiness* (Bloomington, Ind., 1977), 42–43].

На обладание собственностью стали смотреть не только как на частное право, но и как на общественную функцию: если собственник выполняет свой долг, общество обеспечивает защиту его имущества; если нет, общество имеет законное право вмешаться, чтобы добиться от собственника подобающего поведения¹⁷⁸. А единственный судья в этих делах — государство.

8. Двадцатый век

Антисобственнические настроения, возбужденные заботами об общественном благополучии, были “подогреты” новыми течениями в психологии. Во второй половине девятнадцатого века под влиянием Дарвина, считавшего, что людьми, как и животными, движут инстинкты, Уильям Джеймс выдвинул психологическую теорию, настаивавшую, что поведение людей определяется скорее инстинктами, чем воздействием культуры. По Джеймсу, “тяга к присвоению” есть один из таких инстинктов¹⁷⁹. Самым влиятельным сторонником этого взгляда был Уильям Мак-Дугалл, профессор британского происхождения, работавший в университетах Гарварда и Дьюка; в своем широко распространенном учебнике “Введение в социальную психологию” (1908) он представил целый каталог наших свойств, которые он называл “основными инстинктами и чувствованиями человека”, включая инстинкты бегства, отвращения, любознательности, сварливости и, конечно, присвоения. Французский антрополог Шарль Летурно в новаторской попытке создать социологию эволюции определил тягу к присвоению как проявление инстинкта самосохранения¹⁸⁰.

Однако в начале двадцатого столетия понятия “инстинкта” и его основы, “человеческой природы”, столкнулись с отторгавшей их критикой; к 1920-м годам интерес к ним был утрачен. В числе причин, вызвавших этот пересмотр взглядов, были очевидная нелепость попыток списать всякое поведение человека на инстинкты и сопровождающие их чувства, как это делал Мак-Дугалл, равно как и неприятие напрашивавшихся политических следствий. Биологическое объяснение человеческого поведения могло быть и действительно было использовано для расовой дискриминации и национальных преследований — сначала чернокожих, потом

евреев. Франц Боас, основатель культурной антропологии в Соединенных Штатах, возглавил наступление против такого подхода к делу. Иммигрант из Германии, выросший там в либеральной еврейской семье, он сделал делом своей жизни разрушение теорий, оправдывавших расизм. Следуя этой цели, он выбросил из антропологии все, что напоминало биологический детерминизм, поставив на его место воздействие культуры. Самым сильным его доводом была ссылка на то, что в Соединенных Штатах во внешности детей иммигрантов разной этнической и расовой принадлежности появлялись на их новой родине общие черты, откуда можно было заключить, что так же обстоит дело и с их умственными способностями, и с их психологией. В работе “Ум первобытного человека” (1911) Боас доказывал, что люди, называемые “дикарями”, своими умственными способностями не отличаются от цивилизованного человека. Он и его ученики разлучили социологию и биологию, изгнав “инстинкт” и “человеческую природу” из научного словаря. Никакой человеческой природы Боас не признавал: поведение людей определяется только их культурой. Говоря словами Маргарет Мид, для Боаса и его последователей поведение людей “не зависит ни от инстинктов, ни от передаваемых с генами специфических способностей, но только от благоприобретенных навыков жизни, медленно накапливаемых в ходе бесконечных заимствований, приспособлений и обновлений”¹⁸¹.

В 1920-е годы антропологические воззрения Боаса получили поддержку основанной американцем Джоном Б. Уотсоном “бихевиористской” школы психологии, которая также исключила влияние биологии из числа факторов, воздействующих на поведение человека, и свела все дело к реакциям на внешние раздражители. Агрессивность, стремление к господству и тяга к присвоению рассматривались, соответственно, как явления культурного, а не биологического порядка.

После Второй мировой войны началось возвратное движение маятника, хотя к прежней крайней точке он так и не вернулся. Антропология, привязанная к культуре, и ее союзница бихевиористская психология, добившиеся в межвоенное время почти монопольного положения в научных кругах, попали в ловушку поразительных противоречий. Их приверженцы держались убедительно доказанного, на их взгляд, дарвиновского тезиса о непрерывной эволюции всех живых

существ и исходили, соответственно, из того, что человек, пусть он и представляет собой самый высокоразвитый вид, все же не является исключением из животного мира. Теория эволюции подразумевала, что знакомство с поведением животных помогает понять поведение человека. Однако Боас, Уотсон и их последователи отрицали какое бы то ни было влияние биологии на поведение человека. Так что человек, биологически относимый к животному миру, психологически (поведенчески) признавался *sui generis*. Люди, которых приводили в ужас представления, будто человек есть создание особое и неповторимое, а вовсе не один из видов, принадлежащих к животному миру, эти самые люди не замечали никаких накладок в своих рассуждениях, когда доказывали, что с точки зрения умственных способностей и поведения человек действительно не имеет себе подобных, потому что за отсутствием у него “инстинктов” его и только его поведение определяется воздействием культурной среды¹⁸². Но, как заметил генетик Феодосий Добжанский, несостоятельно отрывать друг от друга эволюцию биологическую и культурную. Современные антропологи, признающие только влияние культуры, в своем нежелании замечать общие черты в поведении человека и животных идут по стопам противников Дарвина, которые отказываются видеть связь между человеком и животными¹⁸³. Вот что пишет по этому поводу А. Ирвин Хэллоуэлл: “Если в девятнадцатом веке противниками эволюции человека были те, кто, естественно, обращал повышенное внимание на факты, указывавшие, что между человеком и его предшественниками-приматами находится разрыв в развитии, то в двадцатом веке антропологи, на словах признавая эволюцию видов, сделали особый упор на культуру как на главную отличительную черту человека и тем самым по существу объявили о наличии непреодолимой пропасти между нашим поведением и поведением наших ближайших родственников¹⁸⁴”.

Преодолением этой непоследовательности занялась новая школа этологов и социобиологов, которая возникла в 1930-е годы и восстановила приоритет инстинктов. Об этом речь пойдет в следующей главе.

Как и всегда, начиная со времен классической античности, преобладающие взгляды на собственность после Второй мировой войны складывались главным образом под влиянием новейшего хода событий. Тем не менее появилось не-

сколько работ, выдержанных в старой традиции и рассматривавших собственность исключительно в нравственных понятиях. Среди них наибольшее влияние имел утопический трактат Джона Роулса “Теория справедливости”¹⁸⁵. В этой книге, представлявшей собой попытку изложить принципы “хорошо устроенного общества”, основанного на “справедливости”, были почти полностью оставлены без внимания психологические, политические и экономические грани действительности, равно как и исторические свидетельства и данные антропологии*. В книге не найти ни намека на то, каким образом указанные в ней принципы могут быть воплощены в жизнь. В этом отношении книга представляла собой сочинение более абстрактное, чем даже труды отцов церкви, которые, по крайней мере, принимали человека таким, каков он есть на самом деле. В погоне за совершенной справедливостью Роулс предлагает “законы и институты, независимо от меры их эффективности и добротности”, преобразовать или упразднить, “если они несправедливы”¹⁸⁶. А суть несправедливости это неравенство. Идеал Роулса, как и всех утопий, — полная уравниловка: доходы и богатства должны быть поделены поровну, хотя за сим следует приводящая в замешательство оговорка: “если только неравное распределение... не дает выгоды всем”¹⁸⁷. Роулс в одобрительном тоне приводит коммунистическую установку: “от каждого по способности, каждому по потребности”¹⁸⁸.

Относительная новизна книги состояла в том, что она требовала распространить принцип равенства не только на материальные блага, но и на умственные данные и на врожденные способности. От этих дарований, выигранных, так сказать, в “лотерее” природы, их счастливый обладатель не должен получать никакой особой выгоды, поскольку они не заработаны. По Роулсу, распределение талантов и способностей должно рассматриваться “как произвол с моральной точки зрения”. Он возражает против того, чтобы “распределение богатства и доходов определялось естественным распределением способностей и талантов”¹⁸⁹. Таланты должны рассматриваться как “общее достояние”, и их обладатели могут получать от них выгоду “только на условиях, улучшающих поло-

* Читатель помнит, что понятие “наилучшим образом устроенного” общества (или государства) восходит к “Государству” Платона. См. выше, стр. 22 данного издания.

жение тех, кто оказался обездоленным”*. При необходимости эффективностью следует жертвовать ради достижения совершенного равенства¹⁹⁰. Роулс, таким образом, идет дальше самых радикальных коммунистических теоретиков, желая обобществить данные природой таланты, то есть отказывает одаренным людям в благах, которые они могли бы иметь за счет своих способностей. “Равенство возможностей” отвергается как внутренне несправедливое, поскольку оно “означает равную возможность обойти неудачника в погоне за личным влиянием и высоким социальным статусом”¹⁹¹. Способности одаренных должны быть использованы на общее благо; они станут “общим достоянием”. Таким путем покончено будет не только с неравенством, но и с завистью¹⁹².

Подобные идеи, имеющие минимальную опору в истории и экономике, но зато основательно привязанные к идеалу справедливости, особенно широко распространены среди профессиональных философов и психологов¹⁹³. Показательный пример морализирования по поводу собственности дают работы психиатра Эриха Фромма, автора многочисленных книг, посвященных тому, что он считает мучительной дилеммой современного человека, в том числе книги под названием “Иметь или быть?”¹⁹⁴. К осознанию обозначенной таким образом двойственности, отягощающей якобы жизнь каждого, Фромма, по его словам, подвел собственный опыт психиатра, убедивший, что “обладание и бытие являются двумя основными способами существования человека”¹⁹⁵. Ему представляется важным появление “нового человека”, который ради физического выживания рода людского проявит “готовность отказаться от всех форм обладания ради того, чтобы в полной мере *быть*”¹⁹⁶. Подобные заклинания совершенно оторваны от действительности с ее непременным условием, согласно которому, чтобы быть, люди должны иметь.

В последние десятилетия двадцатого века наиболее значительные изменения в теории собственности были связаны не столько с этикой, сколько с экономикой. В прошлом профессиональные экономисты, занимаясь в основном материальными факторами экономического роста, такими как накопле-

* John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass., 1971), 101-2. Это предложение возрождает давно забытые утверждения Кампанеллы и Годвина, что умственные способности отдельного человека принадлежат всему обществу.

ние капитала и техническое обновление, правам собственности уделяли мало внимания. Но новое поколение ученых, занимающихся экономической историей, взялось за исследование правовой инфраструктуры экономики, особенно института частной собственности. Развивая тему полезности, впервые выдвинутую Дэвидом Юмом, они отбросили ссылки на естественное право, как и домыслы насчет происхождения государства, и стали утверждать, что оправданием собственности является ее вклад в процветание. Говоря словами Альфреда Маршалла, многократно повторенными в учебниках, появившихся после Первой мировой войны, “...тщательное экономическое исследование толкает к выводу, что права собственности держатся не на каком-то абстрактном принципе, а на том, что в прошлом они всегда были неразлучны с основательным прогрессом; и поэтому ответственным людям надлежит сдержанно и осмотрительно относиться к отмене или изменению даже таких прав, которые могут казаться не соответствующими идеальному устройству общественной жизни”¹⁹⁷.

Такой подход к делу означает, так сказать, уклонение от спора с теми, кто традиционно осуждает собственность за то, что она поощряет имущественное неравенство и, в результате передачи богатств по наследству, способствует росту несправедливости; означает он и прямое возражение французскому философу восемнадцатого века Кондорсе, утверждавшему, что равенство есть сущность прогресса¹⁹⁸.

Движение мысли в этом новом направлении набрало силу после Второй мировой войны на фоне открытого соперничества между коммунизмом и странами с рыночной экономикой. Победа союзников над державами оси создала беспрецедентное положение: впервые в истории два противоположных экономических режима — основанные один на хозяйственной монополии государства (точнее, коммунистической партии), другой на свободном предпринимательстве — сошлись в лобовом противостоянии и притом в атмосфере политической вражды*. Общественную собствен-

* Поляризация двух блоков не была совершенной. Коммунистические страны терпели у себя существование небольшого частного сектора в сельском хозяйстве (в Польше он был больше государственного), а также того, что называлось “второй экономикой”, то есть, сказать прямо, черного рынка. Промышленные демократии, в свою очередь, разными способами, главным образом через налогообложение, но также и с помощью антитрестовских законов и дру-

ность и частную собственность, которые до тех пор сравнивали между собой теоретически, эта конфронтация привела к непосредственному состязанию. И не подлежит никакому сомнению, что “под занавес” двадцатого столетия принцип частной собственности восторжествовал повсеместно. Контрасты между Восточной Германией (ГДР) и Федеративной Республикой, между Северной Кореей и Южной Кореей, между Тайванем и материковым Китаем каждый год становились все более заметными, причем контрасты как в уровнях экономического развития, так и в области личной безопасности граждан. Развал в 1989–1991 годах Советского Союза и его империи и сделанный посткоммунистическими правительствами выбор в пользу частного предпринимательства поставили точку в споре, начало которому было положено в древней Греции.

По мере того как чаша весов стала склоняться в сторону частного предпринимательства, некоторые экономисты обратили внимание на его основу — частную собственность, традиционно бывшую предметом изучения философов и политических теоретиков. Они выдвинули новаторскую теорию “экономики прав собственности”, рассматривающую собственность как решающий фактор экономического роста. По мнению одного из представителей этой школы, частная собственность возникает “ввиду необходимости быть эффективным в процессе, сходном с естественным отбором”¹⁹⁹.

Специалисты по экономической истории Дуглас Норт и Р. П. Томас рассмотрели под этим углом зрения опыт прошлого и пришли к выводу, что наибольшая вероятность успешного экономического развития существует в обществах, которые гарантируют права собственности. По их мнению, для экономического роста решающее значение имеют правовые институты, которые обеспечивают предприимчивым людям получение плодов от их усилий.

- Эффективная организация экономики — это ключ к росту: причиной подъема Запада стало эффективное устройство экономики в Западной Европе.

гих видов регулирования, препятствовали крайнему неравенству в распределении богатств, равно как и необузданной деятельности частных предпринимателей. Но при всем том в своем поведении два блока следовали фундаментально разным принципам.

Эффективная организация предполагает внедрение институциональных основ и прав собственности, побуждающих прилагать личные хозяйственные усилия к тем видам деятельности, которые сближают норму личной выгоды с нормой общественной выгоды²⁰⁰.

Таким образом, гарантии прав собственности критически важны: “экономический рост будет иметь место в том случае, когда права собственности оправдывают усилия, предпринимаемые в области общественно производительной деятельности”²⁰¹. В частности, Норт показал, как в Англии введение патентных прав побудило изобретателей выносить на публику сведения о своих новаторских достижениях и тем самым стимулировало промышленную революцию²⁰².

На закате двадцатого века благотворное значение частной собственности как для свободы, так и для экономического процветания получает такое признание, какого не было в течение почти двух столетий. Если сбросить со счетов несколько оазисов самовоспроизводящейся нищеты, вроде Северной Кореи и Кубы, где коммунистам удается сохранять власть, и если не считать определенным образом настроенные академические умы, число которых пока значительно, но сокращается, идеал общественной собственности угасает повсеместно. Начиная с 1980-х “приватизация”, постоянно набирая темп, развернулась по всему миру.

Так Аристотель взял верх над Платоном.

2. Институт собственности

Вопрос, вокруг которого разворачивалось обсуждение собственности на протяжении всей истории западной философской и политической мысли — относится ли собственность к “природе” людей или является плодом их соглашения, — этот вопрос, очевидно, не может быть решен ни так, как предлагал Руссо, то есть на основе “воображения” и сознательного пренебрежения фактами с заменой их на “гипотетические” и “условные” допущения, ни посредством “догадок” в духе того образа мысли, который отстаивал Уильям Годвин, усматривая его познавательную силу в “полной независимости и от истинного, и от ложного”. Ответ должен основываться на доказательных сведениях. Те, кто утверждает, что собственность есть всего лишь обычай, который появляется в обществе на определенном рубеже развития человечества, должны быть в состоянии показать, что приобретательские наклонности отсутствуют у детей и что существуют общества, с собственностью не знакомые.

Рассмотрение этого предмета сопряжено с огромными трудностями ввиду великого разнообразия форм, которые способна принимать собственность. Просто невозможно установить, когда в мировой истории впервые возникла частная собственность на землю — основной до недавнего времени вид собственности. Попытки таких исследований предпринимались в конце девятнадцатого века (например, Эмилем де Лавейе¹), но, опиравшиеся на впечатления путешественников и изыскания первых антропологов, сегодня они воспринимаются лишь как занимательные исторические рассказы². Главное препятствие, с которым сталкивается в этой области исследователь, — отсутствие письменных свидетельств, ибо в большинстве стран собственность принима-

ла форму владения по праву, основанному не на документальном его подтверждении, а на длительности срока пребывания имущества в руках держателя, что обычаем признавалось как доказательство его права собственника. Английский историк Л. Т. Хобхауз в отчаянии отверг самую возможность написать общую историю собственности даже для страны с такой богатой документацией прошлого, как Англия, ввиду скудости данных и из-за трудностей, возникающих при попытке разграничить правовые нормы и действительность³.

В этой главе мы будем отстаивать тезис о том, что тяга к присвоению и обладанию присуща всем, как людям, так и животным, и что она означает гораздо большее, нежели желание обладать физически осязаемыми объектами, поскольку она накрепко связана с личностью человека и развивает в нем чувство собственного достоинства и веру в свои силы. Мир “естественного человека”, где нет места собственности, это мираж, нечто “небесное”, если воспользоваться сравнением, предложенным Льюисом Мамфордом.

1. Собственнические начала в мире животных

Основными объектами приобретательских устремлений животных являются территория и пространство, откуда и появились предметы изучения двух новых научных дисциплин с неуклюжими названиями “территорология” и “проксемика”^{*}.

Этология, изучающая поведение диких животных, — наука новая. Возникла она в конце девятнадцатого века, но интенсивные полевые исследования, начатые Конрадом Лоренцом и Николаасом Тинбергеном, развернулись в межвоенное время. После Второй мировой войны этология сильно рванулась вперед и вызвала к жизни социобиологию, которая пытается толковать поведение животных и, как подразумевается, человека в биологических понятиях, тесно увязанных с теорией эволюции. Достижения этих дисциплин породили серьезные сомнения в основательности доктрин, которые в первой трети

^{*} “Проксемика” (“proxemics”), название которой придумано Эдвардом Т. Холлом, изучает, среди прочего, дистанции, на которых люди — и по расширению животные — держатся относительно других особей своего или чужого вида. [Edward T. Hall, *The Hidden Dimension* (Garden City, N. Y., 1966).]

двадцатого столетия господствовали в психологии и социологии, то есть теорий, проводивших резкое различие между поведением животных и поведением человека на том основании, что если животными руководят инстинкты, то поведение человека преимущественно или даже целиком определяется его культурой. Обнаружилось, что приобретательство, которое ранее считали присущим только человеку и приписывали воздействию его культуры, свойственно всем живым существам.

Выживание диких животных на воле полностью зависит от окружающей физической среды: ничего не обрабатывая и не производя, они существуют, лишь пользуясь дарами природы. Поэтому им необходим беспрепятственный доступ на определенную территорию, где они могли бы добывать корм и размножаться; размеры этой территории зависят от конкретных потребностей данного вида. Среди животных, следовательно, собственность распространяется прежде всего и главным образом на территорию. Понятие “территориального императива” сегодня прочно утвердилось, хотя некоторые социологи и психологи испытывают затруднения с его признанием ввиду политических выводов, к которым оно толкает (подробнее об этом ниже)⁴.

- В положении, которое именуется “естественным состоянием свободы”, животные, насколько нам известно, никогда не имеют ничем не ограниченной и никакими заботами не отягощенной свободы, каковая приписывается им в сентиментальных представлениях о природе. Ни одно свободно блуждающее и рыскающее животное, принадлежит ли оно к виду сбивающихся в стаю или проводит жизнь преимущественно в одиночестве, не имеет свободы передвижения, то есть не может перемещаться только по своей прихоти и наугад. Уже в силу собственного природного устройства оно привязано к определенному жизненному пространству, предлагающему необходимые ему условия существования. Даже если эта зона достаточно обширна и в ее пределах нужные ему условия одинаково обеспечиваются повсеместно, животное все же не имеет свободы в своих перемещениях. Они ограничиваются одним или несколькими участками, известными как его места охоты или выпаса; их оно обычно не покидает, разве что по жесткой необходимости. В этих пределах животное передвигается тоже не абы как, а только по определенным тропам и сообразно довольно строгому расписанию⁵.

Помимо обеспечения себе доступа на некую территорию и сохранения ее под своим контролем, животные поддерживают также дистанцию между собой и представителями других видов, равно как и другими особями своего вида. Эти пространственные “пузыри” очень четко определены для каждого вида, а общее правило состоит в том, что чем крупнее зверь, тем большее ему требуется пространство, чтобы чувствовать себя в безопасности. В случае явного нарушения дистанции другим существом животное либо убегает, либо нападает на нарушителя. Некоторые виды, однако, предпочитают жить в тесной близости от себе подобных⁶. Как правило, животные, обитающие близ водоемов и кормящиеся рыбой и другими продуктами озер, рек и морей, относятся к соседству других особей гораздо терпимее, чем те, что обычно держатся вдали от берегов. Так, буревестники, кайры, пингвины и прочие птицы, живущие на берегах рек и морей и добывающиеся до своих источников пищи, перелетая лишь на незначительные расстояния, селятся очень многочисленными колониями.

Изучение территориальных притязаний в животном мире начал в годы Первой мировой войны английский орнитолог-любитель Г. Эллиот Говард. У птиц Говард не обнаружил никаких собственнических инстинктов, помимо заданных совершенно определенной потребностью: их территориальные притязания, на его взгляд, напрямую связаны со спариванием. Он отметил, что птицы семейства вьюрковых, бывшие предметом его исследований, в зимнее время жили соседями и вполне ладили между собой. Но с наступлением весны их поведение поразительным образом менялось. Начиналась борьба за самку и за место для выведения потомства.

- Присмотритесь... к многочисленным стаям вьюрков, которые всю зиму носятся над полями. Хотя в их составе может быть множество особей разных видов, но каждая стая представляет собой сообщество, спаянное взаимными дружественными чувствами и приводимое в движение одним мотивом — добычей корма... Но в начале весны, откликаясь на какую-то перемену в организме, вперед вырывается индивидуальность, которая вызывает поворот в развитии ситуации, и один за другим самцы стремятся уединиться, каждый занимает некую особую замкнутую территорию, отделяется от собратьев. После этого на многих полях мы уже не видим больших стай, а значительная часть полей оказывается и вовсе ненаселенной, но зато замечаем, что роши-

цы и кустарники, образующие живые изгороди между полями, поделены на множество территорий, и каждая имеет своего владельца... Столь резкое отклонение от обычного рутинного поведения едва ли повторялось бы из поколения в поколение в таких многообразных формах и вместе с тем так одинаково с наступлением каждой весны, если бы не имело под собой некой врожденной основы... и не следовало какой-то унаследованной наклонности...*

Эту тягу к обладанию собственной территорией Говард объяснил тем, что при взаимно близком расположении гнезд птицам пришлось бы удаляться в поисках корма на большие расстояния и тем самым подвергать опасности свое чрезвычайно чувствительное к холоду потомство⁷. Поэтому птицы агрессивно защищают свои владения: пение песен один из способов, каким самцы заявляют о своем праве на данную территорию и призывают самцов-чужаков держаться подальше. Говард заключил, что отношение к территории у птиц “инстинктивное”, то есть “зависит от чисто биологических условий и никак не связано с приобретенным и осознанным опытом”⁸.

Последующие исследования подтвердили выводы Говарда. Было установлено, что тяга к обладанию территорией присуща почти всем животным — от простейших одноклеточных до самых высокоорганизованных приматов⁹. В исследовании, посвященном собственности, Эрнест Биглхоул посвятил пространную главу проявлениям собственнических наклонностей в поведении насекомых¹⁰. Стрекозы, например, нападают на своих сородичей, приближающихся к местам, где они отложили яйца¹¹. Подобное поведение наблюдается и в жизни морской фауны: достаточно посмотреть, как яростно защищает свои нерестилища рыба, называемая трехиглой корюшкой¹². Примеры можно приводить без конца. Животные часто помечают территории, на которые они предъявляют права, пуская в ход, по отдельности или в каких-то сочетаниях, данные им от природы средства воздействия на слух, зрение или обоняние возможных нарушителей,

* Н. Elliot Howard, *Territory in Bird Life* (London, 1920), 4–5. Позднее было установлено, что у некоторых видов птиц, особенно неперелетных, места, где располагаются их гнезда, принято защищать и в зимнее время. [Torsten Malmberg, *Human Territoriality* (The Hague etc., 1980), 33.]

и защищают эти территории иногда сообща, иногда самостоятельно. В отличие от людей, однако, при необходимости дать отпор нарушителю они защищают свои владения не угрозами его жизни, а сигналами-телодвижениями и прочими демонстративными действиями, вплоть до того, что затевают драку, редко, впрочем, доходящую до кровопролития; остается лишь удивляться, почему это у людей злобное поведение называется “зверским”.

Важное следствие этих открытий состоит в том, что собственная территория требуется животным не только для защиты от хищников и добывания корма для себя и потомства, но и для того, чтобы совершать сами действия, необходимые для продолжения рода: “У большинства, хотя и не у всех, привязанных к территории видов... самки не откликаются на любовные призывы самцов, не имеющих своих владений. В общей модели поведения территориально привязанных видов соперничество между самцами отражает борьбу не за обладание самкой, как мы считали прежде, а за обладание собственностью”¹³.

Постоянную численность птиц одного вида в пределах данной территории один ирландский наблюдатель еще в 1903 году объяснил тем фактом, что потомство производят лишь те особи, которым удастся обзавестись собственной территорией для высиживания и вскармливания птенцов¹⁴. Иными словами, территориальные ограничения действуют как регулятор численности “населения”.

Некоторые приматы утверждают свое исключительное право на землю, физически занимая ее и “сидя” на ней¹⁵. Это поведение не очень-то отличается от человеческого, как о том свидетельствует этимология слов, означающих владение во многих языках. Так, немецкий глагол в значении “владеть” (*besitzen*) и существительное “владение” (*Besitz*) буквально выражают понятие “сидеть на” или “располагаться на”. В польском языке то же происхождение имеют глагол *posiadać* (обладать) и существительное *posiadłość* (собственность). Корень латинского *possidere* также *sedere*, то есть “сидеть”, а отсюда и глаголы, означающие “владеть, обладать” во французском (*posséder*) и английском (*to possess*) языках¹⁶. Слово “nest” (англ. “гнездо”) происходит от корня *nisad* или *nizdo* в значении “сидеть”¹⁷. Для монарха занимать трон означало “не что иное, как символически выразить сидение на царстве”¹⁸.

Этологи установили, что для животных обладание территорией и сопутствующее ему близкое знакомство с особенностями окружающей среды, помимо того, что оно помогает добывать корм и размножаться, критически важно для их физического выживания: “Занятие определенной территории позволяет животному обретать подробные знания об окружающей его среде и в то же время вырабатывать набор своих реакций на особые черты и подсказки, предлагаемые данной местностью — удобные точки для наблюдения, места для укрытия и т. д., — что позволяет быстро и эффективно реагировать на появление опасности и нападение. В сочетании с тем, что, возможно, является психологическим выигрышем, это создает хорошо известный эффект “помощи от родных стен”, при которой и слабые животные, находясь на собственной территории, оказываются способными давать отпор более сильным противникам”¹⁹.

Во многих случаях оказалось возможным точно установить, каких размеров территория требуется данному виду для жизни и размножения. В грубой прикидке правило таково, что хищникам нужна территория, десятикратно большая, чем травоядным²⁰. Животные, как можно догадаться, защищают свою территорию тем яростнее, чем больше она сокращается²¹. “Перенаселенность” заставляет их вести себя крайне агрессивно, а то и невротически. Даже при достатке корма перенаселенность ведет к психологическим сдвигам, которые могут вызывать массовую гибель²².

Один из основателей социобиологии, Эдвард О. Уилсон, утверждает, что почти все позвоночные и большинство беспозвоночных “строят свою жизнь сообразно точным правилам землевладения, пространственного размежевания и господства”, соблюдая между собой типичные для данного вида и точно определенные дистанции²³. Общественные животные, вроде муравьев, особенно расположены к защите своей территории, муравейника, и, как о них говорят, живут в состоянии вечной войны²⁴. Другие животные воинственно охраняют ядро своей территории, но терпимо относятся к появлению чужаков в периферийных зонах, принадлежность которых строго не определена.

Лоренц, Тинберген и некоторые другие этологи усматривают корни агрессивности человека и животных в “территориальном инстинкте”. Это утверждение вызвало ожесточенные споры, ибо оно означает, что агрессивность имеет гене-

тическую основу и, следовательно, неискоренима²⁵. В попытках развенчать этот взгляд его противники доходят порой до крайностей. Если одни соглашались, что человеческое поведение это смесь инстинкта и знания, то другие начисто отрицают значение биологического фактора: так, отвергая теории Лоренца и Эдри о врожденной агрессивности человека, культур-антрополог Эшли Монтегю объявил эти учения лишены вообще какой бы то ни было ценности: “Человек это человек, потому что у него нет инстинктов, потому что *все*, чем он является, и все, чем он стал, он усвоил, взял из своей культуры, из человеком же сотворенной же окружающей среды, от других людей”²⁶.

Тинберген предостерегал, что уроки, которые преподносит нам поведение животных, нельзя механически прилагать к поведению человека, ибо люди обладают высоким разумом, проявляющимся в их способности подчинять себе окружающую среду и передавать свои знания. Не обращая внимания на эту оговорку, поразительно многие психологи и антропологи отказываются хоть как-то считаться с данными этологии и социобиологии. Самое большее, на что хватает их терпимости, это отмахиваться от достижений этих новых дисциплин как от “чрезмерных упрощений”; в крайнем же своем упорстве они подвергают авторов (этих достижений) остракизму и оскорблениям. Эдварда Уилсона подвергли не только словесным поношениям, но и физическому нападению за то, что ему хватило духа выступить с утверждениями, что социобиология проливает свет на человеческое поведение²⁷. Стивен Джей Гульд в “Неверном измерении человека” отверг “биологический детерминизм” на том политическом основании, что он уже потому неверен, что является “в существе своем *теорией пределов*”²⁸, как будто представлением о том, что человек может и должен (по меркам наблюдателя), определяется то, чем он в действительности является и что делает. Гульд заостряет внимание на том, как биологический детерминизм использовался для продвижения в жизнь расизма, “фашизма” и даже геноцида²⁹. С помощью такой логики социобиологи могли бы обвинить сторонников влияния культурной среды, что те продвигают в жизнь социальную инженерию и, стало быть, толкают дело к коммунизму и сталинскому ГУЛАГу. Перед тем, кто лично не втянут в эти споры, вопрос состоит не в том, возможно ли использование биологии в политических целях (что, конечно же, и возмож-

но, и имело место на деле), а в том, что же именно наблюдение за животными говорит нам о человеке.

Как было отмечено выше при обсуждении теорий Франца Боаса, причина, по которой значительная часть ученых отказывается признавать данные социобиологии, относится в конечном счете к области политики. Так, один из критиков социобиологии говорит, что взгляды Лоренца на истоки человеческой агрессивности должны быть отвергнуты не только как научно несостоятельные, но и потому, что они толкают к определенным “политическим выводам”³⁰. Убеждение, кардинально важное для либерализма, социализма и коммунизма, состоит в том, что люди — это безгранично податливые существа, так что с помощью законов и образования (и внушения) их можно очистить от общественно нежелательных наклонностей прежде всего тяги к приобретательству и агрессивности — и сделать такими, что они будут радоваться жизни в равенстве с себе подобными. Способность человека “совершенствоваться” один из видных американских либералов провозгласил необходимой предпосылкой демократии³¹; еще большее значение придается этой предпосылке в устремлениях социалистов и коммунистов. Такое представление может быть состоятельно лишь в том случае, если человеческое поведение объясняется исключительно или почти исключительно воздействием среды (“культуры”). Если же оно имеет биологические корни, возможности изменить его неизбежно оказываются ограниченными. Самое большее, на что при этом можно рассчитывать, это обучением, наказаниями, общественными порицаниями и другими подобными приемами воздвигнуть преграды нежелательным видам социального поведения при сохранении риска, что тяга к приобретательству и агрессивность, заложенные в человека природой, проявятся сразу же, едва только эти преграды будут устранены. Вопрос, таким образом, имеет первостепенное значение для всех, кто стремится коренным образом переделать общество. Вот почему спор, в котором сталкиваются “натура и культура”, вызывает такие страсти, и люди, в других случаях готовые спокойно рассматривать и непредвзято оценивать данные науки, чрезвычайно возбуждаются, едва заходит речь о человеческой природе. Опыт свидетельствует, что с научной бесстрастностью люди могут исследовать что угодно, только не самих себя. Сколько бы они ни старались быть объективными, стоит им заняться изучением

человеческого поведения, и немедленно пробивает себе дорогу стремление направить его в “конструктивное русло”. А понятие “конструктивного русла” неизменно влияет на представления о побуждениях, управляющих действиями человека. При всей решимости вести разговор об этом предмете только в научных понятиях и даже в математических формулах, обходясь без ценностных суждений, на деле используемый метод оказывается дедукцией и выражением политических предпочтений.

2. Собственнические устремления у детей

Для доказательства, что тяга к присвоению и обладанию появляется только под воздействием определенной культурной среды, потребовалось бы подтвердить, что детям черты поведения собственников чужды и усваиваются ими лишь с годами, под влиянием взрослых. В действительности материалы, собранные специалистами по детской психологии, свидетельствуют, что верно как раз обратное, а именно что маленькие карапузы являются отчаянными собственниками и, подрастая, начинают делиться своим имуществом только потому, что их этому учат.

Как и у животных, у человека тяга к присвоению возникает в основном по причинам биологическим и экономическим: ввиду потребностей в территории и предметах, необходимых для существования и продолжения рода. Вся деятельность человека “происходит в определенном месте или определенной географической среде”, и поэтому “привязка к месту” является “одной из важнейших характеристик человеческого общества”³². С обладанием собственностью связана одна психологическая тонкость, а именно, восприятие предмета собственности как продолжения самого себя³³. Уже Гегель подчеркивал положительное психологическое значение собственности, состоящее, говоря его словами, в следующем: “Именно и только через обладание и распоряжение собственностью он (человек) может воплотить свою волю во внешних предметах и трансцендентировать свою субъективность за пределы себя”. Очень проницательные замечания сделал на сей счет Уильям Джеймс: “Эмпирическое “я” — это все, что каждый из нас склонен обозначать словом *я*. Ясно, однако, что трудно провести разграничительную линию

между тем, что человек имеет в виду, говоря *я*, и тем, что он называет *мое*. Наши чувства и действия в отношении некоторых принадлежащих нам вещей очень напоминают наши чувства и действия в отношении самих себя. Наша репутация, наши дети, плоды труда наших рук могут быть дороги нам так же, как наше тело, и в случае посягательства на них могут вызывать те же чувства и те же действия для самозащиты... *В самом широком смысле... “я” человека есть итоговая сумма всего, что он МОЖЕТ называть своим* — не только его тело и силы его души, но и его одежда и его дом, его жена и дети, его предки и друзья, его репутация и плоды его труда, его земля и лошади, его яхта и банковский счет. Все эти вещи вызывают у него одинаковые чувства. Если они растут и процветают, он торжествует; если они приходят в упадок и исчезают, это его гнетет...

Инстинкт толкает нас к расширению круга предметов, находящихся в нашей собственности, и эти предметы, в разной степени вызывающие нашу привязанность, становятся составными частями нашего эмпирического *я*... В каждом случае (утраты чего-то нам принадлежавшего) остается... ощущение, что уменьшилась наша личность, что мы чуть-чуть продвинулись по пути нашего обращения в ничто ...”*

Было замечено, что во всех больших европейских языках — греческом, латинском, немецком, английском, итальянском и французском — слово “собственность” (“property”) имеет два связанных между собой значения: оно означает личное качество кого-либо или особое свойство чего-либо и, с другой стороны, указывает на нечто, кому-либо принадлежащее. “*Proper*” (“личный”) и “*appropriate*” (“присваивать, приобретать”) — слова однокоренные. Иначе говоря, словарь подает имущество как качественное определение. Поэтому все коммунистические схемы, от платоновского “Государства” до радикальных кибуцев в Израиле, предусматривают

* William James, *The Principles of Psychology*, I (New York, 1890), Chapter X, 291, 293. Обратное, хотя об этом обычно не вспоминают, тоже верно: унаследованное, то есть не заработанное богатство вызывает чувство неуверенности и вины. По-видимому, проблема эта серьезная и распространенная, раз появилась профессия “консультантов и врачей”, специализирующихся на расстройствах “от богатства”. Список таких специалистов можно найти в книге Барбары Блуэн. [Barbara Blouin, ed., *The Legacy of Inherited Wealth* (Halifax, N. S., 1995), 179–80.]

подавление личности индивидуума, в которой видят препятствие на пути к совершенному равенству. На заре существования Советского Союза одержимость этой идеей заходила так далеко, что некоторые идеологи всерьез предлагали заменить личные имена граждан цифрами и числами³⁵.

На психологическое измерение собственности следует обратить особое внимание, потому что противники прав собственности неизменно им пренебрегают. Например, готовность простых людей мириться с неравенством и эксплуатацией, отождествляемыми с капитализмом, английский историк, социалист Ричард Тоуни попытался объяснить боязнь потерять деньги, накопленные и отложенные этими людьми на случай болезни и на старость. Они, по его мнению, заблуждаются: “Собственность это орудие, а обеспеченная жизнь это цель, и если она может быть достигнута каким-то иным способом, ничто не указывает на опасность потерять уверенность, или свободу, или независимость при устранении собственности”³⁶. Но как свидетельствует опыт, привязанность к собственности есть не только отрицательно, но и положительно направленная сила: она питает не только страх утраты, но и надежду на выигрыш. Именно за неспособность осознать этот факт заплатились своим плачевным экономическим состоянием общества, отменившие частную собственность.

Проницательность Джеймса нашла подтверждение при клинических обследованиях детей. Английский специалист по детской психологии Д. У. Уинникот назвал “передаточными предметами” одеяла и плюшевых мишек, за которые упорно держится ребенок, и пояснил, что эти вещи одновременно и заменяют ему мать, и позволяют преодолевать зависимость от матери и утверждать собственную личность, осознавая существование предметов, находящихся вне его самого, то есть образующих “не-я”³⁷. Исследования, посвященные развитию ребенка, позволили выявить ступени эволюции его приобретательских устремлений. Два психолога обратили внимание на то, что знакомо многим родителям, а именно, что полуторагодовалые младенцы засыпают с трудом, если рядом нет любимой игрушки, своего одеяльца или еще какой-то привычной вещицы; притом они четко знают, что кому принадлежит. В двухлетнем возрасте ребенок “завладевает всем, чем только может”, и обнаруживает “сильно выраженное чувство собственности, особенно в отношении игрушек. Слова “это мое” слышатся постоянно”. Подрастая, дети выучиваются делить-

ся, но дух собственника по-прежнему сидит в них крепко, как и страсть к накопительству. К девяти годам появляются выраженный интерес к деньгам и стремление набрать их как можно больше³⁸. Эти данные подкрепляют мнение Джеймса, что обладание собственностью способствует становлению человеческой личности. Заявление двухлетнего ребенка “это мое” означает “это не твое” и таким образом выражает понимание, что “я это я”, а “ты это ты”.

Исследования, проведенные в США в начале 1930-х годов, выявили степень агрессивности, с какой дошкольники добиваются обладания имуществом. В одном случае изучалось поведение сорока детей в возрасте от восемнадцати до шестидесяти месяцев. В яслях, едва там в каком-нибудь углу возникала ссора, тут же появлялась исследовательница-психолог или кто-то из ее помощников, “вооруженные хронометром, блокнотами и иными причиндалами”, позволявшими отметить природу и продолжительность распри. Всего команда “засекла” около двухсот ссор. Она установила, что во всех возрастных группах причиной раздоров чаще всего были ссоры из-за имущества. Однако наиболее часто так обстояло дело у самых маленьких (от 18 до 21 месяца), среди которых на долю ссор, разгоравшихся по этой причине, приходилось 73,5 процента всех распрей такого рода³⁹. Эти результаты подсказывают, что приобретательские устремления возникают не под воздействием культуры, а являются врожденными инстинктами, которые культурой, наоборот, приглушаются.

Оправданно выглядят и предположения, что дети, вырастающие в обществе, где высоко ценятся материальные блага, перенимают приобретательское поведение у старших. Однако у детей, воспитываемых в сообществах коммунистического толка, обнаруживается тот же образ поведения. В работе, положившей начало исследованию израильских кибуцев, Мелфорд Спиро показал, что в этих созданных на коммунистических основах общинах детям свойственны те же приобретательские порывы и то же завистливое отношение к чужой собственности, какие наблюдаются у детей в условиях капитализма. Вырастая в общинных яслях и детсадах, они точно так же заявляют себя собственниками таких вещей, как краски и одеяла, и четко знают смысл выражения “это мое”. “Изобилуют свидетельства, что, исключая лишь самых маленьких, все дети дошкольного возраста (от двух до четырех лет) воспринимают определенные предметы как свою

собственность”. В старших детсадовских группах “они очень настойчиво утверждают свои права собственности... Некоторые завидуют чужой собственности...”. Лишь подрастая, они под воздействием общинной идеологии приходят к тому, что начинают отрицать свою потребность в личном имуществе. Из этих свидетельств автор заключает, что “ребенок это не *tabula rasa*, не создание, которое зависит лишь от культурной среды и которое одинаково легко приспосабливается к установкам как частной, так и коллективной собственности. Наоборот, имеющиеся данные подсказывают, что начальные побуждения ребенка усиленно влекут его к частной собственности, и от этой ориентации его лишь постепенно отлучает воздействие культурной среды”⁴⁰.

Лита Фэрби, также изучавшая детей в устроенном на коммунистических началах кибуце, обнаружила, что потом, во взрослые годы, у них под внешним покровом безразличия к частной собственности сохраняется сильный дух приобретательства, который был социально подавлен. К этим исследованиям ее подтолкнуло осознание, что вплоть до 1970-х годов “не проводилось почти никакой эмпирической работы и никакой систематической теоретической работы по психологии обладания — о происхождении и развитии индивидуальной тяги к владению”⁴¹. Занявшись восполнением пробела, она установила, что дух (или инстинкт) приобретательства появляется в очень раннем возрасте и даже в крайне враждебной ему среде: дети, воспитанные в живущих по-коммунистически кибуцах, проявляют такую же тягу к присвоению, как и американские дети, вырастающие в условиях культуры, которая поощряет материалистические устремления. Ее исследования подтвердили мнение Уильяма Джеймса, подчеркивавшего тесную связь между обладанием и самосознанием, равно как и влияние, оказываемое наличием собственности на развитие уверенности в своих силах: “Первые понятия собственности складываются вокруг представлений о том, что находится в пределах *моей* власти и что происходит в результате *моих* действий”⁴². Дети очень рано начинают использовать притяжательное местоимение “*мое*”, а достигнув рубежа, когда они способны составить предложение из двух слов, одним из первых выражают понятие собственности (например, “папино кресло”)⁴³.

Бруно Беттелхайм, к собственному удивлению, установил, что если со временем в кибуцах и удалось привить детям без-

различие к обладанию личным имуществом, то заплатить за это пришлось дорого. Израильтяне, воспитанные в таком спартанском духе, проявляли исключительную групповую солидарность и становились прекрасными солдатами, но в их души с большим трудом проникали чувства привязанности к какому-либо отдельному человеку, будь то дружеское расположение или влюбленность. “Чувство, разделяемое лишь с одним человеком, это проявление эгоизма, ничуть не меньшее, чем любое иное проявление частной собственности. Нигде более, чем в киббуце, не становилось мне столь ясно, до какой степени в глубинах сознания частная собственность связана с личными чувствами. Нет одного, не будет скорее всего и другого”^{*}.

В киббуце молодые люди признавались, что им не дают писать стихи и рисовать, потому что эти занятия расцениваются как “эгоистические” и осуждаются группой⁴⁴.

Опытным путем было, далее, установлено, что, подобно животным, дети для нормального развития нуждаются в своем, лично за каждым закрепленном участке пространства. “Территориальное разграничение необходимо для (их) полного физического здоровья”, “если детям недостает пространства, это ведет к их отсталости”⁴⁵. Также подобно животным, дети соблюдают строго определенные дистанции в отношении друзей, знакомых и посторонних, причем поддерживаемые в этих случаях расстояния несколько разнятся у мальчиков и девочек⁴⁶. Схожим образом они окружают себя невидимыми пространственными “пузырями”, на которые устанавливают свою исключительную собственность. Вырастая в условиях разных культур, люди продолжают поддерживать привычные для них расстояния по отношению друг к другу и резко реагируют на вторжения посторонних в пределы их личных пространств^{**}. Понятие жизни, укрытой от посторонних взоров (privacy), целиком держится на представлении об имеющейся

^{*} Bruno Bettelheim, *The Children of the Dream* (London, 1969), 261. Это наблюдение подтвердило установленный Спиро факт, что у детей, выросших в таких условиях, “редко возникают чувства сентиментальной привязанности или близкой дружбы”. [Melford E. Spiro, *Children of the Kibbutz* (Cambridge, Mass., 1958), 424.]

^{**} У взрослых американцев “личное расстояние”, отделяющее собственную дистанцию” от “дистанции общественной”, колеблется, похоже, в пределах от восемнадцати до тридцати дюймов. Wall, *Hidden Dimension*, 112–14.]

у нас возможности уйти, полностью или частично, в наш собственный мир; возможность отгородиться от окружающих составляет важную грань прав собственности. Где нет собственности, там не уважается право на уединение*. Мы отметили настойчивость, с которой сочинители утопий, начиная с Томаса Мора, твердили, что члены их воображаемых коммун живут и действуют совместно. Нацисты и коммунисты делали все, что было в их силах, чтобы разрушить уединение домашней жизни и вытащить людей в социальное поле постоянного общения друг с другом. В отношении политических изгоев они шли на самые крайние меры ради лишения их возможности оставаться наедине с собой. В стремлении подорвать человеческое достоинство своих жертв нацисты отбирали у них и личное пространство, набивая концлагеря таким количеством заключенных, что в переполненных бараках те не могли спать, не стесняя друг друга. С той же целью переполненными сознательно содержались сталинские лагеря и тюрьмы.

3. Собственность у первобытных народов

В предыдущей главе мы отметили, что вера в золотой век, когда у людей все было общим, существовала от начала истории человечества. Она обеспечивала психологическую опору теоретическим рассуждениям о “противоестественности” собственности. Но эту веру никак не поддерживает современная антропология. Напротив, антропологи пришли к выводу, что никогда не существовало общества настолько неразвитого, чтобы не знать никакой формы собственности⁴⁷.

- Собственность — это обязательная черта человеческой культуры. Земля, на которой живет социальная группа, та земля, что дает ей средства существования, та, на которой бродят дикие и пасутся домашние животные, деревья и урожай на полях, дома, возводимые людьми, одежды, которые они носят, их песни и танцы, их религиозные гимны — все это и многое другое суть объекты собственности.

* И это помогает понять, почему в русском языке — языке народа, у которого на протяжении большей части его истории не было никакой частной собственности на средства производства, — отсутствует слово для обозначения *privacy*, то есть уединения, позволяющего не быть на виду у посторонних или вообще кого бы то ни было.

Все, что служит поддержанию жизни людей и что ими ценится, они стараются обращать в свою собственность. Так и получается, что собственность присутствует всюду, где есть человек, и образует ткань-основу всякого общества⁴⁸.

Тот факт, что все общества осуждают и карают воровство, по крайней мере в своей среде, свидетельствует об их уважении собственности*. Более того, своды законов, сохранившиеся с древних времен, ставят собственность и ее защиту в ряд своих главных забот, сразу после охраны человека от телесных повреждений. Так обстоит дело с законами Хаммурапи (около 1750 года до н. э.), многие из которых касаются хищения товаров и рабов, владения земель, рогатым скотом и овцами, инвестиций и долгов. В двух из трех дошедших до нас глиняных табличек с записями ассирийского кодекса законов (около 1100 года до н. э.) речь идет о правах на землю и других видах владений; значительная часть таблички, посвященной женщинам, также регулирует права и требования собственности. Римские законы Двенадцати таблиц (пятый век до н. э.) касаются таких предметов, как долги, кражи, передача по наследству; право владельца распоряжаться своей собственностью твердо гарантируется. “Первобытный коммунизм” на поверку оказывается таким же мифом, как представление, будто собственнические наклонности прививаются обществом. И все же в большинстве учебников по антропологии о собственности либо вовсе не говорится, либо о ней упоминается лишь вскользь**.

* Edward Westermarck, *The Origin and Development of Moral Ideas*, II (Freeport, N.Y., 1971, 1, 20). В своей книге “Первобытное право” [*Primitive Law* (London etc., 1935)], где речь идет не о первобытных племенах, а о древних кодексах законов, А. С. Даймонд (A. S. Diamond) утверждает, что “в первобытном праве не было такого понятия собственность” (р. 261). Однако несколькими страницами ниже он перечисляет наказания, которые первобытное право (по его определению) налагало за ограбление (pp. 299, 328–29).

** Так, Карлтон Кун (Carleton Coon) в книге *Hunting Peoples* (London, 1972) находит место для того, чтобы осудить современного человека за то, что он якобы оставляет Землю без кислорода, как и за (беспользный, мол) полет на Луну, но так и не добирается до обсуждения вопроса о территориальных притязаниях или правах владения у первобытных охотников, то есть до основной своей темы. В книге, выпущенной издательством Кембриджского университета уже в 1990 году, удивительно встретить одобрительные высказывания о “первобытном коммунизме”. [Richard B. Lee in Steadman Upham, ed., *The Evolution of Political Systems* (Cambridge, 1990), 225–46.]

Все еще разделяемая многими учеными авторами вера в первобытный коммунизм не опирается ни на какие конкретные данные истории или антропологии, а лишь выводится из эволюционной социологии, ныне в целом развенчанного учения, которое появилось в середине девятнадцатого века под влиянием дарвиновского “Происхождения видов”. Дарвин изображал мир биологических явлений как постоянно меняющийся, “эволюционирующий” от низших форм к более высоким и сложным сообразно принципам, позволяющим различать ступени восхождения, и в соответствии с правилами естественного отбора. Эта теория быстро получила применение в обществоведении. В социологии эволюционная школа сделала для себя исходным представление о том, что институты человеческого общества точно так же, как живые существа, проходят развитие от простейших к более сложным, продвинутым формам; ни о чем, стало быть, нельзя сказать, что оно есть, ибо все всегда только становится. Так, было провозглашено, что история человечества следует схеме эволюции, ведущей от охоты и собирательства через скотоводство к земледелию и, наконец, промышленности.

- Далеко идущие последствия различий в образах жизни были замечены еще во времена классической древности, и вскоре им было приписано значение особых “стадий экономического развития”. В девятнадцатом веке, когда впервые было уделено серьезное внимание хозяйству первобытных народов, деление седой старины на эти экономические стадии не особенно расходилось с представлениями об однонаправленной эволюции, которые сами были некритически перенесены из биологии в область человеческой культуры. Человек, говорили, повсюду начинал охотником, потом овладевал навыками приручать диких животных, за которыми охотился, и таким образом превращался в пастуха, а в конечном счете добирался до стадии, на которой становился земледельцем. Не обращалось особого внимания на большие различия в способах, какими производился сбор плодов, или на то, как сильно посадка и сбор корнеплодов отличаются от более передовых методов земледелия с применением плуга. Не приводилось также никаких убедительных свидетельств в пользу предположения, что скотоводство повсеместно предшествовало земледелию. И наконец, почти совершенно выпало из поля зрения понятие смешения культур, и оста-

лась без признания его роль в утверждении на обширных пространствах определенных хозяйственных укладов. Идеи эволюции и прогресса, владевшие научной и общественной мыслью, произвели на свет расплывчато-неопределенного абстрактного “человека”, который живет нигде, но всегда одержим стремлением взобраться на более высокую ступень... Люди не живут на экономических стадиях. Они живут в условиях экономических укладов, но и те не бывают однозначными, наделенными лишь им присущими чертами; это всегда сочетание разных укладов⁴⁹.

Данные истории и антропологии указывают и на возможность, и на реальность сосуществования различных хозяйственных укладов, пусть даже и при преобладании какого-нибудь одного. Так, у древних германских племен скотоводство было главным занятием, тогда как земледелие, доверенное в основном женщинам, играло вспомогательную роль. Мужчины стали переключаться на обработку земли лишь с появлением плуга, который пришел на смену традиционной мотыге и потребовал приложения больших физических сил⁵⁰. Русские в средние века занимались преимущественно хлебопашеством, но они были также рыбаками, охотниками и звероловами; позднее к земледелию у них прибавились ремесла.

Воображаемое эволюционное развитие с переходом от одной “стадии” к другой сопровождалось, как утверждает, появлением собственности, якобы неведомой человечеству в самой ранней фазе его существования, то есть во времена “дикости”, когда люди всем владели сообща. Говоря язвительными словами Роберта Лоуи, из того, что собственность пользуется мощным влиянием “в современной промышленной цивилизации... эволюционист-схематик естественным образом должен был заключить, что в самой ранней фазе развития культуры она вообще не имела никакого значения”⁵¹. Наиболее распространенное сегодня мнение состоит в том, что система так называемого коллективного землевладения на всех ранних стадиях была попросту семейной системой, не более коллективной или социалистической, чем сегодняшняя неразделенная собственность семьи; что не существовало никакой определенной и повсеместно наблюдавшейся очередности в смене форм землевладения; что с первых шагов человечества, по крайней мере после того, как оно занялось обработкой земли, существовали различные системы землевладения, включая личную собственность, собствен-

ность семьи и племени; и что если какая-нибудь из них преобладала, так это семейная”⁵².

В той мере, в какой это только поддается выяснению, территориальные притязания первобытных обществ основываются на захвате *res nullius*, а права собственности на движимые предметы выводятся из факта приложения к ним своего труда — как, сходным образом, и представляли себе происхождение частной собственности теоретики-классики, подобные Локку⁵³.

Первобытные народы знают две формы собственности: родовую (племенную или семейную) и личную. В общем владении родовых групп находится земля, на которой члены группы собирают плоды, охотятся, ловят рыбу или, реже, обрабатывают отдельные участки, не допуская сюда никаких чужаков. Личную собственность составляют предметы личного пользования — одежда, оружие, орудия труда, — как равным образом и невещественные ценности, вроде песен, мифов, молитв, гимнов и т. д.

Начнем с личных вещей. По общему мнению антропологов, люди всегда считают одежду, украшения, оружие и т. д. абсолютной частной собственностью, так что этими вещами их владелец может распоряжаться как ему угодно⁵⁴. В основе лежит то обстоятельство, что все эти вещи представляют собой обычно творения рук самого их обладателя и воспринимаются как продолжение его личности: “личное имущество у туземцев считается частью самого человека, каким-то образом связанным с его личностью, слитым с ней или существующим отдельно... какая-то часть души данного человека передается тому, что попадает в его руки”⁵⁵. У маори Новой Зеландии, например, в обычае был религиозный ритуал, в ходе которого владельцы личного имущества прививали ему “табу” (*manu*), защищавшее его от чужих посягательств. В Меланезии владелец имущества оберегает его, насылая магические чары на возможного похитителя, которому в случае чего грозит болезнь⁵⁶. По смерти владельца эти его личные вещи либо сжигались, либо захоранивались вместе с покойником. Во многих первобытных обществах абсолютной частной собственностью считается также жилище, обычно наследуемое по женской линии, потому что создают его чаще всего именно женщины.

По поводу статуса жен в первобытных обществах некоторые антропологи придерживаются мнения, что они являются

личной собственностью своих мужей, потому что могут быть проданы или послужить залоговым обеспечением при некоей сделке⁵⁷. Предъявляемые в ряде случаев к женщинам непреременные требования блюсти целомудрие в девичестве и верность в супружестве тоже были истолкованы как своего рода “собственнические табу”*. Но существует и обычай, известный как “угощение женой”, когда мужчина предлагает гостю свою жену, нисколько не считаясь с ее желаниями, и это еще одно проявление собственности**. На вдову обычно смотрят как на часть имущества покойного мужа⁵⁸; поэтому в некоторых обществах ее убивают и хоронят или сжигают вместе с покойным супругом.

Первобытные люди считают своей личной собственностью не только вещественные предметы, но и то, что мы отнесли бы к разряду интеллектуальной собственности, а именно песни, легенды, рисунки и магические заклинания, которые, как считается, теряют силу, если их выучат и переймут другие в нарушение должного порядка их передачи дарением или продажей***. Такого рода невещественная собственность охраняется набором выработанных обществом условностей⁵⁹. Роберт Лоуи находит, что первобытные народы придерживаются правил, которые сродни современному авторскому и патентному праву. Примером служит тщательная охрана семейных секретов литейного дела у некоторых племен в Восточной Африке.

Что же касается предметов, выпадающих из разряда личных вещей, в частности земли, то гораздо легче описать, что люди думают о такой собственности, чем то, как они с ней об-

* Ernest Beaglehole, *Property: A Study in Social Psychology* (London, 1931), 158–63. Этот взгляд существует не только в первобытных обществах. В Англии семнадцатого века замужняя женщина рассматривалась “практически... как собственность ее мужа”, и по крайней мере один английский автор того времени доказывал, что супружеская неверность жены равнозначна посягательству на права собственности ее мужа. [Howard Nenner in J. R. Jones, ed., *Liberty Secured? Britain Before and After 1688* (Stanford, Calif., 1992), 95.]

** Он был в ходу и у древних германских племен. [C. Reynold Noyes, *The Institution of Property* (New York, 1936), 65.]

*** Robert H. Lowie in *Yale Law Journal* 37 (March 1928), 551–63. “Ни один житель Гренландии или Андаманских островов не смеет исполнить чужую песню без разрешения ее хозяина”. [Robert H. Lowie, *An Introduction to Cultural Anthropology* (New York, 1940), 282.]

ращаются. В современном западном обществе, ввиду требований налогообложения и высокого развития коммерческой культуры, почти все имеет своего собственника, которым могут быть правительство, корпорация, товарищество или отдельный человек; иными словами, почти все, за исключением самой жизни, является товаром. Не так, однако, обстоит дело в обществах, не достигших ступени современной цивилизации. Для появления собственности необходимы два условия: предмет должен быть объектом спроса, и он должен наличествовать в ограниченном количестве. Очевидно, что люди не станут ни предъявлять, ни защищать свои права на то, что никому не нужно, как и/или на то, что имеется в неисчерпаемом изобилии. Когда население мира составляло лишь малую долю его сегодняшней численности и было разбросано на обширных пространствах, землей и ее плодами по молчаливому уговору владели те, кто на этой земле жил, и заявляли они о своем владении лишь в случае, если кто-то на него физически покушался. (О том, сколь рассредоточеннее жили люди в доисторические времена, можно судить по оценкам, согласно которым все население Англии в ранний период каменного века — начиная примерно с 750 000 года до н. э. — составляло 250, а Франции 10 000 человек.⁶²) Ни о “владении”, ни о “собственности” вопрос не возникал, поскольку главная отличительная черта и того, и другого — право *отодвинуть в сторону* других — приобретает смысл лишь в условиях тесноты и порождаемого ею соперничества в борьбе за ограниченные ресурсы. Это, и уже в обществах с преимущественно сельскохозяйственной экономикой, происходит, как считается, тогда, когда плотность населения достигает 150–250 человек на квадратную милю — показателя, говорящего о переходе к усиленной обработке земли⁶³.

Утверждение прав собственности может сменяться отказом от них, если предмет обладания перестает быть редким или востребованным. Так, после Первой мировой войны механизация сельского хозяйства и решение командования американской кавалерии приостановить закупку лошадей быстро привели к тому, что лошади упали в цене, так что отстаивать права собственности на них стало в условиях Великих равнин невыгодно и они во множестве были выпущены на вольные пастбища и оказались бесхозными⁶⁴. Водоемы, оставшиеся без рыбы, могут утратить свою ценность; то же происходит и с пахотной землей, когда ее поглощает пустыня.

Чем больше собирается сведений о поведении первобытных народов, тем более очевидным становится упорство, с каким они держатся за исключительные права на все, от чего зависит их существование. Они “почти никогда не покидают своих регионов, потому что в чужих местах не могут рассчитывать на взаимную поддержку продовольствием и либо не знают, где там найти съедобные растения и плоды, либо сомневаются, что смогут получить разрешение на их сбор”⁶⁵. И это напоминает о преимуществах, которыми пользуются животные, когда держатся в пределах знакомой им местности.

Экономические блага — не единственная причина, по которой первобытные люди защищают родные места и не отваживаются их покидать. Их привязанность к этим местам имеет также свои религиозные и психологические корни.

Первобытные люди поддерживают тотемическую связь со своими предками и верят, что покинуть землю, на которой те когда-то жили, значит оборвать общение с ними⁶⁶. У многих народов, включая древних греков и китайцев, умерших хоронили не на кладбищах, а в земле, которую те при жизни обрабатывали, и этим устанавливалась мистическая связь между предками и их потомками. Фюстель де Куланж придавал этой связи такое значение, что усматривал в ней первоначальный источник прав собственности. Говоря о появлении земельной собственности в древней Греции, его ученик Поль Гиро писал: “Если греки мечтали обзавестись землей, то потому, что им надо было есть и одеваться; если они преуспевали в приобретении земли, то потому, что им хватало сил завладеть ею; если они превращали ее в семейное, передаваемое по наследству имущество, то потому, что предкам семьи нужно было иметь поблизости от жилища их потомков место постоянного пребывания, которое у семьи никогда не отберут и где они смогут покоиться вечно в уверенности, что всегда будут получать от семьи должные почести и всегда будут составлять с нею единое целое”⁶⁷.

Сентиментальная привязанность к родным местам, выливающаяся в “тоску по родному дому”, не есть приобретаемое свойство или то, чему можно научиться⁶⁸. Джомо Кениатта, первый президент независимой Кении, по образованию, кстати, антрополог, вспоминая о юных годах, проведенных в племени кикуйю, и описывая отношение своего народа к земле, косвенным образом подтверждает суждение Фюстеля

де Куланжа о древних греках: “При изучении племенного строя кикуйю необходимо иметь в виду, что отношение к земле играет важнейшую роль в общественной, политической, религиозной и экономической жизни племени... Общение с духами предков постоянно поддерживается контактами с землей, в которой предки племени покоятся. Кикуйю считают землю “матерью” племени, потому что мать несет свое бремя в течение восьми или девяти лунных месяцев, пока дитя находится в ее чреве, а затем еще некоторое время, пока его вскармливает. Земля же кормит своих детей всю их жизнь; и потом, после их смерти именно земля вечно кормит духов умерших. Таким образом, земля это самое священное среди всего, что находится в ней и на ней”⁶⁹.

Столь эмоциональное отношение остальных народов к земле объясняет, почему они не считают ее товаром, то есть не допускают, что с ней можно по собственной воле расстаться. Рассказывая о трудностях, испытываемых западными людьми при попытках разобраться в том, как инуиты (эскимосы) относятся к земле, один канадский географ пишет: “В той мере, в какой (эти) люди внятно определяли свои взаимоотношения с землей, они стояли на том, что сами принадлежат земле, а не она им. В (их) традиционной космогонии нет места присущему западной мысли различению объекта и субъекта в отношениях человека с природой, нет представления о природе как о подчиняемой человеком бесчувственной материи. Земля это дом и кормилица, но ее нельзя дробить на обособленные владения и нельзя отчуждать”⁷⁰.

Поэтому-то первобытные люди не признают купли-продажи земли; вот только один из множества примеров: банту в Африке никогда не продают свою землю*. Для современных

* Herskovitz, *Economic Anthropology*, 365; Armand Culliver, *Manuel de sociologie*, II (Paris, 1956), 505-6. Финли (*Economy and Society in Ancient Greece*) говорит, что так дело обстояло и в древних Афинах, где была собственность на землю, но очень мало торговли землей: земля не была там товаром в полном смысле слова. Хорошо известная история с продажей Манхэттена, который индейцы отдали голландцам за шестьдесят гульденов, замешана на недоразумении. “Краснокожие понятия не имели о личной или племенной собственности на землю... никто из них на Манхэттене не жил; там они только охотились и рыбачили. Индейцы представляли себе сделку так, что время от времени они будут выделять бледнолицым отдельные участки острова, которые тем могут понадобиться. Они и в

жителей Запада право свободного отчуждения своего имущества является одной из важнейших отличительных черт собственности, и возможно, именно по этой причине им трудно распознать наличие частной земельной собственности у неевропейцев*. Здесь предъявляются скорее отрицательные, чем положительные права собственности: упор делается скорее на недопущение других, чем на свое право полного распоряжения. Если для современного человека собственность на землю, в соответствии с римским правом, предполагает свободную ее продажу другим, то для первобытного человека она означает только право не допускать на нее других. В этом смысле отношение к земле у первобытных людей такое же, как у животных: “Основное значение территории (для птиц) определяется не внешними выражениями ее принадлежности данному обладателю (оборонительными или любыми

мыслях не держали, что их могут полностью оттуда вытеснить”. [Edward Robb Ellis, *The Epic of New York City* (New York, 1966), 25–26.] Если не считать ошибочного утверждения автора, будто индейцы не имели никакого представления о собственности на землю (будь это так, они не могли бы предоставить голландцам доступ на остров), по существу история оценена правильно. “Голландцы никогда не похвалялись, что они надули алгонквинов”, пишет другой историк, “они просто искали способ умиротворить туземцев и заручиться правом жить рядом с ними. Более того, индейцы не покинули остров: они продолжали свободно разгуливать по деревьям и никак не ощущали происшедшей смены власти”. [Anka Muhlstein, *Manhattan* (Paris, 1986), 23–24.] Подобные сделки заключались и в Канаде с эскимосами, которые время от времени допускали чужеземцев на свои земли. [Peter J. Usher in Terry I. Anderson, ed., *Property Rights and Indian Economies* (Lanham, Md., 1992), 47.]

* Довод, который западные люди часто выдвигали в оправдание захватов принадлежавших индейцам земель, состоял в том, что туземцы, будучи охотниками с кочевым образом жизни, ничего не сделали для улучшения земли и поэтому, мол, не имеют на нее никаких прав. Эти соображения выдвигались в Северной Америке уже в колониальные времена. [См. Wilcomb E. Washburn in James Morton Smith, ed., *Seventeenth Century America* (Chapel Hill, N. C., 1959), 22–23.] В 1823 году Верховный суд рассматривал иск индейских племен к белым поселенцам, которые настаивали, что индейцы, кочующие охотники, не сделали на земле никаких улучшений в подкрепление своих на нее притязаний и, постоянно передвигаясь с места на место, оставили “мало следов”, могущих свидетельствовать в их пользу. [Carol M. Rose in *University of Chicago Law Review* 52, No. 1 (1985), 85–86.]

другими действиями), а степенью, в какой обладатель действительно ею пользуется”⁷¹.

Сентиментальная привязанность к родной земле сильна и у современных людей. Наиболее драматическим образом она проявилась в беспримерном эпизоде мировой истории возвращения еврейского народа на землю его предков в Израиль после двух тысяч лет пребывания в диаспоре. Другим примером является возвращение в родные места нескольких малых народов, депортированных Сталиным в 1944 году якобы за сотрудничество с немецкими захватчиками (чеченцев, ингушей, балкарцев, калмыков, крымских татар)⁷².

На протяжении всей истории к людям, не имевшим родной страны, относились с презрением. Самой наглядной иллюстрацией служит традиционное отношение христиан к иудеям. Когда в четвертом столетии, вслед за обращением правителей Римской империи в христианство, значительная часть еврейского населения отказалась перейти в новую веру, эти люди подверглись таким же гонениям со стороны христиан, каким прежде сами христиане подвергались со стороны римлян. Начиная с четвертого века христианские богословы изображали евреев проклятым, обреченным на вечные муки народом. На иудеев, мол, обрушены гнев и кара Божья за то, что они распяли Христа, и “доказательство” в том, что после разрушения римлянами их Храма они не имеют собственного дома и сами рассеяны по миру.

- В четвертом веке почти все отцы церкви говорят одним голосом, от святого Ефрема до святого Иеронима, от святого Иоанна Златоуста до святого Августина. В великом трактате Августина “О граде Божием” читаем: “Но евреи, которые его отвергли... были после этого нещадно биты римлянами и рассеяны по всему миру”⁷³.

Этот миф — а налицо именно миф, потому что исход из Палестины и рассеяние евреев по миру начались за столетия до рождения Иисуса⁷⁴, — глубоко укоренился в христианском сознании и время от времени запускается в оборот как якобы убедительное доказательство, что евреи — это народ-изгой, приговоренный к вечным страданиям.

Ниже следует пример такого образа мысли. Он взят из русской летописи, объясняющей, почему, выбирая веру для своего народа, киевский князь Владимир отверг иудаизм, который предлагали ему принявшие эту религию хазары: “(Владимир) же спросил (хазар-иудеев): “А где земля ваша?”

Они же сказали: “В Иерусалиме”. Снова спросил он: “Точно ли она там?” И ответили: “Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи наши, а землю нашу отдал христианам”. Сказал на это Владимир: “Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям”⁷⁵.

Такие представления все еще играют существенную роль в нагнетании враждебного отношения христиан к государству Израиль, отношения для евреев удивительного, потому что возвращение иудеев на родину должно бы вроде свидетельствовать как раз о том, что вина за муки Христа с них снята.

И наконец, собственность имеет свое психологическое измерение. Первобытным людям обладание ею дает, похоже, такое же чувство благополучия и прибавляет уверенности в себе, как и западному человеку. Исследования очень отсталой народности негрито в Юго-Восточной Азии показали не только то, что эти люди имеют развитое чувство собственности, но и то, что предметы, которыми они владеют, “греют” им душу. “Психологическими основами частной собственности” у этих людей являются “явно развитое сознание своей индивидуальности и связанное с ним сознание (ценности) личных достижений”⁷⁶.

Высказывалось мнение, что уход большинства современного человечества от земли является причиной многих его общественных проблем, поскольку отсутствие связи с землей притупляет у человека чувства личного достоинства и ответственности⁷⁷. Глеб Успенский в свое время выразительно показал, какие разрушительные последствия имела для русского крестьянина утрата непосредственного общения с землей⁷⁸. Вполне возможно, что устроенный Сталиным всеобщий и насильственный отрыв крестьян от земли был самым болезненным испытанием в истории русского народа таким, что его пагубные последствия будут, вероятно, сказываться еще не в одном поколении.

4. Общества охотников и собирателей

Охота и собирательство — это способ, каким человек поддерживал свое существование на протяжении столь долгого времени, что оно вместило в себя, вероятно, не менее 99 процен-

тов прошлого человечества. Согласно более осторожной” оценке, из восьмидесяти миллиардов людей, живших пока что на земле, более 90 процентов существовали за счет охоты и собирательства, то есть обеспечивали себе средства к жизни нисколько не иначе, чем это делают дикие животные. (“В течение примерно пятнадцати миллионов лет члены семьи человеческой кормились, как животные среди других животных”⁷⁹.) Считается, что лишь 6 процентов обрабатывали землю, а оставшиеся 4 процента находили себе занятия, связанные с промышленным производством⁸⁰.

Охотники и собиратели ревниво охраняют свои территории, от которых всецело зависит их жизнь. В обычае этих людей, объединенных, как правило, в большие семьи, ограничивать доступ на земли, где они добывают корм, только родственниками. Хотя время от времени туда могут допустить и чужака, но вообще нарушитель границы скорее всего будет схвачен и убит⁸¹. Свирепость, с какой первобытные племена защищали свои владения, дала повод для уподобления их другим млекопитающим⁸². Опубликованные во время Первой мировой войны результаты исследования, которое провел Франк Г. Спек среди индейцев, населяющих северные и северо-восточные области Соединенных Штатов и Канады, опрокинули утверждения Льюиса Моргана и его последователей, будто охотники-индейцы не закрепляют за собой исключительных прав на свои угодья. Спек обнаружил, что “вся территория, которую племя считает своей, разбита на участки, с незапамятных времен находящиеся во владении одних и тех же семей и передающиеся по наследству из поколения в поколение. Известны и признаются почти точные границы этих участков, и нарушение их, что, правда, случается редко, карается смертью”^{*}.

* University of Pennsylvania, *University Bulletin*, 15th Series, No. 4, Pt. ii, *University Lectures* (Philadelphia, 1915), 183. Такие свидетельства позднее не помешали, тем не менее, покойному профессору социальной антропологии в Кембриджском университете Э. Личу настаивать, что “ни одно человеческое общество, древнее или современное, первобытное или цивилизованное, никогда не имело обычаев, сколько-нибудь соответствующих стереотипу территориального поведения”. [Edmund Leach in *New York Review Books of II*, No. 6 (October 10, 1968), 26.] Оставляя без внимания сведения о жестокости и непрекращающихся стычках между первобытными племенами, Лич приписывал агрессивность исключительно “чело-

Последующие изыскания обнаружили любопытный факт из жизни индейцев на северо-востоке США, а именно, что предъявлять свои территориальные права их дополнительно побудило появление европейцев, охотившихся на бобров. До того бобры водились в таком изобилии, что практически ни во что не ценились, и никому в голову не приходило объявлять их своей собственностью. Едва появились белые торговцы, готовые платить за бобровые шкуры, как индейцы обозначили границы своих владений⁸³. В отличие от этого, эскимосы охотники на оленей карибу никаких территориальных прав не предъявляют, потому что карибу пасутся, передвигаясь по таким обширным пространствам, что исключается самая возможность как-то их разграничить⁸⁴. Индейцы юго-западных равнин также не настаивали ни на каких своих территориальных правах, отчасти потому, что разводимый ими скот не представлял никакой коммерческой ценности, а отчасти потому, что пастбищами служили необъятные, никакому разграничению не поддающиеся земли⁸⁵.

Охотники и собиратели, как и скотоводы, часто проявляют интерес не к самой земле, а к тому, что на ней растет, например, к плодовым деревьям или к деревьям, дающим яд для стрел или укрытия для медоносных пчел⁸⁶. Так, дерево или его плоды (например, оливки или бобы какао) считаются у первобытных народов принадлежащими тому, кто его посадил и кто за ним ухаживает, независимо от того, кто об-

веку западного индустриального общества, культурой своей predeterminedенного к жестоким действиям в условиях беспощадной конкуренции” (ibid., 28). Поправку в подобные несостоятельные суждения вносит недавнее исследование Лоуренса Кили [Lawrence H. Keeley, *War Before Civilization* (New York, 1996)], показывающее крайнюю жестокость, которая отличала военные схватки первобытных племен и которую антропологи традиционно предпочитают не замечать. Эти битвы унесли многократно больше жизней, чем современные войны (р. ix): “относительный уровень военных потерь в первобытных обществах почти всегда превосходит уровень жертв, понесенных самыми воинственными или наиболее пострадавшими от войн современными государствами” (80–89). Кили развенчивает распространенный миф, будто у первобытных народов отсутствует территориальный интерес: в действительности военные столкновения между ними часто возникают из-за территориальных споров (108–9).

рабатывает землю, на которой оно растет*. В Мексике, например, у жителей Сьерры Пополука деревья по традиции имели своих владельцев, в отличие от земли, на которой они росли. Землевладение появилось лишь вместе с культурой выращивания кофе, потребовавшей интенсивной обработки почвы**.

Путешественник, оказавшийся в Средней Азии до того, как в 1930-е годы местному населению был насильственно навязан оседлый образ жизни, мог бы вынести впечатление, что эти кочевники не признавали никакой собственности на пастбища, поскольку в летние месяцы они пасли свой скот где угодно, не считаясь ни с какими границами. При ближайшем рассмотрении, однако, обнаружилось бы, что с переходом на зимние пастбища среднеазиатские кланы строго соблюдали определенные права собственности: ввиду их ограниченности “только места, пригодные для зимовки, и рассматривались как территориальные владения”⁸⁷. Сходным образом бушмены, африканские охотники-собиратели, в общем не настаивают на своих территориальных правах, предъявляя их лишь на некоторые особо ценные участки, вроде тех, где имеются источники воды⁸⁸.

Весьма вероятно, что ранних западных путешественников и антропологов, привыкших считать, что все на свете имеет либо правителя, либо собственника, именно этот выборочный подход охотников-собираателей к предъявлению своих исключительных прав сообразно потребности в определенном участке либо с учетом редких его качеств, как и их нежелание продавать землю, подтолкнул к выводу, что зем-

* Об этом личном наблюдении в Малой Азии как об очень удивительном факте столетие назад сообщил Хайд Кларк в *Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* 19, No. 2 (November 1890), 199–211. [Cf. Melville J. Herskovits, *Man and His Works* (New York, 1952), 283.]

** Rene F. Millon in *American Anthropologist* 57 (1955), 698–712. Что человеческое поведение повсеместно одинаково, поразительным образом подтверждается положением средневекового германского права, которое так же признавало, что “строения, как и луга и рощи, а равно и плодовые деревья, не обязательно должны считаться частью (*Bestandteile*) земли, на которой они находятся, поскольку это самостоятельные объекты, могущие иметь собственное юридическое существование”. [Rudolf Hiibner, *Grundzüge des deutschen Privatrechts*, 2. Auflage (Leipzig, 1913), 384.]

ля у первобытных народов считается общей собственностью. Это до сих пор сбивает с толку некоторых современных антропологов, которые, замечая, что первобытные народы часто придают значение только плодам земли, но не ей самой, на этом основании не признают за ними знакомства с настоящей собственностью⁸⁹. Современная дихотомия собственность/узуфрукт неуместна в приложении к условиям далекой старины. Равным образом лишено в этом случае смысла и противопоставление коммунизм/частная собственность, потому что первобытные люди какими-то вещами могут владеть сообща, а в отношении других настаивать на своих правах частной собственности⁹⁰. Так, в охотничьих племенах принято делить добычу, потому что охота дело, как правило, коллективное и, кроме того, неизвестно, что делать с излишками; в большинстве первобытных обществ существуют четкие правила, определяющие порядок дележа трофеев*. Что же касается овощей и мелкой дичи, поставляемых обычно женщинами, то они разделу не подлежат, разве что в случаях чрезвычайной нужды⁹¹.

5. Появление земельной собственности

Мы установили, что отношения собственности существовали на протяжении всей истории и во всех обществах, включая первобытные. Но из этого общего правила мы сделали одно большое исключение — землю. До самого недавнего времени земля и ее плоды составляли для человечества важнейший источник средств существования. Даже на Западе, где все возрастающую экономическую роль стали играть с конца Средних веков торговля, а с восемнадцатого века промышленность, земля оставалась основой богатства. Но, как отмечено выше, во всех первобытных и в большинстве неза-

* Гельмут Шок [Helmut Schoeck, *Envy* (New York, 1970), 30–1] высказывает интересное предположение, что главная причина, по которой делят туши убитых зверей, это необходимость сбить чрезвычайно развитую у многих первобытных племен зависть. Такое объяснение поддерживается антропологом, обстоятельно изучившим одну мексиканскую деревню и установившим, что зависть в ней очень распространена. У жителей Италии и Индии, как было обнаружено, это вообще “преобладающая черта характера”. [George MFoster, *Tzitzuntzan* (Boston, 1967), 153.]

падных обществ земля не воспринималась как товар и, стало быть, не была настоящей собственностью, которая, по определению, предполагает право распоряжения ею. Земля повсеместно считалась ресурсом, который можно держать в исключительном пользовании, но нельзя иметь в собственности и продавать.

Встает вопрос: когда и почему земля стала товаром? На этот вопрос важно ответить, потому что именно в связи с землей появляется современное понятие собственности на средства производства.

Наиболее убедительным представляется ответ, основанный на соображениях экономического порядка. Превращение земли в племенную, семейную и личную собственность происходит, по-видимому, прежде всего и главным образом под давлением, которое создается ростом населения, требующим более рациональных способов использования земли по той причине, что неупорядоченная эксплуатация естественных ресурсов ведет к их истощению.

- Экономистам давно знакома точка зрения, что ничем не стесненный, бесплатный доступ к составляющему общую собственность ресурсу, такому как земля или охотничье угодье... ведет к неэффективному его использованию⁹².

Предположим, земля находится в общинной собственности. Каждый имеет право на ней охотиться, ее возделывать или разрабатывать ее недра. Эта форма собственности не позволяет, чтобы издержки, связанные с деятельностью человека, который использует данное ему общиной право, были отнесены на счет именно этого человека. Желая максимизировать свои общинные права, человек на охоте и в поле склонен будет прилагать чрезмерные усилия, поскольку отрицательные последствия его стараний, как он знает, оплачиваются другими. Запасы дичи и плодородие почвы будут очень быстро подорваны... Если же у земли есть единоличный собственник, он постарается максимизировать ее нынешнюю ценность, прикидывая возможные варианты будущих встречных потоков выгод и затрат и останавливая свой выбор на том, который, по его мнению, в наибольшей степени повысит нынешнюю ценность его прав земельного собственника... В сущности обладатель права частной собственности на землю поступает подобно биржевому маклеру, чье богатство зависит от того, насколько точно он ухватит соотно-

шение сегодняшних и будущих заявок. Но в условиях общинных прав никакого маклера нет, и требованиям сегодняшнего поколения придается нерасчетливо завышенное значение в определении интенсивности, с какой обрабатывается земля... Частная земельная собственность заставляет брать на себя многие внешние издержки, которые при общинной собственности перелгаются на других, ибо теперь собственник, обладая правом отодвинуть других в сторону, может обычно рассчитывать на получение вознаграждения за свои усилия, вложенные в пополнение запасов дичи и повышение плодородия почвы. Переключение доходов и издержек на собственника создает побудительные мотивы для более эффективного использования ресурсов*.

Неэффективность общей собственности усугубляется появлением людей, уклоняющихся от участия в общем труде, но требующих себе доли в его плодах, что рано или поздно приводит к краху пораженного этим недугом предприятия. Такое происходило в Северной Америке в семнадцатом веке, когда потерпели неудачу попытки совместной обработки земли и вместо этого за пределами плантаций, применявших рабский труд, повсюду утвердились самостоятельные фермерские хозяйства.

Впечатляющей иллюстрацией такого развития событий служит история возведенного Виргинской компанией Джеймстауна, первого постоянного поселения британцев в Северной Америке. Сначала компания приняла установку коммунистического толка, решив, что каждый член общины будет делать посильный вклад в запасы на общем складе и получать из него что ему требуется. Когда эта политика при-

* Demsetz in *American Economic Review* 57, No. 2 (May 1967), 354–56. Об этом см. также: Garrett Hardin in *Science* 162 (December 13, 1968), 243–48. Это объяснение Хардин ставит в заслугу Уильяму Форстеру Ллойд, автору “Двух лекций об ограничении роста народонаселения” [William Forster Lloyd, *Two Lectures on the Checks to Population* (1833)]. Оно, однако, вызвало возражения, поскольку не учитывает различий между понятиями *общий* и *общинный* и соответственно не принимает во внимание наблюдаемые у многих первобытных народов ограничения на индивидуальное пользование ресурсами, находящимися в общей собственности. [Peter J. Usher in Terry L. Anderson, ed., *Property Rights and Indian Economies* (Lanham, Md., 1992), 50–1.]

вела колонию на грань голодной смерти, Виргинская компания оставила ее и наделила каждого члена общины участком в три акра, чтобы он мог кормить себя и семью. Результатом оказался десятикратный рост производительности. Говоря словами современника, “прежде, когда наши люди получали пропитание с общего склада и совместно работали, унавоживая почву и высевая кукурузу, счастлив был тот, кому удавалось вернуться от работы, и даже не так: самый среди них честный в общем деле и за неделю не приложил бы столько искренних стараний, сколько теперь прилагает в течение дня, а равно не было у них и заботы поднимать урожай, потому как считали, что вырастет он или нет, общий склад все равно должен поддерживать их, так что труд 30 человек давал нам кукурузы меньше, чем (потом) добывали себе собственным трудом три человека...”*

Даже и в наше время люди, зарабатывающие себе на жизнь, используя ресурсы, которые не являются объектами собственности либо в силу своей природы не могут быть таковыми (как, например, обширные водные пространства), вступают в соглашения друг с другом с целью увеличить свои прибыли за счет установления неформальных прав собственности⁹³. Мы отметили уже, что в Америке семнадцатого века так поступали индейцы, занимавшиеся ловлей бобров. В девятнадцатом веке китобои установили правила, определявшие права собственности на китов, сорвавшихся с гарпуна⁹⁴. В более близкое нам время рыбаки, промышлявшие омара у побережья штата Мэн, договорившись о недопущении к своим угодьям чужаков, “по существу установили для себя незаконные права собственности, действовавшие в океанских водах, то есть внутри пространства, находящегося в общей собственности”⁹⁵.

По той же схеме действия могут разворачиваться и на земле, как о том свидетельствует интересный рассказ о притязаниях на права собственности, возникших на американском Западе вслед за открытием там золота⁹⁶. Когда в Калифорнии впервые (январь 1848 года) было найдено золото, золотоносная местность как раз должна была по дого-

* Ralph Hamor, *A True Discourse of the Present State of Virginia* (London, 1615; repr. Richmond, Va., 1957), 17. То же самое выпало пережить тогдашнему Плимуту. [William B. Scott, *In Pursuit of Happiness* (Bloomington, Ind., 1977), 12.]

вору с Мексикой перейти под юрисдикцию Соединенных Штатов. В переходный период вся Калифорния была собственностью федерального правительства. Не существовало никаких правил эксплуатации минеральных ресурсов на государственных землях. Сотни золотоискателей ринулись в золотоносные районы, а в Калифорнии не было ни правительства, ни судов, ни узаконенных порядков, которые позволяли бы устанавливать права собственности. Тем не менее споров было немного, потому что территория была огромна, а численность претендентов невелика. Но в 1849 и 1850 годах, когда счет хлынувшим в Калифорнию золотоискателям пошел на десятки тысяч, положение изменилось: “В 1848 году земли на каждого старателя было достаточно много, чтобы права на поиск золота оставались относительно дешевыми. Если в какой-то местности народу скапливалось чересчур много, золотоискатели просто уходили вверх по течению в поисках другого месторождения. Но когда в 1849 году на Калифорнию накатились новые волны старателей, пробиваться к золотоносным землям стало все труднее и труднее”⁹⁷.

Среди старателей стало теперь обычным делом собираться на собрания и большинством голосов формально устанавливать право заявителей на разработку участков площадью в столько-то квадратных футов. Это было равносильно выдаче сертификата, который удостоверял право собственности и мог быть предметом купли-продажи. Этот случай может служить классическим примером того, как частная собственность возникает по общему соглашению в условиях, когда нечто желаемое отсутствует в количествах, достаточных для удовлетворения предъявляемого спроса.

Такого рода данные заставляют усомниться в правильности расхожего мнения, что все права собственности проистекают из насильственного присвоения. В действительности обращать общую собственность в частную нередко понуждает разумный хозяйственный интерес: “существует тенденция недооценивать и неверно толковать роль рынка как механизма, который вызывает к жизни поведение, тяготеющее к сотрудничеству”⁹⁸. Разумно поэтому предположить, что и в доисторические времена соображения экономической эффективности играли свою роль в разграничениях собственности на земельные и рыбные угодья, которые прежде были одинаково доступными для всех.

6. Земледельческие общества

Считается, что переход от охоты и собирательства к земледелию как основному способу обеспечить свое существование произошел в Европе, на Ближнем Востоке и в обеих Америках около 10 000—8000 годов до н. э. Иерихон, основанный между 7000 и 9000 годами до н. э., это самое раннее из известных в мире земледельческих поселений. В Египте, говорят, к 4500 году до н. э. велись уже постоянные сельскохозяйственные работы.

Этот сдвиг представлял собой сложный процесс, о котором имеются лишь приблизительные представления. Наверняка он не был “событием” в понимании антропологов-эволюционистов девятнадцатого века, мысливших в понятиях постоянного восхождения с низших ступеней на высшие: как отмечено выше, разные хозяйственные уклады могут сосуществовать и, как правило, действительно сосуществуют. Тем не менее бывают обстоятельства, при которых тот или иной вид экономической деятельности становится главенствующим; обычно это происходит в условиях перенаселенности, требующих более интенсивного использования земли, либо при исчерпании прежних источников средств существования*.

Охота и собирательство, притом что они не предполагают больших усилий, для земли оказываются чересчур расточительными. По некоторым оценкам — существенно, впрочем, между собой расходящимся, — типичной группе охотников-собирателей в составе двадцати пяти человек требуется для поддержания жизни от тысячи до трех тысяч квадратных километров⁹⁹. На Тасмании еще в 1770 году от двух до четырех тысяч человек охотились на площади в 25 тысяч квадратных миль¹⁰⁰. Оседлое земледелие способно поддерживать жизнь гораздо более многочисленного населения, чем хозяйство, опирающееся исключительно или преимущественно на охоту и собирательство. В доземледельческие времена требовалось десять, а то и больше квадратных километров на челове-

* “Исторически главной причиной, заставившей заняться земледелием, был рост населения”. [Mark N. Cohen in Steven Polgar, ed., *Population, Ecology, and Social Evolution* (The Hague and Paris, 1975), 86.] Коэн подкрепляет это утверждение результатами археологических раскопок на побережье Перу. [На эту тему см. также: Ester Boserup, *The Conditions of Agricultural Growth* (Chicago, 1965).]

ка; с переходом к обработке земли эта потребность сократилась до одного — пяти квадратных километров, а с появлением домашних животных до половины квадратного километра и менее¹⁰¹.

Одна из теорий, объясняющих отказ от охоты и собирательства в пользу оседлого земледелия, приписывает его тому, что человек каменного века перестарался с охотой¹⁰². Освоение человеком все новых земель вело к исчезновению крупных травоядных животных, становившихся легкой добычей охотников. Таким образом, около 10 000 года до н. э., то есть приблизительно в конце эпохи палеолита и на заре оседлого земледелия, кочевники, которые примерно двумя тысячелетиями раньше перебрались в Америку из Азии, сумели уже истребить мамонтов и некоторые виды бизонов. Когда с этой частью дикого животного мира было покончено, охотники стали добывать менее крупного зверя, а потом все больше стали заниматься земледелием (выращиванием кукурузы, бобов, тыквы), дополняя его охотой на мелкую дичь. Недавние изыскания показали, что представления об изобилии дичи в доколумбовой Северной Америке — это миф. Здешние индейцы добывали лосей, оленей и прочую крупную дичь в таких количествах, что к началу девятнадцатого века белым путешественникам на западе редко случалось увидеть какое-нибудь из этих животных. Говорят, сегодня в Йеллоустонском национальном парке бизонов больше, чем их было в 1500 году¹⁰³. То же относится и к другим частям мира. Первобытные люди склонны безрассудно истреблять животных и изводить леса и делают это в полную меру своих физических сил, нисколько не задумываясь о последствиях для будущего¹⁰⁴.

Занятие земледелием развивает чувство собственности.

Не приходится долго искать причины, по которым земледельческие народы держатся за свои земли более упорно, чем охотники и собиратели. Одна в том, что обработка земли — дело, требующее времени: злакам и овощам для созревания нужны месяцы, тогда как у олив и виноградной лозы — основных культур Средиземноморья, где, как считается, земледелие и возникло впервые в качестве постоянного занятия, на это уходят годы. Они поэтому требуют постоянного внимания: труд, вложенный в обработку земли, превращает выращенный урожай в личное имущество земледельца со всеми сопутствующими этому психологическими следствиями. Вторая причина в том, что люди, занятые этим видом труда, по-

селяются на обрабатываемой ими земле, чтобы быть в состоянии ухаживать за ней так, как она того требует*. Так, у земледельческих народов принято обозначать границы своих владений, привязывая их к естественным рубежам и объектам — рекам, деревьям, скалам, что не так часто делается в отношении охотничьих угодий или пастбищ, границы которых обычно всем известны и уж во всяком случае никогда не бывают строго определенными¹⁰⁵. Всегдашним спутником сельского хозяйства — как, впрочем, и земельной собственности — являются землемерные работы. Есть сведения, указывающие, что такие работы проводились еще в древнем Египте, как и в Шумере, Греции и Риме. Не приходится, стало быть, удивляться, когда исследователи хозяйственной деятельности первобытных народов обнаруживают, что у тех из них, которые существуют преимущественно обработкой земли, появляется и выраженное чувство частной собственности¹⁰⁶. Как сообщает Джомо Кениатта, обычное право кикуйю признавало земельную собственность за каждой семьей: “Если границы своей территории коллективно защищало все племя, то внутри нее каждый дюйм имел особого собственника”**.

* Исключение составляет обработка земли у кочевников, известная как подсечно-огневая система (см. ниже, стр. 212). В этом случае права предъявлялись не на землю, а только на урожай с нее. Впрочем, эта неэффективная форма земледелия сохранялась лишь на ранних стадиях существования сельского хозяйства и исчезла, когда вследствие роста населения возникла нехватка земли.

** Jomo Kenyatta, *Facing Mount Kenya* (London, 1953), 21, 25. В гл. 2 автор показывает, какие сложные формы может принимать землевладение в подобном обществе. То же отмечалось и у народа маори в Новой Зеландии. [Raymond Firth, *Primitive Economics of the New Zealand Maori* (New York, 1920), 360–75.] Одно из обстоятельств, осложняющих поиск ответа на вопрос о том, когда же появилась частная собственность в сельском хозяйстве, связано с тем фактом, что в условиях примитивного земледелия обрабатываемая земля надолго забрасывается и остается пустошью: “При подсечно-огневой системе все члены господствующего на данной территории племени имеют общее право на обработку участков внутри этой территории... Это общее право никогда не может быть утрачено ни одним членом земледельческой семьи... При всех системах, допускающих пребывание земельных участков в состоянии пустошей, семья может удерживать за собой исключительное право на обработку участка, который она сама расчистила и обрабатывала вплоть до уборки урожая, но срок, в течение которого она может настаивать

Собственностью на обрабатываемую землю у первобытных народов, как правило, обладают группы, объединяющие родственников: “В землевладении нет никакого коммунизма, поскольку дело касается территории в целом, но в строго ограниченных пределах по-настоящему близкой родни он присутствует”. Нет никаких свидетельств об общем владении землей, а совместное владение никогда не выходит за “определенные границы кровного родства”¹⁰⁷.

7. Появление политической организации

Хотя переход от первобытной организации общества к его устройству на началах государственности был сдвигом чрезвычайного значения, осознано оно пока крайне недостаточно. Исторические источники слишком скудны сведениями, которые позволяли бы однозначно судить о смысле произошедшего. Антропологи же долгое время считали, что для них это предмет с профессиональной точки зрения малоинтересный и предпочитали заниматься дополитической стадией развития*.

вать на этом своем исключительном праве после уборки, оказывается, судя по всему, разным, в зависимости от порядка землепользования, принятого в данной местности. Обычно семья может удерживать право на обработку данного участка в течение всего времени пребывания земли под паром, если только он не продолжается так долго, что теряются все следы прежней обработки этой земли. Но если по прошествии нормального срока пребывания участка под паром семья не возобновляет его обработку, она может потерять свое право именно на этот участок, сохраняя, конечно, общее право на расчистку для себя земли в пределах территории племени”. [Ester Roserup, *The Conditions of Agricultural Growth*, 79–80.] Эта книга написана по материалам обширных исследований современных африканских и азиатских обществ.

* По крайней мере до недавнего времени. С рождением в 1950-е годы новой дисциплины — “политической антропологии” сделаны попытки восполнить пробел. [См., напр.: Morton H. Fried, *The Evolution of Political Society* (New York, 1967) и Georges Balandier, *Political Anthropology* (London, 1970).] К сожалению, авторы подобных произведений, как и многих работ по “общественным наукам”, появившихся за последние полвека, впадают в многословие, отдают дань схоластике в своей методологии и упражняются в остроумии, перетолковывая смысл общеупотребительных слов, а также без конца цитируют друг друга, не приходя ни к каким определенным выводам.

Однако для того, кто занимается историей частной собственности, этот вопрос критически важен, потому что ответ на него позволяет прояснить истину в старом споре о том, послужила ли собственность причиной образования государства или, наоборот, государство создало собственность.

Из тех данных, которыми располагает антропология, можно заключить, что в обществах охотников и собирателей, равно как и у преимущественно пастушеских народов, общественная власть, как отличная от групповой власти родственников, либо совсем не существует, либо присутствует в ничтожно малой степени. В этих обществах люди обычно избирают себе предводителей (вождей) из тех, кто выделяется воинским мастерством и качествами сильной личности. Власть у них чисто личная, и объем ее не имеет четких пределов; их легко сместить. Обычно предводитель это “первый среди равных”. Инструменты принуждения отсутствуют, и порядок поддерживается общественным давлением. Этого достаточно охотникам, объединенным в группы, которые насчитывают, как правило, от двадцати пяти до ста человек. Пастушеские общины могут наделять кого-нибудь из своих соплеменников значительной властью на время перегона скота к летним пастбищам, когда пути движения надо точно разграничить между племенами, но такая власть дается для выполнения только этой задачи и только на ограниченный срок¹⁰⁸.

Возникает вопрос, почему и каким образом из подобных неформальных порядков вырастают политические учреждения, наделенные формально закрепляемыми полномочиями прибегать к мерам принуждения*. В одном из самых первых антропологических исследований на эту тему, в работе Роберта Лоуи “Происхождение государства”¹⁰⁹, был предложен следующий ответ: переход от “социальной” или “племенной” организации к организации политической происходит тогда, когда власть привязывается к территории, то есть когда она распространяется на всех обитателей данной местности, а не только на тех, кого объединяют узы родства. Эта теория опирается на результаты изысканий сэра Генри Мэй-

* Обзор различных теорий происхождения государства содержится в кн.: Elman R. Service, *Origins of the State and Civilization* (New York, 1975). Предпочтения какой-либо из них автор не высказывает. [См. также Henry J. M. Claessen and Peter Skalnik, eds., *The Early State* (The Hague, 1978), особенно p. 533–96.]

на, который в своей работе “Древнее право” (1861) впервые предложил считать критически важным поворотным пунктом в развитии человечества то время, когда в установлении и поддержании связей между людьми общность крови уступила место общности территории: “История политических идей начинается фактически с предположения, что кровное родство является единственно возможным основанием для общности политических действий; и среди переворотов в мировосприятии, многозначительно именуемых нами революциями, нет другой столь же поразительной и столь же глубокой перемены, как та, что происходит, когда некий иной принцип — такой, например, как *общность места прожизвания* — впервые утверждается в качестве основы для общих политических действий... Представление, что какие-то люди должны совместно пускать в ход свои политические права просто потому, что им выпало жить в топографических пределах одной местности, было для первобытного общества совершенно диким и чудовищным”¹¹⁰.

Льюис Морган, принявший тезис Мэйна, назвал эту перемену переходом от *societas* с его личностными связями к *civitas*, где связи стали территориальными¹¹¹. Как следствие этого сдвига, неформальный, поддерживаемый частным правом порядок поведения групп, объединенных родственными связями, уступил место формально закрепленным нормам публичного права. Право участвовать в обсуждении и принятии решений, ранее предоставлявшееся только свободным людям в составе племени или клана, теперь было распространено на всех свободных обитателей данной местности; со временем же, когда население этой местности разрасталось настолько, что исчезала возможность лично пользоваться этим правом всем его обладателям, оно стало достоянием их выборных представителей. В политической истории современного мира различимо неуклонное изменение характера власти, которая из неформальной и распространяющейся на группы людей, связанных родством, все более представляла как власть публичная, подчиняющая себе всех жителей данной местности. Одно из первых проявлений этой власти состоит в том, что третья сила — государство, взяв на себя обязанность карать за преступления, кладет конец частным актам мести. Это произошло в Вавилоне и уже в 1750 году до н. э. было оформлено в законах Хаммурапи. То же установление в англосаксонской Англии относится примерно к 900 году н. э.¹¹²

Некоторые современные антропологи, в целом принимая тезис Мэйна, сомневаются, чтобы различие между родовой и территориальной общностью когда-либо проявлялось так резко, как он это представил. Существуют свидетельства, что первобытные общества, даже организованные по принципу родства, признают все же некоторые территориальные связи. В Англии седьмого века, где преобладали родовые связи, люди, жившие по соседству, считали друг друга родней, независимо от того, были они действительно родственниками или нет¹¹³. Переход, следовательно, мог означать не столько смену одного порядка другим, сколько выдвигание территориального принципа из подчиненного в господствующий.

Похоже, привели к этому два обстоятельства. Во-первых, войны. Первобытные народы склонны уважать территориальные права других: одерживая военную победу, они обычно не изгоняют побежденных, а подчиняют их себе¹¹⁴. Такой образ действий автоматически создает неродовую, то есть территориальную, основу власти. Во-вторых, рост населения и давление на ограниченные земельные ресурсы вели к смешению племен и кланов, так что в итоге территориальные связи стали преобладать над родовыми.

Некоторые антропологи продолжают разделять марксистскую концепцию, согласно которой политическая власть появляется как средство регулирования классовых противоречий в племенном обществе вследствие появления частной собственности, позволяя классу собственников сохранять его имущество и проистекающую из обладания им власть. Но как и в других марксистских схемах, здесь сооружается прокрустово ложе, в которое невозможно втиснуть известные нам факты¹¹⁵.

Более убедительное экономическое объяснение происхождения политической организации было предложено Дугласом Нортом. Он считает, что государство представляет собой организацию, которая в обмен на доходы в виде собираемых ею налогов берет на себя защиту собственности и прав своих граждан. “Государство в обмен на налоговые поступления предоставляет некоторый набор услуг, которые мы будем называть защитой и правосудием”¹¹⁶.

- Экономический рост имеет место в том случае, когда выпуск продукции растет быстрее, чем население... Экономический рост будет иметь место, если права собственности делают общественно производительную деятельность стоя-

щим занятием. Создание, уточнение и воплощение в жизнь таких прав сопряжены с большими затратами... По мере того как растут возможности добиваться в частных сделках превышения выгод над издержками, предпринимаются усилия с целью утвердить такие права собственности. Защиту и осуществление прав собственности правительства берут на себя потому, что они могут это делать с меньшими затратами, чем частные заинтересованные группы¹¹⁷.

Подобные юридические и экономические теории дают наилучшие из ныне имеющихся объяснений тому, как возникла государственность*.

8. Частная собственность в древнем мире

Частная собственность в правовом смысле слова появляется одновременно с государственной властью. До этого она существовала как владение, защищаемое физической силой и/или обычным правом либо узаконенное получением наследства и/или длительным сроком пользования. Первобытные общества признают право занятия и обработки пустошей, как и удержания за собой земли теми, кому она досталась как отцовское наследство. Эта практика была известна в средневековой Европе. В феодальной Франции странно прозвучала бы речь о чьей-либо собственности, будь то на землю или на должность; еще необычнее было бы затеять судебное дело по поводу имущественного спора. Вместо этого участники такого спора выступали со ссылками на “право давности” или *seizin (seisin)*, то есть право “владения, подтвержденного истекшим временем”. Победа в таких тяжбах доставалась тому, кто мог доказать, что занимает и обрабатывает данную землю дольше любого другого, на нее притязающего, а еще лучше, что ее обрабатывали и его предки¹¹⁸.

* Маркс, как и Карл Виттфогель столетием позже [Karl Wittfogel, *Oriental Despotism* (New Haven, Conn., 1957)], говорил время от времени об “азиатском способе производства”. Виттфогель разработал понятие “восточного деспотизма”, обосновав его необходимостью регулировать большие потоки воды (Нил, Евфрат и т. д.) для орошения полей и предотвращения наводнений. Верно это объяснение или нет, но смысл оно может иметь лишь в отношении к определенным регионам и определенным периодам истории.

Права собственности, основанные на коллективной памяти общины, оставили мало следов на бумаге. Вот и получилось, что при наличии несметного множества относящихся к древнейшим временам свидетельств о земледельческих занятиях кланов, семей и даже отдельных лиц, как и о том, что обычай признавал за ними земли, которые они обрабатывали, подтверждающая это документация начисто отсутствует, потому что тогда в ней просто не было нужды. Это сильно затрудняет историческое исследование. Тем самым объясняется, почему, говоря словами Дугласа Норта, “существует очень мало исторических исследований развития прав собственности”¹¹⁹.

В древних государствах Ближнего Востока (Месопотамии и Египте эпохи фараонов) преобладающей формой правления был “вотчинный” режим, при котором монарх и владел, и управлял землей и ее обитателями и обращался с этими своими владениями, как с гигантским королевским поместьем*. Собственность исключала всякое внешнее вмешательство: по Веберу, вотчинный правитель был *regelfrei*, то есть свободен от правил или ограничений¹²⁰. Это слияние верховной власти с собственностью было вполне обычным делом за пределами Европы, особенно на Ближнем Востоке. До недавнего времени считалось, что в древних Месопотамии и Египте вся земля принадлежала либо царскому дворцу, либо храму. Эта точка зрения слегка изменилась в свете исследований, проделанных за несколько последних десятилетий и установивших, что обе эти страны древнего мира знали и частную земельную собственность¹²¹. И все же участки, находившиеся в частной собственности, составляли лишь малую часть обрабатываемых площадей, которые в основном принадлежали государству и храмам. Более того, собственниками выступали разросшиеся семьи, которые очень редко шли на отчуждение своих земель. Ведущий российский знаток предмета И. М. Дьяконов, соглашаясь, что бывали исключения, нарушавшие царскую или церковную монополию на землю, заключает, одна-

* Классическое описание вотчинного владения дал Макс Вебер. [Max Weber, *Grundriss der Sozialökonomik: III Abt., Wirtschaft und Gesellschaft*, 3. Auslage, II (Tübingen, 1947), 679–723.] Вебер относит к этой категории империю инков и государство иезуитов, существовавшее в семнадцатом веке в Парагвае. Список можно было бы дополнить Московской Русью.

ко, что “частная земельная собственность в ее современном понимании была неведома ни в одном древнем обществе ни в Европе, ни в Азии, по крайней мере до самых поздних хронологических рубежей древности”*. Чиновники, жрецы и крепостные были царскими подданными. Отсутствие политических и гражданских прав, как и малое значение редко встречающейся частной земельной собственности, являются отличительными чертами восточных деспотий.

Совсем не так обстояло дело в древних Греции и Риме, где впервые появились права собственности в их современном понимании.

Древняя Греция, по крайней мере с двух точек зрения, занимает совершенно особое место в истории общественных институтов. Это была первая в мире демократия; более того, именно здесь появились сами понятия “политика, политическая жизнь”, для обозначения которых было взято слово, восходящее к греческому “городу” — “*полису*”; это значило “нечто, касающееся каждого” или “общественное”, в отличие от “частного”, “личного” и “подчиненного собственным интересам”¹²². (В одном из своих первоначальных смыслов греческое слово “идиот” означало человека, замкнувшегося в частной жизни и не принимающего участия в общественных делах.) Именно в Греции впервые в истории явилось на свет гражданство как сочетание прав и обязанностей. Именно в древней Греции мы обнаруживаем также первые в истории свидетельства о таком устройстве сельского хозяйства, при котором его ведут самостоятельные крестьяне-землевладельцы, предтечи английских йоменов. Это ни в коей мере не случайное совпадение: как гражданство, так и собственность на землю исключали вмешательство со стороны и крепили узы взаимозависимости граждан-землевладельцев.

Прежде всего о земельной собственности.

* И. М. Дьяконов в *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae*, XXII, Fasc. 1–4 (1974), 51. Иное мнение выражают по этому поводу Robert C. Ellickson and Charles DiA. Thorland в кн. *The Chicago-Kent Law Review* 71, No. 1 (1995), 321–411. Эти авторы утверждают, что “четыре тысячелетия назад древним людям земля предоставлялась на правах, сильно напоминающих нашу ничем не ограниченную земельную собственность, и с нею заключались сделки... правомочность которых могла бы быть признана и сегодняшним юристом, занимающимся операциями с недвижимостью” (р. 410). Немного найдется тех, кто разделяет эту крайнюю точку зрения.

Древнегреческое общество было в решающей степени сельскохозяйственным, так что не менее 90 процентов населения жили за счет земли. Поскольку Аттика плохо обеспечена водой, земледельцы жили не разрозненными хуторами, а теснились в селениях, расположенных в непосредственной близости от водных источников. Жили там мелкие крестьяне, которые, по оценкам ученых, владели в среднем четыре-пять гектарами земли каждый; крупные владения были исключением. Эти крестьяне выращивали виноград, оливки, фиги и злаковые (овес и пшеницу). Обрабатываемая земля (*kleros*), главный источник богатства страны, товаром не признавалась. Ее передавали по завещанию, но редко когда продавали (хотя такое, возможно, и случалось), потому что обладание ею увязывалось с личной свободой и правами гражданства: грек (как и римлянин), лишившийся своей земли, превращался в пролетария¹²³. Со времен Солона эти независимые крестьяне (*eleutheroi*) всегда считались свободными людьми, избавленными от обязанностей платить подати или прислуживать аристократам. Они работали на себя. И эта экономическая независимость стала признаком свободы. Именно из них составлялись фаланги, колонны тяжело вооруженных пехотинцев, шагавших в бой, чтобы защитить свои города и поля.

В девятнадцатом веке историки, преданные теории первобытного коммунизма, не изучив имевшихся данных либо истолковав их так, чтобы они соответствовали их предвзятым суждениям, уверовали, что в древней Греции существовала только общинная собственность на землю¹²⁴. Против этой теории возразил в своем “Древнем городе” Фюстель де Куланж. Современные ученые разделяют мнение де Куланжа, что уже в восьмом и седьмом столетиях до н. э., во времена Гомера и Гесиода, земля в Греции находилась в частной собственности, то есть в собственности отдельных лиц и семей. По словам Жюля Тютэна, “если следовать Гомеру и Гесиоду, обнаруживается, что, поскольку дело касается земли, годной для обработки, вся она находилась в частной собственности... Нет ни единого упоминания о том, что обрабатываемой землей владели коллективно”¹²⁵. С этим согласен англо-американский историк античности сэръ Мозес Финли: “В поэмах Гомера режим собственности, в частности, предстает уже полностью утвердившимся... Режим, который мы видим в поэмах, это прежде всего частная собственность...”

Существовало ничем не ограниченное право свободно распоряжаться всем движимым имуществом... После смерти человека передача по наследству его имущества, движимого и недвижимого одинаково, считалась делом обязательным и естественным”¹²⁶.

Согласно Финли, мир Гомера не знал “ни феодальных, ни сходных с ними условных держаний”¹²⁷. В древней Греции “государство признавало и защищало частную собственность как основу общества”, причем государство редко препятствовало “свободной игре экономических сил и проявлениям экономической инициативы”¹²⁸. Именно по той причине, что частная собственность занимала в классической Греции господствующее положение, Платон и Аристотель уделяли ей так много внимания.

О *полисе* или городе-государстве было сказано, что он представлял собой “систему правления, наделявшую граждан правами и возлагавшую на них обязанности под общей властью закона, систему, до того истории не известную”¹²⁹. К концу шестого века до н. э. она была распространена в значительной части Греции. Проведенные тогда реформы Клисфена разделили афинское население сообразно месту жительства (взамен прежнего деления по родственным связям) и установили представительство каждой территориальной единицы в афинском Совете. Реформы были проведены с целью сломить мощь кланов; они заложили основу афинской демократии. *Полис* имел обычную государственную структуру, представленную органами власти в составе должностных лиц, которых избирали на годичный срок обычно из членов аристократических семей; совета пятисот, готовившего повестку дня для народного собрания; самого собрания всех граждан (*ecclesia*), обладавшего высшей законодательной и судебной властью. Построенный вокруг храма, занимая определенную территорию, огороженную стеной, полис управлял своими делами сам, принимал собственные законы и вершил свой суд; он был суверенным, ни от какой внешней власти не зависевшим образованием.

Один историк античности усматривает прямую связь между суверенным городом-государством и суверенным собственником и возделывателем земли. По его мнению, именно появление в древней Греции частной земельной собственности, не обремененной никакими внешними обязательствами, дало жизнь первой в мире демократии: “Подъем в конце тем-

ного периода греческой истории (около 750 года до н. э.) класса независимых крестьян, имевших в собственности и без помех обрабатывавших свои небольшие наделы, был исторически совершенно новым явлением... Их старания создать более широкое сообщество равноправных земледельцев привели, на мой взгляд, к образованию системы самостоятельных, но взаимосвязанных греческих городов-государств (*poleis*), что стало отличительной чертой западной культуры”¹³⁰.

В древних Афинах взаимосвязь между земледелием и гражданством была нерасторжимой в том смысле, что только граждане могли быть собственниками земли и только землевладельцы могли быть гражданами; неграждане могли заниматься финансовыми делами и торговлей, могли брать землю и копи в аренду, но получить землю в собственность они не могли. Со времен Солона существовал имущественный ценз для занятия высоких должностей. Так был по сути дела установлен имущественный ценз для участия в политической жизни, не лишенный сходства с тем, что в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях широко применялся в Англии, Соединенных Штатах и ряде европейских стран.

Если ко всем этим сведениям добавить и то, что афинские граждане были свободны от налогообложения, ибо обязанность платить налоги воспринималась как признак приниженного социального положения*, то взаимосвязь между землевладением, гражданством и участием в демократически устроенной политической жизни поистине бьет в глаза.

Очевидно, что широкое распространение земельной собственности и хозяйственной свободы играло критически важную роль в развитии афинской демократии. Более того, ремесленники, которые на Ближнем Востоке работали на царей, в греческом городе-государстве были независимыми предпринимателями. В целом большинство людей, особенно в Афинах, будь то земледельцы или горожане, работали на себя¹³¹.

Напротив, в Спарте, где частная земельная собственность была редкостью, личная свобода отсутствовала. Взрослые мужчины, поголовно обращенные в солдаты, получали от го-

* Есть указания на то, что греческое слово, обозначавшее свободных людей, *eleutheroi*, первоначально имело фискальный смысл и служило как определение тех, кто не обязан платить подати. [Ellen M. Wood, *Peasant-Citizen and State* (London and New York, 1988), 130.]

сударства совершенно одинаковые участки земли, которые обрабатывались рабами (илотами). Права собственности были у спартанцев зыбкими, ибо они оставались условными держателями земли: за неэффективную обработку государство ее отбирало и передавало более рачительному хозяину. Солдатам и офицерам, составлявшим основную часть мужского населения, запрещалось заниматься торговлей или ремеслами¹³². Их хозяйственное обеспечение целиком было заботой государства.

Против господствующего взгляда на положение дел в Спарте, основанного главным образом на сведениях древних историков, выступила одна из ревизионистских школ, которая утверждает, что земельная система Спарты “была преимущественно системой частных владений, образовавшихся в результате деления участков на доли, передававшихся наследникам, и дальнейшего их дробления у новых хозяев, а также становившихся объектами отчуждения на основе пожизненного дарения, завещаний и назначения приданым за невестами”¹³³. Но эту точку зрения разделяет, кажется, лишь меньшинство ученых, занимающихся древним миром, большинство же придерживается традиционного взгляда. И даже ревизионисты не берутся утверждать, что землю в Спарте можно было продавать, то есть что там существовало право, которое, наряду с дарением, Аристотель считал критерием собственности*.

Выдающейся отличительной чертой древней Греции была тесная корреляция между собственностью и политической, равно как и гражданской, свободой. Широкое распространение собственности, особенно земельной, составлявшей главный производственный ресурс общества, сделало возможным появление в Афинах первого в истории демократического режима. В других частях древнего мира собственником хозяйственных ресурсов было государство, и, как следствие, население находилось у него на службе, причем государство взваливало на людей всевозможные повинности, но не предоставляло им никаких прав.

* “Признаком... владения или невладения служит возможность отчуждать предметы владения; под отчуждением я разумею дачу и продажу”. Aristotle, *Rhetoric*, 1361a–21–23. [Аристотель. “Риторика» в кн.: *Этика*Политика*Риторика*Поэтика*Категории* / Перев. Н. Платоновой — Минск, 1998. С. 773.]

Македонцы, завоевав большую часть Ближнего Востока, усвоили для себя скорее восточную, чем афинскую модель. Эллинистические государства, пришедшие на смену империи Александра Великого, сохранили вотчинные режимы, делавшие землю собственностью правителя. Хозяйственная жизнь была строго регламентирована. В Египте, наиболее известном среди эллинистических государств, Птолемеи построили несколько городов по греческому образцу и наделили их землей. Они также щедро раздавали землю храмам. То там, то здесь земля оказывалась в частной собственности. Но в конечном счете вся страна оставалась вотчиной царя-бога: “вся земля Египта принадлежала Птолемею, как некогда она принадлежала фараону”¹³⁴. Верховный правитель “был собственником имущества своих подданных так же, как и их самих... Теоретически весь Египет представлял собой царское поместье, населенное работавшими на царя крепостными...”¹³⁵ Часть своего поместья царь эксплуатировал сам, другую сдавал в аренду, но оно целиком было его собственностью. В частности, ему принадлежали и обширные владения, переданные храмовникам, потому как он представлял богов на земле, а храмы служили богам. Жрецы просто пользовались этими землями в той мере, в какой им было разрешено царской властью¹³⁶. В Египте Птолемеев ремесленники работали не на себя, а на царский двор: они были опутаны широко раскинутой сетью царских монополий как на производство, так и на сбыт изделий¹³⁷.

Развитие понятия и института собственности в древнем Риме остается предметом нескончаемых научных споров¹³⁸. Видный знаток экономической истории Рима утверждает, что “законы о частной собственности сложились задолго до пятого века (до н. э.), когда появились Двенадцать таблиц... Предки римлян были организованными земледельцами за тысячу с лишним лет до составления этого свода законов. (Поэтому) весьма вероятно, что латиняне уважали права собственности и до того, как поселились в долинах вокруг Рима”¹³⁹.

С высокой степенью уверенности можно считать, что в Риме собственность, сосредоточенная в руках главы семьи (*pater familias*), появилась прежде государства. Глава семьи обладал неограниченной властью и над людьми (женой и детьми, а также рабами), и над всем домашним имуществом.

Постепенно положение изменилось таким образом, что для свободных членов семейства *pater familias* перестал быть повластным господином, тогда как рабы, скот и прочие вещественные составляющие домашнего хозяйства остались в его безусловной собственности. Эта часть его владения образовала *dominium*¹⁴⁰ и в качестве такового могла быть объектом отчуждения.

Рим был первым в истории государством, где в полной мере получили развитие юридические нормы и процедуры, регулирующие жизнь как граждан, так и государства, нормы и процедуры, которые были общеизвестны и соблюдение которых было делом профессиональных юристов. В этом отношении Рим пошел гораздо дальше Афин. В его правовых установлениях законы, регулирующие собственность, получили самое полное развитие. Этим историческим фактом подкрепляется изречение Иеремии Бентама: “Собственность и право рождаются и должны умирать вместе. До появления законов не было никакой собственности: уберите законы исчезнет всякая собственность”*. Причина такой взаимосвязи в том, что собственность представляет собой имущество, на которое его владелец предъявляет исключительное право, а такое право не может поддерживаться физической силой или общественным обычаем; для его осуществления требуется закон. Поэтому “почти невозможно представить себе общество, которое признает и допускает частную собственность, но законом ее не защищает”¹⁴¹.

В древнем Риме лишь земля в пределах Итальянского полуострова то, что называлось *ager Romanus*, могла находиться в абсолютной частной собственности (известной как квирическая собственность) и только в руках римских граждан. Земли, завоеванные Римом, становились *ager publicus* и в качестве таковых подлежали налогообложению (с них как бы собирали дань); эти земли сдавались в аренду либо заселялись, но, будучи владениями государства, ни в чью полную

* Jeremy Bentham, *Principles of the Civil Code*, in *Works*, I (Edinburgh, 1843), 309. Бентам выдвигал это соображение в поддержку своего тезиса о том, что права собственности имеют источником государственную власть, а не естественное право, но провозглашенный им принцип справедлив, независимо от тех или иных представлений о происхождении собственности. [Heinrich Altrichter, *Wandlungen des Eigentumsbegriffs und neuere Ausgestaltung des Eigentumsrechts* (Marburg-Lahn, 1930), 16.]

собственность попасть не могли. За пределами Италии даже римские граждане не могли иметь полных прав на землю и должны были платить подать или *tributum* (одновременно и земельную ренту, и подушный налог) в порядке напоминания, что верховные права на завоеванные территории держит в своих руках государство¹⁴². Хотя в Италии обширные пространства обрабатываемой земли принадлежали императору и представителям знати, все же преобладающей формой землевладения здесь, как и в Греции, была мелкая собственность самостоятельного крестьянина, который обрабатывал свой участок сам или с помощью рабов*. На завоеванных землях обычным делом были существовавшие на основе использования рабского труда латифундии богатых римлян.

Квиритская собственность, распространявшаяся лишь на малую часть земель Римской империи, почти совпадает с собственностью в ее современном значении: земля принадлежала лично главе семьи, который мог ее продать или завещать¹⁴³. В этом смысле она непосредственно подводила к современным понятиям и законам собственности, чем и определяется ее огромное историческое значение:

“Договорное право и право собственности... несли на себе печать глубокого римского влияния даже в тех частях Европы, где римское право в полном объеме никогда не действовало. Эти понятия... наряду с этическими установками христианства... лежат в основе непрерывности и цельности истории нашей культуры”¹⁴⁴.

9. Феодалная Европа

Во времена раннего, так называемого мрачного Средневековья в течение шести или семи столетий, последовавших за падением Рима, римские законы о частной собственности в Западной Европе были в основном забыты. Герман-

* М. Rostovtseff, *A History of the Ancient World*, II (Oxford, 1927), 47. Таково преобладающее мнение. Мозес Финли, однако, подвергает это сомнению, утверждая, что у нас нет даже приблизительного представления о том, как была распределена земля в Италии и прочих частях Римской империи. [M. I. Finley, ed., *Studies in Roman Property* (Cambridge, 1976), 3.]

ские племена, наводнившие, а в конечном счете и покорившие европейские провинции империи, первоначально пустили в ход свои, “варварские”, кодексы, но по мере того как оседали на здешних землях и смешивались с местным населением, они заменяли личностную систему юрисдикции терриориальной и усваивали некоторые положения римского права. Это привело к соединению римского и германского кодексов. Сначала новопришельцы мало интересовались нормами, регулирующими право частной собственности на землю, потому что сами были прежде всего соборными в кланы скотоводами. Но с переходом к земледелию они взяли на вооружение римскую правовую практику, основанную на частной собственности¹⁴⁵. Отношения господства и подчинения, утверждавшиеся в Западной Европе приблизительно между 900 и 1250 годами, отличались необычным слиянием верховной власти и собственности, общественной и частной сфер жизни*. Подобное слияние наблюдалось и в древних вотчинных монархиях Ближнего Востока. Необычность же его в Европе состояла в том, что здесь положение смягчалось принципом взаимных обязательств, неведомым и, более того, немислимым в восточных деспотиях**. Феодальный правитель был для своих вассалов и верховным властелином и землевладельцем, но по отношению к ним он брал на себя определенные обязательства. Вассал клялся верно служить своему господину, а господин, в свою очередь, давал клятву защищать его. То была, по словам Марка Блока, “взаимность неравных обязательств”, но элемент взаимности всегда присутствовал; воистину это был контракт¹⁴⁶. Если господин не выполнял свою часть сделки, это освобождало от обязательств вассала. Споры об исполнении клятв, данных каждой стороной, иногда разбирались королевскими судами,

* “По мере того как идеал феодализма окончательно входит в жизнь, все, что мы называем публичным правом, растворяется в частном праве: юрисдикция это собственность, должность это собственность, сама королевская власть это собственность; одно и то же слово *dominium* употребляется для обозначения то *собственности*, то *господства*”. [Frederick Pollock and Frederick William Maitland, *the History of English Law*, 2nd ed., I (Cambridge, 1923), 230.]

** Неизвестно оно было и в Японии, где сложился строй, несколько напоминавший европейский феодализм.

иногда судами, составленными вассалами, а иногда поединками с оружием в руках. Взаимные обязательства, принятые на частной основе, со временем приобрели общественное измерение и послужили основой конституционного правления в Европе и странах, заселенных европейцами, поскольку конституция тоже представляет собой контракт, в котором расписываются права и обязанности правительства и граждан. Великая хартия вольностей является в толковании одного историка “выражением принципа феодального контракта, который вырван вассалами у господина, не исполнившего своих обязательств перед ними”¹⁴⁷. Теоретически при режиме, построенном на отношениях сюзерена и вассала, земля полностью принадлежала властителю, все прочие были ее условными держателями. Как правило, вассал был держателем поместья, которое он получал в качестве феода от собственника-сюзерена. Однако силой неумолимой инерции условное владение с течением времени превращалось в полную собственность. Согласно феодальному обычаю, сложившиеся с вассалом отношения сюзерен не был обязан сохранять и с его отпрыском. Тем не менее все к этому подталкивало. В глазах сюзерена сыновья вассала, коль скоро от них можно было ожидать сознательного исполнения обязательств их родителя, выглядели наиболее желательными его преемниками, поскольку были людьми знакомыми и располагали к мысли, что о своих обязанностях они осведомлены лучше любого новопришельца¹⁴⁸. По той же причине феодальные должности, изначально предоставлявшиеся на определенных условиях и на определенный срок, со временем становились наследственной собственностью их держателей. Уже в десятом и одиннадцатом веках во Франции, Англии, Италии и Германии наследование фьефов вассалами вошло в обычай¹⁴⁹. При норманнах в Англии, куда обычаи были завезены из Нормандии, земля с самого начала могла передаваться по наследству, причем и по мужской, и по женской линиям: Мейтленд считает, что в “Книге страшного суда”, то есть в кадастре английских земель, составленном при Вильгельме Завоевателе, термины “feodum” (условное держание) и “alodium” (полная собственность) используются, по-видимому, как равнозначные и относятся к “передаваемому по наследству поместью, составляющему земельную собственность, абсолютную в такой степени, какую только

можно себе представить”*. Это подтверждается и тем, что родовые имена главных держателей от короля (его 124 прямых вассала) производились от названий местности, где находились их поместья. Хотя формально отчуждение таких наследственных фьефов не допускалось, к двенадцатому столетию оно стало обычным делом¹⁵⁰. Таким путем фьефы незаметно преобразовались в частную собственность. Заново открытое в одиннадцатом веке римское право с его однозначными определениями частной собственности подвело под этот процесс юридическую основу.

У скандинавских викингов права частной собственности существовали как для мужчин, так и для женщин. Это можно вывести из рунических надписей, сохранившихся на камнях, которые в большинстве своем были поставлены в удостоверение прав собственности либо наследственных прав отдельных лиц и семей¹⁵¹.

10. Средневековые города

Становлению частной собственности и развитию связанных с ней прав на Западе ничто не поспособствовало так сильно, как появление в позднем Средневековье городских общин. Ибо то, что в сельских землях складывалось постепенно и без закрепления в законах, в городах приняло четкие правовые формы.

Значение частной собственности для рыночной экономики, образующей “мускулатуру” городской жизни, определяется вот чем. Если землей владеть и пользоваться можно, даже не имея на нее четко подтверждаемых прав и не располагая возможностью ее продать, то с товарами или деньгами дело обстоит иначе: они лишь в том случае обретают какую-то хозяйственную роль, когда могут быть пущены в оборот или инвестированы, а пущены в оборот или вложены в дело могут, только являясь предметом бесспорной собственности своего владельца.

* F. W. Maitland, *Domesday Book and Beyond* (Cambridge, 1921), 154, n. 1. Приведа эти слова, Дж. С. Холт добавляет: “Сам язык феодализма со времени его появления в Англии при норманнах указывал на признание права наследования. Не передаваемый по наследству фьеф являл собой противоречие в определении...” [In *Past and Present*, No. 57 (1972), 7. Cf. Theodore F. T. Plucknett, *A Concise History of the Common Law*, 5th ed. (Boston, 1956), 524.]

- Поскольку торговля предполагает собственность торговцев на все то, чем они торгуют, и поскольку сделки, относящиеся к поставкам или платежам на будущее, образуют сердцевину контрактов, городская жизнь неизбежно выдвигает собственность и контракт в сущности на то самое место, какое они занимают среди институтов капитализма*.

Таким образом, если распространение земледелия сделало возможным соблюдать права собственности более строго, чем во времена охотников и собирателей, то в экономике, основанной на торговле (и промышленности), собственность стала по существу господствовать в отношениях людей к имуществу и между собой.

Во второй половине первого тысячелетия христианской эры некогда процветавшие европейские города пришли в упадок. О причинах идут споры, хотя сам факт безоговорочно признается. Бельгийский медиевист Анри Пиренн утверждал, что это было вызвано не нашествиями варваров, как принято считать, а тем, что в седьмом — восьмом веках мусульмане, завоевав Средиземноморье, прервали торговые связи Европы с Ближним Востоком. Некоторые историки отвергают это объяснение, предпочитая искать причины упадка городов в развитии внутриевропейских событий. Так или иначе, но все согласны, что в течение пяти или шести столетий после падения Рима европейские города превратились в крепости, которые защищали своих жителей, но выполняли лишь небольшую, если вообще хоть какую-нибудь, хозяйственную роль. Своим обитателям они не давали ни общественного положения, ни прав.

Возрождение городов началось в десятом веке, а к одиннадцатому они превратились в центры расцвета торговли. Венеция и Генуя собирали барыши с возобновленной торговли с Ближним Востоком, а города Фландрии богатели за счет экспорта тканей. Процветающая торговля породила новый городской класс. В отличие от прежних странствующих торговцев и принадлежавших к самым низам общества разносчиков товаров, не находивших себе места в феодальных и

* Nathan Rosenberg and L. E. Birdzell, Jr., *How the West Grew Rich* (New York, 1986), 50. Ср. у Макса Вебера: “Не бывает, чтобы вещь с отличительными свойствами денег не находилась в чьей-нибудь личной собственности”. [*General Economic History* (New Brunswick, N. J., 1981), 236.]

сельскохозяйственных структурах деревни, новые горожане были людьми состоятельными, обладателями собственности, представленной товарами, недвижимостью и капиталом. Образовавшись впервые в истории сложившийся городской средний класс¹⁵², они были неким исключительным явлением в мире, где все прочие пребывали у кого-нибудь в подчинении и оставались привязанными к земле.

Именно в силу того обстоятельства, что их образ жизни не вписывался в феодальную среду, горожане смогли — более того, были вынуждены — добиваться самоуправления. Не будучи частью феодального общества, которое в те бурные времена обеспечивало своим членам определенный уровень безопасности, буржуазия была жизненно заинтересована в получении от князей, знатных господ и епископов, на чьих землях она проживала, некоторых привилегий, а именно гарантий личных прав и собственности. Эти привилегии предполагали право горожан на самоуправление и на свое, городское судопроизводство, что очень походило на права граждан древнегреческого *полиса*. Свое судопроизводство имело для горожан особенно большое значение, потому что в качестве торговцев они часто заключали контракты, об исполнении которых не стали бы заботиться ни королевский, ни феодальные суды. Со временем сюда прибавились и другие права. Если феодальный контракт послужил основой современного конституционного строя, то о хартиях, добытых средневековыми городами у властителей земель, где они находились, можно сказать, что они заложили основу современных гражданских прав*. Самых больших успехов в этом отношении города добились в странах, где не было национальных монархий, — в Италии, в Нидерландах и в Герма-

* Великую хартию вольностей, в которой обычно видят краеугольный камень здания современной свободы, некоторые сегодняшние ученые считают точным слепком прав, впервые обретенных жителями городов. Действительно, по настоянию баронов в Великой хартии король подтвердил права Лондона и других городов королевства. Городскую модель средневековых свобод можно также заметить в венгерской Золотой булле (1222), в которой обедневший король обещал ежегодно созывать сейм, не подвергать знатных людей произвольным арестам, не облагать налогами ни светских, ни церковных вассалов и уважать права собственности землевладельцев. [Robert von Keller, *Freiheitsgarantieren für Person und Eigentum im Mittelalter* (Heidelberg, 1933), 76–77, 82.]

нии. В Англии, во Франции и в Испании их достижения были не столь велики.

Свои свободы города завоевывали иногда мятежами, иногда путем соглашения с местными правителями. На протяжении всего одиннадцатого столетия в Западной Европе вспыхивали городские восстания, в ходе которых горожане, иногда при поддержке королей, вырывали у местных феодальных властителей. Такие города становились самоуправляющимися коммунами с собственным судопроизводством. Одним из первых городов, получивших в конце десятилетия право самоуправления, был Магдебург в Саксонии; в своде его законов, составленном к концу тринадцатого века, свобода определялась как “естественная свобода человека делать, что он хочет, при условии, что это не запрещено законом”¹⁵³. Магдебургское право было принято за образец многими городскими общинами Восточной Европы. В начале одиннадцатого века такие же права обрели несколько городов в южной Италии, а чуть позже в Ломбардии.

Все мужчины — члены таких городских общин имели равный статус и были наделены правом участия в общих собраниях, что представляло собой огромного значения новшество, поскольку таким образом утверждался принцип права, имеющего своим источником место жительства, а не положение на социальной лестнице. Жители таких городов, независимо от их социального происхождения, были свободными людьми: беглый крепостной, которому удавалось прожить в городе год и один день, обретал свободу. Должностные лица избирались на ограниченные сроки. Таким образом, понятие общего гражданства, зародившееся в древности в Афинах, возродилось в городах, разбросанных как вкрапления в строго стратифицированное феодальное общество. Вывеска со словами “*Работа делает свободным*” (“*Arbeit macht frei*”), водруженная нацистами над входом в лагерь массового уничтожения Освенцим с целью усыпить бдительность людей, отправляемых в газовую камеру, была кощунственной пародией на принцип “*Stadtluft macht frei*” — “*Городской воздух делает свободным*”, — который как бы стоял у истоков современного понятия гражданства. (Этимология подсказывает, что само слово “гражданин” первоначально относилось только к жителю города.) Замечено, что если в начале двенадцатого века в окраинных странах Европы словом “бюргер” обозначался всякий, кто проживал на территории города, то в срединных

европейских государствах оно подразумевало члена городской общины*.

Горожане постепенно образовали “третье сословие” — наряду с духовенством и дворянством. Их, людей состоятельных, монархи, вечно нуждавшиеся в деньгах для ведения войн, все чаще призывали к участию в законодательной работе: около 1300 года и в Англии, и во Франции горожане были впервые приглашены на собрания парламентов, созванных для одобрения налогов.

Именно в средневековых городах недвижимость впервые предстала как товар, которым можно было распоряжаться без каких бы то ни было ограничений. Владельцы городских домов, служивших обычно и жилищем, и местом деловых операций, были также полными собственниками земли, на которой эти дома стояли, и могли распоряжаться ею, как им было угодно.

Свободы, завоеванные в конечном счете горожанами, образуют внушительный список. Его можно представить в разбивке на четыре разряда: свободы политические, личные, экономические и правовые¹⁵⁴:

Политические свободы

Свобода самоуправления.

Личные свободы

1. Свобода вступать в брак без разрешения.
2. Свобода от феодальных повинностей.
3. Свобода завещательных распоряжений.
4. Свобода передвижения.
5. Освобождение от крепостного состояния по истечении года и одного дня проживания в городе.
6. Свобода отчуждения собственности (то есть передачи ее другому лицу).

7. Свобода от воинской повинности.

Экономические свободы

1. Свобода от постоя: расквартирование короля и его вассалов подлежит соответствующему возмещению.
2. Освобождение от негородских налогов.

* Ernst Pitz, *Europäisches Städtewesen und Bürgertum* (Darmstadt, 1991), 392. Тем не менее, как будет замечено в главе 4, в Средние века северорусский город-государство Новгород, хотя и расположенный на окраине Европы, вплоть до его покорения Москвой своей внутренней организацией сильно напоминал западноевропейскую городскую общину.

3. Право облагать налогами сограждан.
4. Свобода от уплаты пошлин.
5. Право содержать рынки.

Правовые свободы

1. Право граждан на рассмотрение их дел городскими судьями.

2. Право на соблюдение законного порядка в случае привлечения к ответственности.

3. Защита от произвольных арестов и обысков.

4. Свобода от обязательной службы.

Таким образом, посреди аграрного общества, основанного на повинностях и привилегиях, торговля вместе с промышленностью и выпестованным ими обеими капиталом создали оазисы свободы с подведенной под нее правовой основой. Трудно поэтому не согласиться с утверждением, что современная демократия берет свое начало в средневековых городах и что свободное предпринимательство, породившее эти города, является “основным или единственным средством продвижения свободы человека”¹⁵⁵. Существовали эти институты только в Европе: “Нигде за пределами Запада не было городов в виде единых общин”¹⁵⁶.

В течение четырнадцатого и пятнадцатого веков ввиду подъема национальных государств и в результате внутригородских социальных раздоров, а также и по другим причинам (таким как изобретение пороха, которое сделало защитные городские стены бесполезными) европейские города в большинстве своем утратили самостоятельность. Шестнадцатый и семнадцатый века были эрой абсолютизма, совершенно не выносившего городского самоуправления. Но идеалы, выдвинутые городами, и учреждения, ими созданные, составили неотъемлемую часть западной политической традиции.

11. Европа в начале нового времени

К шестнадцатому веку в Западной Европе общепринято стало считать, что король правит, но не владеет имуществом своих подданных, и что королевская власть кончается там, где начинается частная собственность. Все были согласны с тем, что “собственность принадлежит семье, а верховная власть князю и его судьям”¹⁵⁷. Изречение Сенеки: “короли имеют власть надо всем, люди же — над своей собственностью”

стью” воспринималось как банальная истина. В пятнадцатом веке один испанский юрист провозгласил: “Королю дано только управлять королевством, а не владеть вещами, ибо собственность и права государства суть дело общее и не могут быть чьей-либо вотчиной”¹⁵⁸. Жан Бодэн, в шестнадцатом веке сформулировавший современное понятие суверенной власти, установил, что верховная власть не равнозначна собственности и что право властителя на его доходы неотчуждаемо¹⁵⁹. Эти представления легли в основу европейского понятия свободы и приобрели особенно большое значение после того, как в семнадцатом веке понятие “собственность” вобрало в себя не только принадлежащее человеку вещественное имущество, но также и его жизнь и свободу. В таком качестве собственность автоматически выпадала из ведения государства.

Время от времени неприкосновенность собственности подвергалась попранию. Евреев, находившихся под защитой светских властей и поэтому зависевших от их милости, нещадно обирали ради пополнения королевской казны и сундуков принцев, баронов и городов. Законы английского короля Эдуарда Исповедника устанавливали, что “евреи и их имущество принадлежат королю”¹⁶⁰. То же правило действовало в Германии: в 1286 году Рудольф фон Габсбург провозгласил, что евреи вместе с их имуществом принадлежат лично ему¹⁶¹. Из Англии евреи были изгнаны в 1290 году после захвата королем их имущества, а из Франции в 1306 году — при схожих обстоятельствах. В 1307 году французский король конфисковал собственность рыцарского ордена тамплиеров, процветавшего в роли международного банковского синдиката. В 1492 году евреев лишили имущества и изгнали из Испании, а четыремя годами позже из Португалии. В 1502 году та же участь постигла мавров в Кастилии. Во всех этих случаях, однако, жертвами были иностранцы либо межнациональные организации, как правило, носители чужой веры.

Необычное (для Европы) нарушение прав собственности имело место в конце семнадцатого века в Швеции. За предшествовавшие сто лет шведская корона, постоянно страдавшая безденежьем, распродала местной знати большую часть королевских владений. В 1650 году король и мелкие крестьянские замелевладельцы имели со своей собственностью лишь 28 процентов обрабатываемой земли, тогда как остальное находилось в руках знати¹⁶². В 1680 году Карл XI, опираясь на

поддержку мелких землевладельцев и налогоплательщиков, провел через риксдаг закон о “сокращении” земельных владений знати, которое вылилось в конфискацию крупных поместий. В результате корона завладела примерно третью шведской земли. Это новообретенное богатство легло в основу королевского абсолютизма, недолго, впрочем, продержавшегося. В начале 1700-х годов, после сокрушительного поражения в войне против России, закон о “сокращениях” был отозван, и король вынужден был смириться с серьезными ограничениями своей власти. Большая часть отобранной им земли перешла в руки крестьян, а власть шведского монарха была урезана так, что от нее, по существу, ничего не осталось.

В семнадцатом и восемнадцатом веках европейские монархи и некоторые идеологи королевского абсолютизма любили требовать для короны неограниченной власти, которую они порой распространяли и на имущество подданных: в Англии и Яков I, и Карл I были уверены, что могут распоряжаться собственностью своих подданных, если сочтут, что того требуют национальные интересы¹⁶³. В 1666 году Людовик XIV, наставляя дофина, своего старшего сына, снабдил его следующим сомнительным советом: “Таким образом, тебе следует пребывать в убеждении, что короли являются абсолютными господами и по природе обладают несомненным и ничем не стесненным правом распоряжаться всем имуществом одинаково как мирян, так и духовных лиц, дабы в любое время оно могло быть употреблено с ответственностью благоразумного управляющего, а именно сообразно общим интересам государства”¹⁶⁴.

Но такие назидания не имели смысла. Что бы там ни твердила абсолютистская теория, монархи, даже столь могущественные, как Бурбоны, не смели покушаться на имущество своих подданных, потому что принцип частной собственности укоренился так глубоко, что любое на него посягательство наверняка вызвало бы насильственное сопротивление, а то и революцию. Лучшее тому подтверждение — судьба Карла I, который в непоколебимо монархической стране лишился и трона, и головы, потому что упрямо творил, как считали подданные, произвол со сбором налогов.

К восемнадцатому веку общепринято стало видеть в обладании собственностью, особенно земельной, главное основание гражданства, и в той мере, в какой гражданам предос-

тавлялись избирательные права, получали их только те, кто владел недвижимостью или осязаемым имуществом. Оправданием проявлявшейся таким образом дискриминации служили те соображения, что лица, которые не имеют приносящей доход собственности, лишены хозяйственной самостоятельности и могут поэтому оказаться орудием в чужих руках. В своих “Комментариях к законам Англии”, получивших отклик и в Британии, и в ее американских колониях, Блэкстун утверждал: “Истинная причина, по которой требуется отбор избирателей сообразно некоему имущественному цензу, (состоит в том, что) необходимо отсечь людей, находящихся в столь жалком положении, что оно лишает их собственной воли. Если бы у этих людей было право голоса, их не оставляло бы искушение распорядиться своим голосом в угоду тому или иному дурному влиянию”¹⁶⁵.

Люди, не имевшие никакой собственности, считались также “беспомощными” и лишенными всякой заинтересованности в благополучии страны и успехах ее правительства. На заре существования североамериканских колоний, которые воспроизводили порядки Британии, право голосовать было обусловлено наличием земельной собственности: его “требовали без малого точно так же, как держатель акций мог бы требовать себе права голоса в корпорации”¹⁶⁶. К праву голоса относились, стало быть, как к одному из прав собственности и предоставляли его, соответственно, только собственникам*.

Англия с ее наиболее далеко уходящей в глубь веков непрерывной историей парламентских выборов еще в средние века обзавелась сложной избирательной системой, ставившей жителей городов (boroughs) и сельской местности (shires — графств) в разные условия. В графствах избирательным правом после 1430 года пользовались только взрослые мужчины-фригольдеры, владевшие земельными участками, которые приносили не менее 40 шиллингов дохода в год, что считалось минимумом, необходимым для сохранения финансовой са-

* “Я тщетно пытался, — пишет Джекоб Винер, — обнаружить хотя бы одно достойное внимания подтверждение тому, что до 1770-х годов существовали представления о желательности немедленного или скорого введения всеобщего или близкого ко всеобщему (для мужчин) избирательного права”. [*Canadian Journal of Economics and Political Science*, 29, No. 4 (1963), 549.]

мостоятельности. В 1710 году парламент ввел имущественный ценз для членов палаты общин; отменен он был лишь в 1858 году. По закону 1832 года о парламентской реформе избирательное право в городах было предоставлено всем лицам мужского пола, кто имел в собственности или арендовал недвижимость, приносящую 10 и более фунтов годового дохода, а в сельской местности избирателями становились все владельцы земли, дававшей 50 фунтов в год, и арендаторы и субарендаторы, получавшие годовой доход как минимум в размере 10 фунтов. Закон о реформе 1867 года расширил избирательное право в городах, а по закону 1884 года оно было распространено и на большинство сельскохозяйственных рабочих, но отменены были все имущественные цензы лишь в 1918 году, после чего условием участия в выборах стало всего-навсего проживание в данной местности¹⁶⁷.

В американских колониях, как и в Англии, избирательное право было ограничено имущественным цензом. В большинстве мятежных колоний имущественный ценз вводился в виде обладания недвижимостью, хотя в других допускалось просто наличие достаточных личных средств. В некоторых колониях, где избирательным правом пользовались все налогоплательщики, имущественный ценз устанавливался для соискателей выборных должностей. По обретении независимости все тринадцать колоний ввели имущественный ценз как условие предоставления избирательного права¹⁶⁸. Логика состояла в том, что «оплачивающие существование правительства должны обладать исключительным правом держать его под своим контролем»¹⁶⁹. Но были также и более веские причины для того, чтобы ограничить состав избирателей состоятельными людьми. На них указал Джеймс Мэдисон: это опасения, что при «всеобщем и равном голосовании» права собственности не будут защищаться так же действенно, как права личности, зато избиратели, владеющие землей, скорее всего будут одинаково отстаивать и то, и другое¹⁷⁰. Тем не менее в Соединенных Штатах избирательное право было меньше стеснено ограничениями, чем в Великобритании, потому что в Америке обзавестись землей было проще и, более того, часто ее просто раздавали, так что к 1750 году большинство белых мужчин были землевладельцами¹⁷¹. Постепенно даже оставшиеся ограничения были смягчены. К середине девятнадцатого века они исчезли повсеместно; последним отменившим их штатом стала в 1856 году Северная Каролина.

Во Франции право участия в выборах революция поставила в зависимость от уплаты налогов. Они не были обременительными: из 24—27 миллионов жителей всех возрастов и Обоего пола избирательным правом пользовались 4 миллиона и с учетом того, что в тогдашней Франции насчитывалось 6 миллионов взрослых мужчин, это означает наличие избирательного права у двух из каждых трех граждан мужского пола. Но все равно это ограничение шло вразрез с духом провозглашенного революционерами равенства. После реставрации, при Людовике XVIII, круг избирателей был значительно сужен, так что правом избирать были наделены лишь около 100 тысяч граждан и в пять раз меньше — правом быть избранными. При Луи-Филиппе список полноправных избирателей был расширен до четверти миллиона человек¹⁷². Маркс не без оснований утверждал, что монархия Луи-Филиппа была “не чем иным, как акционерной компанией для эксплуатации французского национального богатства”, в которой король был директором, а дивиденды распределялись между министрами, депутатами и 240 тысячами избирателей¹⁷³. Всякие ограничения избирательных прав посредством имущественного ценза были отменены не кем иным, как диктатором Наполеоном III: конституция 1852 года предоставила избирательные права всем гражданам мужского пола.

Своеобразная избирательная система существовала с 1871 по 1914 год в Германской империи. Общенациональный парламент, рейхстаг, избирали все граждане мужского пола, достигшие двадцатипятилетнего возраста. Однако рейхстаг решал в основном вопросы военных расходов, на долю которых приходилось 90 процентов бюджетных ассигнований. В соответствии с правилом, по которому от косвенных налогов все поступления шли центральному правительству, а от прямых правительствам земель и местным общинам, последние получали основную часть доходов страны; именно они выделяли средства на образование, социальную помощь и прочие общественные нужды. Для местных правительств, однако, принцип всеобщего избирательного права мужского населения не существовал, и они, каждое по-своему, ограничивали право участия в выборах, отводя при этом большую роль имущественным цензам. В Пруссии, например, богатейшие граждане имели на выборах по три голоса каждый, представители средних классов по два, бедняки по одному¹⁷⁴.

Другие европейские страны — Италия, Дания, Швеция, Бельгия — также вводили имущественные цензы, некоторые вплоть до двадцатого столетия.

Об этих ограничениях, сколь бы они ни были чужды духу демократии, судить надлежит с учетом прошлого опыта, указывающего на то, что интересы собственников были одной из первых действенных преград царившему при абсолютизме произволу властей. Как свободы, завоеванные феодальной знатью и средневековыми общинами, первоначально были их же исключительными привилегиями, а со временем превратились во всеобщие права, точно так же и избирательное право, которое сначала предоставлялось только обладателям собственности, стало со временем всеобщим. Более того, лишь в тех странах, которые первоначально ограничивали круг лиц, наделенных избирательным правом, получила развитие подлинная демократия: правительства, сразу дававшие избирательные права всем гражданам, чаще всего использовали это равноправие избирателей, чтобы самим закрепиться у власти. Одна из недавно вышедших книг по истории всеобщего избирательного права в Америке имеет подзаголовок “От собственности к демократии”. В свете исторического опыта он должен был бы выглядеть иначе: “Через собственность к демократии”.

12. Что в итоге

Обзор происхождения и развития идеи и института собственности был нами предпринят с целью установить следующее: приобретательство — всеобщее распространенное явление, в животном мире, как и у людей, у детей, как и у взрослых, у первобытных народов, как и у культурно развитых. Оно коренится в инстинкте самосохранения, но имеет и важные психологические измерения, поскольку укрепляет чувство уверенности в себе и помогает по достоинству оценивать свои способности. Объектами присвоения являются прежде всего материальные блага, но распространяется оно и на область невещественного — идеи, акты художественного творчества, изобретения и даже на само окружающее нас пространство. Притязания на исключительное пользование с особым нажимом предъявляются в отношении земли, с которой людей связывают мистические узы. Понятие первобыт-

ного коммунизма не имеет никаких оснований в действительности: это всего лишь старый — и по-видимому, несокрушимый — миф о золотом веке, пересказанный современным псевдонаучным языком. Антропологии неизвестны никакие общества, не ведающие прав собственности, то есть, повторяя приведенные выше слова Э. Гебеля, “собственность присутствует всюду, где есть человек, и образует ткань-основу всякого общества”. И это означает, что она является, если воспользоваться терминологией Аристотеля, не только “юридическим” или “договорным”, но и “естественным” институтом. Поэтому, коль скоро ею не злоупотребляют, предметом морализирования она может служить не больше, чем смертность или любая другая грань нашего бытия, на которую мы в лучшем случае можем влиять лишь в ничтожнейшей мере. На протяжении девяти десятых истории человечества, когда охота и собирательство были основными видами экономической деятельности, требования собственности сводились к притязаниям на власть над территорией, которую ревниво оберегали от вторжений извне; права личной собственности сосредоточивались на оружии, орудиях труда и других вещах личного пользования. Скот всегда считался частной собственностью. С постепенным переходом к оседлой жизни, опиравшейся на земледелие, права собственности переместились к домашним хозяйствам. Общественно признанная власть — государство — явилась побочным продуктом этих перемен. Хотя происхождение государства неясно и остается предметом множества споров, представляется, что главной причиной его появления был переход от социальной организации, основанной на родственных связях и доаграрной экономике, к сообществу людей, связанных общностью территории и обеспечивающих свое существование в основном земледелием, заняться которым пришлось главным образом под давлением роста населения и обострившегося соперничества за обладание естественными ресурсами. В сложившихся политически организованных обществах росло значение частной собственности, потому что обрабатываемой земле нужен усиленный и постоянный уход. Движение к исключительному обладанию землей почти неодолимо как по экономическим, так и по психологическим причинам: оно развернулось даже в феодальной Европе, в то время, когда теоретически земля по большей части была объектом условного держания. Одна из первостепенных задач

государства заключается в обеспечении надежности прав собственности. До того, как в это дело вмешивается государство, существует лишь владение, право на которое утверждается ссылками на длительность держания и подкрепляется обычаем и на крайний случай силой; в условиях политически организованной жизни ответственность берет на себя публичная власть. Превращение владения в собственность происходит повсеместно и неодолимо, благодаря главным образом институту наследования, который устраивает и собственника, и владельца, но действует к выгоде последнего, потому что объекты, о которых идет речь, физически постоянно пребывают в его руках.

Следующая фаза становления частной собственности — это плод развития торговли и городов. Землевладение выступает в великом множестве форм, которые устанавливают предельные сроки держания земли или налагают различные другие ограничения. Между тем товары, поступающие в торговый оборот, и получаемые за них деньги всегда и всюду являются частной собственностью. По мере того, как в экономике ведущее значение переходит от сельского хозяйства к торговле и промышленности, все большую экономическую роль приобретают деньги, а вместе с ними и собственность. Возвышение частной собственности до положения священного института в Европе восемнадцатого — девятнадцатого веков было прямым результатом экономического развития, выдвинувшего на первые роли торговлю и промышленность.

Взаимосвязь частной собственности с гражданскими и политическими правами составляет основной предмет нашего исследования. Свобода и вытекающие из нее права появились на свет только с возникновением общественно признанной власти, то есть государства. В социальной организации, основанной на родовых связях, человеческие отношения никак не опосредованы, и у индивидуума нет возможности выступать с какими-либо личными притязаниями. С появлением государства, власть которого распространяется на определенную территорию и всех ее обитателей, такие притязания становятся возможными. “Право” было удачно определено как “способность одного человека воздействовать на действия другого, используя не свою силу, а мнение и могущество общества”¹⁷⁵. При таких условиях собственность — там, где ей было позволено возникнуть — находится под защитой государства как

“право”, но это же право защищает и самого индивидуума от государства: вместе с законом, ее побочным продуктом, она становится самым действенным средством ограничения государственной власти. Там, где государство считает себя собственником всех производственных ресурсов, как это было в древних восточных монархиях, у отдельных людей или семей нет средств сохранять свою свободу, потому что экономически они полностью зависят от верховной власти. Конечно же, не по случайному совпадению частная земельная собственность, как и демократия, впервые явились на свет в древней Элладе, а именно в Афинах, городе-государстве, основанном и управляемом самостоятельными земледельцами, на которых держалась экономика, и вооруженные силы. Нет ничего случайного и в том, что многие из важнейших институтов современной демократии своим происхождением напрямую связаны со средневековыми городскими общинами, в которых торговля и промышленность вырастили могущественный класс денежных людей, видевших в своем богатстве одну из граней своей свободы.

На основе этого опыта прошлого образовались современные понятия свободы и прав. В средневековой Европе, и особенно в семнадцатом столетии, когда родились современные идеи свободы, “собственность” (“property”) стали понимать как “(при)надлежащее” (“propriety”), то есть как всю совокупность имущественных, а равно и личных прав, которые даны человеку от природы и которые у него нельзя отнять иначе как с его согласия (а иной раз даже и в этом случае — как, например, при отказе в “праве” продать самого себя в рабство). Понятие “неотъемлемых прав”, которое в политической мысли и практике Запада имело постоянно возрастающее значение, выросло из основного и простейшего права — собственности. Одну из его граней образует принцип, по которому суверен правит, но не является собственником и поэтому не может ни присваивать себе имущество подданных, ни нарушать их личные права, принцип, поставивший мощный заслон самоуправству власти и способствовавший развитию сначала гражданских, а затем политических прав.

Мозес Финли, специалист по древней истории, замечает, что “невозможно перевести слова “свобода” (греческое *eleutheria*, латинское *libertas*) или “свободный человек” ни на какой из древних ближневосточных языков, включая древнееврейский,

и уж коли на то пошло, также и ни на один язык Дальнего Востока”*. Как это могло получиться? Что общего имели между собой древние Греция и Рим и что отсутствовало в империях Ближнего и Дальнего Востока? Один возможный ответ — идея свободы. Но тогда возникает вопрос: какие составляющие в культурах этих двух стран подвели к рождению этой новой для того времени идеи? Ибо идеи не появляются в вакууме; подобно выражающим их словам, они указывают на те достаточно важные грани действительности, которые заслуживают особого имени, чтобы сделать возможным их обсуждение.

Было предложено считать, что понятие свободы явилось из осознания сути рабского положения и того различия, которое существует между человеком свободным и человеком подневольным: не-раб осознает себя свободным человеком, сопоставляя свое положение с положением раба. По словам одного сторонника этой точки зрения, “исток западной культуры и ее наиболее ценимого идеала, свободы, кроются... не в скальных породах человеческих добродетелей, а в растянутой на долгие века гнуснейшей бесчеловечности”¹⁷⁶. Но это неубедительное объяснение. Хотя рабство было повсеместным явлением и широко практиковалось даже “благородными дикарями”, вроде американских индейцев, ни в одном рабовладельческом обществе за пределами Западной Европы понятие личной свободы не возникало. В России, например, где с конца шестнадцатого столетия огромное большинство населения пребывало в крепостной неволе, никто, судя по всему, не задумывался о личной свободе в противовес крепостному состоянию и не считал это состояние противоестественным, пока

* М. I. Finley, *The Ancient Economy* (Berkeley and Los Angeles, 1973), 28. Японцы, впервые открывшись западным влияниям в девятнадцатом веке, испытали большие трудности с переводом слова “свобода”; в конце концов они остановились на *jiyu*, что означает “распушенность”. То же имело место в Китае и Корее [Orlando Patterson, *Freedom* (New York, 1991), p. x]. С такой же трудностью сталкивались мусульманские авторы: “Первые примеры употребления термина “свобода” в четко выраженном политическом смысле относятся к Оттоманской империи конца девятнадцатого — начала двадцатого столетия и явно представляют собой дань европейскому влиянию, иногда непосредственно как переводы европейских текстов... Ранние упоминания свободы у мусульманских авторов звучат осуждающе и приравнивают ее к вседозволенности, распушенности и анархии”. [Bernard Lewis, *Islam in History* (New York, 1973), 267, 269.]

настроения в пользу отмены крепостничества не были завезены с Запада в царствование Екатерины Великой, немки по рождению.

Чувство экономической самостоятельности и рождаемое им чувство личного достоинства — вот что вызывает к жизни идею свободы. На то, что древние греки понимали это, указывает отрывок в “Истории” Геродота, где мужество, проявленное афинянами в войне против персов, приписывается их положению, позволявшему им сражаться не как “рабы, работающие на своего господина”¹⁷⁷. Геродот особенно обращал внимание на то, что они освободили себя от произвола тиранов. Но понятие свободы не ограничено его политическим содержанием, оно включает также работу на себя, экономическую самостоятельность. Эта тема вновь прозвучала в речи Перикла у гробницы павших воинов, когда он заявил, что каждый афинянин “сам по себе может с легкостью и изяществом проявить свою личность в самых различных жизненных условиях”¹⁷⁸.

Подобное “сам по себе” возможно только в обществах, где признают частную собственность. Более вероятно поэтому, что идея свободы выросла из противопоставления собственника и несобственника (притом что земельной собственности в древних Афинах были лишены все неграждане), а не свободного и раба, поскольку в этой паре стороны разделены между собой таким непреодолимым психологическим барьером, что об их сопоставлении трудно было и помыслить. Первоначально источником экономической самообеспеченности была обработка частных земельных наделов, и наиболее ранние свидетельства о ней относятся к древним Израилю, Греции и Риму. Финли, пусть и не говоря этого прямо, четко указывает, что здесь и находится ответ на вопрос о западных корнях свободы: “В экономике [древних] обществ Ближнего Востока господствовали дворцовые и храмовые хозяйства, [которые] владели большей частью пригодной для обработки земли, по существу монополизировали все, что можно подвести под понятие “промышленного производства”, равно как и внешнюю торговлю... и направляли всю экономическую, военную, политическую и религиозную жизнь общества посредством и в рамках одной сложной бюрократической, бухгалтерской системы, для обозначения которой “рационарирование”, понимаемое в очень широком смысле, есть лучшая из сжатых до одного слова характеристик, какие

приходят мне на ум. Ничего подобного не было в греко-римском мире до завоеваний Александра Великого, а затем и римлян [когда] они включили в свои владения обширные ближневосточные территории...

Не хочу чрезмерно упрощать. Частные земельные владения на Ближнем Востоке были, и обработка их в частном порядке велась; в городах были “независимые” ремесленники и торговцы. Имеющиеся свидетельства не дают возможности опереться на количественные показатели, но я не думаю, что этому типу хозяйствовавших субъектов можно приписать преобладающее значение в тамошней экономике, тогда как греко-римский мир был *именно и в основном миром частной собственности*, будь то мелкой, в пределах нескольких акров, или огромной в виде владений римских сенаторов и императоров, как и миром частной торговли и частной промышленности”¹⁷⁹.

Контраст между древним греко-римским миром и ближневосточными монархиями был в новое время по-своему воспроизведен в Европе, в разошедшихся путях развития как собственности, так и свободы, соответственно на крайнем западе и на крайнем востоке континента. Олицетворением этих разных путей стали Англия и Россия. Первая учредила частную собственность в ранний период своей истории и создала модель политической демократии, послужившую образцом для остального мира, тогда как вторая, начавшая знакомиться с собственностью исторически поздно и даже при этом урывками, не смогла создать институтов, способных защитить ее народ от деспотической власти “Левиафана”.

3. Англия и рождение парламентской демократии

Свобода обитает в каком-нибудь конкретном предмете, и каждый народ находит для себя некий излюбленный предмет, который ввиду его важности становится для этого народа мериллом счастья. Позвольте Вам напомнить, сэр, что с древнейших времен в (нашей) стране великие сражения за свободу развертывались главным образом вокруг вопроса о налогодобложении.

Эдмунд Бёрк¹

Англия — родной дом парламентской демократии, и поэтому история ее политического развития представляет всеобщий интерес: А. Ф. Поллард, специалист по истории конституций, назвал парламент величайшим вкладом Англии в цивилизацию². Богаты ее архивы, и высочайшим качеством отмечена литература, посвященная ее конституционному развитию. Англия ни в коем случае не есть страна, принадлежащая к числу других себе подобных; действительно, во многих отношениях она есть страна особая и беспримечная, и таковой ее издавна считали и сами англичане, и иностранцы. Сэр Джон Фортескью, писавший в пятнадцатом столетии, и сэр Томас Смит веком позже уже вполне сознавали различие между современными им Англией и государствами на континенте. Не надо усматривать здесь проявлений шовинизма, ибо, стоит заметить, этот взгляд разделяли многие посещавшие страну чужеземцы. Монтескье говорил об англичанах как о самом свободном народе в мире, потому что они ограничили власть короля законом³. Вольтер находился под тем же впечатлением и писал об англичанах как о “единственном народе в мире, сумевшем противостоять королям и установить пределы их власти, и добившемся в ряде битв создания мудрой системы правления, при которой Государь полновластен делать добро, но в то же время ограничен в возможностях творить зло...”⁴.

Англия была первой страной мира, где образовалось национальное государство; она же прежде других институализировала зачаточную демократическую практику германских племен. Она, таким образом, представляет собой лабораторию, где выявляется, какие условия наиболее благоприятствуют развитию политической свободы и утверждению гражданских прав.

Почему и как парламент, представляющий всех жителей страны, восторжествовал над короной и обеспечил народу права и свободы, вызывавшие восхищение остальной Европы? Конституционная история Британии это история превращения парламента из прислужника короны (с одиннадцатого по пятнадцатый век) в ее партнера (с шестнадцатого до начала семнадцатого века) и, наконец, в ее господина (после 1640 года)*. По ходу дела распределение богатства между ко-

* Я хорошо знаю, что после появившейся в 1931 году книги Баттерфилда “История глазами вигов” [H. Butterfield, *The Whig Interpretation of History*] среди английских историков стало модно отмечать как пристрастную и ущербную теорию неумолимого роста парламентской власти. Эта книга явила собой блестящий пример ученого ревизионизма, но она не выдерживает критики. Перечитавшему ее полвека спустя Г. Р. Элтону она показалась “удручающе жидкой” — “очерком, которому поистине недостает содержания и особенно недостает истории”. [G. R. Elton, *Studies in Tudor and Stuart Politics and Government*, IV (Cambridge, 1992), 273.] Не подлежит сомнению, что многие историки-традиционалисты заходили чересчур далеко в изложении парламентской истории как истории, заполненной исключительно борьбой с короной, и в изображении парламента как единственного носителя добра. И все же неспециалисту, который смотрит на конституционное развитие Англии со стороны и сопоставляет его с развитием, например, России, традиционное толкование представляется убедительным. Беда “ревизионизма” в большинстве случаев состоит в том, что частные отклонения и исключения он воспринимает не как оттенки явлений, а как самую их сущность; поэтому выдает он главным образом нападки на взгляды других, но собственных содержательных точек зрения не предлагает. Дж. П. Кейнон, сам сторонник ревизионистской школы, соглашается, что на смену “Истории глазами вигов” не нашлось ничего “внушающего доверие”. [J. P. Kenyon, *Stuart England* (London, 1978), 9.] То же относится к пересмотру взглядов на английскую гражданскую войну. [Richard Cust and Ann Hughes, eds., *Conflict in Early Stuart England* (London and New York, 1989), 1 1.] Введение, предпосланное этой книге ее редакторами, содержит добротную критику английского исторического ревизионизма.

роной и ее подданными играло решающую роль, поскольку упадок королевской власти сопровождался сокращением владений короля и получаемых от них доходов. Богатства английской короны растаяли, потому что из-за войн, излишеств двора, плохого управления королевскими поместьями и инфляции ее расходы были больше доходов. Уменьшение собственных доходов ставило королевскую власть во все большую зависимость от сборов пошлин и налогов.

Оскудение казны имело важные политические последствия, ибо на сбор таможенных пошлин и большинства налогов требовалось согласие парламента. «Корона беднела и беднела, а вынужденная обращаться к парламенту, она оказывалась перед необходимостью поступаться конституционными правами в обмен на денежные средства»⁵. «Порогом, на котором постоянно спотыкались короли, были деньги. Они требовали у народа звонкую монету, народ требовал у них свободы и реформы. Это и есть та красная нить, которая, если она вообще существует, проходит через всю парламентскую историю Англии»⁶. Действительно, как три с половиной столетия назад мудро заметил Джеймс Харрингтон, именно растущее богатство народа и все большая зависимость от него королевской власти принудили ее предоставить права и свободы подданным. Можно, таким образом, сказать, что конституционное развитие Англии шло под гром барабанов ее финансовой истории. Это классический и наглядный пример того, как богатство частных лиц налагает ограничения на власть государства.

1. Англия до нормандского завоевания

Как и в других частях Римской империи за пределами Итальянского полуострова, верховным собственником земли в Англии был император: местные жители обрабатывали ее по праву держателей имперского имущества⁷. За это право они вносили плату римским чиновникам.

С уходом римлян из Британии в середине пятого столетия остров неоднократно подвергался вторжениям банд англосаксонских варваров из Шлезвига-Гольштейна и Ютландии. У этих пришельцев базовой социальной ячейкой был клан; селились они кланами в составе свободных людей и многочисленных рабов. Землю поделили на королевские, частные и общественные владения; общественная доля, поглощаемая

королевскими поместьями, неуклонно уменьшалась⁸. Частная земля оставалась в полной собственности владельца.

Хотя шестисотлетнюю интерлюдия между уходом римлян из Британии и ее завоеванием норманнами обычно рассматривают как долгий разгул анархии, в действительности именно к концу этого периода были заложены основы многих будущих институтов страны. В течение двух столетий, предшествовавших нормандскому завоеванию, когда Англия была объединена под властью единого монарха, по глубоко укорененной в варварских обществах традиции (см. ниже) от королей требовалось не законы издавать, а охранять обычаи, что серьезно ограничивало их власть, ибо это означало для них невозможность вводить какие-либо перемены без ясно выраженного общественного одобрения*. Подобно другим германским правителям, англосаксонские короли управляли страной с помощью совета мудрых *witena gemota* (*witena gemot* или *witan***), в который входили видные представители знати и церкви. Эти советы время от времени выбирали королей, в случаях крайней необходимости издавали законы и устанавливали налоги⁹. Важные решения выносились на одобрение народного собрания *фолькмота*, который созывался дважды в году, вершил правосудие и рассматривал назревшие вопросы жизни общины. Присутствовать могли все свободные общинники. Мейтленд обращает внимание на то, что такая практика соответствует той, которая, по описаниям Тацита, преобладала в его время у германских племен и которая наблюдается у первобытных народов сегодня***. Английские короли

* Этот принцип соответствовал практике первобытных обществ в других частях мира, в которых, как говорит один антрополог, “задача существующего управленческого аппарата состоит скорее в том, чтобы добиваться соблюдения традиционных норм и обычаев, чем в том, чтобы создавать новые прецеденты”. [Robert H. Lowie, *Primitive Society* (New York, 1920), 358-59.]

** *Wita* (мн. число *witan*) означает “мудрый”; *gemot* — “собрание”.

*** F. W. Maitland, *The Constitutional History of England* (Cambridge, 1946), 55–56; J. E. A. Jolliffe, *The Constitutional History of Medieval England*, 4th ed. (London, 1961), 25–29; Helen Cam, *England Before Elisabeth* (New York, 1952), 48. Читателю следует иметь в виду, что “германские” не означает “немецкие”. Это родовое понятие, которое охватывает этнически разные племена, покорившие Римскую империю и ставшие родоначальниками современных немцев, англичан, французов, скандинавов и т. д.

даже и до нормандского завоевания не могли ни издавать законы, ни облагать подданных налогами без согласия “великих” своей земли и фолькмота¹⁰. Это правило, несомненно, имеет своим истоком усвоенное германскими племенами представление, что “законы остаются во власти общества”, а король правит не как верховный владыка своего народа, а как его представитель*.

Наиболее вероятным объяснением тому, что эти германские традиции сохранились в Англии больше, чем на континенте, является островное положение Англии, благодаря чему ее компактно проживающее население было физически отделено от негерманских народов Европейского материка, среди которых германцы селились и под чье влияние они вскоре попали.

Правление на основе согласия может возникать в различных условиях, коль скоро политически активное население экономически самостоятельно и становится, таким образом, в известном смысле сувереном-партнером. Это мы видим в древней Греции среди мелких, самостоятельно себя обеспечивающих крестьян. Это распространено в обществах кочевников, живущих охотой и скотоводством, поскольку в таких обществах, построенных на основе родства, все взрослые мужчины считаются равными и обладающими одинаковыми правами на участие в решении вопросов, затрагивающих общие интересы. Такова отличительная черта всех родовых групп, будь то германские племена, описанные Тацитом, или американские индейцы, или народы Африки¹¹. Хотя тирания в первобытных родовых сообществах не исключается, все же их политическая жизнь являет собой пример народного участия в управлении¹².

Основной организационной единицей покоривших Европу германских народов был клан сородичей, считавших себя потомками общего предка. Высшая власть принадлежала собранию воинов, решений которого не смел отменить председательствовавший на нем вождь. Собрание решало вопросы войны и мира и распределяло землю¹³.

Такое положение сохранялось до тех пор, пока племена и кланы вели кочевой или полукочевой образ жизни. Но когда

* Jolliffe, *Constitutional History*, 23–24, 41–42. Однако Герберт Баттерфилд в своей “Истории глазами вигов” (32) отмечает это представление как миф, сочиненный юристом семнадцатого века сэром Эдвардом Куком.

главным занятием этих племен стало земледелие и они приняли оседлый образ жизни, демократические процедуры, действовавшие в рамках рода, стали применяться в границах территории. Случилось это не вдруг: германские захватчики Англии, поселившиеся родственными кустами, сначала следовали своим родовым законам¹⁴. То же самое надо отнести и к варварам-завоевателям материковой Европы, которые, как мы выше отмечали, следовали не римскому праву, господствовавшему в покоренных ими землях, а собственным “варварским” законам. Постепенно, однако, территориальный принцип брал верх, и законы господствующего племени становились законами земли¹⁵. Только это и позволяет объяснить, каким образом столь дикие юты, англв и саксы смогли заложить основы представительной власти в покоренной ими Англии.

Переход от родовой организации к территориальной произошёл в Англии к концу девятого столетия, в годы правления Альфреда Великого, с введением порядка налогообложения, базой которого стали графства (*shires*), а не племенные группы*. Дж. И. А. Джоллиф, специалист по истории конституционного развития, назвал его самым глубоким сущностнообразующим сдвигом во всей английской истории, потому что он сделал возможным слияние различных общин в единую нацию и единое государство¹⁶. Именно тогда родилось современное государство — учреждение, притязующее на общую власть над всеми жителями данной территории. В случае с Англией государство выросло из сообщества свободных людей, и этой своей природе оно никогда не изменяло.

Общественные заботы в англосаксонское время в значительной мере касались собственности. Есть свидетельства, что до нормандского завоевания частная земельная собственность в Британии была обычным делом и владельцы земли обладали полным правом на ее отчуждение¹⁷. По Мейтленду, об этом идет речь и в самом раннем из английских

* Keith Feiling, *A History of England* (New York etc., 1950), 67–68. Это перекликается с тем, что произошло в Спарте в седьмом веке до н. э. [Chester G. Starr, *Individual and Community* (New York and Oxford, 1986), 55–56.] Это было также подобием реформ Клисфена в Афинах (570–508 годы до н. э.), связавших право гражданства с местом жительства, а не с принадлежностью к клану.

правовых документов, относящемся ко времени правления короля Этельберта (ок. 600 года)¹⁸. Фольксмоты также уделяли много внимания этому предмету, улаживали споры владельцев земли и боролись с преступностью, в том числе с хищениями¹⁹.

Что касается налогообложения, то здесь действовал принцип, который сохранялся, по крайней мере в теории, до середины семнадцатого века и устанавливал, что обычные текущие расходы, как личные, так и государственные, английские короли покрывали за счет поступлений от их собственных владений и сборов за отправление правосудия. Считается, что при необходимости получить дополнительные налоговые поступления им надо было заручиться согласием уитенагемота. Но такие дополнительные налоги были столь редки, что, по существу, какие бы то ни было сведения о них отсутствуют²⁰.

2. Правление норманнов

Ко времени нормандского завоевания земельные владения королевского дома были велики, как никогда²¹. Завоеватели отменили земельную собственность, полученную на правах аллода. Прежние собственники, если им разрешалось сохранить владение, становились главными королевскими держателями. Нормандские правители не только унаследовали земли свергнутых англосаксонских королей, но и отобрали поместья у оказавших им сопротивление лордов, распределив затем эту землю среди своих держателей²². Главных держателей обязали выставлять оговоренное число всадников для службы в королевской коннице. А те, в свою очередь, чтобы надежно закрепить за собой возможность справляться с этой повинностью, отдавали часть своих земель рыцарям. Так ковалась феодальная цепь. Но Вильгельм Завоеватель установил, что вся земля, находившаяся в руках как светских, так и церковных хозяев, принадлежит ему и держатели пользуются ею на феодальных основах как вассалы. Главный держатель, не исполнявший своих обязанностей, терял землю, отходившую короне.

Нормандские правители должны были, как и англосаксонские короли, содержать двор и управлять страной за счет своих личных доходов²³. В течение двух столетий, последо-

вавших за нормандским завоеванием, то есть до середины тринадцатого века, до 60 процентов дохода английские короли получали в виде земельной ренты, поступавшей из собственно королевских владений²⁴. К этому добавлялись доходы от использования феодальных прав, главным образом на выморочное имущество и на опеку*. Такой порядок был подтвержден в 1467 году знаменитой декларацией Эдуарда IV, в которой он заявил общинам: “Я намерен жить на собственные средства и не облагать моих подданных налогами иначе, как в случаях большой и острой необходимости...” Он имел в виду, что жить будет на все поступающие в казну доходы, к каковым, помимо таможенных сборов, относились рента, получаемая от коронных земель, и поступления от использования прав феодального сюзерена²⁵. Налогообложение предусматривалось лишь для чрезвычайных случаев, когда король обязан был указать на необходимость защитить страну и получить согласие тех, кому вводимые налоги пришлось бы платить. В Великой хартии вольностей (1215) король Иоанн, потерпев поражение во Франции, подтвердил по возвращении домой, что не будет вводить налогов без согласия страны. В 1297 году в Подтверждении хартий (Confirmation of Charters), в том числе и Великой хартии, повторялся принцип, согласно которому король не имел полномочий учреждать без согласия парламента сборы, выходявшие за пределы его феодальных прав²⁶. Эти уступки давно признаны историками как вехи на пути образования основополагающих гарантий частной собственности в Англии. И хотя корона и тогда, и позже проявляла большую изобретательность в попытках подорвать этот принцип, он все же остался опорой английской конституции: английскому королю “*никогда* (Курсив мой. — Авт.) не было дано права на какую-либо материальную поддержку или

* Н. Р. R. Finberg, *The Agrarian History of England and Wales, IV* (Cambridge, 1967), 256. Право на выморочное имущество означало право сюзерена или другого феодала на обращение в свою собственность земли, принадлежавшей подданным, скончавшимся, не оставив завещания, либо не имеющим законных наследников, либо лишенных этой земли за неисполнение феодальных повинностей, за измену или уголовное преступление. По праву на опеку король управлял имуществом оставшихся сиротами несовершеннолетних детей вассала.

субсидию от подданных без согласия парламента”*. На деле это означало, что при отсутствии собственных средств он не мог действительно осуществлять власть без согласия своих подданных. Этот принцип был прочно установлен еще до середины четырнадцатого столетия²⁷. Именно этот принцип и это зависимое положение короля послужили истоками впечатляющей карьеры палаты общин.

Тут нам следует обратиться к истории парламента. Считается, что установить время, когда возникло это учреждение, невозможно. Парламент в нынешнем понимании слова, то есть собрание представителей, уполномоченное издавать законы, появился, видимо, в правление Генриха III, в середине тринадцатого века. До того словом “парламент” без разбора обозначались любые собрания (“parleys”); лишь около 1250 года его стали употреблять, четко имея в виду созываемое королем совещание по государственным делам²⁸. В этом своем виде парламент предстал наследником *curia regia* или существовавшего при норманнах королевского совета. Главные держатели короля обязаны были являться на заседания по первому зову. Первоначально им полагалось не разрабатывать законы, а подавать свои мнения о применении обычного права и участвовать в отправлении правосудия. Поле их деятельности было сужено господствовавшим в Средние века представлением о законах как вечных и неизменных, так что их надлежало лишь толковать, но не создавать. Продержалось такое положение вещей на удивление долго. До принятия в 1832 году Закона о реформе право воспринималось в Англии не как нечто “творимое”, а как данность, восходящая к обычаю и естественному праву²⁹. Поскольку присутствие на совещаниях у короля требовало больших затрат денег и времени, оно рассматривалось как обуза, а не как привилегия; по крайней мере, неведом ни один случай, чтобы лорды требовали себе право участия в

* Stephen Dowell, *A History of Taxation and Taxes in England*, I (London, 1888), 211. Из этого правила были лишь два исключения: на арендаторов земли в королевских владениях в силу того, что король был для них хозяином-помещиком, могла быть возложена налоговая повинность (“*tallage*”) для покрытия образовавшегося королевского долга; евреи “обязаны были платить любые устанавливаемые для них королем сборы, потому что они вообще находились здесь исключительно по его милости”. Iftid., 210–11.]

совещаний³⁰. Тем не менее, как ни редки были законодательные акты тех ранних времен, издавались они по совету и с согласия “великих”. Вильгельм I Завоеватель последовал англосаксонской традиции не принимать никаких новых законов и не вводить налогов без одобрения “мудрых” и могущественных людей королевства³¹.

Критически важный сдвиг в развитии парламента произошёл к концу тринадцатого столетия, когда король, испытывая большую нужду в деньгах и не сумев получить их из собственных источников, пригласил представителей рыцарства и горожан на особое заседание феодального совета³². Для казны то был богатый и нетронутый источник возможных доходов. Выше уже отмечалось, что земельные владения очень рано стали наследственными, и существовало немало способов, позволявших их держателям отчуждать свою землю с разрешения лорда или без него³³. Уже в двенадцатом веке королевские суды в Англии занимались улаживанием земельных споров крупных и мелких держателей³⁴. Алан Макфарлейн привел свидетельства очень раннего появления личной собственности на землю в феодальной Англии³⁵. Он показал, что в предшествовавшие Тюдорам времена (в тринадцатом и четырнадцатом веках) земля свободного держателя принадлежала не семье, а отдельному человеку (включая женщин), причем собственник мог распоряжаться своей землей как заблагорассудится, вплоть до того, что оставлять детей без наследства или продавать ее посторонним*. В Англии тринадцатого столетия жили крестьяне, смотревшие на обрабатываемую ими землю как на товар. Макфарлейн заключает, что “(земельная) собственность (в Англии) была сильно индивидуализирована к концу тринадцатого века, если не много раньше. Она находилась в руках отдельных лиц, а не больших групп; ее можно было покупать и продавать; детям право на землю не передавалось автоматически; нет никаких свидетельств о сильной привязанности семей к своим земельным участкам”³⁶.

Торговля землей происходила главным образом между крестьянами, потому что для знати обладание землей служило “отличительным признаком” их аристократического

* Позднее английские женщины лишились права на земельную собственность, которое перешло к их мужьям. Они вернули его себе лишь в 1881 году.

статуса, с каковым они не склонны были расставаться за деньги*.

К концу Средних веков с исчезновением крепостничества (*вилленаджа*) частная собственность окрепла еще больше; крепостные, оказавшись свободными людьми, могли теперь становиться признанными собственниками земли. Согласно Тоуни, в четырнадцатом и пятнадцатом веках держатели земель в поместьях-манорах превратились в зажиточных крестьян; в большинстве своем они были уже собственниками, а не арендаторами земли³⁷.

Вот это и был возможный источник дохода, которым корона никак не могла пренебречь, особенно если учесть, что сдвиги в земельных отношениях сопровождались ростом родов и появлением класса купцов.

Один из первых случаев, когда в парламенте появились простолюдины, относится к 1265 году и связан с борьбой, разгоревшейся между знатью и королем. Симон де Монфор, руководивший выступлениями против короны, арестовал короля и пригласил в Вестминстер по два посланца от каждого графства и каждого города. Хотя его мятеж и подавили, пример был подан, и новое правило вошло в жизнь³⁸. С этого времени завелся порядок созывать представителей графств и городов для обсуждения законопроектов и выделения субсидий королю. В результате роль парламента значительно возросла. В 1295–1296 годах король созвал первый из так называемых *образцовых* парламентов (подобное событие произошло в это же время во Франции). Новшеством здесь было то, что участники собрания представляли не самих себя, а своих избирателей. Эдуарду III (1327–1377) казна отказалась выдавать деньги, пока он не выполнит ряд условий, одним из которых было введение ответственности министров перед парламентом, а другим — предоставление парламенту сведений о том, как используются выделяемые им средства (субсидии)³⁹. В конституционную практику эти требования воплотились лишь много столетий спустя, но они явились показателем возматствших вожделений парламента.

* Donald R. Denman, *Origins of Ownership* (London, 1958), 150. Рональд М. Мак-Клоски говорит, что имеется множество свидетельств об “активном участии (средневековых) крестьян в купле-продаже земли”. [Цит. в Т. Eggertsson, *Economic Behavior and Institutions* (Cambridge, 1990), 285–86n.]

Парламенты стали, таким образом, неотъемлемой частью государственной власти, но собирались они лишь от случая к случаю, а не на регулярной основе; каждый парламент складывался заново, по итогам новых выборов. Так что у Англии не было “парламента”, у нее были только разрозненные “парламенты”. Правило постоянной работы парламентов было принято лишь в начале восемнадцатого века; до того их созывали, только когда власти нужны были деньги.

Начиная с четырнадцатого века парламенты требовали и получали голос в законодательстве. В пятнадцатом веке стало действовать правило, согласно которому лишь с одобрения обеих палат — и лордов, и общин — законодательный акт обретал силу закона (статута); для имевших временную силу указов (ордонансов) этого не требовалось⁴⁰. После 1530 года статут становился законом королевства только с согласия парламента⁴¹. Самоличная отмена или изменение статута королем рассматривались как злоупотребление властью.

Так появились некоторые ключевые атрибуты современной демократии: невозможность для правительства по собственному усмотрению отменить закон или ввести налог. Добавился к этим ограничениям и запрет на вмешательство в судопроизводство⁴². Один из авторов, в давние времена писавших об английской конституции, сэра Джон Фортеस्कью, главный судья Королевской скамьи, доказывал в 1469–1471 годах, что английское право в основе своей осталось таким же, каким было в древности. Задачей правительства, как в прошлом, так и сейчас, является, мол, защита людей и их имущества. Поэтому короли не могут вводить налоги без согласия подданных. Фортеस्कью противопоставлял короля Англии его коронованному брату, королю Франции, указывая на отличие монарха, правящего только “по-королевски” (как во Франции), от того, который правит и “по-королевски”, и “политически” (то есть конституционно, как сказали бы мы сегодня), и это, дескать, случай Англии. Разница в том, что английский монарх “не может самолично и по собственному усмотрению менять законы своего королевства”, как не может и произвольно вводить налоги, а значит, дает своим подданным возможность без помех пользоваться принадлежащим им имуществом⁴³. Впервые появившийся на латыни в 1537, а по-английски в 1567 году трактат Фортеस्कью стал своего рода бестселлером в правление королевы Елизаветы. Точность его исторических свидетельств не должна нас

волновать; что имеет значение, так это выраженное в нем и уже в пятнадцатом веке широко разделявшееся образованными людьми Англии мнение, что хорошая власть та, которая подчиняется законам.

3. Значение обычного права

Фортескую был одним из нескольких средневековых юристов, сильно повлиявших на то, как англичане стали смотреть на систему управления своей страной. Нигде эксперты-правоведы не оказывают такого воздействия на политику, как в Англии⁴⁴. Профессия светского законника появилась в тринадцатом веке. К 1300 году Англия обзавелась постоянными юридическими школами (“inns of court”). Их выпускники становились не академическими теоретиками — эти оседали в университетах, где преподавали каноническое и римское гражданское право, — а юрисконсультантами-практиками, разбиравшими дела на основе обычного права и имевшими ту же профессиональную подготовку, что и судьи, перед которыми они выступали. Поскольку обычное право, как и английская политика, коренилось в исторических прецедентах, юристы, признанные знатоки прошлого, приобрели видную роль в толковании конституции⁴⁵. Им приписывается заслуга в отмене крепостничества (*вилленаджа*) и в утверждении принципа, согласно которому “никто не может быть заточен в тюрьму без законных на то оснований”⁴⁶.

Чрезвычайно большая роль права и правоведов в Англии и во всем англоязычном мире в изрядной степени объясняется тем, что там рано образовалась собственность, ибо, поскольку собственность предполагает, что притязания на нее должны принудительно поддерживаться законным порядком, право является ее неперенным спутником. Юристы, действовавшие на основе обычного права, делали большой упор на частную собственность: “Разграничения между *теит* и *туит*... являются целью законов Англии”, писал во дни правления Якова I историк Уильям Камден⁴⁷. И действительно, в этом с древнейших времен состояла всегдашняя забота английских судов.

- В двенадцатом и тринадцатом веках обычное право предстает в значительной своей части как земельное и арендное право, как право, регулирующее собственность и ус-

луги, а также процедурные правила отправления правосудия. Беглый просмотр глав Великой хартии или любого сборника письменных источников обычного права обнаруживает, что главное внимание в них уделяется правам, связанным с землей: владение (или *seisin*) землей, услуги, которыми обязан расплачиваться держатель земли, передача земли по наследству, сдача земли в аренду, опека над землей, доходы от земли, налоговая нагрузка на землю и причиняемый земле вред⁴⁸.

В общем “средневековое обычное право в основном было правом земельным”⁴⁹.

В последующие века положение не изменилось. Говоря о том, как обстояли дела в 1770 году, историк права П. С. Атия пишет, что “...задачи судей (в Англии) состояли в значительной мере в том, чтобы защищать... права собственности, принуждать к исполнению договоров, связанных с собственностью, и наказывать за преступления, большинство которых рассматривались как посягательства на права собственности”⁵⁰. При Тюдорах несколько судов действовали независимо от королевского: суд казначейства, разбиравший финансовые споры между королем и его подданными; суд Королевской скамьи, через который шли гражданские и уголовные дела, где сторонами были король и его подданные; общий суд, улаживавший гражданские споры между подданными⁵¹.

Следом за Фортеस्कью пришел сэр Эдвард Кук, один из самых влиятельных в английской истории представителей юридической мысли, явивший в своем лице необычное сочетание теоретика и политика. Кук сыграл ведущую роль в развитии доктрины правления на основе согласия, придумав романтический образ “древней конституции” Англии, согласно которой правившие страной короли всегда уважали обычаи этой страны. Сводом обычаев служило обычное право, которому принадлежало последнее слово в руководстве общественной жизнью, поскольку оно было создано и признано народом, а также имело свои корни в “общем праве и смысле”⁵². По Куку, верховным толкователем законов государства не может быть ни король, ни парламент, ни даже они оба, выступающие совместно, а единственно обычное право в интерпретации, которую дает ему суд⁵³. Никто больше Кука не способствовал утверждению господствующего в британской и американской культуре мнения, что в различении правого и неправого закону принадлежит роль верховного

арбитра не только в гражданских и уголовных, но и в государственных делах⁵⁴. Современные ученые почти единодушно считают, что заявления Кука о верховенстве закона в истории Англии не соответствовали действительности, но за ним признается заслуга в установлении принципа (выраженного словами Томаса Пейна), согласно которому “закон есть король”. Это имело далеко идущие последствия, ибо означало: о том, что по закону могут и чего не могут делать правительства, судить в конечном счете дано юристам. Английские суды рано начали заниматься конституционными вопросами и выносить решения о соответствующих полномочиях короны и парламента, то есть проявлять власть, которой суды не имели ни в какой другой стране⁵⁵. В молодые годы Кук был сторонником королевского абсолютизма; лишь после восшествия на престол Якова I он, находясь на посту главного судьи, примкнул к оппозиции, настаивая, что у королей нет права судить; лишь судьям дано толковать закон. Он прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как его принципы возобладали в годы правления Карла I.

Развитие английского обычного права шло тем путем, который рано или поздно должен был привести к столкновению между королем и общинами. Дарованные короной “свободы” были привилегиями для немногих избранных; обычное право, однако, служило защитой частной собственности и личной свободы всех: “В правление Елизаветы и королей династии Стюартов именно поддерживаемые обычным правом представления о личных правах, правах собственности и свободе пришли в противоречие с прерогативами монарха. Были подготовлены условия, в которых обнаружился двойной смысл слова “свобода”. Его можно было понимать либо как дарованные Великой хартией “libertatis”, то есть привилегии, полученные землевладельцами из рук монарха, либо как свободу покупать и продавать, свободу от насилия, от посягательств на частные владения и имущество сообразно общепризнанным обычаям, составлявшим обычное право. Одно с другим было несовместимо. Одно отрицало другое. Свобода, понимаемая как благо, данное королевской властью, соответствовала отношениям высшего и низшего; свобода в духе обычного права означала равенство членов одного класса. Первая (freedom) была правом на участие в привилегиях тех, кто пользовался особым расположением вышестоявшей особы. Вторая (liberty) была признанным в обычным праве

равенством взаимоотношений людей, принадлежавших к одному классу, будь то привилегированному или нет. Свобода равных не совмещалась со свободой неравных.

Именно этим противоречием и двойственным пониманием свободы отмечена долгая борьба, развернувшаяся в семнадцатом столетии и завершившаяся в 1700 году актом об упорядочении власти⁵⁶.

4. Налогообложение

Легавшее на англичанам налоговое бремя традиционно было очень легким, и в правление Елизаветы налогов с них брали меньше, чем с кого-либо еще в Европе. Высшие классы платили налоги в порядке самообложения, ставки для них назначали не профессиональные бюрократы, а местные джентри, разделявшие заинтересованность самих налогоплательщиков в том, чтобы эти ставки были ниже⁵⁷. И конечно же, парламент, которому принадлежало последнее слово в делах налогообложения, заботился, чтобы король не мог добиться фискальной независимости.

В 1330-е годы, накануне начала Столетней войны, Эдуард III ввел налог на движимое (личное) имущество, требовавший ежегодного парламентского подтверждения. Устанавливался сбор в одну десятую с личного достояния для жителей городов (*borough*) и одну пятнадцатую для обитателей сельской местности (*shires*). Это был так называемый сбор “по разрядке”: назначалась сумма, которую надо было получить по стране в целом, а затем общинам поручалось разверстать ее среди налогоплательщиков. Постепенно этот сбор был заменен “субсидией”, “оценочным” налогом на имущество⁵⁸. Субсидия образовала основу ассигнований, которые парламент выделял короне. В военное время парламент увеличивал ее вдвое, втрое, а то и вчетверо.

Другим источником доходов короны, причем приобретавшим все большее значение, были таможенные пошлины. С согласия парламента корона пользовалась правом взимать пошлины с ввозимого в страну вина и с вывозимой шерсти; эти пошлины были известны под названием “*потонных и пофунтовых*” (“*tonnage and poundage*”)*. На получение доходов

* “*Потонные*” взимались с шерсти, а “*пофунтовые*” — с вина.

этого вида парламент впервые предоставил пожизненное право Ричарду II в 1397 году, а затем (до 1625 года) постоянно давал каждому очередному королю или королеве при его или ее восшествии на престол⁵⁹. В шестнадцатом и семнадцатом веках вместе с ростом внешней торговли Британии росли и доходы от таможенных сборов вплоть до того момента, когда в 1625 году палата общин, как мы увидим, отказалась предоставить Карлу I пожизненное право на *поточные и пофунтовые*, пожелав ограничиться годичными ассигнованиями из опасений, что король окажется финансово от нее независимым. Этот отказ породил глубокий конституционный кризис, переросший в гражданскую войну.

5. Тюдоры

В год восшествия на трон Тюдоров (1485) население Англии и Уэльса составляло, по нынешним оценкам, примерно три миллиона человек, две трети которых были сельскими жителями. С крепостной зависимостью было по существу покончено, и большинство составляли свободные люди. Собственник земли йомен был свободен от каких бы то ни было феодальных повинностей, а арендаторы чувствовали себя спокойно, уверенные, что ни землю у них нельзя отнять, ни плату за нее повысить⁶⁰.

Подобно своим предшественникам, Тюдоры в мирное время основную часть доходов получали как земельную ренту, поступающую из королевских владений, и за счет традиционных феодальных сборов⁶¹, дополнявшихся поступлениями от весовых пошлин. Однако доля поступлений из королевских поместий сокращалась и к 1485 году едва достигала 30 процентов доходов короны⁶². Положение временно изменилось к лучшему при Генрихе VIII, который расширил королевские владения, отобрав земли больше чем у восьми сотен монастырских и церковных держателей. Поступления от этой секуляризированной собственности давали 140 тысяч фунтов стерлингов годового дохода, что несколько превышало обычные поступления в королевскую казну⁶³. Экспроприация прошла, не вызвав яростного сопротивления, потому что монастырские земли по большей части сдавались в аренду, а их арендаторов король оставил на месте⁶⁴. Притом что имело место явное нарушение прав собственности, эти изъятия земли

не выглядели произволом, потому что проводились с согласия парламента⁶⁵. Отобранные земли частью были включены в королевские владения, некоторые переданы фаворитам короны, а в основном проданы, чтобы покрыть расходы на войну⁶⁶. От этих продаж больше всего выиграли джентри, но поживились и некоторые йомены, купцы и ремесленники, тем самым пополнив собой ряды земельных собственников⁶⁷. Ко времени кончины Генриха VIII лишь треть бывших монастырских земель оставалась во владении короны⁶⁸. В итоге существенного расширения возможностей короля жить “на свои” не произошло.

Королева Елизавета (правила с 1558 по 1603 год) унаследовала обширные земельные владения, но и при этом на покрытие своих нужд доходов от земли ей не хватало по причине коррупции и плохого управления королевскими поместьями⁶⁹. Вдобавок общеевропейская инфляция обесценивала поступающие в королевскую казну деньги, так что расходы росли, а плата за землю оставалась неизменной: по существующим оценкам, уровень инфляции в Англии семнадцатого века превысил 300 процентов⁷⁰. О том, сколь невелик был постоянный королевский доход Елизаветы, можно судить по тому факту, что по возвращении Фрэнсиса Дрейка из пиратского набега на берега Америки один из его кораблей доставил добычу, по стоимости равную двухлетним поступлениям в королевскую казну⁷¹. А королевские расходы быстро росли — главным образом из-за войны с Испанией. С 1588 по 1601 год парламент выделил на эту войну около 2 миллионов фунтов, но действительные затраты были вдвое больше⁷². Нехватка средств вынудила королеву заняться распродажей коронных земель. Из-за этого ее годовые поступления от королевских поместий сократились со 150 тысяч до 110 тысяч фунтов стерлингов⁷³. Финансовая нужда была одной из причин, по которым к концу своего правления королева была вынуждена собирать парламент чаще.

При Тюдорах, особенно при Генрихе VIII, власть парламента существенно возросла. Все политические начинания короля Генриха получали одобрение парламента. Как и все короли династии Тюдоров, Генрих предпочитал править с опорой на согласие парламента, а не указами⁷⁴. Обычные для его правления долгие парламентские сессии имели следствием образование группы опытных законодателей, спаянных единым корпоративным духом: к концу шестнадцатого сто-

летия членство в палате общин стало высоко ценимой привилегией⁷⁵. Но и при этом парламент не стал еще непременной составной частью конституционного устройства, поскольку никакого обязательного расписания созыва палаты не существовало и собиралась она по усмотрению короля⁷⁶. А корона использовала это свое право главным образом при острой нужде в деньгах для покрытия расходов на войну. Генрих VIII созывал парламент каждые 4,2 года, Елизавета — каждые 4,5 года⁷⁷. Стало быть, как и в Средние века, не было еще понятия “парламент”⁷⁸, речь шла лишь об отдельных “парламентах”.

Тем не менее идея парламента как важной составной части конституционного устройства государства носилась в воздухе. Ее настойчиво проводил сэр Томас Смит в книге “Республика Англия” (*The Commonwealth of England* — написана в 1565, но впервые издана в 1585 году). Смит считал, что парламент не есть ни придаток короны, ни противовес ей, а является важным элементом верховной власти, которую Смит определил как “король-в-парламенте”. В 1610 году парламент официально принял эту доктрину, объявив, что верховная власть принадлежит “королю-в-парламенте”, а не “королю-в-совете”⁷⁹.

Нерушимый принцип, запрещавший королю вводить новые налоги без согласия парламента, создал в Англии некое партнерство, при котором корона и общины делили между собой власть не только теоретически, но и на деле. Предпринимавшиеся как Генрихом VIII, так и королевой Марией попытки обойти парламент посредством принудительно размещаемых займов были встречены таким яростным сопротивлением, что их пришлось оставить⁸⁰. Далее, корона признала, что она не может сама провозглашать законы. И наконец, действовали суды, приговоры которых, основанные на исторических прецедентах, ограничивали произвол королевской власти в обращении с подданными⁸¹. С учетом этих ограничений королевской власти некоторые современные историки считают непозволительным говорить о “деспотизме” Тюдоров. “Ошибки и промахи правительств при Тюдорах”, пишет Г. Р. Элтон, один из виднейших знатоков того времени, “не дают оснований отрицать наличие власти закона, по которому они правила”⁸².

Так сложился политический климат, который в дальнейшем не дал осуществиться ни одной попытке Стюартов, сме-

нивших на троне Тюдоров, навязать Англии режим королевского абсолютизма, а в конце концов подчинил корону парламенту.

6. Ранние Стюарты

Король Яков I, первый из Стюартов, твердо верил в божественное право королей; в защиту его он даже написал трактат “Истинное право свободных монархий” (1598). Под “свободной монархией” он разумел то, что двадцатью годами раньше Жан Бодэн определил как “суверенитет”, то есть верховную власть, не знающую никаких ограничений: короли “выше закона” потому, мол, что они сами творят законы и за свои действия ответственность несут только перед Богом⁸³. Яков был убежден, что является собственником всего вещественного имущества своей страны и полномочен использовать его по своему усмотрению: короли, подобно отцам, обладают правом лишать наследства своих детей-подданных. Может быть, нравственность, но ни в коем случае не закон, обязывает монархов уважать права собственности подданных. Эта доктрина родилась во Франции и была завезена в Англию через Шотландию, откуда явился Яков. Она шла вразрез с традициями, укоренившимися в Англии с древнейших времен, и поистине понадобилась бы революция, чтобы воплотить ее в жизнь.

Яков унаследовал пустую казну и долг в 400 тысяч фунтов стерлингов, который к 1608 году он умудрился более чем удвоить⁸⁴. К 1615 году торговцы отказались давать ему кредиты⁸⁵. Швыряя целые состояния на покупку драгоценностей и предметов роскоши, он не добавил “здоровья” состоянию своей казны. Печальное положение его финансов усугублялось общеевропейской инфляцией, давшей себя почувствовать уже при его предшественнице Елизавете. Поэтому, каковы бы ни были его теоретические притязания на имущество подданных, на деле их собственность была для него недосыгаема, и, чтобы сводить концы с концами, ему приходилось пользоваться очень ловкими приемами. Он добывал деньги, торгуя титулами, и взимая тысячу фунтов, например, за барона, назначал пропорционально большую плату за более высокие звания⁸⁶. Получив отказ в кредитах из частных источников, он обратился к практике принудительных зай-

мов. Но главным образом он полагался на хорошо освоенную продажу коронных земель. За первое десятилетие его правления корона рассталась с поместьями общей стоимостью в 665 тысяч фунтов, и только за один год (1610) объем продаж составил 68 тысяч фунтов⁸⁷. Поскольку Яков столь же щедро раздавал поместья своим шотландским любимцам, к 1628 году коронные земли “перестали быть существенным источником королевского дохода”⁸⁸. Поступления от них, составлявшие при восшествии Якова на трон около 100 тысяч фунтов в год, сократились к 1640 году до 50–55 тысяч фунтов, а возможно, упали и до более низкого уровня. В результате сын и преемник Якова Карл I испытывал еще большую нужду в деньгах, добывать которые он старался по возможности с участием парламента, но, если не было надежды им заручиться, то и без него.

Именно в правление Карла I, в 1640-1642 годах, начались волнения, которые преобразили Англию и сделали ее первой парламентской демократией мира; занявшие почти полвека, эти волнения завершились тем, что после бегства Якова II во Францию парламент предложил корону Вильгельму и Марии на условии официального признания ими наложенных на их власть ограничений.

Карл I восстановил против себя своих подданных по существу с момента восшествия на трон в 1625 году. Сначала враждебное отношение к нему питалось главным образом подозрениями насчет его религиозных предпочтений, и во всех событиях, прокладывавших дорогу гражданской войне, религия, политика и налоговые дела оказывались неразрывно между собой связанными. Новый король женился на дочери французского короля Людовика XIII, ревностной католичке. Добываясь ее руки, он вынужден был пообещать всецелые уступки своим подданным-католикам. Английские протестанты, особенно обладавшие большой силой избиратели-пуритане, стали побаиваться, что следующим на троне окажется католик. Но скоро главным предметом споров между королем и страной стали налоги: в своем эссе “О мятежных призывах и бедствиях”, переизданном в год, когда Карл стал королем, Фрэнсис Бэкон объяснил, что “мятежные призывы” рождаются, во-первых, из-за “новшества в религии” и, во-вторых, из-за “налогов”.

В начале семнадцатого века среди англичан господствовало мнение, что собственность является сутью свободы: “Ска-

зять, что некая вещь является чьей-то собственностью... было вполне равнозначно утверждению, что данную вещь нельзя взять у этого человека без его согласия. Взять собственность без согласия значило украсть и таким образом нарушить восьмую заповедь⁹⁰.

Откуда следовало, что король не вправе облагать своих подданных налогом или иным образом забирать часть их имущества, не получив на то согласия, выраженного ими через своих представителей. Так что в центре революционного кризиса в Англии при ранних Стюартах оказался вопрос о собственности.

- Было бы ошибочно полагать, что возведенное в принцип неприятие финансовой политики короны появилось задним числом как придуманное со временем благовидное объяснение действий оппозиции. С первых дней правления Якова I среди англичан были распространены два различных взгляда на соотношение между королевской властью и собственностью подданных. Абсолютная королевская власть противостояла абсолютной собственности. Столкновение было неизбежно⁹¹.

Иными словами, политическое сопротивление абсолютизму ранних Стюартов вдохновлялось защитой собственности, которая сама получила политическое измерение. Парламентская оппозиция, появившаяся при Карле I и переросшая в мятеж при его преемнике, не столько настаивала, чтобы король созывал парламенты и уважал их права в налоговых делах, исходя из исторических прецедентов или конституционных принципов, сколько ссылалась на эти прецеденты и эти принципы, отстаивая нерушимость прав собственности. Распространялись, однако, еще более серьезные опасения, что в стремлении утвердить свою абсолютную власть новая династия не ограничится действиями в обход парламента, а попытается вовсе его упразднить. Подозрения не были лишены оснований, ибо на континенте как раз в это время несколько монархов позволили своим парламентам исчезнуть. Во Франции Генеральные штаты последний раз созывались в 1614 году; представительные собрания ушли из жизни Испании, Португалии, Неаполя, Дании и ряда других европейских монархий⁹². Поэтому «страхи по поводу будущего английского парламента давали о себе знать на каждом его заседании»⁹³. Вызывающе дерзкое поведение парламента при первых двух Стюартах объясняется в значительной мере его

желанием набрать как можно больше власти, чтобы обеспечить собственное выживание.

Карл I разделял возвышенные представления своего отца о королевской власти (хотя и не так красноречиво высказывался на сей счет), и в этом его поддерживала супруга, выросшая в абсолютистской атмосфере французского двора. По восшествии на трон он оказался в крайне тяжелом финансовом положении. Чистый доход от его владений был огорчительно мал и не превышал, по-видимому, 25 тысяч фунтов в год, то есть трети того, что получал, став королем, его отец; к 1630 году поступления сократились еще больше — упали до 10 тысяч⁹⁴. Карл незамедлительно приступил к продаже королевской собственности: в первые десять лет своего правления (1625–1635) он расстался с поместьями общей стоимостью в 642 тысячи фунтов⁹⁵. Но этих доходов далеко не хватало для удовлетворения неотложных потребностей, которые оценивались в миллион фунтов стерлингов, и Карл вынужден был обратиться к парламенту с просьбой о щедрых “субсидиях” на покрытие военных расходов и для выплат по внешним обязательствам. Парламент 1625 года, подобно своим непосредственным предшественникам, находился под решающим влиянием новой породы представителей джентри, четко сознававших себя “собственниками” Англии и потому не выносивших абсолютистских притязаний короны; голосовавшие за них избиратели в большинстве своем были свободными владельцами земельных участков и сами себя считали “Страной”⁹⁶.

- Преобладающая роль в оппозиции принадлежала... джентри, особенно высшим слоям джентри. Люди в палате общин, которые вели борьбу за привилегии парламента, за свободу подданных, за незыблемость прав собственности; их друзья и знакомые вне парламента; те, кто более всего сопротивлялся принудительным займам, корабельным сборам и прочим уловкам режима почти все они были джентри⁹⁷.

В этом смысле “Страна”, помимо обычных граждан, имела в своих рядах и некоторых пэров, как и нескольких королевских чиновников. Эта группировка представляла собой страшную силу, поскольку она владела землей, устанавливала законы и играла важную роль на местах, где действовала от имени короля⁹⁸. Насколько Карл I зависел от этой группы в управлении страной, можно судить по тому факту, что вся его профессиональная бюрократия насчитывала 1200 чело-

век, тогда как его французский коллега располагал 40-тысячным корпусом чиновников⁹⁹. В отличие от континентальной Европы, где борьбу за политическую свободу возглавляли города, в Англии городской средний класс пребывал в весьма сонном состоянии, и руководство движением попало в руки землевладельцев¹⁰⁰.

Как следует из документов, составленных палатой общин еще в 1604 году (“The Humble Answer” и “The Form of Apology and Satisfaction”), парламентское большинство пришло к заключению, что его собственные привилегии и свободы, среди которых основными были свобода слова и гарантия от произвольного ареста, представляли собой не дар короны, а естественные права всякого англичанина: “Эти люди... стремились отстоять свое право свободного выбора членов парламента, свободу своих должным образом избранных представителей, защитив их от задержания, ареста и заключения в тюрьму в период их парламентского срока, а также право этих парламентариев свободно выражать свои взгляды в палате, не опасаясь преследований со стороны короны... К началу семнадцатого века значительная часть политически активных жителей Англии стала считать привилегии парламента одновременно и основным правом англичан, и важной опорой в защите их прав и свобод”¹⁰².

“Наши привилегии и свободы”, провозглашала палата, “это наше право и унаследованное нами достояние, такое же, как сами наши земли и товары”¹⁰³.

Появилось вдруг понятие “права” и включило в себя все, что ценилось, будь это нечто вещественное или бесплотное. Например, по словам одного современника (сэра Джона Элиота), конфликт, разыгравшийся вокруг королевского принудительного займа 1626/27 года, затрагивал не только вопрос о собственности: “В этом споре речь идет не только о наших землях и имуществе, речь идет обо всем, что мы называем своим”¹⁰⁴. Это новое определение стало событием огромного исторического значения, поскольку именно такое понимание “прав” стало основой современных представлений о свободе.

Парламентской оппозиции повезло с руководством, оказавшимся в руках исключительно компетентных и уверенных в себе политиков-джентри, во многих случаях связанных между собой семейными отношениями и узами личной дружбы. Они образовали действенную парламентскую группиров-

ку с некоторыми признаками политической партии в то время, когда никаких партий еще не было и в помине. Не доверяя Карлу, возмущаясь отсутствием у него ясной политической линии, не соглашаясь с его внешней политикой, они убедили палату ограничиться выделением ему лишь части запрошенных средств. Помимо причиненного таким образом королю ущерба, они его еще и обидели, отказавшись предоставить пожизненное право на сбор таможенных пошлин (*“потонных и пофунтовых”*), которое было прерогативой английских королей с пятнадцатого века; теперь это право, если и должно было предоставляться вообще, то только на годичный срок. К столь радикальному решению палату подтолкнул впечатляющий рост английской внешней торговли, который сильно увеличил поступления от таможенных сборов и тем самым возбудил опасения, что корона может стать независимой от парламента. Объем таможенных сборов рос действительно необыкновенно высокими темпами: со скромных 50 тысяч фунтов стерлингов в 1590 году он увеличился до 148 тысяч в 1613-м и достиг 323 тысяч фунтов в 1623-м*.

Карл, находясь в жесточайше стесненном финансовом положении из-за войн, которые он неразумно затеял одновременно против Франции и Испании, ответил на это унижение тем, что распустил парламент и, ссылаясь на традиционную королевскую прерогативу, продолжил сбор *потонных и пофунтовых* без парламентского дозволения. С этих пор налоговые проблемы, которые всегда дополнительно обострялись религиозными разногласиями, стали основной причиной трений между королем и страной.

Второй парламент Карла, собравшийся в первой половине 1626 года, не порадовал короля сколько-нибудь большей благосклонностью. Он потребовал уволить королевского любимца и главного советника герцога Бекингема, у которого склонность к присвоению национального имущества сочеталась с выдающейся бездарностью в управлении националь-

* Dowell, *History of Taxation*, I, 195. В казну, однако, попадали не все эти деньги, потому что король, не располагая налаженной гражданской службой, перекладывал сбор пошлин на объединения купцов, в чьих карманах и оседала изрядная доля таможенных поступлений. [Barry Coward, *The Stuart Age*, 2nd ed. (London and New York, 1994), 109.]

ной армией на поле брани. Бекингом настойчиво твердил, что его действия, вызвавшие неудовольствие парламента были точным исполнением приказов короля. В осуждающих его парламентских документах эти утверждения были расценены как несостоятельная попытка оправдать допущенные правонарушения: “Законы Англии говорят нам, что Короли не могут отдавать приказы на свершение дурных или противозаконных дел никакими своими речениями, разве что Жалованными грамотами и с Печатью. Если же дела дурные, эти Жалованные грамоты не имеют силы, и по любому дурному делу, которое воспоследует, за исполнение таких приказов, полагается нести ответственность”¹⁰⁵.

В этих суждениях содержалась мысль об ответственности министров перед парламентом — принцип, ставший в дальнейшем одной из опор английской конституции¹⁰⁶. В отместку король распустил парламент.

Столкнувшись с враждебно и воинственно настроенной палатой, Карл после 1629 года пытался править без нее, но тут все зависело от его способности финансировать деятельность своего правительства, обходясь без парламентских субсидий. Беда была, конечно, в том, что налогообложение без парламентского согласия широко воспринималось как нарушение английских традиций и неизбежно вело к столкновению с палатой общин и народом, который она представляла.

Король прибегал к различным уловкам. Не имея на то парламентского разрешения, он продолжал забирать себе поступления от таможенных сборов. Это страна терпела. Но он переполнил чашу народного терпения, когда потребовал у своих состоятельных подданных предоставить ему “займы”, указав при этом, кто и сколько должен ему дать. Сотни англичан отказались платить, и семьдесят семь человек — среди них будущая знаменитость Джон Гемпден — подверглись аресту. Этим людей, в народе окрещенных “патриотами”, правительство держало в тюрьме “без указания причины”, что породило серьезные сомнения в желании короля уважать закон и права своих подданных.

Действуя таким образом, король увеличил свои доходы до 600 тысяч фунтов, но этих денег все равно было недостаточно для покрытия его нужд. Следуя совету находчивого консультанта по налогам, он шел и на другие ухищрения, используя приемы, в большинстве случаев известные по про-

шлой английской истории, но в его время уже ставшие, согласно широко распространенному мнению, противозаконными.

Поскольку издержки военных действий против Франции и Испании — одна война разорительней другой — продолжали расти, король попытался получить дополнительные средства, созвав еще один, свой третий по счету, парламент (1628). Это собрание готово было пойти навстречу его желаниям, но только в обмен на политические уступки. Один из парламентских вождей предложил дать королю деньги, связав его условием, что он приложит свою печать к закону, официально обязывающему его соблюдать традиционные права и свободы подданных. Документ, первоначально составленный сэром Эдвардом Куком, прежде судьей, а теперь членом парламента, известен как “Петиция о праве”. Петиция, которую палата лордов поддержала, а Карл согласился подписать, устанавливала, что “ни один человек не будет отныне принуждаться к уплате или выдаче каких-либо подарков, займов, пожертвованных или налогов, иначе как с общего согласия, выраженного парламентским актом”¹⁰⁷. Запрещались также конфискация земельных владений, заключение в тюрьму или казнь “без предписанного законом разбирательства”¹⁰⁸. В июне 1628 года король подписал петицию и получил от парламента испрошенные им деньги. Об этом эпизоде сказано, что он был “первым решающим шагом на пути к современной свободе, к такой свободе, какой мы ее знаем в нашем мире”¹⁰⁹. Подписав петицию, король официально ставил в зависимость от парламентского согласия поступление в его казну всех и всяческих доходов, за исключением того, что он мог получить от собственных сильно сократившихся владений, от добровольно предоставляемых ему займов и за счет сохранившихся у него феодальных прав. Так обстояло дело по крайней мере в теории, ибо парламент не располагал средствами претворения этих положений в жизнь, а король продолжал собирать *потонные и пофунтовые*, отправляя в тюрьму купцов, отказывавшихся их платить. Предписания петиции стали частью конституции только шестьдесят лет спустя.

В 1629 году получивший свое Карл распустил парламент под предлогом, что тот посягнул на королевские полномочия, и следующие одиннадцать лет правил единолично. Он наполнил свои сундуки, продавая частным лицам монопольные права (исключительные права на производство и сбыт

определенных товаров)* и расставаясь со все новыми и новыми землями из своих ставших уже крохотными владений. Он считал себя вправе обходиться без парламента, на который смотрел как на довесок к собственным полномочиям созывать это собрание, определять продолжительность его работы и решать вопрос о его роспуске¹⁰. Чтобы смягчить свои финансовые невзгоды, Карл заключил мир с Францией (1629) и Испанией (1630). В 1630 году он, возрождая средневековый обычай, потребовал от собственников земель, которые приносили 40 и более фунтов годового дохода, либо стать рыцарями, либо принять рыцарское звание; отказы влекли за собой наложение штрафов, которые дали казне 170 тысяч фунтов стерлингов¹¹. Такими способами он добился, по существу, финансовой и политической независимости.

Но в 1634-м и последующие два года Карл опять вышел за пределы того, что его подданные готовы были терпеть как допустимое в области налогов и сборов; он стал взимать “корабельные деньги” с городов и графств, расположенных вдали от моря. Корабельные деньги были налогом, который с четырнадцатого века английские короли, не спрашивая согласия парламента, имели право собирать в любом случае, когда, по их мнению, над страной нависала угроза извне. Облагались этим налогом порты и прибрежные города. Деньги из этого источника направлялись на снаряжение военного флота. Жизнь очень многих англичан была связана с морем, они гордились своим военным флотом и корабельные деньги платили охотно. Но Карл двояко нарушил традицию: во-первых, он потребовал уплаты корабельных денег в то время, когда никакой видимой внешней угрозы Англии не было, и во-вторых, обложил этим налогом удаленные от моря города и графства, с которых его никогда прежде не собирали. Это сразу же вызвало сопротивление, потому что назначенный сбор был воспринят как налог, на который, следовательно,

* В 1624 году палата общин закрыла лазейку, объявив монополии противозаконными. Корона обошла этот запрет, продавая монопольные права — переименованные в “патенты” — авторам ценных производственных новшеств. Вскоре после этого, в 1648 году, Массачусетс разрешил предоставление монополии на новые изобретения, “которые дают прибыль стране”. [James W. Ely, Tr” *The Guardian of Every Other Right*, 2nd ed. (New York and Oxford, 1998), 19.] Патенты на интеллектуальную собственность впервые, как считается, появились в пятнадцатом веке в Венеции.

требовалось согласие парламента. Именно этим своим решением король более всего восстановил против себя страну, и не в последнюю очередь потому, что оно затрагивало тысячи мелких держателей земли и домовладельцев. Карл обратился в суд за подтверждением своего права на сбор корабельных денег, когда над страной нависает опасность¹¹², “опасностью” же в данном случае были разгулявшиеся вблизи от берегов Британии пираты. Доводом короны в пользу взимания налога за пределами прибрежных местностей было то, что, коль скоро в опасности страна, то и издержки своей обороны должна нести страна в целом. Но убедить страну не удалось, и сопротивление продолжало нарастать. Неповиновение, выказанное не только плательщиками, но и сборщиками налогов, привело к тому, что король получил лишь пятую часть затребованных им корабельных денег¹¹³. Один член парламента, наделенный чувством юмора, говорил, что раз уж, требуя корабельные деньги от городов и графств внутри страны, король указывает тем самым на отсутствие имущества у его подданных, то и поднимать вопрос о дальнейших субсидиях королю просто бессмысленно, ибо не может ничего дать тот, кто ничего не имеет¹¹⁴.

Несколько англичан, проживавших вдали от моря, отказались платить корабельные деньги. Один из них был привлечен к суду, и ему грозила тюрьма. Это был Джон Гемпден, хорошо образованный богатый землевладелец-пуританин, который прежде провел в тюрьме около года за отказ от выдачи королю денег в виде принудительного займа. В 1637 году Гемпден, чей годовой доход, как считается, превышал 1500 фунтов стерлингов, отказался уплатить назначенные ему 20 шиллингов корабельных денег. Бросив такой вызов короне, он сразу сделался народным героем. Разбор его дела судом казначейства в 1637/38 году стал вехой в конституционном развитии Англии. Все двенадцать судей по делу Гемпдена были назначены королем и занимали свои должности как его ставленники. И тем не менее правосудие при Стюартах ни в коем случае не было отдано на милость королевской власти, особенно если подсудимый пользовался народной поддержкой: как правило, корона в судебные процессы не вмешивалась. Судьи выслушали адвокатов, представлявших как королевскую сторону обвинения, так и защиту обвиняемого. Один из поверенных Гемпдена Оливер Сент Джон произнес сильную речь в защиту своего клиента, доказывая со

ссылками на исторические прецеденты, восходящие к англосаксонским временам, что действия короля противозаконны. Говорил он так: “Если Его Величество... может без обращения к парламенту назначить вычет из имущества обвиняемого в сумме XX (20) ш(иллингов),... почему по той же Логике Закона это не могли бы быть и XX фунтов стерлингов, и так до бесконечности; откуда можно заключить, что если Подданный обладает хоть чем-нибудь, то владеет он этим не по Закону, а целиком по Милости и Доброте Короля”^{*}.

Король в конечном счете выиграл суд ничтожнейшим перевесом голосов, в его пользу вынесли решение семеро из дюжины судей. Большинство определило, что король один лишь может решать, что составляет угрозу стране, и имеет не только право, но и обязанность требовать от своих подданных участия в ее защите¹⁵. Гемпдена обязали уплатить требуемые деньги. Тем не менее приговор был воспринят как моральное поражение Карла как потому, что он выиграл столь незначительным большинством голосов, так и потому, что наиболее уважаемые судьи встали на сторону обвиняемого. Биограф Гемпдена говорит, что он был “первым членом палаты общин, которого вся страна славилась как народного вождя”¹⁶.

Специалиста по истории России суд над Гемпденом поражает как своего рода умопомрачительное событие, потому что в этой стране за семь с лишним столетий ее истории не было ни единого случая, чтобы подданный не повиновался своему верховному властителю и чтобы при этом его соглашались выслушать в суде.

В 1640 году Карл в надежде заручиться средствами для подавления мятежа, вспыхнувшего в Шотландии в ответ на его религиозную политику, созвал новый парламент, но распустил его, едва тот отказался выделить деньги на борьбу с мятежниками (которым парламентарии тайно сочувствовали).

^{*} *The Trial of John Hambden, Esq... in the Great Case of Ship-Money Between His Majesty K. Charles and That Gentleman* (London, 1719), 31. Сент Джон эхом повторил слова, произнесенные в палате общин за четверть века до этого сэром Гербертом Крофтсом: “Если король может взимать налог собственной абсолютной властью, тогда никому не дано знать, чем же он владеет, ибо это зависит от милости короля”. [J. P. Sommerville, *Politics and Ideology in England, 1603–1640* (London and New York, 1986), 154.] Это говорит о том, как широко идея была распространена.

Это собрание представителей общин навсегда осталось известным как Короткий парламент.

Теперь финансовое положение Карла стало критическим; уже даже лондонские частные банки отказывали ему в новых займах. Позднее в том же году, отчаянно нуждаясь в деньгах, чтобы заплатить армии, воевавшей против шотландских захватчиков, король согласился созвать еще один парламент, которому суждено было заседать одиннадцать лет и войти в историю под именем Долгого парламента. На сей раз противники короля, в чьих рядах были и отсидевшие в тюрьме за отказ давать деньги в порядке принудительного займа, и виновные в других политических прегрешениях, численно превосходили его сторонников почти вдвое¹¹⁷. Руководил ими сложившийся мастер парламентской борьбы Джон Пим, который повел на короля лобовое наступление, зная что парламентское большинство может рассчитывать на поддержку страны. Пим использовал тяжелое финансовое положение короля, чтобы навязать ему власть общин в большей степени, чем это удавалось сделать в отношении любого из прежних английских монархов.

В декабре 1640 года общины объявили, что прежние действия короля по сбору корабельных денег не соответствуют закону, и отменили приговор Гемпдену на том основании, что он идет “вразрез и не согласуется с законами и статутами страны, правом собственности и свободой подданных”¹¹⁸. Затем палата поставила под свой надзор чиновников короля, обязав их отчитываться в своей деятельности перед парламентом; и, будто этого было мало, повелела таможенным чиновникам не давать королю денег больше, чем требовалось для содержания его двора¹¹⁹. Ослабленному и непопулярному королю не оставалось ничего иного, как подчиниться этим унижительным решениям.

Желая исключить повторение недавнего случая, когда парламент не созывался в течение одиннадцати лет, Долгий парламент в 1641 году принял, а король, опять-таки нехотя, подписал “Акт о трехлетнем сроке”, требовавший, чтобы парламент собирался не реже чем раз в три года, независимо от того, распорядится корона о его созыве или нет; при этом на заседания парламентариям отводилось не менее пятидесяти дней¹²⁰. Далее, парламент объявлял противозаконными любые единолично принятые королем решения об отсрочке созыва парламента, перерыве в его заседаниях либо о его рос-

пуске¹²¹. И с этим ограничением его власти король вынужден был смириться. Быстро один за другим последовали другие революционные постановления: одно объявляло незаконным не согласованный с парламентом сбор *поточных и пофунтовых*; другим упразднялись так называемые суды королевской прерогативы, включая ненавистную Звездную палату и Высокую комиссию (суд по церковным делам), то есть административные учреждения, выполнявшие судебные функции; третье лишало законной силы все судебные решения по делам отказавшихся платить корабельные деньги.

Несмотря на уступки со стороны короля, вражда между ним и парламентом нарастала, подогреваемая религиозными разногласиями и бестактным поведением монарха. Каплей, переполнившей чашу терпения короля, стало выдвинутое в 1641 году предложение Пима и его партии лишить короля права назначать высших чиновников и вывести из-под его власти армию. В начале 1642 года, в обстановке, грозившей взрывом насилия, Карл покинул Лондон. Его отъезд стал вехой, отметившей начало гражданской войны, которая расколола страну на партии сторонников и противников королевской власти. *Кавалеры*, разбогатевшие милостью короны, поддерживали Карла, тогда как *круглоголовые*, купцы, йомены и другие представители среднего класса, включая пуритан, встали на сторону парламента.

Гражданская война, длившаяся с 1642 по 1648 год, закончилась решающей победой армии “новой модели” под командованием Оливера Кромвеля и увенчалась казнью короля в январе 1649 года.

7. Республика

Республика конфисковала все королевские владения (кроме лесных угодий). Большая часть этих земель была продана, впопыхах и часто по ценам ниже действительной рыночной стоимости, ввиду настоятельной необходимости выплатить жалованье армии, которая была главной опорой республики¹²². Долгий парламент в свою очередь объявил подлежащими конфискации земельную собственность роялистов, помещиков-католиков и церкви. Недавние исследования показали, однако, что на деле, прибегнув к тем или иным уловкам, многие роялисты и помещики-католики сумели сохранить

свою собственность и состав дворян-землевладельцев не изменился¹²³.

Палата общин назначила Кромвелю годовое содержание в 1,3 миллиона фунтов стерлингов, что послужило образцом для финансирования короны после реставрации¹²⁴.

Поскольку республика держалась на армии, а армия стоила очень больших денег, резко выросло налоговое бремя, возложенное на народ Британии. И тем не менее нация несла это бремя без особого сопротивления в резком отличии от того ожесточения, с каким она противилась налогам и прочим поборам, вводимым без участия парламента¹²⁵.

8. Поздние Стюарты

Одно время историки полагали, что после реставрации к короне вернулась лишь часть конфискованных земель, поскольку отобрать их у новых владельцев было затруднительно¹²⁶. Но недавние научные изыскания показали, что в действительности Карл II при коронации вернул себе “по существу все коронные земли”¹²⁷. Из тех, у кого отобрали королевские поместья, некоторые получили компенсацию за эту утрату, другие же остались ни с чем¹²⁸. Возвращенные короне земли приносили теперь, однако, столь малый доход, что его едва хватало на содержание королевы-матери и супруги короля¹²⁹. После реставрации стало очевидно, что налоговая система Англии, корнями все еще уходящая в феодализм, целиком подлежит пересмотру. Новый король Карл II отказался от крайне непопулярных феодальных привилегий, вроде права на выморочное имущество и права опеки, которые были для короны важным источником не зависящих от парламента поступлений¹³⁰. Взамен ему была дана пожизненная годовая рента в 1,2 миллиона фунтов, причем эту сумму установили как увеличенный на одну треть доход Карла I, оцененный в 900 тысяч фунтов*. Карл II получил затем пожизненное право на сбор весовых пошлин¹³¹. Предполага-

* С. D. Chandaman, *The English Public Revenue, 1660–1688*, (Oxford, 1975), 263–64. Впервые платить королю содержание в обмен на его отказ от привилегий парламент предложил в 1610 году, но тогда из этой затеи ничего не вышло. [Gordon Batho in Finberg ed., *Agrarian History*, IV, 273.]

лось, что из этих поступлений он должен был не только покрывать личные расходы и траты двора, но и содержать гражданскую службу. Это был последний вздох средневекового представления, согласно которому королю належало жить на собственные средства и обращаться к парламенту за деньгами только в чрезвычайных обстоятельствах, создаваемых угрозой национальной безопасности¹³².

О том, как сильно с 1558 по 1714 год сократилась возможность английской короны существовать за счет собственных средств, очевидным образом свидетельствуют следующие данные, которые показывают поступления в королевскую казну в процентном отношении к национальному доходу:

1558 — 1603	28,83%
1604 — 25	20,41%
1625 — 40	12,24%
[1649 — 59	3,16%]
1661 — 85	5,41%
1686 — 88	6,97%
1689 — 1714	1,98% ¹³³

Помимо ограничения доходов короля назначенным ему денежным содержанием, общины после тщетных попыток, предпринимавшихся еще с четырнадцатого века, утвердили новый принцип, согласно которому парламенту предоставлялось право знать, каким образом монарх расходует полученные средства. Соответственно, был создан Комитет государственных счетов, и на вошедших в него членов парламента возложили обязанность следить, чтобы суммы, выделенные на военные и другие четко указанные цели, использовались королем не иначе, как строго по назначению¹³⁴. Задача такого финансового контроля потребовала регулярного созыва парламента. Трехгодичный закон 1664 года заменил одноименный закон, принятый в 1641 году, смягчив его, но сохранив требование о созыве парламента каждые три года¹³⁵. В действительности между 1660/61 и 1676 годом ввиду потребности короны в деньгах парламента пришлось собираться (за единственным исключением) ежегодно¹³⁶. Эти меры, вытекавшие из необходимости финансового контроля, в конце концов превратили парламента в неотъемлемую часть конституционного строя Англии¹³⁷.

Несмотря на строгость денежных ограничений, которыми парламента подверг корону, к началу 1680-х власть короля

опять стала возрастать, в значительной мере вследствие его окрепшего финансового положения. Сдерживая свои расходы и повышая собираемость налогов, а также наживаясь на растущих таможенных поступлениях, Карл II разбогател¹³⁸.

Яков II, его брат и преемник, воспользовался этим вновь обретенным богатством, чтобы утвердить свою независимость от парламента. Парламент повысил его годовое денежное содержание до 1,85 миллионов фунтов стерлингов, которое вместе с тем, что он имел как герцог Йоркский, давало ему доход в 2 миллиона фунтов в год¹³⁹. Парламент был затем распущен и в оставшиеся три года правления Якова не собирался ни разу.

И Карл II, и Яков II приносили клятву никогда не “посягать” на собственность своих подданных¹⁴⁰. Но к этому времени понятие “собственность” наполнилось содержанием, сблизившимся по смыслу со “свободой”, и охватывало все, что англичанин считал своим врожденным правом, включая в значительной мере и свою веру.

Яков II лишился трона главным образом по религиозным причинам. Его собственная преданность католицизму и решительное намерение остановить действие направленных против католиков законов, в надежде обеспечить торжество католической веры в Англии, повергли в беспокойство и вигов, и тори, и не только из-за угрозы, которую это создавало для утвердившейся религии, но и потому, что большинство англичан отождествляли католицизм с абсолютизмом королевской власти. Его окрепшее финансовое положение “подогрело” также опасения насчет судьбы парламента. Противники короля установили связь с Вильгельмом Оранским, статхаудером Нидерландов и внуком Карла I, а также его женой Марией, дочерью Якова II, — твердыми протестантами. Когда в ноябре 1688 года Вильгельм вторгся в Англию с целью захватить трон и втянуть страну в большой союз против Франции, бедолаге Якову осталось только отречься от короны и бежать.

9. Славная революция

В отличие от естествоиспытателей, которые могут убедительно подтвердить свои выводы повторением подсказавших их опытов, историки действуют в мире впечатлений, которые могут убеждать или не убеждать читателей, но никогда не мо-

гут быть воспроизведены так, чтобы не оставить и тени сомнения. Поэтому если первые расширяют и углубляют установленные истины, то вторые постоянно занимаются их пересмотром. Каждое поколение историков выдвигает свои притязания на оригинальность, которая сегодня лежит в основе их репутаций, создаваемых за счет того, что подвергаются сомнению труды их предшественников, обычно за счет подчеркиваемого несогласия в отношении некоторых тонкостей. Замыкающие этот ряд и не находящие возможности ре-визовать ревизионистов иногда впадают в такое отчаяние, что совершают пересмотр высшего порядка, объявляя все исторические свидетельства не имеющими значения, а саму историю несуществующей. Когда достигается эта стадия — как она недавно была достигнута нелепым движением, известным под именем “постмодернизма”, — с рук сходит все что угодно. Именно по этой причине последним словом в суждениях о любом историческом явлении часто оказывается как раз то, что говорилось с самого начала.

Революция 1688 года не была вызвана ни социальными волнениями, ни экономическим кризисом и поэтому не соответствовала обычному понятию революции, по каковой причине многие историки-ревизионисты не признают в ней ничего большего, чем дворцовый переворот. Когда она свершилась, Англия была страной покоя и процветания¹⁴¹. События 1688–89 годов и впрямь представляли собой классический дворцовый переворот, осуществленный политиками при поддержке народа, не желавшего видеть над собой католического правителя и воспользовавшегося непопулярностью короля-католика, чтобы избавиться от него и посадить на его место двух твердых в вере протестантов, у которых в качестве платы за трон были вырваны критически важные политические уступки.

Бегство Якова II во Францию было расценено как равносильное отречению. Созванный в 1688 году парламент был избран должным образом, но поскольку он собрался без короля, его окрестили парламентом-конвентом. Это было консервативное собрание в том смысле, что посредством проведенной им революции имелось в виду восстановить стародавние традиции. На практике же его действия были скорее радикальными.

Перед тем как возложить корону на Вильгельма и Марию, парламент-конвент предъявил им Декларацию прав.

Поспешно составленная в феврале 1689 года в виде повторения обычных требований парламента, она была поименована “Актом о правах и свободах подданных и о порядке наследования короны”. Поскольку у парламента не было конституционной основы, его вожди сочли необходимым переделать декларацию в статут. Таковой явился в виде Билля о правах, подписанного Вильгельмом III и ставшего законом в декабре 1689 года¹⁴². Билль о правах, названный одним историком “величайшим конституционным документом (английской истории) после Великой хартии вольностей”, воплотил в себе представления парламента о большинстве о древних основах английских свобод¹⁴³. На короля возлагалось обязательство не приостанавливать действия законов* и не вводить налогов без согласия парламента. В дополнительных статьях устанавливались необходимость согласия парламента на содержание постоянной армии в мирное время, право подданных-протестантов на ношение оружия для самообороны, гарантии свободы слова парламентариям и обязательность частых созывов парламента. Право на весовые сборы и пошлины с перевозимых грузов было сохранено за Вильгельмом и Марией только на четыре года лишь потому, что, говоря словами палаты общин, “это было лучшей гарантией народу, что парламента будет созываться часто”¹⁴⁴. (Со временем она смягчилась и новым монархам предоставляла пожизненное право на эти сборы.)

Вильгельм III вел войны постоянно, и это вынуждало его постоянно обращаться к парламента за средствами. Он созывал парламента каждый год, как делалось и в Нидерландах, откуда он прибыл. Это стало конституционной практикой: с тех пор парламента в Англии проводит свои заседания ежегодно¹⁴⁵. Теперь палата общин не только держала в своих руках бюджет короны, но и следила за тем, как тратятся деньги: начиная с 1690/91 года палата общин часто выделяла деньги на конкретные цели и добивалась уверенности, что они расхо-

* Выдвигая это требование, парламентарии следовали убеждению, что законы, коль скоро они приняты, “становятся общей собственностью тех, кто их установил” и, соответственно, не могут быть отозваны или изменены иначе, как с согласия всех “собственников”. [Howard Nenner in J. R. Jones, ed., *Liberty Secured, Britain Before and After 1688* (Stanford, Calif., 1992), 93.]

дуются по назначению¹⁴⁶. Учреждение Английского банка и оформление национального долга в 1693—94 годах еще больше укрепило финансовую власть парламента, поскольку нормой стало поручительство палаты общин по всем займам короны¹⁴⁷. Регулировались акцизы и земельные налоги; впервые в английской истории “налоговые поступления были признаны *нормальной* составляющей доходов короны”¹⁴⁸. Поступления в казну удвоились, и с этого времени англичане несли более тяжелый налоговый груз, чем французы. Полная финансовая зависимость от парламента заставляла корону все чаще обращаться к нему за консультациями по делам внешней политики и даже назначать министров из числа приемлемых для него кандидатов.

Другой важный принцип, резко ограничивший после 1688 года королевскую власть, касался судопроизводства. При Стюартах судьи занимали свои должности по благоусмотрению монарха и могли быть смещены, вызвав чем-либо его неудовольствие. Теперь было введено правило несменяемости добросовестно выполняющих свою работу судей, увольнение которых допускалось лишь за совершенное преступление либо по просьбе обеих палат парламента¹⁴⁹. Этим правилом была установлена независимость судебной власти.

В восемнадцатом веке отношения между королевским двором и палатой общин не всегда были дружескими. Но соглашение, достигнутое в 1688/89 году и увенчавшее собой долгую борьбу парламента за утверждение его прав, не оставило никаких сомнений относительно того, чем кончится дело. Достаточно сказать, что когда в 1810 году, в разгар войны против наполеоновской Франции, было объявлено о неизлечимом психическом заболевании короля Георга III, о его неспособности выполнять далее свои обязанности, это никак не отразилось на управлении Британией¹⁵⁰, поскольку власть тут же определенно и безвозвратно перешла к парламентау.

10. Континентальная Европа

Хотя Англия первой в мире установила парламентскую демократию, она не была единственной европейской страной, причастной к развитию парламентских институтов. Парламенты (или *штаты*) были повсеместно распространены в

средневековой Европе. Встречались они, что называется, на каждом перекрестке континента: в Португалии и в Дании, на Сицилии и в Польше, как на национальном, так и на региональном уровнях.

На континенте, как и в Англии, основным делом парламентов было выделение короне денег на чрезвычайные расходы, связанные главным образом с ведением войны. Обилие парламентов само по себе указывает на широкое распространение частной собственности в средневековой Европе, ибо короли не могли бы обращаться за деньгами от налогов с совершенно неимущих подданных. И действительно, коронованные правители, считавшие себя собственниками всех своих земель, как, например, в России, стране, лишь частью расположенной в Европе, никогда не затрудняли себя обращениями к подданным за деньгами и никогда не созывали парламентов, пока не были вынуждены пойти на это под общественным нажимом в начале двадцатого столетия. Как и в Англии, парламенты на континенте часто пользовались фискальными трудностями своих королей, чтобы вырывать у них уступки в свою пользу. Особое значение английского парламента определяется, следовательно, не тем, что он возник раньше других, и не тем, что он делал, а его долгожительством, ибо с течением времени он все более набирал силу, тогда как на континенте те же учреждения не смогли, за немногими исключениями (а именно Польши, Швеции и Нидерландов), пережить эпоху королевского абсолютизма¹⁵¹.

Парламенты были побочным продуктом феодализма. Они выросли из собраний вассалов, чьей обязанностью было подавать советы и оказывать помощь своим сюзеренам; на высших ступенях феодальной лестницы сюзеренами были принцы и короли. Присутствие на таких собраниях было обязательным; их участники не представляли никого, кроме самих себя. Со временем, однако, короли и принцы нашли для себя удобным исходить из того, что участники таких собраний, пусть и не избранные, говорят от имени своих владений и регионов, и даже королевства в целом, поскольку такое понимание вещей придавало дополнительный вес их советам и помощи. По этой причине в большей части Европы феодальные собрания постепенно и незаметно превратились в представительные учреждения. И как таковые они отличались уже и от простых фолькмотов с личным участием каждого

свободного общинника, и от королевских советов, члены которых представляли не более как самих себя*.

Первые в мировой истории представительные учреждения появились к концу двенадцатого столетия (1188) в испанских королевствах Леона и Кастилии**. Довольно быстро и на региональном, и на общенациональном уровнях в Испании образовались собрания представителей (*кортесы*). Англия, Австрия, Бранденбург, Сицилия, Португалия и Священная Римская империя последовали примеру в тринадцатом столетии; Франция, Нидерланды, Шотландия и Венгрия — в четырнадцатом; Польша, Швеция и Дания — в пятнадцатом¹⁵². Представительные законодательные учреждения оставались исключительным достоянием Европы, пока они не были скопированы на других континентах или перенесены туда европейцами.

В истории парламентов поражает неравномерность их развития. В середине четырнадцатого века французские Генеральные штаты потребовали себе чрезвычайных полномочий, вырвав у короля в обмен на остро необходимые ему военные ассигнования такие уступки, о которых нельзя было и помыслить в тогдашней Англии, включая частый созыв Генеральных штатов, наделяемых правом собирать налоги и надзирать за тем, как расходуются поступающие от них средства¹⁵³. Со стороны тогда вполне могло показаться, что французы далеко опережают англичан в деле обуздания королевской власти.

Но не тут-то было: оппозиционность французского парламента вскоре испарилась, и Генеральные штаты превратились в безжизненный отросток королевской власти. С 1484 по 1560 год Генеральные штаты вообще не собирались. Возобновив свои заседания лишь во второй половине шестнадцатого века, они в последний раз собрались в 1614 году, и после этого перерыв длился вплоть до 1789-го.

* Как будет показано ниже, этого не произошло в Польше, где каждый депутат сейма представлял свой регион и был обязан налагать вето на любой законопроект, вступающий в противоречие с его мандатом.

** Некоторые считают, что старейшим парламентом мира является исландский альтинг, образовавшийся около 930 года. Однако, как подсказывает его название (*Althing*, где *thing* или *ding* означает “собрание”), это было народное собрание, а не представительное учреждение.

В Испании к четырнадцатому веку кортесы Кастилии, Арагона, Каталонии и Валенсии добились права утверждать любые чрезвычайные налоги, а также участвовать в разработке и осуществлении законов. Арагонская клятва верности королю превосходила своей смелостью все, на что отваживалась британская палата общин: “Мы, столь же достойные, как и вы, клянемся вам, нисколько нас не лучшему, признавать вас нашим королем и суверенным господином при условии, что вы будете уважать все наши свободы и законы; если же нет, то нет”¹⁵⁴. И все же испанские кортесы тоже пришли в упадок в начале шестнадцатого века, а к концу семнадцатого потеряли всякое значение.

Германский рейхстаг, или Имперский сейм, тоже пережил недолгое время подъема, а затем сник. Император Леопольд I созвал его в 1663-м, и он постоянно заседал вплоть до 1804 года, когда Священная Римская империя была распущена Наполеоном.

Откуда эти перепады судьбы?

Одно обстоятельство, способствующее развитию парламентаризма, это малые размеры страны. Как правило, чем меньше страна и ее население, тем легче выковать эффективные демократические учреждения, потому что в этом случае они представляют поддающиеся управлению общины, сплоченные едиными интересами и способные к согласованным действиям. И наоборот, чем больше страна, тем более многообразны существующие в ней социальные и местные интересы, препятствующие достижению единства. Англия, с этой точки зрения, находилась в очень выгодном положении: как первая национальная монархия в Европе, она уже в тринадцатом веке обладала чувством “общности земли” (*communitas terrae*)¹⁵⁵, неведомым на континенте, где не было еще национальных государств. Во времена, когда любое путешествие было делом медленным, дорогостоящим и опасным, в больших королевствах, вроде Франции и Священной Римской империи, нелегко было склонить провинции к отправке представителей в Генеральные штаты; часто провинции предпочитали заплатить требуемые с них налоги, только бы обойтись без своего присутствия в этом собрании. По этой причине на континенте провинциальные *штаты* действовали успешнее и дольше, чем национальные. Сильные региональные парламенты были как во Франции, так и в Испании. Во Франции они действовали в Лангедоке (Север) и Ланге-

доке (Юг), а также в отдельных провинциях (например, в Бургундии, Турени и Бретани), причем некоторые дожили и до французской революции, долгое время продолжая свою работу и после того, как для Генеральных штатов место осталось лишь в исторической памяти. В Испании такие парламенты действовали в Кастилии, Арагоне, Валенсии, Каталонии и т. д. Но занимались такие собрания местными делами и королевской власти своими требованиями не докучали. В этом отношении Англии опять-таки повезло, потому что, незначительно превосходя иные провинции по размерам, она никогда не имела провинциальных парламентов.

Другим обстоятельством, способствовавшим или мешавшим усилению парламентов, было положение с внутренней и внешней безопасностью: страны, раздираемые вторжениями извне и гражданскими войнами, были предрасположены жертвовать свободой ради мира¹⁵⁶. Самым показательным примером может служить Франция. Вызванная притязаниями английского короля на французский трон Столетняя война (1337–1453) развертывалась исключительно на землях Франции и соседней с ней Фландрии, разоряя и ту и другую. К концу войны, в 1439 году, французские Генеральные штаты передали королю право определять ставку и вести сбор важнейшего налога страны, *taille*, поголовного сбора с подданных (*commoners*), который до 1790 года оставался одним из главных источников пополнения королевской казны. *Taille*, вместе с еще более доходным соляным налогом (*gabelle*), обеспечивал французской короне фискальную, и соответственно также политическую, независимость от парламента, позволяя королевской власти обходиться без Генеральных штатов. Во второй половине шестнадцатого столетия (1562–1598) Францию раздирали религиозные войны между католиками и протестантами. По их завершении изможденный народ уступил всю полноту власти короне, что создало режим абсолютизма, послуживший образцом для остальной Европы.

Возвышению абсолютизма во Франции способствовало богатство короны, обретенное благодаря ее налоговым полномочиям, но также и благодаря доходам от собственно королевских владений. Английская монархия, доходы которой в значительной части контролировались парламентом, не переставала продавать свои владения, пока у нее почти не осталось частных источников дохода. Французским королям, напротив, не разрешалось расставаться ни с какой частью их

владений: при вступлении на трон они приносили клятву, что подобного не допустят. В итоге на протяжении четырнадцатого и пятнадцатого столетий, в историческое время, решающее для развития парламентских институтов, не было в Европе королевского дома богаче французского¹⁵⁷.

В Испании положение все более осложнялось тем, что на протяжении всех Средних веков страна была разбита на несколько самостоятельных королевств, и притом большая ее часть находилась под мусульманским владычеством. На исходе пятнадцатого столетия брак Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской привел к объединению двух влиятельнейших испанских королевств, и тем была заложена основа будущего национального государства. Кортесы Арагона и Кастилии собирались раздельно, но время от времени их созывали на совместные заседания, получившие известность как Генеральные кортесы.

Опорой сложившегося на заре нового времени королевского абсолютизма в Испании, как и во Франции, была финансовая независимость короны. Основной налог, *alcabala*, взимавшийся со всех торговых сделок и введенный в 1342 году временно, с целью собрать деньги для войны с маврами, затем стал постоянным видом налогообложения, не требовавшим одобрения кортесами. Поступления из этого источника стремительно росли и со временем стали достигать 80–90 процентов доходов испанской короны¹⁵⁸. Общепринято считать, что это расслабило испанскую экономику, пагубно отразилось на ее развитии: Мэрримэн усмотрел в этом налоге “раковую опухоль, которой суждено было высосать из Испанской империи все жизненные соки”*. Но он помог короне вырваться из зависимости от парламента. Поскольку и дворяне, и духовенство были освобождены от налогов, ни у тех, ни у других не возникало стремления участвовать в заседаниях кортесов, так что в итоге все заботы о противостоянии монархии падали на представителей городов, склонных к соглашательству¹⁵⁹. В шестнадцатом веке испанская монар-

* Roger Bigelow Merriman, *The Rise of the Spanish Empire*, IV (New York, 1962), 301. Прескотт видел в нем “один из самых действенных способов, какие когда-либо изобретало правительство для того, чтобы сковать производительность и предприимчивость своих подданных”. [William H. Prescott, *History of the Reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic*, III (Boston, 1838), 438n.]

хия добилась для себя еще большей фискальной независимости за счет получения доходов от своих заграничных владений, а именно из Нидерландов, Италии и (после 1550 года) из Нового Света¹⁶⁰. Налоговая самодостаточность освободила испанских королей от необходимости созывать Генеральные кортесы, разве что по велению чрезвычайных обстоятельств. В семнадцатом веке кортесы были преданы забвению.

Решающую роль в упадке континентальных парламентов сыграл переворот в военном деле, начавшийся в конце Средних веков с освоением пороха и завершившийся в семнадцатом столетии с образованием современных национальных армий. Для существования национальной армии требовалось сильное, полномочное правительство, что и обрекло на исчезновение средневековые *штаты*, давшие толчок развитию парламентов.

На протяжении примерно тысячи лет после падения Римской империи главенствующим родом войск по всей Европе была кавалерия. В коннице несли службу дворяне, а ряды сопровождавших их пеших солдат состояли из крепостных и прочих простолюдинов. Кавалерия стала утрачивать свое первенствующее положение с появлением скорострельного арбалета, и ее значение быстро пошло на убыль, когда в употребление вошло огнестрельное оружие, сначала артиллерийские орудия, а затем легкие стрелковые устройства. Пехота (выдвинувшаяся вперед) и кавалерия (превратившаяся во вспомогательную силу) поменялись местами. В шестнадцатом веке во Франции, Германии, Швеции и ряде других стран такие армии переходного вида создавались в частном порядке и состояли главным образом из наемников. Побочным следствием сдвигов в военном искусстве стал упадок дворянства опоры феодальных армий, как равным образом и парламентов.

После 1500 года появление новых видов оружия и вызванные им изменения в тактике ведения военных действий привели к образованию современных армий. Начало было положено в шестнадцатом веке в Испании, затем в семнадцатом столетии примеру последовали Швеция при Густаве-Адольфе и Франция при Людовике XIV, и в конечном счете так же поступили почти все крупные европейские государства, за примечательным исключением Англии. Постоянные армии в этих странах набирались иногда из призывников (Швеция, Россия), но главным образом из добровольцев, представляв-

ших низшие классы и служивших под командой офицеров дворян. Государство обеспечивало их стандартизированными вооружениями и униформами, непрерывной муштрой прививало стойкость под огнем неприятеля и добивалось меткости их собственной стрельбы. Их появление сильно укрепило власть центрального правительства, которое единственное способно было позаботиться об организации и обеспечении войск, и соответственно ослабило позиции дворянства и его учреждений: “Абсолютизм во время его расцвета... показал свое превосходство над другими возможными формами правления, обнаружив способность сохранять мир в доме и собирать людей и деньги для защиты и расширения национальных границ. Он обладал также возможностями... наращивать богатства и создавать таким образом экономические условия, необходимые для ведения продолжительных войн”¹⁶¹.

Не только из-за неспособности обеспечить этим новым воинским образованиям требовавшиеся им организацию и финансирование, но и потому, что на парламенты смотрели как на учреждения, противодействующие армии, на большей части континентальной Европы парламенты пришли к закату.

Английская корона не могла использовать переворот в военном деле для утверждения своей абсолютной власти. Как и другие страны, Англия войны вела, но, в отличие от государств, расположенных на континенте, воевала она за пределами своих границ, на чужих берегах; так что войны никогда не создавали опасности для ее собственного населения. У нее не было никакой постоянной армии (за исключением короткого срока во время республики), и полагалась она главным образом на свои военно-морские силы и на субсидии иностранным правительствам. Принятый в 1689 году Билль о правах содержал ясно выраженный запрет держать в мирное время постоянную армию без особого на то согласия парламента. Так что потребность английской короны в денежных средствах для ведения войн позволяла ее подданным вырывать для себя политические уступки.

В трех странах, помимо Англии, — в Швеции, Нидерландах и Польше — парламенты добились успеха в обуздании королевской власти.

Шведская монархия существенно урезала полномочия Риксдага во время своих великих военных побед семнадцатого века. Но в начале восемнадцатого, вслед за сокрушительным поражением королевских армий в России, шведский

парламент восстановил свою власть и к середине восемнадцатого столетия отнял у короны по существу все силы.

Соединенные провинции Нидерландов, оплот протестантизма и богатейший край Европы с его состоятельной буржуазией и обедневшим дворянством, восстали в 1560-е годы против испанского владычества и в 1581 году провозгласили свою независимость. Нидерланды стали республикой, в которой главу исполнительной власти, *стадхальдера*, избирали штаты семи объединившихся провинций. В делах, касавшихся финансов, внешней политики, армии и флота, он был подотчетен Генеральным штатам.

Беспримерным был парламентский опыт Польши: здесь знать взяла верх над монархией и настолько нарушила конституционное равновесие, что в конечном счете это разрушило страну. В конце четырнадцатого века развитие династического спора привело к тому, что в Польше был принят принцип выборной монархии. Казимир Великий, последний король из правившей с десятого века династии Пястов, не имел наследников мужского пола. Поскольку польская конституция лишала женщин прав престолонаследия, Казимир назначил своим преемником Людовика Анжуйского, короля Венгрии. У Людовика сыновей тоже не было, и чтобы сохранить корону за одной из своих дочерей, он издал указ, так называемые Кошицкие привилегии (1374), которым по существу освободил польское дворянство от налогов. Он согласился также, чтобы любые чрезвычайные налоги вводились в стране не иначе, как с согласия всего польского дворянства. На протяжении последовавших четырех столетий претенденты на польский престол, нуждавшиеся в единодушном одобрении их кандидатуры всеми польскими дворянами, представляли им все новые привилегии.

Вплоть до последнего дня ее существования как суверенного государства Польша так и не смогла перейти от агломерации провинциальных штатов к настоящему национальному парламенту. Сейм, появившийся в 1493 году, на деле представлял собой собрание посланцев независимых провинциальных собраний (*сеймиков*). Они прибывали с наказами, сначала устными, а потом и письменными, которым они обязаны были следовать буква в букву, причем у сейма не было власти что-либо решить вопреки этим наказам. Это означало, что каждая статья закона требовала единогласного одобрения: один-единственный депутат мог, используя сни-

скавшее себе дурную славу право *liberum veto*, загубить любое законодательное предложение и даже добиться роспуска сейма. Сам по себе этот порядок напоминал тот, что был принят и в Нидерландах¹⁶², но если солидные голландские бюргеры сумели добиться, чтобы эта система работала, то разболтанные польские аристократы повергли законодательную власть в бездействие.

В результате образовался избыток свободы (вольности). Сейм, состоявший исключительно из дворян — города представлены не были, — оказался учреждением, умевшим мыслить с учетом лишь местных и сословных, но не национальных интересов. К семнадцатому веку он обладал всей полнотой власти в фискальной сфере, вводил налоги, главным образом на крестьян и горожан, причем в каждом случае необходимое его согласие давалось не более чем на год; в его полномочия входил также надзор за управлением государственными делами и внешней политикой. Польша так и не приступала к созданию современной армии, полагаясь на наемные войска. Во второй половине восемнадцатого столетия соседние Россия, Австрия и Пруссия, все управляемые абсолютными монархами, с презрением поглядывавшими на засыле знати в Польше, без труда поделили ее между собой.

Россия пошла собственным путем. Географически составляя часть Европы, она, тем не менее, создала систему управления, напоминавшую восточную модель, которая долго, вплоть до нового времени, не признавала законности частной собственности. О том, что это означало для жителей страны, как отразилось на их свободах, речь пойдет в следующей главе.

4. Вотчинная Россия*

В Нашем Великого Государя Московском государстве и в Сибири с земель служилые всякого рода люди служат Наши Великого Государя службы, а крестьяне пашут десятинные пашни и платят оброки, а даром землями никто не владеет.

Петр Великий¹

До 1991 года у русских и у народов, которые они себе подчинили, гражданских прав было мало, а политических (если исключить десятилетие между 1906 и 1917 годом) никаких. Во времена абсолютизма власть верховных правителей России была более абсолютной, чем у их западных собратьев; в эпоху демократии Россия держалась за абсолютизм дольше, чем любая европейская страна. А в течение семи десятилетий коммунистического правления она создала режим, лишавший ее народ свободы в такой степени, какой не знала вся предшествующая мировая история. На протяжении двух с половиной веков (приблизительно с 1600 по 1861 год) русские в огромном своем большинстве вели жизнь крепостных, принадлежавших либо государству, либо помещикам; они были прикреплены к земле и не могли обращаться к закону для защиты от своих хозяев или от правительственных чиновников.

Почему произошло такое отклонение от общего образца Западной Европы, к которой Россия принадлежит как по расе и религии, так и по географическому положению?

Российская предрасположенность к авторитарной форме правления не может быть приписана каким-либо генетическим свойствам. Как будет показано ниже, город-государство Новгород, который во времена своего расцвета в четырнадцатом — пятнадцатом веках включал в себя большую часть северной России, предоставлял своим гражданам такие же, а

* За историческими сведениями, положенными в основу этой главы, читатель может обратиться к книге автора *Russia Under the Old Regime* (London and New York, 1974). [Ричард Пайпс. Россия при старом режиме. М., 1993], откуда взята и часть приводимых здесь материалов.

кое в чем и более существенные права, если сравнивать их с правами тогдашних жителей Западной Европы. Стало быть, причины российского авторитаризма следует искать в другом. Автор держится той точки зрения, что если Россия не сумела обзавестись правами и свободами, то решающую роль в этом сыграло уничтожение земельной собственности в Великом княжестве Московском, которое завоевало всю Русь и установило в ней порядки, при которых монарх был не только правителем своей земли и ее обитателей, но и в буквальном смысле их собственником. Слияние верховной власти и собственности в режиме правления, известном как “вотчинное”, наделяло монарха всеми правами на землю и позволяло ему требовать службы от своих подданных, от благородных и простолюдинов одинаково. В четком отличии от Западной Европы, где королевская власть не переступала порог частной собственности, в России (по крайней мере, до конца восемнадцатого века) такие ограничения царской власти были и неведомы, и невообразимы*. Когда же к концу восемнадцатого столетия царизм запоздало признал частную собственность на землю, это по причинам, которые будут разъяснены ниже, было враждебно встречено как просвещенной элитой, так и крестьянской массой.

Отсутствие собственности на землю лишило Россию всех тех рычагов, с помощью которых англичане добились ограничения власти своих королей. Не нуждаясь в сборе налогов, поскольку вся страна платила им за землю рентой и службой, цари не имели необходимости созывать парламенты. Правовые установления, которые повсюду сопутствуют собственности, пребывали в зачаточном состоянии и были, главным образом, орудием управления. Понятие личных прав было полностью задавлено понятием обязанностей перед монар-

* Теоретически на Западе некоторые монархи также обладали “вотчинной” властью. Так, завоевав Англию, Вильгельм I предъявил права собственности на всю покоренную им страну. Изабелла Кастильская при ее взошествии на престол (1474) была провозглашена *reina proprietaria* — королевой-собственницей своего королевства. А Людовик XIV, как мы видели, еще в 1666 году учил своего сына и наследника, что французский король является “абсолютным господином” богатств страны. Но все это были пустые формулы, как явствует из того факта, что по всей Европе короли через парламенты выпрашивали у своих подданных налоги, чего им не пришлось бы делать, будь они настоящими вотчинниками.

хом. Лишь в 1762 году российская корона освободила высший класс от обязательной государственной службы и только в 1785 году утвердила за ним права собственности на землю. Только в 1861 году крестьяне в России были освобождены от крепостной неволи. И лишь в 1905/6 году российские подданные получили гражданские права и представительство в законодательных учреждениях.

Таким образом, история России прекрасно показывает, какую роль играет собственность в развитии гражданских и политических прав и как ее отсутствие делает возможными произвол и деспотизм государственной власти.

1. Домосковская Русь

Как было отмечено, права собственности предъявляются на имущество при двух условиях: на него должен быть спрос и наличествовать оно должно в ограниченных количествах. Для людей, живущих в основном за счет земледелия, таким имуществом является земля. Чем менее она доступна, тем больше вероятность, что за нее будут бороться и притязать на нее как на собственность. Случилось так, что в лесах Велико-россии, куда восточные славяне проникли в конце первого тысячелетия, перед новопришельцами открылись беспредельные земельные пространства*. Соответственно, земля как таковая не представляла собой никакой ценности; что ценилось, так это рабочая сила. Дело тем более обстояло таким образом, что ранние славяне оседлым земледелием не занимались, а использовали кочевую его разновидность, известную как “подсечно-огневая” система. Этот способ обработки земли состоял в том, что крестьяне расчищали лес и поджигали поваленные деревья; когда пламя спадало, они бросали семена в удобренную золой почву. Едва появлялись признаки истощения почвы, они переходили на другой участок бескрайнего леса, и все повторялось сызнова.

* Первоначально русские селились только в пределах северной лесной зоны или в тайге, потому что южные черноземные степи находились под властью тюркских кочевников-скотоводов, которые не терпели никаких земледельцев на своей территории. Проникать на эти земли и заселять их русские стали лишь с середины шестнадцатого века, после покорения мусульманских ханств — Казанского и Астраханского.

Обилие земли, существовавшее в России до девятнадцатого века, имело два важных следствия. Во-первых, оно не дало развиваться всем тем институтам, из которых в местах, страдавших от недостатка земли, выростали гражданские общества, ибо там, где земли мало, население вынужденно изобретает способы мирного разрешения возникающих вокруг нее споров.

- Мы сталкиваемся с парадоксом: когда земли много, за нее дерутся, но когда ощущается ее нехватка (из-за роста населения), появляется судебный порядок разрешения земельных споров, и границы владений становятся более строгими... При обилии земли необходимость выработать правила улаживания возникающих из-за нее споров — со всеми сопутствующими этому переговорами, взаимными уступками и поисками беспристрастных, для всех приемлемых решений — ощущается не так остро, как в случае, если земли не хватает*.

Во-вторых, казавшиеся до девятнадцатого века неисчерпаемыми запасы земли создали у русского крестьянина убеждение, что земля, как и вода и воздух, это *res nullius* — ничья вещь, сотворенная Богом на благо всем и не могущая, следовательно, принадлежать кому-либо лично. Каждый волен ею пользоваться, но никому не дано предъявлять на нее исключительные права. Обращать в собственность можно лишь то, что сам вырастил или сделал, а раз никто землю не сделал, никто не может быть и ее собственником. В сознании русского крестьянина лес — это общая собственность, но заготовленная древесина принадлежит тому, кто рубил. Это мировоззрение, вполне обычное в первобытных обществах, в России пережило эру изобилия земли и удержалось в крестьянском сознании вплоть до начала двадцатого столетия, когда из-за роста населения и с прекращением территориальной экспансии возникла нехватка пахотных земель.

Таким образом, положение здесь резко отличалось от того, какое сложилось в Западной Европе, где оседлое земледелие существовало тысячелетиями — в Англии во всяком случае с 2500 года до н. э. — и где уже во времена классической

* John P. Powelson, *The Story of Land* (Cambridge, Mass., 1988), 308–9. Автор говорит, что в двадцатом веке подобное положение преобладало в Китае, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Индии. [Ibid., 309.]

античности землевладение находилось под общественной, а порой и юридической защитой.

Иной, но тоже толкавшей к пренебрежению собственностью, была и природа первого русского государства, основанного в девятом веке шведскими викингами. В отличие от норвежских и датских викингов, обрушившихся на Западную Европу, шведские завоеватели явились в Россию не как землевладельцы, а как купцы-авантюристы. У России не было плодородных земель, виноградников и оливковых рощ, которые привлекли скандинавов в Англию, Францию, и Испанию, где они начинали разбойниками, а затем становились поселенцами. Экономически самым привлекательным, что она могла предложить, был транзитный путь в Византию и на Ближний Восток по сети рек, соединявших Балтику с Черным и Каспийским морями. Это был заманчивый коммерческий маршрут, потому что мусульманское завоевание Средиземноморья в седьмом и восьмом веках разорвало торговые связи Западной Европы с Ближним Востоком. Среди сохранившихся документов российской истории один из древнейших представляет собой составленный в 912 году н. э. договор викингов, тогда именовавшихся “русью”, с Константинополем. Клады византийских и арабских монет, найденные при раскопках в северо-западной России и в Скандинавии, свидетельствуют об оживленной торговле, которую викинги через Русь вели с Восточным Средиземноморьем.

Скандинавские завоеватели в России не оседали и здешними землевладельцами не становились. В стране с малоплодородной почвой, коротким сезоном сельскохозяйственных работ и очень подвижной рабочей силой торговля сулила гораздо больше выгод, чем земледелие. Поэтому викинги занимались тем, что вдоль главных речных путей воздвигали крепости-города для складирования товаров, которые поступали к ним в виде дани с местных жителей, славян и финнов, и которые они под усиленной охраной каждую весну отправляли в Константинополь. Как и в других частях Европы, они брали себе местных жен и со временем растворились в здешнем населении: общепринято считать, что к середине одиннадцатого века они ославянились.

На потребу своей военно-торговой деятельности русские викинги (варяги) придумали необычную систему правления, которая отличалась столь примечательной особенностью, как перемещение князей, членов правящей династии, — по оче-

реди в порядке старшинства — из одного укрепленного города в другой. Должность великого князя давала ее обладателю право “сидеть в Киеве”, то есть править в городе на Днепре, служившем последним перевалочным пунктом ежегодной экспедиции в Константинополь. Младшие члены клана властвовали над другими крепостями. Царство варягов быстро разрасталось по евразийской равнине, встречая слабое сопротивление со стороны разрозненных отсталых славянских и финских племен. Целью этой экспансии была, однако, не земля, а дань, которую брали в основном рабами, мехами и воском. Управление обширной территорией, находившейся под властью Киева, было очень ненавязчивым. В крепостях, населенных вооруженными ратниками и немногочисленными постоянными жителями в лице ремесленников, торговцев, служителей культа и рабов, складывалась зачаточная политическая жизнь с участием свободных людей в народных собраниях, называвшихся *вече*². Важно иметь в виду, что в России первые викинги, будучи правящей военно-торговой кастой, ни обработкой земли не занимались, ни в собственность себе ее не брали в резком отличии от того, что имело место в Англии, где нормандские завоеватели присваивали себе право на все земли. Одним из следствий было то, что основатели первого русского государства не выработали никакого четкого представления о разнице между их публичными и частными делами; они правили своим царством и распоряжались его богатствами, не замечая никаких различий между этими двумя видами деятельности.

Не существует никаких свидетельств о том, что в киевский период русской истории (с десятого по середину тринадцатого века) и даже позже, в течение следующего столетия, кто-либо — будь то князь, боярин или крестьянин — заявлял о своем праве собственности на землю. В “Русской правде”, самом раннем своде законов, составленном в одиннадцатом веке, нет ни слова о недвижимом имуществе³. Не обнаружено по существу никаких свидетельств о сделках с землей, совершенных на северо-востоке России до первой половины четырнадцатого века, и очень немного о тех, что были заключены во второй половине этого века⁴. Земельная собственность, в отличие от владения территорией, появилась на Руси лишь около 1400 года, когда страной правили монголы. Факт примечательный, если учесть, как высоко была в то время развита система земельных держаний в Европе. В Анг-

лии наличие личной собственности на землю, причем не только у знати но и, согласно недавним исследованиям, у рядовых свободных крестьян и крепостных, может быть установлено уже для 1200 года⁵. К тому же по всей феодальной Европе фьефы передавались по наследству и, стало быть, *de facto* представляли собой собственность их держателей.

Интерес к земле у русских правителей впервые пробудился после вторжения в черноморские степи воинственных кочевников из Азии. Тюркские племена, известные под названием печенегов или половцев, то и дело повторяли набеги на пролегавшие по черноморским степям караванные пути и около 1200 года привели в расстройство, а в конечном счете вовсе уничтожили торговлю Киева с Константинополем. Лишившись доходов от торговли, князья обратились к оседлой жизни. В особенности это относится к правителям северных княжеств, не подвергавшихся вторжениям кочевников: здесь, говоря словами О. Ключевского, появился “князь-вотчинник, наследственный оседлый землевладелец, сменивший своего южного предка, князя-родича, подвижного очередного соправителя Русской земли”, и ставший “коренным и самым деятельным элементом в составе власти московского государя”⁶. Князья стали суверенными правителями и собственниками одновременно, воспринимавшими свои княжества как наследственные вотчины*. Таким образом, понятие суверенитета в России предшествовало понятию частной собственности — факт, имевший огромные последствия для всего исторического развития страны.

Киевское государство, жестоко потрепанное набегами печенегов, было в 1237–1242 годах раздавлено монголами. Новые захватчики разрушали все города, оказывавшие им сопротивление, включая и Киев, где были погублены многие его жители. Они упорно продвигались в Европу и, возможно, покорили бы ее, — ибо за ними не числилось ни единого проигранного сражения, — но в 1241 году известие о смерти ве-

* В соседней Польше Пясты, правители первой королевской династии, тоже смотрели на подвластную им страну как на вотчину, которую они делили между своими наследниками, пока в 1139 году не было принято правило, что власть в государстве переходит к великому князю. [Stanislaw Kutrzeba, *Historia ustroju Polski w zarysie*, Wyd. 3, I (Lwów, 1912), 19–20.] В Польше развитие земельной собственности рано положило конец понятию вотчинного правления.

ликого хана Угедая, преемника Чингисхана, заставило их повернуть вспять и возвратиться в Монголию.

Россия, достигшая было ненадежного объединения, теперь стала разваливаться. Южная и юго-западная части территории Киевского государства (сегодняшние западные Украина и Белоруссия) попали под власть сначала литовцев, потом поляков. На севере Новгород, который монголы покорить не сумели, но который вынужден был платить им дань (*ясак*), стал *de facto* суверенным городом-государством. Срединные районы, ядро будущего Российского государства, раскололись на множество династических княжеств. Монголы обратили их в провинцию своей империи, которой они управляли из Сарая на Волге, столицы Золотой Орды, одного из государств — наследников державы Чингисхана. Они оставили княжества нетронутыми, предоставив князьям-правителям делить свои владения между сыновьями. Каждый русский князь, получив свой удел, должен был отправиться в Сарай за ярлыком, подтверждавшим его права на эту землю как на *отчину*⁷. Это было небезопасное путешествие, иные из него и не возвращались.

Русского царства монголы физически не захватывали (как они захватили Китай, Корею и Иран), вероятно, ввиду его бедности и труднодоступности. Как и викингов, их в основном интересовала дань. В 1257—1259 годах, создавая базу для налогообложения, они составили кадастр земель в междуречье Волги — Оки и в Новгороде. Первоначально сбор дани они передали мусульманским откупщикам, которых поддерживали вооруженными отрядами, состоявшими в значительной мере из русских под командованием монгольских офицеров — *баскаков*. Но эти откупщики вызвали такое народное недовольство и так часто подвергались нападениям и самосуду, что после ряда городских восстаний в 1260-х и 1270-х годах, которые они жестоко подавили, монголы переложили ответственность за сбор дани на самих русских князей. В начале четырнадцатого столетия правитель города Владимира подрядился собирать *ясак* со всех княжеств, находившихся под властью Москвы, и благодаря этому стал великим князем⁸. Так на великих князьях, сначала владимирском, а потом московском, и лежала эта обязанность до конца пятнадцатого века, когда Золотая Орда распалась и Россия дань платить перестала.

Даже с распадом Киевского государства сохранилось опрделенное представление о единстве русской земли. Оно

поддерживалось православной верой, которая давала русским чувство общности, и помогало им отличать себя от монголов и мусульман на востоке и от католиков на Западе. Коллективная ответственность за уплату дани Золотой Орде также способствовала чувству единения. В этом же направлении действовала проявленная монголами готовность сохранить переместившийся теперь из Киева на северо-восток пост великого князя.

В период монгольского владычества, известный также под названием “удельного времени” (от средневекового понятия “удел”, означавшего землю или другой источник дохода, выделенный правителем на жизнь своим отпрыскам), русские князья смотрели на подвластные им территории как на свою частную собственность, от которой они могли отрезать земли, передаваемые в дар духовенству и своим служилым людям. В девятнадцатом веке историк Борис Чичерин впервые обратил внимание на то, что княжеские завещания и договоры того времени были облечены в понятия гражданского права, в точности как завещательные документы частных лиц. Московские правители, от Ивана I Калиты (1325–1340) до Ивана III (1462–1505), распоряжались своими царствами так, будто это были их частные земельные владения, делили их между сыновьями и вдовами как их душе было угодно. Между своим личным имуществом и государственной собственностью никаких различий князья не видели*. Такой взгляд на вещи подкреплялся и порядками, принятыми у монголов, которые всю свою огромную империю считали собственностью правящего императора и других потомков Чингисхана⁹. Для всего последующего развития России огромное значение имело то, что, говоря словами еще одного историка далекого прошлого, “государь был обладателем всей России и частная собственность вытекла из государственной”¹⁰, — иначе сказать, в России частное брало свое начало в публичном. Частная собственность в этой стране не была ни основой становления государства (как в классиче-

* Б(орис) Чичерин. Опыты по истории русского права. М., 1858. С. 232–375. Сергей Соловьев даже еще раньше выдвинул тезис о том, что удел представлял собой частную собственность князя. [Об отношении Новгорода к великим князьям. М., 1846. С. 17–22.] С этим мнением не соглашался, однако, историк права М. Ф. Владимирский-Буданов [Обзор истории русского права. 4-е изд. СПб и Киев, 1905. С. 161–162].

ские времена в Афинах или в Риме), ни тем институтом, который развивался наряду с государством (как в большей части Западной Европы); она проистекала из государства.

Взятие на себя русскими князьями ответственности за поддержание порядка и сбор дани от имени монголов имело различные последствия для политического будущего страны, причем все они были неблагоприятны для самоуправления. Во-первых, эти крайне непопулярные действия внесли отчуждение между князьями и их народом, создали ставшую постоянным фактом русской истории пропасть между правителями и управляемыми. Во-вторых, это поощрило князей на использование авторитарических методов. До монгольского завоевания русские княжества управлялись князьями в совете с вече, аналогом англосаксонского фолькмота¹¹. Немецкие купцы, посещавшие Новгород в Средние века, поразились сходству вече с учреждением, которое они знали у себя в Германии под названием *ghemeine ding* или “общее дело”, причем “дело” (*ding*) понималось в старинном значении “собрание”. В домонгольское время вече были во всех русских городах, притом самые сильные среди них часто изгоняли князей, проигравших битву или как-либо иначе им не угодивших. Поэтому не без оснований можно предполагать, что при естественном ходе событий русские города, подобно западным, стали бы центрами самоуправления и гарантами гражданских прав для своих жителей.

Монголы предотвратили такое развитие. У них не было никакой нужды в вече, которое было опорой сопротивления их требованиям. Русские князья, обязанные собирать дань для монголов, также не имели причин благосклонно относиться к собраниям, которые мешали им выполнять свой долг перед монгольскими властителями. В результате во второй половине тринадцатого века эти собрания остались без употребления. Исключение составил север, особенно Псков и Новгород, в других же местах вече исчезли, оставив князей единственными носителями власти. Там, где князья сталкивались с неповиновением своих подданных, они обращались за помощью к хозяевам-монголам. Князь Александр Невский, которого Сарай назначил великим князем во Владимир (1252–1263) и который позднее был канонизирован русской церковью, отличился жестоким подавлением народного сопротивления монгольским поборам. То же можно сказать и о московском князе Иване I Калите.

Таким образом, в условиях татаро-монгольского владычества шел естественный отбор, приводивший к тому, что наибольшая власть доставалась самым деспотичным князьям, теснее всего сотрудничавшим с завоевателями. Монгольский способ управления Россией через князей-прислужников привел к устранению демократических институтов и заложил основы будущего самодержавия. Проблема монгольского влияния на русскую историю — выпячиваемая одними и загоняемая далеко в тень другими — может быть решена на основе признания, что монгольскую политическую систему русские не перенимали, потому что созданные завоевателями и поддерживаемые военной силой *институты* империи кочевников для занятого сельским хозяйством населения не годились. Но русские, безусловно, усвоили политические приемы и понятия монголов, ибо в роли монгольских порученцев они привыкли обращаться со своим народом как с побежденным, как с людьми, лишенными каких бы то ни было прав. Этот образ мышления и поведения пережил монгольское иго.

Одна из трудностей, возникающих при попытке разобраться в отношениях собственности, существовавших на Руси в Средние века, связана с терминологией. Земельную собственность принято было обозначать словом *вотчина* (или *отчина*), которое в точности соответствует латинскому *patrimonium* и означает полученное от отца наследство. Беда в том, что в Средние века русские не отличали частного от публичного, и что бы кто ни унаследовал, включая и политическую власть, все обозначалось тем же словом. Так что удельные князья называли вотчинами свои княжества, а их высокородные слуги так же именовали принадлежавшие им владения. Иногда даже крестьяне употребляли то же слово по отношению к обрабатываемой ими земле, если прежде ее возделывали их отцы¹². Как и в других обществах, не знающих оформленных прав собственности, длительное владение принималось за доказательство права собственности, а самым убедительным его подтверждением служило обретение земли по наследству. “Мое, потому что я получил это от отца”, — таким было главное обоснование права собственности в обществах, не достигших современного уровня развития. Отсюда следовало, что наследнику правителя в качестве вотчины доставалось и право управлять.

В последний период монгольского владычества удельные князья различали четыре вида землевладений. Это были (1)

земли *дворцовые*, с которых поступали доходы княжеского дома и которыми управляли придворные. Остальные земли княжества делились на “белые” и “черные”. “Белые” были отданы князем в постоянное владение (2) духовенству и (3) родовитым людям. Держатели этих земель не облагались налогами (что и скрывается за прилагательным “белые”), но должны были нести службу, означавшую в случае с духовенством молитвы, а применительно к аристократам — пребывание в рядах княжеского войска. Остальные земли княжества, занимавшие основную часть его территории, определялись как (4) “черные”. Их держатели были обременены многообразными повинностями под общим названием *тягло*, что включало в себя платежи деньгами или выполнение некоторых черных работ, либо то и другое вместе¹³. На “черные” земли, возделываемые самостоятельными крестьянами, князья смотрели как на фонд, за счет которого они могли одаривать церкви, монастыри и служилых аристократов. В результате “черные” земли становились “белыми”. Из-за такого “обеления” площади “черных” земель сокращались и сокращались, пока к семнадцатому веку они не исчезли повсюду, кроме Крайнего Севера¹⁴.

Первыми частными землевладениями в России — помимо верховной собственности вотчинника-князя — были “белые” земли монастырей и княжеских служилых людей, известных под названием бояр. Монастыри сосредоточили в своих руках обширные владения, достававшиеся им от князей и вельмож, которые отписывали земли монахам, чтобы те молились за спасение их душ. Знать получала свои вотчины как дары из княжеских рук и эксплуатировала их с помощью крестьян-арендаторов и долговых рабов. Каково бы ни было происхождение вотчинной земли, будь то княжеская награда за службу, наследство или покупка, она всегда представляла собой собственность на правах аллода: договоры между удельными князьями обычно содержали обязательства о гарантиях сохранения имущества каждого знатного человека, даже если он не нес службы у князя, на территории которого находилось его владение¹⁵. Такая свобода и такая безусловная собственность были распространены до конца пятнадцатого века, когда и тому и другому Москва положила конец, введя правило, согласно которому все миряне, державшие землю в пределах ее государства, и независимо от способа приобретения этой земли, обязаны были службой князю. По мере рас-

ширения Московского государства это правило распространялось и на земли, которые оно завоевывало или приобретало как-либо иначе, например через брачный союз или в порядке покупки.

Процесс превращения аллодальной собственности в держание, обусловленное отправлением государственной службы, всюду развернулся при Иване III в конце пятнадцатого века, причем к тому времени Золотая Орда распалась и с любой практической точки зрения Россия стала независимым государством. В последующие два столетия все вотчины на землях, подвластных великим князьям московским, были, говоря сегодняшним языком, национализированы. (Церковные владения эта судьба постигла лишь в восемнадцатом веке.) Частной земельной собственности не стало.

О том, насколько отличным от этого могло бы быть развитие России, не оказавшись она под татаро-монгольским игом, можно судить на примере Новгорода, государства, которое долгое время соперничало с Москвой и по величине, и по влиянию.

2. Новгород

Шведские викинги в двенадцатом веке основали Новгород как свою главную крепость на севере России; отсюда они разбрелись по другим частям страны.

Русский Север, а именно Новгород и расположенный по соседству с ним Псков — оба избежавшие разорительного монгольского нашествия, — преуспели в сохранении и развитии институтов самоуправления, подавленных монголами в срединной России. Новгород, притом что он платил монголам дань, сохранил у себя общегородское вече, как и отдельные вече в каждом из пяти некогда составивших город поселений (“концов”). Все свободные жители Новгорода и пригородов, независимо от их социального статуса, имели право на участие в этих собраниях; решения принимались с голоса, криками. Те же порядки были заведены в ряде других северных городов, прежде всего во Пскове.

Ни почва, ни климат Новгородской земли не благоприятствуют сельскому хозяйству. Большую часть этого края занимают озера и болота; для обработки пригодны лишь какие-нибудь 10 процентов земли. Низкокачественная кислая, глини-

стая и песчаная почва, так называемый подзол, требует великого количества известковых добавок и удобрений. Сезон сельскохозяйственных работ длится всего четыре месяца в году. Из-за этих неблагоприятных условий Новгороду всегда приходилось ввозить продовольствие из срединной России, а в чрезвычайных обстоятельствах — из-за границы. Тем не менее его географическое положение оборачивалось большими коммерческими выгодами. В начале тринадцатого века, когда кочевники-тюрки привели в расстройство “путь из варяг в греки”, Новгород завязал торговые отношения с Ганзейским союзом, выдвигавшимся на господствующие позиции в торговле на Балтике. Ганза открыла в Новгороде свой склад наподобие тех, что имела в Лондоне, Брюгге и Бергене. Со временем этот русский город стал наиболее значительным среди ганзейских торговых аванпостов, и не случайно, по-видимому, после прекращения в 1494 году его деятельности захватившим Новгород Иваном III Ганза скоро пришла в упадок¹⁶. Новгородцы продавали немцам меха, воск и ворвань, лен и пеньку, моржовый клык и кожи, а покупали у них ткани, соль, оружие, драгоценные металлы и в голодные годы хлеб¹⁷.

В погоне за товарами для вывоза Новгород расширял свои владения во всех направлениях. В середине пятнадцатого века его власть простиралась на обширные пространства от Карелии и Литвы на Западе до Уральских гор на востоке. На юге рубежи его владений проходили в двухстах километрах от Москвы. Город-государство процветал. Его бояре сложились в класс независимых землевладельцев и купцов.

Главным политическим учреждением Новгорода оставалось вече, в иных местах на Руси не сохранившееся*. Новгородские князья были пришельцами извне и не имели никаких вотчинных прав ни на свой титул, ни на богатства города-государства. Их главным делом было командовать вооруженными

* Образование в Новгороде демократических институтов Марк Шефтель считает следствием контактов со свободными городами Ганзейского союза. [Marc Szeftel, *Russian Institutions and Culture up to Peter the Great* (London, 1975), Part IX, 624.] Выглядит это, однако, неубедительно, если принять во внимание, что вече существовало до установления связей с городами Ганзы и что Новгород, как будет показано ниже, держал немецких торговцев в изоляции. Представляется, что эти институты, как в те времена и на Западе, складывались естественным образом в качестве побочного продукта городской коммерческой культуры.

ми силами города. Хотя до монгольского нашествия новгородских князей назначали из Киева, есть основания считать что уже с 1125 года, если не раньше, ставило их у власти и смещало именно вече¹⁸. К середине двенадцатого века выборными в Новгороде были все политические и церковные должности: помимо самого князя, избирались также глава исполнительной власти, именовавшийся посадником, который иногда замещал князя (первоначально князем и назначавшийся), а также епископ (которого прежде присылал митрополит киевский). Принимая свое назначение, князь должен был принести клятву (“целовать крест”) на верность городскому уставу, который четко очерчивал пределы его власти. К середине двенадцатого века Новгород, номинально числившийся княжеством, принял республиканскую форму правления в том смысле, что все его должностные лица сверху донизу, начиная с князя, избирались гражданами.

В собственности новгородских князей никогда не было больших земельных владений, потому что коротки были обычно сроки их службы и сама их должность считалась лишь началом пути к посту великого князя в Киеве¹⁹. Земли, которыми им удавалось обзавестись, у них отбирали и передавали во владение Софийского собора²⁰. Но для формирования новгородского уставного устройства еще важнее были статьи договорных грамот (*рядов*), касавшиеся земельных владений князей. Такие грамоты, по существу контракты, были исключительным достоянием Новгорода и Пскова, поскольку в иных местах на Руси князья приходили к власти либо по назначению из Киева (позднее из Сарая), либо по праву наследования. Самая старая из сохранившихся грамот относится к 1264 году²¹. Ее отработанная форма натолкнула некоторых историков на мысль, что это сравнительно поздний образец договора из числа тех, что составлялись к концу одиннадцатого века²². В договорах 1264 года и последующих, заключенных между Новгородом и князем, последний клялся верно блюсти несколько условий. Он брал обязательство уважать обычаи страны. Ему не полагалось принимать какие бы то ни было решения без согласия посадника. Он не должен был ни у кого отнимать землю *без вины*. Особый интерес для настоящего исследования представляют статьи, ограничивавшие его экономическую независимость: они указывают, что новгородская элита сознавала связь между богатством высшего чиновника и его политической властью. Ряд-

ные грамоты запрещали князьям, как и их женам и приближенным, покупать либо иным путем приобретать в Новгороде землю. Они не должны были наделять новгородскими землями своих сторонников. Им запрещалось напрямую вести дела с немецкими торговцами, общение с которыми дозволялось только через новгородских посредников²³.

Эти статьи служили гарантиями, что новгородские князья не будут располагать собственными средствами и их доходы будут целиком зависеть от вече, которое даст им на время землю, чтобы они могли жить, получая с нее ренту. Дополнительно они могли получать деньги за отправление правосудия. Князья несли службу по усмотрению вече, которое могло снимать их с должности по малейшему поводу, часто в порядке наказания за военную неудачу: между 1095 и 1304 годом в Новгороде было пятьдесят восемь князей со средним сроком пребывания у власти 3,6 года²⁴. Некоторые российские историки считают, что к 1300 году никаких князей в Новгороде вообще не осталось и он превратился в демократическую республику в полном смысле слова единственную в русской истории вплоть до 1990-х годов²⁵.

Демократия и собственность шли рука об руку. В конце пятнадцатого столетия, накануне покорения Новгорода Москвой, около 60 процентов новгородской земли находилось в частной собственности²⁶. Женщины владели землей наряду с мужчинами, что указывает на продвинутое понятие личной собственности²⁷. Земля, остававшаяся за пределами частных владений, принадлежала церкви или государству. Основная часть частной земли была собственностью боярских семей, из которых выбиралось большинство городских чиновников. Из их владений поступали хлеб и прочее продовольствие, но в основном они занимались поставками на экспорт²⁸.

Подобно бюргерам в средневековой Западной Европе, жители Новгорода имели к своим услугам независимый суд. Городские суды выносили решения без оглядки на социальный статус обвиняемых и молчаливо исходя из того, что гражданство всех уравнивает перед законом: появившаяся в середине пятнадцатого века Новгородская судная грамотаставляла архиепископский суд “судить... всех равно, как боярина, так и житего, так и молодшего человека”²⁹.

Во Пскове, который в 1347–1348 годах откололся от Новгорода и стал самостоятельным княжеством, утвердился тот же порядок; власть князя была сведена к исполнению долж-

ности “главного слуги вече”, иными словами, он оказался на положении наемного начальника городского войска, и держали его лишь до тех пор, пока ему сопутствовали успехи на поле брани. Единственным источником его дохода были сборы за отправление правосудия, но и те доставались ему не полностью³⁰.

3. Московия

Далеко не так развивалось Московское княжество.

Когда во второй половине тринадцатого века монголы возвели одного из русских властителей в ранг великого князя, выделив его из числа других князей, эти последние не считали, что великокняжеский титул и земли, принадлежавшие его носителю, как-либо отличаются от их собственных титулов и владений; иначе сказать, тогда в их глазах пост великого князя еще не был вотчинной собственностью³¹. Но когда — сначала у князей владими́ро-суздальских, а потом у их преемников, князей московских, — титул стал наследственным, они стали воспринимать его как собственность, поскольку все наследуемое было *вотчиной*, а всякая вотчина означала собственность³². В понимании носителей великокняжеского титула он подтверждал их права владения не только на собственное княжество, но и на все земли, входившие некогда в состав Киевского государства. На этом основании они, например, считали себя пока что хотя бы теоретически верховными властителями Новгорода³³. Иван I Калита, великий князь владими́рский с 1328 по 1340 год, выжимавший из строптивного Новгорода дань для Золотой Орды, сделал несколько попыток подчинить этот город-государство своей власти. Когда Псков при поддержке Москвы отложился от Новгорода, от него потребовали признать своим государем московского князя. Позднее эта вотчинная идеология служила обоснованию притязаний Москвы на признание всей России и как подвластного ей края, и как ее собственности. Она же давала московским правителям основание отказывать подданным в каких-либо правах и свободах, поскольку признание за ними таковых привело бы к размыву княжеского права собственности.

Во второй половине пятнадцатого века подорванная внутренними раздорами и разгромленная Тамерланом Золотая

Орда распалась, и едва это произошло, московский князь Иван III (правил с 1462 по 1505 год), считая себя преемником монгольского хана, заявил о своем праве на верховную власть над всей Россией. Главное его внимание было направлено на Новгород, самое большое и самое богатое из русских княжеств, все еще лежавших за пределами его владычества.

Покорение Новгорода происходило поэтапно. В 1471 году войско Ивана нанесло защитникам города-государства сокрушительное поражение. Тогда, однако, Иван не стал присоединять город к своим владениям и удовлетворился готовностью новгородцев признать его высшую власть. Спустя шесть лет, воспользовавшись тем, что, величая его своим господином, новгородские посланцы по оплошности употребили слово “господарь”, которое могло указывать на наличие у него прав собственника, Иван потребовал от Новгорода полного подчинения. Тот отказался, и войска московского князя осадили город. Предчувствуя неизбежное поражение, новгородцы попытались договориться о сдаче на тех условиях, на каких прежде им удавалось ладить с собственными князьями. Он предложили признать московского правителя своим господином (государем) при условии, что для них дело обойдется и без высылки, и без конфискации. Им, очевидно, хорошо была известна судьба покоренных Москвой городов, большинство которых было подвергнуто этим карам³⁴. Иван с гневом отменил эти предложения: “Князь великий то вам сказал, что хотим господарства на своей отчине Великом Новгороде такова, как наше государство в Низовской земле на Москве; и вы нынеча сами указываете мне, а чините урок нашему государству быти: ино то которое мое государство?”*

Обороты речи Ивана свидетельствуют, что в его понимании высшая власть была равнозначна праву собственности на завоеванное княжество, то есть являла собой *dominium* — право свободно распоряжаться людскими и материальными ресурсами подвластной земли.

У Новгорода не оставалось иного выбора, как уступить. Что такое безоговорочная капитуляция перед правителем

* *Патриаршая или Никоновская летопись* в Полном собрании Русских летописей, XII (Санкт-Петербург, 1901). С. 181. Ср.: Pipes, *Russia Under Old Regime*, 80–2. [Пайпс. Россия при старом режиме. С. 112.]

Москвы, выяснилось достаточно скоро. В числе первых мер, принятых Иваном в покоренном Новгороде, были запрет вече и отправка в Москву самого вечевого колокола. Так же двумя столетиями раньше в срединной России поступали монголы, и знаменовали эти действия конец самоуправления. Создававшиеся веками демократические институты исчезли в одно мгновение.

В Новгороде главной задачей Ивана III было упразднить все вотчинные владения, составлявшие основу богатства и власти городской знати и опору демократического устройства городской жизни. Пока в руках бояр сохранялась основная часть производственных ресурсов города-государства, привести их к повиновению было невозможно. Сознывая, как глубоко укоренились в республике демократические обычаи, Иван произвел массовые конфискации земельных владений и во избежание поворота событий вспять выслал их обездоленных собственников в Московию.

Первыми жертвами стали вожди пролитовской группы, которых он в 1475 году приказал казнить. Вероятно, они были наиболее демократичными элементами, поскольку порядки в соседней Литве, объединившейся к этому времени с Польшей, были гораздо либеральнее, чем в Москве. Очередные конфискации, сопровождаемые высылками, проводились в небольших масштабах в 1475–1476 годах; среди потерявших свои земли оказались прежде всего монастыри*. Затем процесс экспроприации развернулся всерьез. Зимой 1483/84 года, а затем снова в 1487–1489 годах несколько тысяч новгородских землевладельцев вместе с семьями были определены на вывод, то есть подвергнуты депортации. В числе бояр и купцов, пострадавших от этого мероприятия, были как сторонники, так и противники Москвы, и это наводит на мысль, что с московской точки зрения значение имели не политические склонности ее новых подданных, а их экономическая независимость. К тому времени, когда вывод был завершен, имущество всех без исключения светских собственников в Новгороде было конфисковано, а вместе с тем

* В отличие от этого, в Англии полувеком позже королю Генриху VIII, конфисковавшему монастырские владения, права на них были дарованы парламентским актом. Более того, большинство этих земель вскоре были либо проданы, либо розданы, так что от короны они перешли в частные руки. В России же они становились частью царской собственности и оставались в этом качестве.

изъяты и почти все земли у епископа и почти три четверти оставшихся еще нетронутыми церковных владений; права собственности на эти земли перешли к великому князю³⁵. В 1494 году Иван закрыл в Новгороде Ганзейский двор, покончив тем самым с последним источником независимого дохода города.

Захваченные земли были разбиты на два разряда. Великий князь забирал себе треть на предмет прямой эксплуатации. Две трети отходили служилым людям — свергнутым удельным князьям и боярам, равно как и простым крестьянам, даже рабам, — которых отправляли в покоренный Новгород. Их новообретенные владения становились, однако, не *вотчинами*, а условными держаниями, называвшимися *поместьями*, и права собственности на них закреплялись за великим князем³⁶, причем не номинально, как в феодальной Англии, а по существу и во всех юридических и практических смыслах однозначно. В России, и это следует подчеркнуть, условное земельное держание не предшествовало образованию абсолютной монархии, а проистекло из нее.

Поместье, то есть условное держание, которое под тем или иным названием распространилось как преобладающая форма землевладения по всей Московии, впервые появилось в удельных княжествах. На службе у средневековых князей, помимо знатных людей, которых они наделяли вотчинами, состояли также домашние слуги, именовавшиеся княжескими холопами и выполнявшие различные работы по хозяйству в качестве писарей, ремесленников, садовников, пасечников и т. д. Некоторым князья в награду за их труд давали земельные наделы или другие экономические вознаграждения (как право рыбачить или ловить бобров во владениях князя)³⁷. Они становились лишь временными держателями, а не собственниками этих земель и этих прав, которыми они пользовались по милости верховного правителя и которые поэтому не подлежали отчуждению или хотя бы обмену иначе как с княжеского соизволения³⁸. В отличие от вотчин, которые их владельцы сохраняли за собой независимо от того, кому они служили, поместья возвращались к князю, коль скоро прекращалась служба ему их держателей. Первый случай такого вида вознаграждения установлен для четырнадцатого века, когда один удельный князь пожаловал землю своему псарю³⁹.

Начиная с царствования Ивана III московские правители все чаще прибегают к раздаче поместий своим военным и

гражданским слугам, собирательно известным под названием дворян “людей княжеского двора”. Права на выданные им земли оставались в руках великого князя⁴⁰. Земля для поместий поступала частью из отобранных вотчин, частью из завоеванных территорий, частью же из княжеского фонда “черных” земель.

С наибольшим размахом изъятия вотчин и высылки их владельцев развернулись в царствование Ивана IV Грозного (1553–1584), во времена так называемой опричнины. Историки по сей день спорят, с какой целью была предпринята эта чрезвычайная мера: одни говорят, что царь хотел полностью покончить с классом бояр, другие считают, что свои удары он наносил избирательно, преследуя лишь тех, кого подозревал в измене, третьи настаивают, что никакой осмысленной цели у него не было и действовал он просто в припадке безумия. Никаких разногласий не возникает, однако, по поводу самого факта, что он выделил из территории своей страны обширные земли, которые взял под личное управление и назвал *опричниной* и которые стали царством террора, подобным тому, что полувеком раньше учинил в покоренном Новгороде Иван III. Его главными жертвами стали могущественные боярские семейства, особенно принадлежавшие к родам некогда независимых удельных князей, чьи земли были поглощены Москвой. Переведя на себя права собственности на эти земли, Иван IV стал лично расправляться с их владельцами, подвергая их казни и отправляя в ссылку⁴¹. Большинство из тех знатных людей, чьи жизни он решил сохранить, были вместе с семьями высланы в только что отобранную у татар Казань. Там он наделил их поместьями, изъятими у местных землевладельцев⁴². Результатом этих действий стало — порой физическое и во всяком случае экономическое уничтожение в России большей части земельной аристократии. Если Иван III ликвидировал независимую знать Новгорода, то Иван IV завершил уничтожение этого класса в срединных районах страны.

Той же линии Иван следовал в завоеванной им Казани, где он экспроприировал мусульманских землевладельцев. Отобранные у них земли он отдавал как поместья русским князьям и боярам, изгнанным опричниной. Он казнил нескольких татарских князей и представителей местной знати, а других, как и нескольких мелких землевладельцев, велел сослать на Москву, в Новгород и Псков⁴³.

Таким способом аристократия в России была лишена не только ее наследственных владений, но и оторвана от родных мест и разбросана по миру: перемещение имело целью лишить ее опоры и источника силы на местах и таким образом сделать политически немощной. Это следствие свершившегося отметил посетивший Москву вскоре после смерти Ивана IV англичанин Джиль Флетчер: “Овладев всем их наследственным имением и землями, лишив их почти всех прав и проч. и оставив им одно только название, он дал им другие земли на праве поместном (как оно здесь называется), владение коими зависит от произвола Царя и которые находятся на весьма дальнем расстоянии и в других краях государства, и этим способом удалил их в такие области, где бы они не могли пользоваться ни милостью, ни властью, не будучи тамошними уроженцами или хорошо известными в тех местах...”⁴⁴

Таких широкомасштабных конфискаций и изгнаний Западная Европа не знала ни в какие времена: подобным образом обходились только с евреями, на которых смотрели как на чужестранцев. Все это весьма напоминало действия древних монархий Ближнего Востока, вроде Ассирии.

На одно из любопытных побочных следствий земельной политики Московского государства в девятнадцатом веке обратил внимание историк Сергей Соловьев. Он заметил, что если в Западной Европе аристократы связывали свои имена с земельной собственностью, добавляя приставки “of”, “de”, “von” к названиям наследственных владений, обретенных их предками в раннем Средневековье, то в России они обходились личными именами и отчествами. Это говорит о том, что происхождению своих семей они придавали больше значения, чем своим земельным владениям, которые не были их собственностью⁴⁵.

Основная часть доходов Московского государства поступала от косвенных налогов. Цари собирали пошлины с перевозки грузов и облагали налогом продажу товаров. Важным источником дохода был акцизный сбор с потребления алкоголя (после того, как в шестнадцатом веке у татар переняли искусство перегонки спирта). Взимались также таможенные пошлины и собиралась дань мехами и другими товарами. В середине шестнадцатого столетия простолюдины были обложены податями, которые брали либо с их земельных наделов, либо с дворов.

Существенной чертой вотчинных порядков было то, что держатели всех находившихся в частных руках земель, как вотчин, так и поместий, обязаны были служить. Первые шаги к утверждению этого правила московские правители сделали в середине пятнадцатого столетия, и оно было окончательно закреплено век спустя в царствование Ивана IV.

Вотчиннику службу обычай предписывал всегда, но решение, какому князю служить, оставалось за ним. Попадая одно за другим в состав Московского государства, удельные княжества теряли эту свободу выбора. Ко времени вступления на царство Ивана III Москва обладала уже достаточным могуществом, чтобы отнять земли у всякого, кто уклонялся от службы*. Для нежелающих служить Москве единственной альтернативой было перейти под руку великого князя литовского, но поскольку с 1386 года правители Литвы стали католиками, такой поступок сразу навлекал обвинения в вероотступничестве и государственной измене, что вело к конфискации владений провинившегося.

Как это часто случалось в российской истории, где важнейшие нововведения производились беспорядочно и становились нормой не по закону, а по прецеденту, никакого указа, ставящего вотчинное землевладение в зависимость от несения службы, никогда не было издано. Правило установилось обычаем⁴⁶. Самый ранний из известных указов, ставивших обладание вотчиной в зависимость от службы московскому князю, относится к 1556 году⁴⁷, но само правило наверняка действовало и веком раньше. Указом 1556 года, в котором обязанность служить представлялась делом само собой разумеющимся, правительство ввело одинаковые нормы службы как с вотчин, так и с поместий: столько-то вооруженных воинов (включая самого землевладельца) с имений таких-то и таких-то разме-

* Существуют, однако, свидетельства, что такое происходило и намного раньше и что еще в начале тринадцатого века великие князья московские, теоретически поддерживая принцип свободного отъезда бояр и рассчитывая таким образом привлечь к себе на службу бояр из других княжеств, на деле забирали себе вотчины тех знатных людей, которые отваживались их покинуть. [Николай Загоскин. Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетровской Руси. Казань, 1876. С. 69; М. Дьяконов. Очерки общественного и государственного строя древней Руси. 4-е изд. СПб., 1912. С. 249–250.] Так создавался прецедент, усвоенный впоследствии политикой правителей всей России.

ров. Указами 1589 и 1590 года предписывалось у неявившихся к службе — будь то вотчинники или помещики, без разбору, — имения изымать в пользу царской власти, которая передаст их более надежным своим слугам⁴⁸. Поместья дворян, не имевших сыновей, также отходили государству. Никакие предельные сроки службы не устанавливались; это была пожизненная обязанность и на практике продолжалась шесть месяцев в году — с апреля по октябрь*. Эти меры привели к тому, что утвердилось неизменное правило: “нельзя было сделаться вотчинником в московском государстве, не будучи слугой московского государя; нельзя было уйти с его службы без потери вотчины”: “земля не должна выходить из службы”⁴⁹. Однако даже те служилые люди, кто неукоснительно исполнял свои обязанности перед государством, не обладали надежно закрепленными правами на свои владения, о чем говорят сохранившиеся в архивах жалобы дворян на захват властями их земель по чистому произволу (“без вины”, то есть беспричинно)⁵⁰.

Уравнием в правах двух форм землевладения объясняется, почему сохранилась, не исчезла вотчина. Действительно, в начале семнадцатого столетия 39,1 процента частновладельческой земли в Московском государстве находилось в руках вотчинников⁵¹. Для царей не имело значения, чем владели их слуги — поместьями или вотчинами; однако с точки зрения царевых слуг вотчины были предпочтительней. Вотчины можно было передавать по наследству и (при некоторых ограничениях) отчуждать, а также закладывать, тогда как с поместьями ничего этого не допускалось. Но все равно начиная с шестнадцатого века о продаже вотчины полагалось сообщать в особый приказ, имевший своей обязанностью следить, чтобы всякая земля обеспечивала исполнение возложенной на нее повинности службой⁵².

Тем не менее и эти различия между двумя формами землевладения стали стираться. Как и в условиях западного феодализма, русская разновидность феода все чаще становилась наследственной, потому что при прочих равных условиях собственников (в российском случае царей) устраивало, чтобы земельные владения оставались в руках тех же семей. К середи-

* В отличие от этого, в феодальной Англии служба королю ограничивалась сорока днями в году. [Stephen Dowell, *A History of Taxation and Taxes in England*, 2nd ed., I (London, 1888), 20.]

не семнадцатого века утвердился порядок, что сын служилого человека, живущий в поместье (то есть помещик), коль скоро он способен нести службу, наследует имение своего отца⁵³.

Служилые люди в России не имели никаких гарантий своих личных прав, и поэтому считать их настоящими аристократами нельзя: их земельные владения и даже их звания и сама жизнь зависели от милости царя и его чиновников. Лишь в новое время (1785) они получили хартию своих прав, подобную тем, что уже в Средние века были известны в Польше, Венгрии, Англии и Испании. С этой точки зрения статус русского “аристократа” ничем не отличался от статуса самого низкого простолюдина, и неудивительно поэтому, что, обращаясь к царю, самые высокопоставленные люди государства называли себя его “рабами”. Владение землей не столько давало права, сколько возлагало обязанности, и были даже случаи — строго наказуемые по закону 1642 года, — когда дворяне, чтобы избежать службы, отдавали себя в кабалу другим помещикам⁵⁴.

О крайне враждебном отношении российской монархии к частной собственности можно судить по тому факту, что она отказывалась блюсти нерушимость прав обладания даже личным имуществом, признаваемую и в самых отсталых обществах. Русские не могли быть уверены, что правительственные чиновники не отберут у них любой ценный предмет и не запретят торговать каким-либо товаром, объявив его государственной монополией. Флетчер следующим образом описывал тревоги, владевшие, как он заметил, российскими купцами: “Чрезвычайные притеснения, которым подвержены бедные простолюдины, лишают их вовсе бодрости заниматься своими промыслами, ибо чем кто из них зажиточнее, тем в большей находится опасности не только лишиться своего имущества, но и самой жизни. Если же у него и есть какая собственность, то старается он скрыть ее, сколько может, иногда отдавая в монастырь, а иногда зарывая в землю и в лесу, как обыкновенно делают при нашествии неприятельском. Этот страх простирается в них до того, что весьма можно заметить, как они пугаются, когда кто из бояр или дворян узнает о товаре, который они им намерены продать. Я нередко видал, как они, разложив товар свой (меха и т. п.), все оглядывались и смотрели на двери, как люди, которые боятся, чтоб их не настиг и не захватил какой-нибудь неприятель. Когда я спросил их, для чего они это делали, то узнал, что они сомневались, не было ли в числе посетителей кого-нибудь из царских дворян

или какого сына боярского, и чтоб они не пришли с своими сообщниками и не взяли у них насильно весь товар”⁵⁵.

Важным следствием того, что цари присвоили себе все земли и имели возможность отбирать все находившиеся в торговом обороте товары, была обретенная ими таким образом возможность по собственному произволу облагать население налогами. Мы видели, какую критически важную роль в утверждении власти парламента — и в конечном счете парламентской демократии — сыграла в Англии необходимость для короны добиваться парламентского одобрения вводимых налогов и таможенных пошлин. В России, в отличие от этого, царям не требовалось ничье согласие на введение и повышение налогов, сборов или таможенных пошлин. А это, в свою очередь, означало, что им не нужны были никакие парламены.

Развитие земельной собственности в России происходило, как можно заметить, в направлении, противоположном тому, в каком оно шло в остальной Европе. Во времена, когда Западная Европа знала главным образом условное владение землей в форме фьефа, Россия была знакома только с полной земельной собственностью (в духе западноевропейского аллода). К тому времени, когда в Западной Европе условное держание уступило место полной собственности, в России владения, существовавшие на началах аллода, превратились в царские фьефы, а их прежние собственники — в главных держателей от властителя. Никакое другое отдельно взятое обстоятельство из тех, что воздействовали на ход российской истории, не дает лучшего объяснения, почему политическое и экономическое развитие страны уклонилось от пути, которым следовала остальная Европа, ибо это означало, что в эпоху абсолютизма в России, в отличие от большинства западноевропейских стран, не оказалось частной собственности, способной послужить преградой монаршей власти*.

* Американский ученый Джордж Г. Уайкхардт в своей смелой ревизионистской статье подвергает сомнению этот тезис, разделяемый по существу всеми российскими историками, и утверждает, что в Московском государстве “постепенно складывалось представление о частной земельной собственности, более или менее близкое английскому понятию “fee simple” ...” [*Slavic Review* 52, No. 4 (1993), 665]. (В английском праве “fee simple” означало владения, находившиеся в полной собственности их держателей без каких-либо ограничений завещательных прав или распоряжения землей путем передачи прав собственности на нее.) Проблема тут двоякая. Во-первых,

4. Русский город

Отсутствие в царской России собственности на землю имело бы меньшие последствия для политического развития страны, если бы в ней сложились самоуправляющиеся городские общины. Западноевропейский город способствовал образованию трех институтов: (1) абсолютной частной собственности в виде капитала и городской недвижимости в то самое время, когда основное производственное имущество, земля, находилось в условном владении; (2) самоуправление и независимое судопроизводство; (3) общее гражданство в том смысле, что жители городов были свободными людьми, которые обладали гражданскими правами в силу места их проживания, а не в соответствии с их общественным положением. Вот почему весьма существенно, что в России подобные города так и не появились — за примечательным исключением Новгорода и Пскова, вольности которых не продержались до начала нового времени.

Как уже было сказано, в России на заре ее истории, в десятом — одиннадцатом веках, было множество городских центров, которые ни внешним видом, ни своими функциями не отличались сколько-нибудь существенно от таких же образований, появившихся в Западной Европе двумя столетиями раньше. Это были крепости, которые обеспечивали безопасность правящей элиты, викингов и их окружения, а также места складирования их товаров; у крепостных стен размещались мастерские ремесленников и лавки торговцев. Первые русские города состояли обычно из двух частей — крепо-

автор сознательно ограничивает себя рассмотрением “провозглашенных правовых принципов”, оставляя в стороне “практику” (666). Во-вторых, сосредоточиваясь на законах о наследовании и передаче поместий, он не только оставляет без внимания то, что в этих случаях требовалось разрешение государства (см. выше, стр. 233), но также и прежде всего то, что государство могло конфисковать и действительно конфисковывало поместья на им самим устанавливаемых основаниях (главным образом из-за уклонения от службы), а то и без всяких оснований. Его аналогия с западной практикой времени абсолютизма несостоятельна, потому что, как он сам признает, во Франции, Пруссии, Швеции и Испании дворяне шли на службу абсолютистским режимам, “но не на принудительной основе” (638). В “принудительной основе”, конечно же, вся суть. [См. мой ответ в: *Slavic Review* 53, No. 2 (1994), 524–30.]

сти или *кремля* с церковью поблизости, защищенных деревянными или каменными стенами, и *посада*, торгового поселения с внешней стороны этой огады.

В Западной Европе в одиннадцатом и двенадцатом столетиях началось превращение таких примитивных крепостей-городов в нечто совершенно иное. Пользуясь благами возрождения торговли, в Италии, Германии и Нидерландах города стали создавать коммуны, добивавшиеся самоуправления и права самостоятельно вершить суд над своими гражданами. И опять-таки в России, если не считать Новгорода и Пскова, не происходило ничего подобного. Причины на то были как экономические, так и политические. В то самое время, когда в Западной Европе происходило оживление торговли, в центральной и южной России она приходила в упадок: разрыв пути “из варяг в греки” и последовавшее за этим сосредоточение сил на земледелии существенно сократили коммерческую роль городов. С другой стороны, татаро-монголы, видевшие в городах центры сопротивления, уничтожали их органы самоуправления. Московские же князья, сначала как доверенные лица монгольских правителей, а потом и в роли суверенных властителей не терпели в своих владениях самостоятельных вкраплений, свободных от дани, служебных повинностей и тягла. Все подвластные великому князю земли были его вотчиной, исключения не допускались. Таким образом, города срединной России превращались в военно-административные аванпосты, не отличавшиеся ни особым хозяйственным устройством, ни особыми правами. Они были не оазисами свободы в несвободном обществе, а сколками, микрокосмами самого этого в целом несвободного общества. Их население составляли благородные слуги государевы и простолюдины, которые несли бремя тягла. Город был милитаризован в том смысле, что в середине семнадцатого века почти две трети горожан состояли на воинской службе⁵⁶. Этих обитателей городов, кроме соседства, ничто между собой не связывало: у них был свой социальный статус и свои обязанности перед государством, но не было общего гражданства. У них не было ни самоуправления, ни независимого суда. Не было и шанса появиться чему-нибудь, подобному классу западноевропейских “бюргеров”. Новгород и Псков которые развили у себя настоящие городские учреждения, после их покорения Москвой были низведены до того же положения, в каком находились все остальные города Московского государства.

Расправа с институтами самоуправления этих двух городов стала лишь одним из проявлений московской решимости подчинить их своей власти. Расширение Московского государства повсюду сопровождалось физическим разрушением городов и изъятием городской недвижимости у ее собственников, которых либо отправляли в ссылку, либо переводили в разряд служилых людей, а то и простолюдинов⁵⁷. Как свидетельствуют летописи, в четырнадцатом и пятнадцатом веках переход под власть Москвы по существу каждого очередного города сопровождался передачей в собственность великого князя всей принадлежавшей частным лицам недвижимости. Так в 1330-е годы действовал, например, Иван I Калита в Ростове⁵⁸. Василий III, следуя примеру своего отца Ивана III, учинил массовые высылки из Пскова (1509), закрыл вече, а на место высланных поставил своих людей. Это не были случайные действия в порыве чувств, это была система: составленная в 1503 году для хана Золотой Орды опись девятнадцати русских городов отмечает, что в большинстве своем они выжжены, а “плохие” люди из них изгнаны и заменены верными слугами великого князя⁵⁹.

Как была устранена всякая частная собственность на недвижимость, точно так же было покончено со всеми порядками и действиями, хотя бы смутно напоминавшими о городском самоуправлении. В России так никогда и не произошло юридического отделения города от земли — того, что с античных времен стало отличительной чертой европейской истории⁶⁰. Город в Московском государстве, как и в большинстве регионов мира, не затронутых западной культурой, был подобием деревни. Сохранялось даже внешнее сходство. Во второй половине девятнадцатого века виднейший российский историк того времени так описывал русский город: “Европа состоит из двух частей: западной, каменной, и восточной, деревянной... (Русские) города состоят из кучи деревянных изб, первая искра — и вместо них куча пепла. Беда, впрочем, невелика, движимого так мало, что легко вынести с собою, построить новый дом ничего не стоит по дешевизне материала; отсюда с такою легкостью старинный русский человек покидал свой дом, свой родной город или село...”⁶¹

Города в Московии относились к “черным” землям, то есть подлежали налогообложению. Статус города определялся для них присутствием правительственного чиновни-

ка — воеводы. Их рядовые обитатели, как крепостные к земле, были привязаны к своему месту жительства и без разрешения менять его не могли. Если на Западе, говоря словами немецкой поговорки, “городской воздух делал свободным”, то есть крепостной, которому удавалось прожить в городе год и один день, автоматически обретал свободу, то в России для возвращения беглых крепостных не существовало никаких сроков: крепостная неволя была состоянием вечным⁶².

Обладание городской недвижимостью, как и владение землей, было сопряжено с обязанностью нести государеву службу: “не было ни единого вида городского имущества, которым граждане (точнее, подданные) могли бы владеть на правах полной собственности”⁶³. Ибо земля, занятая городскими строениями, находилась в составе либо вотчины, либо поместья и в любом случае подлежала конфискации, если ее обитатели не умели или не хотели выполнять свои повинности. Ее нельзя было ни завещать, ни продать без разрешения правительства⁶⁴. Даже торговые места на Красной площади в Москве принадлежали царю⁶⁵.

Не имея ни экономических, ни правовых привилегий, тяжело обремененные повинностями, российские города развивались медленно. Средний город в Московском государстве середины семнадцатого века насчитывал 430 домов, населенных семьями в составе пяти человек, так что в целом его население чуть превышало две тысячи⁶⁶. Если к 1700 году в большей части Западной Европы на долю горожан приходилось 25 процентов населения, а в Англии и все 50 процентов, то в России в середине восемнадцатого века в городах проживало лишь 3,2 процента облагавшихся подушной податью лиц мужского пола, то есть приблизительно 7 процентов населения страны⁶⁷. Москва, на долю которой приходилась треть городского населения России, в 1700 году была еще большей застроенной деревянными домами деревней, работавшей главным образом на Кремль.

5. Российская деревня

В целом старая Россия не знала полной собственности ни на землю, ни на городскую недвижимость; в обоих случаях это были лишь условные владения. Если к концу Средних веков

на Западе землевладельческая аристократия и горожане обладали и полной собственностью на свои владения и имущество, и всеми сопутствующими правами, то в России эти классы общества оставались слугами государства. Как таковые они не имели ни гражданских прав, ни экономических гарантий. Их благополучие и общественное положение зависели от места в управленческой иерархии и от милости государя. С этими бесспорными фактами тогдашней действительности обязан считаться всякий, кто берется отрицать коренное отличие России от Западной Европы в Средние века и в начале Нового времени.

С учетом этих обстоятельств не приходится удивляться, что у крестьянства, составлявшего девять десятых населения Московской Руси, также не было ни собственности, ни каких бы то ни было признанных законом прав.

“Черные” земли, на которых работали средневековые русские крестьяне, принадлежали князю, и поэтому их нельзя было ни продать, ни завещать. На деле, с тех пор как крестьяне расстались с “подсечно-огневым” способом хозяйствования и перешли к оседлому земледелию, их поля по наследству доставались сыновьям, делившим их между собой поровну. Однако и этот порядок имел свои ограничения, налагаемые крестьянской общиной, которая считала пахотные земли деревни общей, а не чьей-либо личной собственностью.

По поводу происхождения русской крестьянской общины (*мира*) у историков шли долгие споры. Социологи-эволюционисты, господствовавшие в этой области в поздние десятилетия девятнадцатого века, видели в русской крестьянской общине пережиток “первобытного коммунизма”. Другие увязывали ее появление с фискальными нуждами московского правительства, которое-де использовало общину как средство обеспечить выполнение крестьянских налоговых обязанностей перед государством. Полевые исследования, проведенные на рубеже двадцатого столетия в местах, где общины только начинали складываться (в частности в Сибири), показали, что возникали они стихийно в порядке реакции на нехватку земли, толкавшую крестьян к объединению и периодическому перераспределению пахотных угодий. Эти результаты исследований показали, что по крайней мере в России изменение форм землевладения шло от семейного хозяйства к общинному, то есть в направлении, прямо про-

тивоположном тому, каким его представляли себе социологи-эволюционисты⁶⁸.

Каково бы ни было происхождение общины, она, несомненно, помогала правительству управляться с его обширными владениями и при недостатке имевшихся для этого средств. И сельские, и городские общины несли *тягло*. Чтобы обеспечить выполнение этой повинности, государство возлагало на общину коллективную ответственность за уплату ее членами налогов и предоставление требуемых от них услуг. Общины, в свою очередь, распределяли бремя между отдельными хозяйствами, сообразуясь с числом работающих в них взрослых мужчин. Но поскольку с течением времени хозяйства разрастались или, наоборот, сокращались, общины периодически занимались перераспределением выделяемых каждой семье земельных полос. Это была принципиально важная особенность заведенного порядка, которая, наряду с вотчинным самодержавием, принудительной государственной службой землевладельцев и закрепощением крестьян, определяла облик царской России.

Таким образом, с позднего Средневековья до середины девятнадцатого века у крестьян Великороссии не было никакой земельной собственности; земля, которую они возделывали, принадлежала государю — непосредственно или косвенно. И за ее использованием в большинстве районов следовала община.

С конца шестнадцатого и до середины девятнадцатого столетия российские крестьяне в большинстве своем находились в крепостной зависимости либо у своих помещиков, либо у государства; они были привязаны к земле и подчинялись постоянно возрастающей власти своих хозяев и казенных чиновников. Русское крепостничество было очень сложным институтом, который кое в чем напоминал рабство, но и существенно от него отличался*. Во-первых, крепостные принадлежали, строго говоря, не помещикам, а государству, и поэтому без разрешения правительства их нельзя было осво-

* См. на эту тему мою книгу *Russia Under the Old Regime*, 144–57 [Россия при старом режиме. С. 208–221]. Русское крепостничество было близким подобием вилленаджа, который в Англии исчез во времена позднего Средневековья — как раз тогда, когда крепостное право появилось в России. [J. H. Baker in R. W. Davis, ed., *The Origins of Modern Freedom in the West* (Stanford, Calif., 1995), 184–91.]

бодить. Во-вторых, крепостные не были рабочими, гнувшими спины на плантациях под надзором надсмотрщика; они жили в собственных избах и обрабатывали свои, выделенные общиной наделы, подчиняясь власти деревенского схода. Свои обязанности перед землевладельцем они выполняли либо в виде барщины, что обычно предполагало работу три дня в неделю на земле, которую помещик сохранял за собой, либо платя оброк — частью деньгами, частью натурой, частью услугами. Самое важное в том, что все выращенное и произведенное крепостным он волен был потребить или продать — если не *de jure*, поскольку в глазах закона все имущество крепостного было собственностью помещика, то *de facto*, потому что таков был обычай, нарушить который помещик мог только с большим для себя риском.

В то же время, подобно рабу, крепостному приходилось целиком полагаться на милость помещика в том, что касалось его повинностей. Власть помещиков над крепостными неуклонно росла, и к восемнадцатому веку она мало чем стала отличаться от власти рабовладельцев.

Крепостное право появилось в России во второй половине шестнадцатого века и было юридически закреплено Уложением 1649 года. Это было неизбежное следствие возложенной на землевладельцев обязанности нести государеву службу. Как мы уже отметили, в Московской Руси ценилась не земля, имевшаяся в изобилии, а рабочая сила, необходимая для ее возделывания. Крестьянское население между тем было весьма подвижным. Награждать за государеву службу вотчинами и поместьями было бы пустым делом, если бы на этих землях никого не было для их обработки; московские дворяне часто жаловались, что их земли широкими полосами лежат как пустоши, потому что некому их обрабатывать. Откликаясь на эти сетования, царская власть постепенно ограничивала передвижения крестьян и в конце концов полностью их запретила. По словам русского историка права, “крестьяне прикреплены к имениям дворян, потому что дворяне прикреплены к обязательной службе государству”⁶⁹.

Стало быть, в том, что касается статуса сельского населения, как равно и земельной собственности, развитие России шло путем, противоположным западному. К концу Средневековья там крепостные становились свободными, здесь свободные люди превращались в крепостных.

6. Петр Великий

Принято считать, что в деле вестернизации России Петр Великий превзошел всех прочих царей. Эта репутация заслужена им постольку, поскольку речь идет о глубоких переменах в культуре и образе поведения высшего класса — того класса, к которому в начале его царствования принадлежали, вероятно, тридцать тысяч человек в стране с населением от пяти до семи миллионов⁷⁰. Добился он этого, отправляя дворян учиться на Западе и заставляя их усваивать западные манеры и покрои одежды. Но внимательно присматриваясь к его политическим шагам и социальным мерам, приходишь к выводу, что он не только сохранил неизменными привычные для Московии порядки и приемы действий, но и, подняв их эффективность, еще больше отдалил Россию от Запада. Во многих отношениях царствование Петра стало апогеем вотчинного правления царизма. Обязательная государственная служба, землевладение, обусловленное несением этой службы, и крепостное право, позволявшее ее, эту службу, нести, — все было усовершенствовано с целью извлечения наибольших выгод для вотчинного самодержавия. Произвол царской власти рос, а не сокращался.

Петр уничтожил остатки правовых различий между вотчинами и поместьями, преобразовав все земельные владения в “недвижимое имущество”, которое со временем стало именоваться поместьем. Эта мера не более чем узаконила те сдвиги, что и так происходили в течение семнадцатого века. Поскольку поместья на деле передавались по наследству, а на обладателей вотчин ложилась обязанность нести службу, различия между двумя видами землевладения смазывались. В 1714 году, формально объявив поместья наследуемыми владениями, Петр устранил последние из этих различий. Сделано это было в указе о порядке завешания наследникам земельной собственности. Обеспокоенный тем, что обычай делить землю между сыновьями равными долями ведет к обеднению и служилых людей, и крестьянства, Петр распорядился, чтобы по завещанию земля отходила только одному сыну (не обязательно старшему). Ни вотчины, ни поместья не подлежали продаже, разве что по крайней необходимости и с уплатой особого налога⁷¹. Эта попытка предотвратить дробление земельных владений устанавливала ограничения прав завещателя, ранее в России не существовавшие и вступающие в противоречие с традицией,

что и послужило причиной их отмены в 1730 году*. Хотя некоторые дворяне сочли, что своим указом царь отдал им их имения в полную собственность, на деле этот закон еще больше закрепил над ними царскую власть, поскольку обязал их выбирать себе единственного наследника⁷².

В царствование Петра и его непосредственных преемников правовая защита экономического благополучия российских землевладельцев была поставлена ничуть не лучше, чем прежде. В первой половине восемнадцатого века множество поместий перешло в царскую собственность в порядке наказания их владельцев за такие провинности, как неявка на государеву службу (то есть невыполнение обязанности, которую Петр распространил и на дворянских сыновей, подлежащих записи в школу по достижении десятилетнего возраста), нерадивость в исполнении долга, присвоение государственного имущества, политическое вольнодумство или просто впадение в немилость. Действительно, в этот период (примерно с 1700 по 1750 год) гораздо больше поместий было конфисковано, чем роздано: из 171 тысяч крестьянских “душ”, которые достались дворянам в эти полвека, лишь 23,7 тысяч попали к ним из царских владений; остальные были приписаны к помещичьим землям, изъятым и переданным новым владельцам**. Такого рода реквизиции были столь обычным делом, что в 1729 году в Санкт-Петербурге была даже учреждена Канцелярия по конфискациям — учреждение, которому нет, наверное, примера в истории институтов государственного управления.

Петр Великий сильно утяжелил лежавшее на населении налоговое бремя. В 1718 году он ввел “подушную подать”, кото-

* *ПСЗ*, т. VII, № 5653, 9 декабря 1730 г. С. 345–347. В этом указе отмечалось, что закон 1714 года не только несправедлив, но и не может быть проведен в жизнь, потому что некоторые дворяне с целью равного распределения наследства между детьми продавали свои поместья, поскольку деньги и другое движимое имущество под действие закона 1714 года не подпадали. Такие действия подсказывают, что действительность расходилась с теорией, то есть возможность обойти запрет на продажу недвижимости существовала даже в начале восемнадцатого века.

** В. Якушкин. *Очерки по истории русской поземельной политики в XVIII и XIX вв.* М., 1890. С. 5; Е. И. Индова в кн. Е. И. Павленко. *Дворянство и крепостной строй России XVI–XVIII вв.* М., 1975. С. 279–280. “Душой” именовался простолюдин мужского пола, с которого взималась “подушная” подать.

рую должны были платить все взрослые простолюдины мужского пола; до его отмены в конце девятнадцатого столетия этот налог оставался важнейшим источником доходов государства. Размер подлежавшего уплате налога определялся расчетным путем: устанавливали сумму денег, потребных для содержания армии и флота, и делили ее на число взрослых мужчин-простолюдинов. Ни с кем эти вопросы не обсуждались.

В восемнадцатом веке все еще не было никакой общей государственной казны, и многие правительственные чиновники занимались сбором средств на собственные нужды. Должность государственного казначея впервые была учреждена Павлом I в самом конце восемнадцатого века.

При Петре Великом государство предъявило права на имущество, статус которого оставался в Московии неопределенным. Все, по существу, товары, находившиеся в торговом обороте, были объявлены государственной монополией. С целью обеспечить достаточные поставки деловой древесины на строительство военного флота, Петр в 1703 году постановил, что леса принадлежат государству, а не тем, на чьей земле они растут. Землевладельцы, допускавшие порубку деревьев определенных пород, подвергались штрафам; “за дуб, будь кто хотя одно дерево срубит... учинена будет смертная казнь”*. В 1704 году казенной монополией были объявлены рыбные ловли, пасеки и дикие пчельники. Тогда же в государственную собственность были взяты все мукомольни⁷³. Государство предъявило свои права и на все, что скрывалось в недрах частных помещичьих земель (металлические руды и другие минералы)**. В царскую собственность были также обращены бани и ямские дворы⁷⁴.

* ЛСЗ, т. IV, № 1950, 19 ноября 1703 г. С. 228; В. Якушкин. Указ. соч. С. 16-37. Этот указ, отмененный Екатериной II в 1782 году (см. ниже, стр. 249), бы подобен изданному в 1559 году королевой Елизаветой закону, который, допуская исключения только для нужд металлургической промышленности, запрещал рубку дубов и других деревьев в пределах четырнадцати миль от судоходных рек. [James A. Williamson, *The Tudor Age* (London and New York, 1979), 274.]

** В. Якушкин. Очерки... I. С. 38-44. В английском праве господствовал принцип, согласно которому “собственность на землю простирается вверх до бесконечности, а вниз до центра земли”. Но лишь в 1688/89 годах Англия признала собственностью землевладельцев обнаруженные в их владениях минералы, кроме золота и серебра. [P. S. Atiyah, *The Rise and Fall of the Freedom of Contract* (Oxford, 1979), 87.]

Свою монополию государство установило и на то, что сегодня называется интеллектуальной собственностью и регулируется авторскими правами и патентами. До 1783 года исключительное право издавать книги принадлежало в России правительству и церкви: “В отличие от западноевропейских стран, где со времени возникновения книгопечатания типографии находились в частных руках и издание книг было делом частной инициативы, в России книгопечатание с самого начала являлось монополией государства, которое определяло направление издательской деятельности...”⁷⁵

Но даже с передачей книгопечатания в частные руки царское правительство осуществляло жесткую цензуру всех печатных изданий, и требовалось государственное одобрение любой рукописи до ее отправки в типографию; этот порядок предварительной цензуры, в новое время существовавший только в России (и восстановленный коммунистами вскоре после их прихода к власти), был в 1864 году заменен значительно более мягкой “карательной” цензурой после публикации. Первый российский закон об авторском праве (1828) появился в связи с изданным тогда законом о цензуре, который давал авторам исключительные права на их произведения при условии соблюдения цензурных требований. Двумя годами позже правительство признало опубликованные работы частной собственностью авторов⁷⁶. Первые законы о патентах были изданы в России в 1833 году — через два столетия после их появления в Англии и на полвека позже, чем во Франции и Соединенных Штатах.

Действия Петра в отношении простолюдинов, не связанных с сельским хозяйством, то есть в отношении купцов, мещан и нарождавшегося класса промышленных рабочих, также никоим образом не расширяли ни их гражданских прав, ни прав собственности.

Усилия, предпринимавшиеся Петром для индустриализации России, направлялись тем же вотчинным образом мысли, который руководил его обращением со служилыми землевладельцами. Он запретил частным лицам строить фабрики без разрешения Мануфактур-коллегии, которой принадлежала монополия на промышленные предприятия; нарушители запрета рисковали потерей своих заведений⁷⁷. Видных купцов призывали на службу и заставляли заниматься развертыванием государственных производств. На

развитие промышленности Петр смотрел как на службу, и наглядным примером такого его подхода к делу является история московского Суконного двора. Основанное в 1684 году голландцами как государственная мануфактура для снабжения армии сукном, это предприятие не оправдало надежд Петра и было передано в руки частной “Купеческой компании”, первой в России компании, устроенной на основе правительственной концессии. Правление составили из видных купцов, собранных по высочайшему указу из разных концов страны. Им, доставленным в Москву в сопровождении вооруженной охраны и получившим из казны первоначальный капитал, велено было поставлять государству потребное количество ткани по себестоимости; излишками они могли торговать к своей вящей выгоде. Пока они вели дело так, что правительству это было по нраву, заведение считалось их “наследственной собственностью”, но на случай сбой власть сохраняла за собой право фабрику отобрать, а их самих наказать⁷⁸. Этот пример показывает, что в глазах правительства Петра мануфактуры были теми же поместьями и что его промышленная политика не внесла никакого вклада в развитие в России прав собственности. Все это сильно отличалось от происходившего в Англии, где уже в тринадцатом веке существовали компании, созданные на основе правительственной концессии и действовавшие ради собственной выгоды⁷⁹.

Тем же интересам государства была подчинена политика Петра в отношении промышленных рабочих. В его царствование рабочие мануфактур и рудников состояли главным образом из изгоев общества (осужденных, внебрачных детей, бродяг, проституток и т. п.) и частично из государственных крестьян, специально согнанных на производство. Указ 1721 года разрешил дворянам и купцам покупать населенные поместья и навечно закреплять их обитателей за своими фабриками⁸⁰. До отмены этого указа в 1816 году фабричные рабочие и рудокопы, именовавшиеся “посессионными крестьянами”, были постоянно прикреплены к своим предприятиям точно так же, как крестьяне-земледельцы к земле.

Статус сельского населения в царствование Петра существенно понизился. Несколько его низших социальных групп, сумевших в условиях Московского государства избежать крепостной кабалы, влились теперь в общие ряды кре-

постных крестьян. Новоучрежденная “подушная подать” стала отличительным знаком низкого социального положения. Еще одним петровским нововведением стала взваленная на крепостных повинность отбывать службу в постоянной армии.

В 1721 году государство забрало себе земли, принадлежавшие церквям и монастырям.

7. Екатерина Великая

Частная собственность на землю и другое производственное имущество, наряду с гражданскими правами для привилегированного меньшинства, появились в России во второй половине восемнадцатого века.

Первым ударом колокола, возвестившим конец вотчинного режима, был указ Петра III, изданный в 1762 году и навсегда освободивший российское дворянство от обязательной государственной службы⁸¹. Одним росчерком пера — и, судя по всему, мимоходом — новый император упразднил то, что стараниями его предшественников создавалось в течение трехсот минувших лет. Указ не произвел немедленных перемен в политическом и социальном строе страны, потому что дворяне в огромном своем большинстве были слишком бедны, чтобы им воспользоваться⁸². У большинства не было ни земли, ни крепостных; из тех же, кому посчастливилось иметь и то, и другое, 59 процентов были владельцами менее двадцати душ и лишь у 16 процентов было более ста крепостных, что считалось минимумом, который мог обеспечить жизнь сельского барина. У большинства дворян не было поэтому иного выбора, кроме как остаться на государственной службе и жить на приносимое ею жалованье. Тем не менее был установлен новый важный принцип: отныне в России появился класс свободных подданных, не зависевших от государства.

Указ 1762 года не придал определенности статусу земли и работающих на ней крепостных. Его можно было истолковать таким образом, что он передает поместья дворянам в полную собственность, поскольку от покидавших службу не требовалось расставаться с их земельными владениями. С любой практической точки зрения, хотя пока и не юридически, земля принадлежала им теперь без всяких усло-

вий. В 1752 году императрица Елизавета повелела произвести общую опись земли и установить границы городов, деревень и поместий, что могло бы завершиться признанием помещиков собственниками их земли *de facto*. Однако эта работа не начиналась вплоть до 1765 года. Владельцы поместий, от которых в подтверждение их прав не требовалось никаких документов, были *de jure* признаны собственниками их земель⁸³. В 1769 году правительство, откликаясь на жалобу одного помещика и используя довольно неуклюжие выражения, постановило, что “все владельческие земли... принадлежат собственно владельцам”⁸⁴. Два манифеста, изданные в 1782 году, устанавливали, что “права собственности” владельцев поместий не ограничиваются поверхностью земли, но распространяются и на ее недра, на водоемы и леса⁸⁵. В этих указах принадлежность земли дворянам выглядит как нечто само собой разумеющееся, и они свидетельствовали, что права на землю в России из владения стали перерастать в собственность.

Права дворянской собственности на землю были формально подтверждены в 1785 году Екатериной II в “Грамоте на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства” — одном из тех законодательных актов, которые имели самые богатые последствия в российской истории⁸⁶. Грамота признавала за дворянами полную собственность на их земельные владения и к тому же гарантировала им гражданские права. Произошло это примерно через шестьсот лет после того, как такие права даровала своим подданным английская монархия. Для столь резкой перемены в отношении к институту, в котором до того российская монархия не замечала ничего, кроме угрозы своей власти, имелись как политические, так и идеологические причины.

Екатерине, которая получила престол в результате переворота, стоившего жизни ее мужу, Петру III, ей, которая чувствовала себя узурпаторшей и к тому же была иностранкой, собственное положение представлялось крайне ненадежным. Она сознательно — и безуспешно — добивалась упрочения своей власти, привлекая на свою сторону дворянство за счет других общественных групп. С целью укрепления трона она вступила в своего рода партнерство с землевладельцами. Нужда в таком союзе стала особенно острой в связи с крестьянским бунтом 1773—1775 годов под водительством

казака Емельяна Пугачева. Этот мятеж заставил Екатерину осознать, сколь непрочной была власть ее правительства над обширными пространствами государства, и убедил ее опереться на дворян как на вспомогательные кадры администрации, которым была вручена практически безграничная власть над крестьянством.

Как она усвоила из наказов, представленных Законодательной комиссии, которую она созвала в 1767 году с целью дать России новый свод законов, главным источником недовольства дворян был юридически шаткий статус их поместий. Московское дворянство, например, требовало, чтобы “на собственные родовые и благоприобретенные имения с точностью определено было право собственности”. Другие наказания настаивали на подтверждении, что своей недвижимостью дворяне владели на тех же правах собственности, как и прочим личным имуществом⁸⁷. Была создана комиссия для рассмотрения этих вопросов. Она предложила признать за дворянами, и только за ними, право абсолютной собственности на их имения и одновременно ограничить права простолудинов⁸⁸. Эти рекомендации были учтены в грамоте 1785 года.

Понимание интересов государства и личные устремления императрицы находили себе опору в тогдашних течениях западной мысли, с которыми много читавшая Екатерина хорошо была знакома и представители которых в частной собственности усматривали основу процветания. Как и Петр Великий, Екатерина сознавала большое значение экономики для могущества и престижа страны; но в отличие от Петра, последовавшего установкам меркантилизма с его упором на руководящую роль государства, она подпала под влияние физиократов и их доктрин экономического либерализма. Теории физиократов, которые относили частную собственность к разряду главнейших естественных прав, а сельское хозяйство считали основным источником богатства, сыграли свою роль в том, что она склонилась к введению в России частной земельной собственности.

При Екатерине *собственность* проникла в словарь официальных документов как русский перевод немецкого Eigentum (Eigendum), слова, которое в Германии вошло в обиход еще в 1230 году⁸⁹. В 1767 году *собственность* появилась в Наказе генерал-прокурору, устанавливавшем руководящие принципы подготовки нового свода законов; Екатерина определяла

здесь задачу гражданского права, указывая, что оно “сохраняет и в безопасность приводит собственность каждого гражданина”⁹⁰. В статьях 295 и 296 Наказа 1767 года говорилось: “Не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ничего собственного.

Сие основано на правиле весьма простом: “Всякий человек имеет более попечения о своем собственном, нежели о том, что другому принадлежит; и никакого не прилагает старания о том, в чем опасаться может, что другой у него отымет”⁹¹.

Ключевая статья (22) грамоты о правах (Жалованной грамоты дворянству) гласила: “Благородному свободная власть и воля оставляется, быв первым приобретателем какого имения, благоприобретенное им имение дарить, или завещать, или в приданые или на прожиток отдать, или передать, или продать, кому заблагорассудит. Наследственным же имением да распоряжает инако, как законами предписано”^{*}.

Важным нововведением было включенное в грамоту положение о том, что наследственное имение дворянина “в случае осуждения и по важнейшему преступлению, да отдается законному его наследнику, или наследникам” (статья 23). С этого времени собственность дворян не подлежала изъятию иначе, как по приговору суда^{**}. Дворяне получали право строить фабрики и вести торговлю в своих деревнях (статьи

* Последняя оговорка отдавала дань старинной традиции, предоставлявшей родственникам наследственной вотчины право в течение сорока лет выкупать проданные на сторону земли. Указанные в статье 22 ограничения оставались юридически не определенными до 1823 года. [В. Н. Латкин. Учебник истории русского права периода империи. 2-е изд. СПб., 1909. С. 538–539.] Сложные правила завещательного распоряжения наследственной (или вотчинной) собственностью, действовавшие в восемнадцатом и девятнадцатом веках, и попытки российских юристов добиться их пересмотра в пользу права полной личной собственности рассматривает William G. Wagner [*Marriage, Property, and Law in Late Imperial Russia* (Oxford, 1994), 227–377].

** И все же уважение к закону стояло в России так низко, что в царствование внука Екатерины Александра I, когда правительству потребовались обширные земли для создания военных поселений, помещиков, чьи имения оказывались на этих землях, без разговоров изгоняли из их владений и наделяли землей в других краях. [Richard Pipes, *Russia Observed* (Boulder, Colo., 1989), 88.]

28–29) а также обзаводиться недвижимостью в городах (статья 30) Была подтверждена их свобода от личного налогообложения (статья 36), и они были освобождены от обязанности принимать солдат на постой в своих деревенских усадьбах (статья 35).

Хотя Екатерина последовала наставлениям физиократов лишь применительно к высшему классу, от нее, как и от некоторых ее наиболее мыслящих современников, не укрылось, что те же меры могут быть полезны и в отношении крестьянства. С середины восемнадцатого века стали высказываться соображения, что крестьяне будут работать производительнее и вести себя спокойнее, если получат волю и права собственности на возделываемую ими землю⁹². На международном конкурсе, который по инициативе императрицы был проведен в 1766 году Санкт-Петербургским Вольным Экономическим обществом, за лучший ответ на вопрос о том, следует ли крестьянину быть собственником обрабатываемой им земли, первый приз был присужден французу Беарду де Л'Аббе, ответившему утвердительно на том основании, что сотня крестьян-собственников способна произвести продукции больше, чем две тысячи крепостных⁹³. В Законодательном собрании противники крестьянского землевладения не отрицали преимуществ собственности, но утверждали, что если крестьяне получат права на землю, они скоро ее потеряют и останутся без средств к существованию⁹⁴.

В своем Наказе Екатерина давала понять, что было бы полезно даровать права на землю крепостным (которых она *называла рабами*). В ее бумагах была найдена записка с предложением, чтобы все российские подданные, родившиеся в 1785 году (в год издания Жалованной грамоты дворянству) и позже, считались свободными людьми. Она также набросала так и оставшийся без движения проект предоставления государственным крестьянам права на приобретение в собственность пустующих земель⁹⁵.

В результате всех этих дискуссий и предложений в России впервые был поднят вопрос о крепостном праве и попутно вопрос о праве простолюдинов на частную собственность. Инициатива в обоих случаях исходила от престола. Если влиятельные верхи были настроены идти именно таким путем, а крепостных, тем не менее, не освобождали и землю им не давали, то происходило это потому, что соображения госу-

дарственной безопасности, которые требовали сохранения поддержки со стороны дворянства, перевешивали заботу о хозяйственном развитии. Лишь столетие спустя, разглядев в крепостном праве угрозу государственной безопасности, царизм решился на освобождение крестьян.

Вместе с правами собственности пришли и права личности.

Согласно Жалованной грамоте 1785 года, дворяне не могли быть лишены жизни, звания или имущества иначе, как по приговору равных себе по сословию (статьи 2, 5, 8, 10–12). Они были освобождены от телесных наказаний (статья 15)*, и им разрешалось выезжать за границу, равно как и поступать на службу иностранных государств (статья 19). Грамота подтверждала, что дворяне не обязаны нести государственную службу, кроме как в случаях угрозы национальной безопасности (статья 20). Первые тридцать шесть статей Жалованной грамоты дворянству поистине представляли собой закон о правах, который впервые создавал в России класс людей, пользовавшихся гарантиями на жизнь, личную свободу и собственность.

То была мера революционная в fullest и самом конструктивном смысле, и она задала направление развитию России на следующие 130 лет. В целом эта Грамота принесла стране гораздо большее обновление, чем поверхностные усилия по части вестернизации, предпринятые Петром Великим, который копировал западные приемы и манеры, но не принимал во внимание дух западной цивилизации. Да, екатерининская Жалованная грамота дворянству наделяла правами и свободами лишь незначительное меньшинство населения; но как показывает история Запада, всеобщие права и свободы обычно берут свое начало в привилегиях меньшинства. Доказано, что это самый надежный путь к распространению свободы и прав, потому что он приводит к росту социальных групп, заинтересованных в защите связанных с ними преимуществ. Так, древние Афины, родина идей и институтов современной демократии, наделяли свободами состоявшее из землевладельцев меньшинство и от-

* Сын и преемник Екатерины Павел I лишил это положение силы, введя телесные наказания для дворян, повинных в преступлениях. Таких людей лишали их благородного звания, а тем самым и преимуществ, предусмотренных Жалованной грамотой.

казывали в них рабам и чужестранцам по рождению, хотя лица свободных профессий в этом городе-государстве чаще всего не были местными уроженцами. Великая хартия вольностей, краеугольный камень здания английских свобод, была феодальной грамотой, изданной во благо баронов, а не нации в целом. В ней подчеркивались исключительные предпочтения: “Свободы всегда предоставлялись определенным лицам или определенным местностям; в них не было никакой всеобщности, никакого общенационального измерения. Это были конкретные привилегии для некоторых, но не для большинства... Именно потому, что это были привилегии для немногих, а не права для всех, составители Великой хартии придавали вольностям такое большое значение”⁹⁶.

То же относится и к жителям западноевропейских городов, вырвавшим для себя у королей и землевладельцев привилегии и права, которые во многом заложили основу современных свобод, но первоначально также были исключительными привилегиями⁹⁷. Свобода слова берет свое начало в исключительном праве, которое английская корона примерно в пятнадцатом веке даровала членам палаты общин⁹⁸. Привилегии немногих избранных судьбы в дальнейшем служат примером для остального населения. Поэтому, раз уж знакомство России с принципом абсолютной частной собственности состоялось, превращение его во всеобщее право было только делом времени.

После всего сказанного следует, однако, заметить, что введение в России земельной собственности имело для страны смешанные последствия, потому что приобреталась эта собственность за счет крепостных. Хотя в грамоте 1785 года речь шла только о земле, а о крепостных не было и упоминания, последствием стало то, что крестьяне, поскольку они были прикреплены к земле, превратились в частную собственность своих помещиков. Владельческие крестьяне составляли к тому времени приблизительно треть населения страны. Поскольку царское правительство ни пределов власти помещиков над их крестьянами не устанавливало, ни роли защитника интересов крепостных на себя не брало, оно по существу передало треть населения в распоряжение частных лиц. Неудивительно, что, беседуя с французским философом Дени Дидро, Екатерина называла крепостных “подданными” их хозяев⁹⁹.

Стало быть, частная собственность в России послужила выражением не только свободы и прав для некоторых, но и усилившейся зависимости для многих. Для крепостных частная собственность становилась чем угодно, только не силой освобождения, и этот исторический факт негативно повлиял на отношение к собственности в России. Говоря словами Ричарда Уортмэна, “с самого своего появления право собственности (в России) стало отождествляться с укреплением дворянской власти над крестьянами и мерзостями крепостного строя... Права собственности, дарованные царским режимом, принимались за одно целое с его деспотической властью”¹⁰⁰.

Более того, как увидим, наделение дворянства правами собственности оказалось серьезнейшим препятствием для отмены крепостного права. Ибо и в жизни, и по закону на крепостных после 1785 года смотрели как на собственность помещиков: Михаил Сперанский, главный министр Александра I, держался этого взгляда и выражал его в составленном им в 1809 году проекте государственного преобразования¹⁰¹; так понимал дело и Сергей Ланской, министр внутренних дел в начале царствования Александра II, когда всерьез развернулись разговоры об освобождении крепостных¹⁰².

В восемнадцатом веке помещики приобрели по существу неограниченную власть над своими крепостными. Перед ними помещики имели одну-единственную обязанность — кормить в случае неурожая. За пределы их власти выходили лишь три действия: нельзя было отнять у крепостного жизнь, нельзя было бить его кнутом (этот вид кары часто был равнозначен смертной казни), нельзя было подвергать его пыткам. Полномочия же помещиков включали в себя¹⁰³:

1. Право пользоваться трудом крепостного по своему усмотрению. Было несколько попыток склонить помещиков к определению трудовых обязанностей их крепостных, но эти начинания никакими установлениями оформлены так и не были.

2. Право продавать крепостных. На сей счет существовала некоторая двусмысленность. Петр Великий хотя и осуждал продажу крепостных в отрыве от земли (“как скотину”), все же никаких законодательных запретов на подобные действия не установил и по существу сам их поощрял, разрешая дворянам продавать крестьян другим дворянам для поставок их в рекруты¹⁰⁴. И так, вплоть до 1843 года, когда это было за-

прещено, крепостных обычно продавали и покупали вместе с семьями, но иногда и поодиночке. У помещиков было также право (с разрешения властей или суда) переводить крестьян из одного имения в другое, сколь угодно удаленное, и богатые землевладельцы перемещали своих крепостных тысячами.

3. Право принуждать крепостных к вступлению в брак против их воли.

4. Право наказывать крепостных любым способом, включая лишение жизни. Поскольку, однако, не существовало никакой реальной возможности проследить, что происходит в поместьях, широко разбросанных на просторах империи, это ограничение означало не более чем пожелание.

5. Право ссылать крепостных в Сибирь на поселение (с 1760 года)¹⁰⁵ и на каторгу (с 1765 по 1807 год)¹⁰⁶. Помещики могли также отправить крепостных на пожизненную военную службу.

6. Законное право на все имущество крепостных. Крепостной мог приобретать собственность, но только с разрешения хозяина-землевладельца и только на его имя.

Если крепостные в России даже в наихудшие для них времена, то есть в царствование Екатерины Великой, не опустились все же до положения черных рабов в Америках, то причину этого следует искать в отсталости российской экономики и в сдерживающем влиянии обычая.

В отличие от работавших на рынок рабовладельческих плантаций в Вест-Индии и на юге Соединенных Штатов, российские поместья были преимущественно самодостаточными домашними хозяйствами, которые сами потребляли большую часть того, что производили. Управлялись они поэтому не столь взыскательно. Русский помещик не думал о том, чтобы налаживать производство и приставляя к крестьянам надсмотрщиков, выжать из своих работников все, на что они только могут быть способны. Если крестьяне были повинны ему барщиной, это ставило его требованиям естественный предел, потому что крепостного, лишено возможности работать и на своем поле, пришлось бы кормить. Не было особой заинтересованности и в получении избытков продукции, поскольку сбывать было негде. Как правило, русские крепостники больше заботились о надежности своих доходов, чем об их приращении, и поэтому не мешали крестьянам заниматься своими делами. На личное имущество крестьян и пло-

ды их труда смотрели, за малыми исключениями, как на их собственность*.

Более того, известны случаи, когда помещики помогали своим крепостным обходить закон, разрешая им покупать земли на свое собственное имя, даже земли, населенные другими крепостными; крепостные одного из богатейших российских землевладельцев графа Шереметева сами владели более чем шестью сотнями крепостных¹⁰⁷. Наконец, крепостных “облагали налогами и призывали на военную службу, то есть обременяли их обязанностями не самими, конечно, радостными, но и на повинности рабов не похожими”¹⁰⁸.

Другим ограничителем помещичьей власти над крепостными была деревенская община. Землевладелец был заинтересован в том, чтобы поддерживать власть общины, поскольку за счет коллективной ответственности она обеспечивала сбор подушной подати, за которую с него спрашивало государство, и ренты. Община, в свою очередь, могла при необходимости защитить крестьянское хозяйство от покушений со стороны помещика. Устанавливалось поэтому некое равновесие между теоретически беспредельной властью землевладельца и существовавшими *de facto* ограничениями, которые налагала экономическая действительность, обычай и община; такого рода сдерживающие обстоятельства начисто отсутствовали на плантациях, применявших рабский труд.

У частной собственности, которую воспринимали как корыстную льготу для немногих, а не как коренное право человека, и которая, более того, приобреталась за счет миллионов бесправных людей — у такой частной собственности даже среди консерваторов и либералов в царской России сторонников оказалось мало. Широко было распространено мнение, что она противостоит и свободе, и социальной справедливости. На протяжении последних ста лет существования

* По поводу Наказа, в котором Екатерина говорила о желательности передать крестьянам землю, которую они возделывают (статья 295), вожь консервативного дворянства князь М. М. Щербатов писал: “Российские крестьяне хотя есть рабы своим господам, хотя они имеют права и на имения их, но собственной своей пользою побуждены, никто имения и земли своих крестьян не отнимает, и крестьяне до нынешних времен и не чувствовали, что сие не собственное их было, а втвержение таких мыслей произвело различные бунты, яко ныне пугашевский, и убийство великого числа помещиков...” [М. М. Щербатов. Неизданные произведения. М., 1935. С 55–56.]

царизма российские либералы и либерал-консерваторы напирали на то, что право является основой свободы, но не сумели разглядеть связи между правом и частной собственностью. Среди теоретиков и публицистов заключительного периода имперской эры трудно найти кого-либо, готового отстаивать частную собственность как естественное право и основу политической свободы*. Не нашлось пока в России и ни одного историка, который счел бы нужным исследовать историю частной собственности в своей стране.

Русские крестьяне никогда не признавали землю принадлежащей кому бы то ни было, кроме как государству, то есть царю, и поэтому никогда не мирились с установлениями Жалованной грамоты 1785 года, которые отдавали землю дворянам, освобождая их при этом от обязательной государственной службы¹⁰⁹. С точки зрения крестьян, грамота лишала крепостное право всяких оснований, поскольку их предков для того и обращали в крепостную неволю, чтобы дать знатым людям возможность выполнять свой долг перед царем. Действительно, “крестьяне понимали тягло не как ренту верховному собственнику земли, а как выпавший на их долю способ служения Государству”¹¹⁰. Почему же они по-прежнему должны служить, если с их хозяев эта обязанность снята?

Екатерина ввела также частную собственность на городскую недвижимость. “Грамота о правах и выгодах городов Российской империи”¹¹¹, изданная одновременно с грамотой дворянству, объединила всех российских горожан в единую корпорацию, возложив на них равные обязанности и одинаково подчинив тем же административным и судебным властям. Должность градоправителя стала выборной (статья 31). Городское население было поделено на два сословия — купцов (крупных торговцев) и мещан (ремесленников и мелких торговцев). Последние по своему статусу напоминали казенных крестьян в том отношении, что они коллективно несли те же повинности, но, накопив достаточно денег, могли пере-

* Примечательное исключение составлял либерал Борис Чичерин. [См. его “Собственность и государство”, 2 тома (Москва, 1882–83).] Но Чичерин, человек обширнейших знаний и автор произведений, написанных пышным слогом, мало влиял на общественное мнение, в значительной мере потому, вероятно, что непопулярны были его взгляды. [Об отношении русских мыслителей к собственности см.: К. Исупов и И. Савкин, ред. Русская философия собственности XVIII–XX вв. СПб., 1993.]

меститься в разряд купцов. Купцы, статус которых определялся размерами их капитала, пользовались различными торговыми привилегиями. Горожанам обоих сословий грамота предоставляла право владеть и беспрепятственно пользоваться движимой и недвижимой собственностью (статья 4). Дворяне, имевшие городскую недвижимость, в административном отношении ничем не отличались от простолюдинов, но не платили налогов и не несли тягловых служебных повинностей (статья 13). Формально города получали самоуправление, но на деле оставались под приглядом правительства¹². Первая же статья Грамоты объявляла, что новые города могут строиться только по плану, одобренному ее величеством.

Вскоре выяснилось, что городская культура не может быть создана повелением властей. Русские города развивались медленно, потому что ничтожно мал был объем торговли: еще в середине девятнадцатого столетия примерно из тысячи поселений, отнесенных к разряду городов, в 878 насчитывалось менее 10 тысяч жителей в каждом и лишь в двух свыше 150 тысяч*. В последние десятилетия существования старого порядка большинство городского населения России составляли крестьяне-коробейники и люди, занятые поиском хоть какой-нибудь работы. Русские города кишели пришельцами из деревни, не имевшими ни узаконенного статуса городских жителей, ни постоянного занятия: около 1900 года почти две трети обитателей двух крупнейших городов России, Санкт-Петербурга и Москвы, были крестьянами с временным видом на жительство¹³.

Обладание частной собственностью на имущество, отличное от земли, поощрялось законами, которые были приняты в середине восемнадцатого века под влиянием учения физиократов. Это привело к отмене множества действовавших со времен Петра Великого государственных монополий на промышленное производство и торговлю. В 1762 году Петр III устранил большинство ограничений на торговлю, включая и составлявшую царскую прерогативу торговлю хлебом. В 1762

* Peter [sic] Miliukoff in *Vierteljahreschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte* XIV, No. 1 (1916), 135. Говоря словами Макса Вебера, “до отмены крепостного права такой город, как Москва, напоминал большой восточный город приблизительно эпохи Диоклетиана: там расходовались деньги землевладельцев и крепостников и доходы с государственных учреждений”. [*Grundriss der Sozialökonomik: III, Wirtschaft und Gesellschaft*, 3. Aufl., Band 2 (Tübingen, 1947), 585.]

и повторно в 1775 году Екатерина II сняла запреты на нелегализованное промышленное производство, разрешив своим подданным всех сословий основывать фабрики. Более всего от этих мер выиграли дворяне, использовавшие свое положение людей, свободных от налогообложения и имеющих доступ к рабочей силе крепостных (обладание которыми стало их исключительной привилегией), чтобы заняться промышленным производством и коммерцией. Вскоре большая часть промышленных производств России сосредоточилась в деревне, в дворянских имениях или по соседству с ними. Крепостные также кое-что выиграли от новых экономических свобод, потому что в расчете на более высокие барыши помещики поощряли их братья за работы, отличные от сельскохозяйственного труда. В первой половине девятнадцатого века некоторые секторы российской промышленности, как и розничной торговли, оказались в руках крепостных. Иные из них стали миллионерами. С точки зрения закона предприниматели, находившиеся в крепостной неволе, не имели никакой гарантии своих прав собственности: помещики могли забрать и порой действительно забирали себе их имущество¹¹⁴. Но такое происходило лишь в исключительных случаях. В целом же законы, передавшие промышленность и торговлю в частные руки, стимулировали развитие в России частной собственности, хотя наибольшая выгода от этого досталась не городскому среднему классу, а помещику и крестьянину.

Следующим шагом на пути разложения вотчинного режима было давно ставшее необходимою отделением коронной собственности от государственной. Традиционно в России то и другое воспринималось как нечто единое: налоговые поступления и доходы от государственных земель сливались вместе и расходовались по мере надобности — будь то на вооруженные силы или на содержание двора. С такой, присущей средневековому способу правления, системой в Англии было покончено при короле Генрихе VIII между 1530 и 1542 годом, когда по-домашнему устроенное хозяйствование уступило место деятельности государственных управляющих-бюрократов¹¹⁵. В соседней с Россией Польше доходы короля и королевства были разделены в 1590 году¹¹⁶. В России такой раздел состоялся лишь двумя веками позднее. В 1797 году Павел I передал коронные земли в ведение особого учреждения департамента уделов. Члены императорской фамилии, обладав-

шие правами наследования престола, получали доходы из государственной казны, прочие содержались за счет дворцовых земель¹¹⁷.

8. Освобождение крестьян

До середины девятнадцатого века русское крестьянство распалось на две большие группы крестьян государственных и владельческих. Те и другие платили подушную подать и представляли рекрутов в армию. Те и другие обязаны были также предоставлять государству средства передвижения и фураж, перевозить почту, брать на постой войска и следить за состоянием дорог и мостов¹¹⁸. Ни те, ни другие не владели землей, на которой они работали: государственные крестьяне обрабатывали землю, принадлежавшую либо государству, либо царскому дому, крепостные — землю своих хозяев. По численности эти две группы были приблизительно равны.

Обремененные множеством одинаковых повинностей, государственные и дворцовые крестьяне находились все же в несколько лучшем положении, потому что, оставаясь такими же крепостными правительства и его чиновников, они жили и работали, не подвергаясь неусыпному надзору помещика и его приказчиков. Они имели также возможность пользоваться преимуществами, которые давало особое положение их хозяина — царствующего дома. После 1800 года под влиянием распространившихся на Западе настроений в пользу отмены крепостной зависимости она и в глазах верхушки российского общества предстала злом, дни которого сочтены. Но в тех же высших кругах утвердилось мнение, что спешить со столь крутой мерой, как отмена крепостного права, не следует. Сохранение крестьян в крепостной неволе считалось важным для безопасности и стабильности страны, поскольку от него зависело благополучие дворянства, опоры монархии. Считалось, что крепостные не были готовы к обретению свободы. Поэтому вопрос об отмене крепостного права царское правительство откладывало на неопределенное будущее, а пока направляло силы на то, чтобы облегчать долю государственных и дворцовых крестьян. В первой половине девятнадцатого века царизм шаг за шагом расширял гражданские и экономические права этих двух групп крестьянства. В 1837 году Николай I учредил министерство государственных иму-

ществ во главе с графом Павлом Киселевым, перед которым была поставлена задача улучшить положение государственных крестьян и тем самым подать пример помещикам-крепостникам. К 1850 году государственные крестьяне имели возможность покупать и наследовать землю, а также вступать в договорные отношения. Лишить собственности их можно было не иначе, как по суду¹¹⁹. Эти меры могли послужить образцом для последовавшего в 1861 году манифеста об освобождении владельческих крепостных. Тем не менее общинные земли, на которых работали государственные и дворцовые крестьяне, не попадали в их собственность до 1886 года, когда уплачиваемая с этих земель рента была обращена в выкупные платежи; до этого времени они, как сказано в одной ученой книге, оставались “постоянными держателями государственной земли”¹²⁰.

В первой половине девятнадцатого столетия в отношении царской власти к крестьянам, находившимся в крепостной неволе у дворян-помещиков, произошел сдвиг. И Александр I, и Николай I кое-что сделали для того, чтобы улучшить их правовое и экономическое положение. Но то были весьма робкие шаги, ибо считалось, что более решительные действия грозят подорвать общественную и политическую стабильность. Тем не менее четко обозначилось, что в конечном счете дело движется к освобождению крепостных.

Вскоре после восшествия на престол Александр I прекратил раздачу помещикам государственных крестьян, чем широко занимались его отец Павел I и бабка Екатерина II. Вследствие этого доля крепостных в населении, которая начала падать уже в середине восемнадцатого века, теперь стала сокращаться еще быстрее¹²¹. Изданный в 1803 году закон о вольных хлебопашцах разрешил помещикам отпускать крепостных на волю при условии, что при этом крестьяне получают и права на обрабатываемый ими земельный участок. Не многие помещики воспользовались этим законом, но он установил два важных принципа: что крестьян следует освобождать с землей и что по выплате помещику соответствующего возмещения эта земля становится их собственностью*. В результате к 1858 го-

* Сборник Императорского Русского Исторического Общества. LXXIV (1891). С. 199. В ноябре 1827 года назначенная Николаем I комиссия обсуждала проект, предусматривавший освобождение крепостных и без земли. [Там же. С. 198–201.]

ду в России было уже 268 тысяч крестьян-землевладельцев, имевших в собственности 1,1 миллиона гектаров земли¹²².

В 1802 году Александр I запретил помещикам ссылать крепостных в Сибирь иначе, как по решению суда, а в 1807-м лишил их права отправлять крепостных на каторжные работы. В 1808 году он положил конец аукционам по продаже крепостных. Еще два последовавших затем закона послужили улучшению экономического положения помещичьих крестьян. В 1812 году им было дано право торговать любыми товарами, а не только теми, что они сами выращивали или производили, а в 1818-м они получили дозволение строить (с разрешения властей) фабрики. Примечательным следствием этого последнего законоположения стала развернутая крестьянами промышленная деятельность, особенно в создании и развитии текстильного производства.

Николай I расширил экономические права крепостных, позволив им в 1848 году с разрешения своих хозяев, но на собственное имя приобретать незаселенные участки земли как в сельских местностях, так и в городах. Эта недвижимость становилась личной собственностью крестьянина, в отличие от остального находившегося в его домашнем хозяйстве имущества, которым члены семьи владели совместно¹²³. Николай также дополнительно урезал права помещиков в том, что касалось наказания крестьян.

В частных беседах Николай не раз высказывался за отмену крепостного права: в 1834 году он сказал одному из своих министров, что среди его высших чиновников нет ни одного поклонника крепостного права, а некоторые члены императорской фамилии и вовсе его не приемлют¹²⁴. И все же покончить с ним он не отважился. Противились этому как помещики, так и бюрократы, но то была не единственная преграда, с которой он сталкивался. Трудности имели более глубокую основу. Большим препятствием для отмены крепостного права была данная Екатериной дворянству Жалованная грамота 1785 года, признавшая обрабатываемую крестьянами землю помещичьей собственностью. Как бы это установление ни способствовало развитию свободы в долгосрочном плане, непосредственное его воздействие оказалось противоположным. Николай часто подтверждал права собственности помещиков на их земли¹²⁵. Так гласил закон. В то же время в правительственных кругах признавалось, что было бы и несправедливо, и с общественной точки зрения опасно освободить крестьян без

земли. Граф Киселев, который при Николае I проводил реформу, изменявшую положение государственных крестьян, говорил в 1842 году, что передавать помещичью землю крестьянам так же рискованно, как и освобождать крепостных без земли¹²⁶.

Манифест об отмене крепостного права, появившийся в феврале 1861 года после продолжительных обсуждений с участием представителей землевладельцев, был подсказан политическими, равно как и моральными соображениями. Позорное поражение России в Крымской войне, где она была бита на собственной территории армиями якобы “разлагающегося” Запада, довело до сознания правящих кругов, что Россия не может оставаться великой державой, пока большая часть ее населения пребывает в кабале и лишена всяких юридических и экономических прав. Александр II бросил своим аристократам часто цитируемое замечание, что лучше миром освободить крепостных сверху, чем ждать, когда они сами себя силой освободят снизу.

Манифест сразу отнял у дворян личную власть над крестьянами. Бывший крепостной стал теперь человеком с правами, способным и подавать в суд, и отвечать перед судом, и приобретать любую собственность, и (после 1864 года) участвовать в выборах в новоучрежденные органы местного самоуправления (земства). Но даже при этом его гражданские права были ограничены. Теперь многие полномочия в отношении крестьянина из тех, что раньше были у его хозяина, включая и право ограничивать его передвижение и наказывать сообразно местному обычаю, были переданы общине. Это было сделано главным образом для того, чтобы обеспечить исполнение крестьянами их налоговых обязанностей перед государством — уплату как подушной подати, введенной Петром Великим, так и появившихся теперь “выкупных платежей”, то есть ипотечных премий, причитающихся правительству за то, что оно возместило помещикам утрату земель, которые они вынуждены были передать своим бывшим крепостным. В этом смысле община стала официально признанным порученцем государственной власти, явившимся на место помещика.

Земля, отошедшая к вчерашним крепостным (по площади приблизительно равная тем полям, на которых при крепостном праве они работали на себя), была передана не отдельным домохозяйствам, а общинам, получившим статус юри-

дических лиц. Относительно частной собственности власти заняли двусмысленную позицию, хотя некоторые чиновники стояли на том, что земля должна быть продана освобожденным крепостным в полную собственность. Большинство членов комиссии, готовившей манифест об освобождении, склонялось именно к такому решению, считая, что оно больше будет способствовать увеличению производства, но это мнение было отвергнуто отчасти по идеологическим причинам (сказалось влияние восторгавшихся общиной интеллектуалов-славянофилов), а отчасти и по соображениям практического порядка¹²⁷. В конечном счете права на землю получила именно община, потому что сочли, что так оно будет безопасней. Но имелось в виду, что как только освобожденные крепостные расплатятся с правительством по ипотечному долгу, земля станет их частной собственностью.

Манифест содержал положения, разрешавшие крестьянину выход из общины и образование отдельного семейного хозяйства, но это ставилось в зависимость от соблюдения стольких формальностей, что воспользовались такой возможностью лишь очень немногие, и в 1893 году эти статьи по существу были изъяты из закона. Крестьяне — иногда индивидуально, но чаще сбившись в товарищества, — могли, конечно, покупать и покупали свободную землю, главным образом у обедневших помещиков. Но основной частью их владений была общинная земля, а не та, которой они могли бы распоряжаться как своей частной собственностью, завещать или продавать. Это значит, что огромное большинство жителей России ни тогда, ни позднее не имели прав собственности на важнейший производственный ресурс своей страны — пахотную землю.

Укреплению национальной антисобственнической культуры способствовало и то, что в семье, основной социальной ячейке крестьянского общества, все имущество находилось в совместной собственности. К земле, скоту, орудиям труда крестьянская семья не прилагала понятий “я” и “мы”. Поскольку земля для крестьянина была не товаром, а материальной основой жизни, он не умел разобраться в объектно-субъектных отношениях землевладения и не проводил различий между тем, кто является собственником, и тем, что находится в собственности. Это не было исключительной особенностью русского мышления, ибо такой взгляд на вещи присущ крестьянам повсюду; этим-то крестьянин и отлича-

ется от фермера*. Хотя глава русской крестьянской семьи — *хозяин* или *большак* — номинально считался собственником имущества (орудий труда, купленной земли и т.п.), обычай смотрел на все это как на общую семейную собственность. На деле глава семьи был не собственником, а управляющим семейной собственностью, и поэтому за неумение или расточительность его можно было отстранить от должности: российские суды признавали такую практику¹²⁸.

Вся экономическая среда, окружавшая русского крестьянина, делала его *социальным* радикалом и *политическим* консерваторм. Социальным революционером он был потому, что мечтал о конфискации и передаче общинам всех частных земель**. Политическим же консерваторм был потому, что этой конфискации и перераспределения земель он ждал от царя, которого считал верховным собственником России. Проявляя восприимчивость к эсеровской и большевистской пропаганде, обещавшей как раз то, чего ему хотелось, политически он оказался настроенным против демократии и в пользу “твердой руки” у руля государственной власти. К либералам и демократам он относился с недоверием, подозревая в них противников общенационального перераспределения собственности. В конечном счете он представлял собой большое препятствие на пути демократизации России.

9. Подъем денежной экономики

Если частная собственность на землю появилась в России во второй половине восемнадцатого века, то промышленный и торговый капитал стал играть серьезную роль лишь веком позже. Хотя состояния, сколоченные вне сельского хозяйства, существовали еще в Московии, в стране не было кредитных учреждений, а следовательно, не было и настоящего капитализма¹²⁹. До 1860-х годов в России не было част-

* См. сказанное выше (стр. 114) об отношении к земле канадских эскимосов.

** Можно усмотреть противоречие в том, что крестьяне покупали частные земли и в то же время не считали, что земля может быть частной собственностью. Но это противоречие устраняется, если учесть, что крестьянин признавал право на землю за тем, кто ее сам обрабатывал. Он не признавал абстрактного права собственности, которое позволяло владельцу земли делать с ней все, что угодно.

ных банков. За исключением выдачи мелких ссуд, обычно под залог земли, и займов, предоставлявшихся немногими банковскими учреждениями, которыми управляли иностранцы, все кредитные операции составляли монополию государственных институтов, таких как Дворянский банк, выдававший ипотечные кредиты помещикам, и Коммерческий банк, предоставлявший государственные кредиты купцам. Царское правительство, особенно при Николае I, сдерживало развитие промышленности и железнодорожного транспорта из опасения, что оно приведет к общественным беспорядкам.

Крымская война изменила отношение к капиталу, как изменила она и взгляд на крепостное право. Правительства Александра II и даже в еще большей степени Александра III, сознавая, что в новых условиях сохранение статуса великой державы требует развития экономики, усиленно поддерживали банковское дело, промышленность и строительство железных дорог. После 1864 года имел место внушительный рост коммерческих банков. Введение в 1897 году золотого стандарта, сделавшего рубль конвертируемым в слитки, стимулировало иностранные капиталовложения в промышленность, рудники и финансовые предприятия России. 1890-е годы были десятилетием беспрецедентного промышленного роста: российские темпы оцениваются как самые высокие в тогдашнем мире. Примерно половина всего капитала, вложенного в российские предприятия с 1892 по 1914 год, поступила из-за границы, главным образом из Франции¹³⁰.

Сергей Витте, сначала министр финансов, а затем премьер-министр, был движущей силой такого хода событий. Он считал, что страна, которая не в состоянии добиться экономической независимости, не может претендовать на статус великой державы, а экономическая независимость в современном мире требует интенсивной индустриализации.

К началу двадцатого столетия царское правительство было уже решительно привержено принципу частной собственности. Если некогда частная собственность вызывала у него опасения и воспринималась как угроза власти и общественному порядку, то с подъемом во второй половине девятнадцатого века революционного движения она стала выглядеть спасительницей стабильности.

Чиновник старой закваски, убежденный монархист Иван Горемыкин, выступая в 1906 году в Государственной Думе,

первом российском парламенте, встал на защиту частной собственности, отвергая внесенный либеральной партией конституционных демократов законопроект о земельной реформе, предусматривавший принудительную экспроприацию крупных поместий. Государственная власть, говорил Горемыкин, “не может признавать права собственности на землю за одними и в то же время отнимать это право у других. Не может государственная власть и отрицать вообще права частной собственности на землю, не отрицая одновременно права собственности на всякое иное имущество. Начало неотъемлемости и неприкосновенности собственности является во всем мире и на всех ступенях развития гражданской жизни краеугольным камнем народного благосостояния и общественного развития, коренным устоем государственного бытия, без которого немислимо и самое существование государства”¹³¹.

Горемыкин лишь воспроизводил мысли своего монарха, Николая II, который также не принимал нравившихся даже его министрам предложений о принудительной передаче крестьянам помещичьих земель, считая, что частная собственность должна оставаться нерушимой¹³².

Преемник Горемыкина Петр Столыпин, бывший премьер-министром России с 1906 по 1911 год, проявлял особую проникательность в понимании, что передача крестьянской земли в частные руки способна создать класс консервативных жителей деревни и отвести ветер от парусов радикальной агитации. В 1907 году он в чрезвычайном порядке провел закон, позволявший крестьянам получать в собственность свои участки общинной земли и выходить из общины. Однако его надежда создать многочисленный класс самостоятельных сельских хозяев в значительной мере не оправдалась, потому что большинство крестьян, воспользовавшихся новым законом, с трудом сводили концы с концами в своих маленьких, бедных хозяйствах и землю брали себе в собственность только для того, чтобы ее продать. Те, кто, опираясь на столыпинские законы, выделился на хутора, были в глазах большинства крестьян-общинников, составлявших 80 процентов сельских жителей России, расхитителями общинной земли. В 1917–1918 годах это большинство заставило хуторян оставить свои хозяйства и вернуться в общины. Одновременно крестьяне захватывали и присоединяли к общинным полям земли, принадлежавшие частным лицам и объединениям.

К 1928 году, накануне “коллективизации”, 99 процентов пахотной земли в России находилось в общинной собственности. Так что частная земельная собственность крестьян просуществовала в России недолго и малоприметно, после чего опять исчезла.

Ограниченного вида политическая демократия появилась в России в 1905—1906 годах под нажимом, который оказали на царизм поражение в войне с Японией, нараставшие крестьянские волнения и развернутая либеральной элитой кампания за конституционный строй. На политические уступки правительство шло с величайшей неохотой не только потому, что ему претило расставаться с властью, но и в силу убеждения, что в России демократия означала бы только крушение закона и порядка. В октябре 1905 года, оказавшись перед угрозой затеянной либералами всеобщей забастовки, оно наконец уступило и даровало конституцию с парламентом стране и основные гражданские права населению. Это отступление правительства не принесло России подлинного умиротворения, потому что интеллигенция — одинаково и либеральная, и радикальная — добивалась для себя большей власти, тогда как сожалевшая о сделанных уступках монархия, едва только порядок был восстановлен, стала всеми силами саботировать новый конституционный строй. Это враждебное противостояние возрастало и в условиях Первой мировой войны подогревалось провалами на фронтах и неумелыми действиями в тылу, которые, как ни в каком другом из воюющих государств, подрывали военные усилия страны и в конечном счете привели к падению всего царского режима.

10. Заключительные замечания

История России показывает, что частная собственность является необходимой, но недостаточной предпосылкой свободы. В последние полтора века своего существования царский режим неукоснительно соблюдал права собственности сначала на землю, а затем на капитал. Так, декабристы, дворяне, принадлежавшие к ряду самых знатных аристократических семей России, после поднятого ими в 1825 году восстания против царя были подвергнуты казням и ссылкам, но их поместья остались нетронутыми, чего не могло бы произойти столетием раньше. Александр Герцен, эмигрант, который

на чем свет стоит честил царизм в западноевропейской печати, не испытывал никаких трудностей с получением поступавшего через европейские банки приличного дохода от его поместий в России. А мать Ленина, у которой один сын был казнен за покушение на царя, а другие дети побывали в тюрьме и ссылке, до последних своих дней получала пенсию, назначенную ей как вдове государственного чиновника.

Тем не менее при всем уважении, какое царское правительство проявляло к правам собственности российских подданных, с их гражданскими правами оно считалось мало, а с политическими — вообщенисколько. Крепостные до их освобождения в 1861 году были просто живым имуществом, и помещики могли подвергнуть их порке, отправить в Сибирь на каторгу или отдать на всю жизнь в солдаты. Другие, включая дворян, могли быть в административном порядке задержаны и (в нарушение Жалованной грамоты 1785 года) лишены свободы по подозрению в политическом преступлении. Свою возрастающую экономическую силу общество не в состоянии было обратить в гарантии личных свобод, потому что все рычаги управления находились в руках самодержавия.

Политическая свобода и гражданские права появились в России в 1905/6 году не как естественное развитие народной власти, осуществляемой посредством собственности и права, а как отчаянная попытка монархии предотвратить грозившую революцию. Когда же десятилетие спустя революция все-таки разразилась, все свободы и права, вместе с собственностью, унеслись и растаяли в голубой дымке, потому что не имели в стране сколько-нибудь прочных оснований. Опыт России показывает, что свобода не может быть учреждена законодательным актом, она должна вырасти постепенно, в тесном содружестве с собственностью и правом. Ибо если склонность к присвоению заложена в природу человека, то уважение к чужой собственности — и свободе — в его природе отсутствует. Это уважение надо прививать, пока оно не пустит такие глубокие корни в народном сознании, что тщетными окажутся любые попытки их вырвать.

5. Собственность в двадцатом столетии

Было время, когда частная собственность могла считаться преградой, останавливающей власть государства, но сегодня эта преграда устраняется очень легко, едва ли не по первой просьбе... Нынешние законы о частной собственности мало ограничивают объем и сферы той деятельности правительства, которая характерна для государства, посвящающего себя социальной благотворительности.

Ричард А. Эпстайн¹

Нам нужна конституция государства социальной благотворительности.

Чарльз А. Райх²

История не знает века, менее благоприятного для института частной собственности, чем век двадцатый, и на то есть как экономические, так и политические причины.

Широкое понятие собственности, включающее в себя право на жизнь и свободу, равно как и на жизненные блага, сложилось в семнадцатом веке в Англии, а в восемнадцатом получило общее признание в англоязычном мире. В то время большинство говоривших по-английски составляли экономически самостоятельные люди и семьи, зарабатывавшие на жизнь либо обработкой собственных земельных участков, либо розничной торговлей, либо ремеслом. Предложенное Локком оправдание собственности как награды за приложение труда к ничейным предметам в точности соответствовало положению в Англии его времени. Подобным же образом идеал Джефферсона — республика, опирающаяся на труд и преданность класса самостоятельных землевладельцев-фермеров, — отражал американскую действительность его времени, когда, вероятно, до 80, а то и более процентов белых американцев жили на собственных фермах. Но такое положение не застыло на месте: оно менялось в ходе девятнадцатого столетия, а в двадцатом осталось только в воспоминани-

ях. Развитие капиталистической аграрной экономики с ее крупными хозяйствами, наряду с подъемом промышленности и ростом корпораций, привело к неуклонному сокращению удельного веса самостоятельных производителей и соответствующему распространению наемного труда. Наемные работники или служащие не имеют доступа к собственности на средства производства; их зарплата не есть собственность, потому что им не гарантирована и сама работа. Огромное богатство, созданное капиталистическим способом производства, и боязнь общественных волнений склонили современную демократию к принятию мер социальной помощи в виде пособий по безработице, пенсий по возрасту и множества других “льготных выплат”. По мнению некоторых ученых, блага этой политики перекрывают потери от упадка частной собственности — по существу, мол, эти блага являются правами и как таковые сами представляют собой “собственность”*. Но даже если согласиться с таким взглядом, нельзя не видеть, что за отсутствием возможности распоряжаться этими имущественными правами речь здесь может идти не о настоящей собственности, а скорее об условном владении в духе феодального времени.

Современный мир был свидетелем ограничений, налагавшихся не только на права собственности, но и на исторически связанные с ними свободы. Во многих частях мира, особенно в Европе, используя общественные смятения, вызванные двумя мировыми войнами, а между ними Великой депрессией, демагоги обращались к социалистическим лозунгам, чтобы оправдать захваты частной собственности и подчинение ее государству. Там, где им это удавалось, экономические условия жизни населения оказывались в высокой степени зависимыми от милости правителей. Так произошло в коммунистических России и Китае, а равно в национал-социалистической Германии и во множестве разбросанных по всему миру стран, которые последовали их примеру. Итогом были утрата свободы и массовые убийства людей в масшта-

* Charles A. Reich in *Yale Law Journal* 73, No. 5 (1964); C. B. Macpherson in *Dissent*, No. 24 (Winter 1977), 72–77. Действительно, в деле *Голдберг против Келли* Верховный суд постановил, что социальная помощь есть “законная льгота” и получателю не может быть в ней отказано без должного процессуального обоснования. [Michael Tanner, *The End of Welfare* (Washington, D. C., 1996), 54.]

бах, никогда прежде не виданных. Убийства освящались политической доктриной нового покроя, которая требовала уничтожения целых категорий людей, принадлежавших к “негодным” классам, расам или этническим группам.

Нарушения прав собственности и расправы с обреченными на гибель людьми происходили одновременно, и это не было простым совпадением, ибо, как мы подчеркивали, личные качества человека, его действия и его собственность все это нерасчленимо, так что посягательство на принадлежащее ему имущество равнозначно покушению на его личность и его право на жизнь.

Но и благонамеренные действия в рамках демократической политики социального обеспечения также представляют собой посягательства и на собственность, и на свободу — не столь явные и, конечно же, менее жестокие, но в конечном счете, возможно, не менее опасные.

1. Коммунизм

Тоталитаризм, как и демократия, это идеал — отвратительный и пагубный, но все же идеал в том смысле, что он ставит цель настолько амбициозную, что она не может быть достигнута. Демократия требует государственного управления с участием народа и подчиненного закону; в действительности, однако, демократические режимы находятся под контролем элит, успешно отыскивающих способы гнуть и поворачивать законы себе на пользу. Тоталитаризм хочет быть прямой противоположностью демократии: он старается раздробить общество и установить над ним полный контроль, не считаясь ни с какими его желаниями и не признавая превосходства какого бы то ни было закона над волей правительства. И все же на деле даже самый крайний тоталитарный режим, сталинский, не мог совсем уж не считаться с общественным мнением и не добился полного контроля над всеми сторонами жизни граждан.

Конечная цель тоталитаризма — сосредоточение всей государственной власти в руках самоназначенного и самовоспроизводящегося корпуса избранных, называющего себя “партией”, но скорее напоминающего орден, от членов которого требуется только верность вождям и друг другу. Цель тоталитаризма предполагает установление прямой или косвен-

ной, смотря по обстоятельствам, власти над всеми экономическими ресурсами страны. Собственность, которая по самой своей природе ставит пределы государственной власти либо упраздняется, либо преобразуется во владение, обусловленное оказанием существенных услуг правящей партии.

Среди тоталитарных государств Советский Союз ближе всех подошел к осуществлению коммунистического идеала общества, не знающего собственности. С приходом к власти в октябре 1917 года Ленин и его сподвижники не имели никакого представления о том, какую роль собственность и право играют в экономической жизни: чтение социалистической литературы научило их единственно тому, что это основа эксплуатации и политической власти. Вдохновляясь сочинениями утопистов и доктринами Маркса и Энгельса, находясь под впечатлением успехов квазиобщественной экономики втянутых в войну европейских стран, особенно имперской Германии, большевики незамедлительно приступили к экспроприации частного имущества граждан — сначала знати, духовенства и “буржуазии”, а в конечном счете и всего населения³. Второй съезд Советов, который в октябре 1917 года большевики созвали в составе подобранных делегатов с целью придать видимость законности совершенному ими перевороту, издал декрет об отмене частной собственности на землю. Декрет, составленный по проекту Ленина, “обобществил” все земли, хотя временно исключение было сделано для участков, находившихся в собственности крестьян-общинников, которых еще не окрепший новый режим не хотел против себя восстанавливать. Даже это, впрочем, не помешало наступлению на частную собственность в деревне развернуться всю уже в 1918 году, когда у крестьян стали отбирать зерно, которое правительство определяло как “излишки”. Что касается “кулаков”, которыми формально считались крестьяне, использовавшие наемный труд, а на деле оказывались все жители деревни, активно выступавшие против большевиков, то у них урожай изымался целиком, притом что некоторых, по приказу Ленина, принародно вешали сотнями — в назидание всему крестьянству. Торговля зерном и другой сельскохозяйственной продукцией была поставлена вне закона. Такие действия, немыслимые даже при крепостном праве, ввергли Советскую Россию в жесточайшую в истории страны гражданскую войну, в которой сотни тысяч солдат Красной Армии яростно бились с сотнями тысяч крестьян⁴.

Ленин добивался экспроприации частной собственности с одержимостью и неумолимой жестокостью фанатика, поскольку из суждений Маркса о Парижской коммуне извлек убеждение, что все прежние социальные революции терпели неудачу потому, что останавливались на полдороге. Между 1917 и 1920 годом частная собственность всех видов, за исключением общинной земли и скромного личного имущества, была национализирована. Торговля — как розничная, так и оптовая — стала государственной монополией. Городская недвижимость была экспроприирована и отошла государству. Ленин распорядился уничтожить всю нотариальную документацию, удостоверившую права собственности на землю, недвижимость, фабрики и т. д.⁵ В июне 1918 года крупные промышленные предприятия стали государственной собственностью; в последующие два года та же участь постигла предприятия средние и мелкие, включая ремесленные мастерские. Промышленное производство всех форм и видов было передано под руководство Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ), которому поручалось подчинить всю несельскохозяйственную часть российской экономики единому плану. К 1920 году были ликвидированы все частные банки, замененные теперь единственным государству принадлежащим и государством управляемым “Народным банком”. Банкноты печатались в неограниченных количествах, и этим способом по существу были упразднены деньги. В 1923 году цены в 100 миллионов раз превысили уровень царского времени, и бумажные деньги не стоили почти ничего. Эта сознательно созданная инфляция уничтожила накопленные рублевые сбережения, хранившиеся в банках или на руках и, в долларовом эквиваленте, исчислявшиеся миллиардами.

Существует вполне достаточное доказательство тому, что все честолюбивые старания учредить в Советской России коммунистическую экономику завершились ужасающим провалом. В 1920 году промышленное производство упало на 82 процента по сравнению с уровнем 1913-го. Сбор зерновых сократился примерно на 40 процентов, что поставило страну на грань голода. Несмотря на все принимавшиеся политической полицией драконовские меры, процветал черный рынок продовольствия и готовых изделий. Более того, оценки показывают, что без черного рынка продуктов питания в 1918—1920 годах российские города были бы обречены на голод, потому что по официальным нормам, часто не превы-

шавшим 70 граммов хлеба в день, продовольствие доставалось лишь малой части населения.

Тем не менее новые правители упорствовали в своей разрушительной политике, позднее названной “военным коммунизмом”, даже когда постигшая их неудача стала очевидной для всех, кроме самых отъявленных фанатиков. Для этого упорства было две причины. Они искренне верили, что капиталистическая система, движимая погоней за личной наживой, внутренне несостоятельна, и что централизованно управляемая плановая экономика окажется несравненно более производительной. Второе соображение: они связывали частную собственность с политической властью и опасались, что даже островки частной собственности, оставленные нетронутыми, позволят достаточному количеству граждан вырваться из-под власти государства и сколотить оппозицию. В то время, как и впоследствии, монополия на политическую власть представлялась им важнее экономической производительности, тем более что, будучи полновластными хозяевами ресурсов страны, они всегда могли направлять эти ресурсы туда, где они были нужнее всего для подкрепления их власти.

Однако в начале 1921 года коммунистическое руководство вынуждено было, наконец, отступить. К этому времени к широким крестьянским восстаниям присоединились мятеж на Балтийском флоте и забастовки на петроградских заводах. Производство потребительских товаров скатилось к самой низкой точке. Страна бурлила; методы хозяйственного управления, введенные ради сохранения большевистской диктатуры, грозили теперь ее подорвать. Ленин, реалист, принял решение о временном и частичном отступлении. Принятая в 1921 году новая экономическая политика (НЭП) касалась главным образом сельского хозяйства. Крестьяне были признаны собственниками производимой ими продукции, и для них была установлена твердая ставка налога вместо ничем не ограниченных податей, собиравшихся под видом изъятия “излишков”. Всем, что оставалось по выполнении обязательств перед государством, они могли свободно торговать на открытом рынке. Эти меры сразу успокоили деревню. Получив заверения, что выращенные урожаи не будут у них произвольно отбирать, крестьяне расширили посевные площади, и к 1928 году производство зерновых в России приблизилось к довоенному уровню. Однако поворот в аграрной политике свершился слишком поздно и не успел предотвратить худший

в истории страны голод. Он разразился в 1921/22 году после страшной засухи. Последовавший за умышленным сокращением посевных площадей и опустошением семенного фонда, он унес более пяти миллионов жизней.

Введение НЭПа означало ослабление государственного зажима торговли и промышленности. Правительство сохранило за собой монополию на оптовую торговлю, на экспорт, на тяжелую промышленность, банковское дело и транспорт — удерживало, как говорили, в своих руках “командные высоты” в экономике. Но в том, что касалось потребительских товаров, оно пошло на уступки. Убыточные предприятия сдавались в аренду; разрешено было прибегать к услугам наемного труда. Мысль о безденежной экономике оставили, и в обращение был выпущен твердый, привязанный к золоту рубль.

У многих в России и за границей эти меры рождали надежду, что правители страны расстались с коммунизмом. Проводя аналогию с Французской революцией, эти оптимисты заговорили о коммунистическом “термидоре”, имея в виду месяц французского революционного календаря (июль — август 1794 года), когда якобинцы были сброшены и Франция вступила на путь медленного продвижения к “буржуазной” стабильности. Но эти исторические аналогии оказались ложными, а рожденные ими надежды призрачными. Если во Франции якобинцев выкинули из власти и отправили на гильотину, то их российские двойники остались на своих руководящих местах. На уступки капитализму они смотрели как на временные меры, подлежащие пересмотру, как только позволит обстановка.

“Наступление социализма” возобновилось в 1929 году вслед за одержанной Сталиным решающей победой над политическими соперниками. Ключевая роль была отведена коллективизации. Процветание села беспокоило коммунистических руководителей, ибо означало, что в деревне, где жило 75—80 процентов советского населения, их власть, и так-то никогда не отличавшаяся прочностью, могла вовсе выскользнуть из рук. В ходе коллективизации, первоначально намечавшейся еще Лениным, были национализированы все сельскохозяйственные угодья: общинные надель, прежде находившиеся в обработке у крестьянских хозяйств, были объединены и поставлены под государственное руководство. Крестьяне превратились в наемных работников, труд которых оплачивался деньгами и натурой, а весь собираемый урожай становился государственной собственностью. В распоряжении крестьян-колхозников

остались только небольшие приусадебные участки, где им позволялось выращивать плоды и овощи, держать кур и даже кое-какую скотину для удовлетворения собственных нужд или для продажи на (государственно регулируемых) колхозных рынках. Крестьяне, считавшиеся политически ненадежными или активно сопротивлявшиеся экспроприации своих земель, миллионами ссылались в трудовые лагеря, где большинство их исчезало навсегда. Это была катастрофа, не имевшая примера в прежней мировой истории: ни одно правительство никогда не обрушивало таких сокрушительных ударов на жизнь и ресурсы собственного народа — факт, который для внешнего мира по сей день остается недоступным пониманию. Одновременно были национализированы все образовавшиеся при НЭПе частные лавки и промышленные заведения, а их владельцы отправлены в трудовые лагеря.

По завершении массовой экспроприации доля государственного сектора в национальном доходе СССР составила, по официальным данным, 99,3 процента⁶. Государственная власть над ресурсами страны позволила осуществлять ударные программы производства вооружений, и в конце концов военные расходы поднялись до 25, а то и больше, процентов валового внутреннего продукта, а основная часть промышленности стала прямо или косвенно работать на вооруженные силы.

Упразднение частной собственности обеспечило прочность однопартийной системы. По существу на правительство работало все население Советского Союза, как и других стран, которые после Второй мировой войны по принуждению или по собственной воле последовали его примеру. Это значило, что всякий, заподозренный в противоправительственной деятельности или хотя бы в недостатке верноподданнических чувств, впадал в немилость государства, единственного работодателя, и мог, вместе со своими ближайшими родственниками, пополнить ряды уволенных или, по крайней мере, пониженных в должности. Чтобы выжить, надо было прислуживать. Вместе с политической полицией, наделенной неограниченными правами распоряжаться жизнью советских граждан, монополия государства на ресурсы и рабочую силу обеспечивала возможность существования тоталитарной системы. То же самое сделало возможными выдающиеся военные усилия Советского Союза, позволившие ему сначала сокрушить немецких захватчиков, а затем шантажировать страны, бывшие его союзниками в отгремевшей войне.

Все это, однако, было достигнуто невероятно дорогой ценой и в конечном счете обернулось саморазрушением. Режим относительно легко справился с открытым политическим сопротивлением: не считая сравнительно небольшой группы диссидентов, население, по крайней мере внешне, его поддерживало. Платить за это пришлось утратой национальной жизнеспособности. Личные усилия, если только они не были частью преступной деятельности, не приносили достойного вознаграждения, так что население по большей части погружалось в своего рода апатию, которую предвидел Уильям Джеймс, когда писал, что “в каждом случае (утраты собственности) остается... чувство сокращения нашей личности, частичного нашего превращения в ничто...”. После кратковременного подъема сразу после окончания Второй мировой войны продолжилось снижение экономической производительности. Единственным сектором экономики, обнаруживавшим энергию производства, были частные хозяйства: 33 миллиона приусадебных участков колхозников, при средней площади от 0,6 до 1,25 акра и общей доле в 1,5 процента обрабатываемой в стране земли, обеспечивали в послевоенное время почти треть потреблявшегося в Советском Союзе продовольствия. В 1979 году они давали 30 процентов мяса, овощей и молока, 33 процента яиц и 59 процентов картофеля⁷. После смерти Сталина имели место разного рода начинания, нацеленные на соединение в сельском хозяйстве частной инициативы с государственной собственностью, но все закончились ничем ввиду сопротивления сельской бюрократии, привилегиям которой они угрожали.

Система централизованного планирования оказалась также неспособной поддерживать технический прогресс, в том числе — что более всего поражает — в области компьютерной техники, революционизировавшей хранение, анализ и передачу информации. Советское руководство промедлило с внедрением плодов этой технической революции в военное дело; оно стало наверстывать упущенное лишь после нескольких неудач, постигших советское оружие при его использовании самими советскими войсками либо войсками государств — союзников СССР. В 1980-е годы перспектива для СССР удержаться на равных с его потенциальными противниками в качестве вооружений и возможностях их применения стала выглядеть безнадежной. Учитывая, что свое военное могущество Москва как по внутренним, так и по международным

причинам ставила превыше всего, такое положение оказалось для нее нетерпимым. Вот почему некоторые представители самых реакционных кругов страны, включая и генералов, согласились на осуществление программы экономических реформ. Когда выяснилось, что экономические реформы неосуществимы без политических, они пошли и на это. А вскоре стало очевидно, что коммунистическая система представляет собой нечто цельное и частичному преобразованию не поддается. Она стала разваливаться со скоростью, и по сей день вызывающей удивление.

Было, разумеется, множество причин для развала Советского Союза осенью 1991 года — беспрецедентного в мировой истории события, когда целая империя распалась в мирное время и всего за какие-то недели. Но если считать, а на то есть веские основания, что главной причиной был развал больной экономики, тогда вполне разумно заключить, что важнейшую и, возможно, решающую роль сыграло отсутствие частной собственности. На экономику это воздействовало двояким образом. Ничто не побуждало граждан производить больше определенного минимума, поскольку удовлетворение основных потребностей и так было гарантировано, а за продукцию, выданную сверх того, не только не полагалось достойного вознаграждения, но можно было даже навлечь на себя наказание в виде повышения производственных норм. Но даже если, вопреки такому положению, отбивавшему охоту работать, советский гражданин проявлял предприимчивость, он оказывался не в ладах с бюрократическим аппаратом, корыстные интересы которого требовали удушения всякой независимой инициативы. Таким образом, сосредоточение всех экономических ресурсов в руках государства подрывало трудовой дух народа и преграждало путь нововведениям. Государственная монополия на производственные ресурсы не только не сделала коммунистическую экономику самой эффективной в мире, на что когда-то рассчитывали большевики, а, наоборот, погрузила ее в отсталость и летаргический сон. Режим скончался от анемии: устранение частной собственности, осуществлявшееся с фанатическим рвением и подталкиваемое своекорыстием правящей элиты, вело к подавлению личности — основного движителя прогресса. На неизбежность такого исхода было провидчески указано задолго до испытания коммунизма в деле. В конце восемнадцатого века Дэвид Юм предсказывал,

чем обернутся попытки ввести “совершенное равенство”: “Сделайте когда-нибудь имущество равным, и люди, будучи различными по мастерству, прилежанию и трудолюбию, немедленно разрушат это равенство. А если вы воспрепятствуете этим добродетелям, вы доведете общество до величайшей бедности и, вместо того чтобы предупредить нужду и нищету, сделаете ее неизбежной для всего общества в целом... и вместо того, чтобы воспрепятствовать нищете немногих, вы сделаете ее неизбежной для всего общества в целом”⁸.

Как только власть бюрократического чудовища была сломлена, а случилось это во второй половине 1991 года после неудавшегося путча твердых коммунистических деятелей, новое российское руководство приступило к приватизации экономики. Так же пошло дело и в освобожденных странах Восточной Европы. Переход от приказной экономики к рыночной оказался очень трудным, потому что население не имело никаких навыков управления частными предприятиями и потому также, что старая коммунистическая элита поспешила прибрать к рукам государственное имущество. Вдобавок крушение коммунистической системы повлекло за собой распад всей структуры социальной поддержки, которая на 100 процентов обеспечивала удовлетворение элементарных потребностей населения, так что гражданам пришлось вдруг заботиться самим о себе в пугающем мире взаимного соперничества. Приблизительно для трети населения, включая множество престарелых, неквалифицированных и необразованных, наступили крайне тяжелые времена*. И все же приватизация продолжалась быстрыми темпами, и в середине 90-х годов от двух третей до трех четвертей валового внутреннего продукта создавалось в частном секторе. Подобно всему тому необычному, что происходит в России, этот процесс был беспрецедентным по размаху. Итоги президентских выборов 1996 года показали, что большинство россиян отвергают коммунизм и связанное с ним неприятие частной собственности. Более того, столь длительное подавление естественных собственнических инстинктов привело в

* Как мы отметим ниже, в США примерно такая же доля граждан, принадлежащих к тем же социальным группам, целиком или преимущественно зависит от правительственных щедрот, распределяемых по программам социальной помощи. Сегодняшней России для подобных программ не хватает средств.

бывших коммунистических странах к взрыву приобретательства в его особенно непривлекательных проявлениях.

Таким образом, самая дерзкая в человеческой истории попытка упразднить частную собственность закончилась разрушительным бедствием. Не похоже, чтобы она могла повториться, пока будет свежа память об этом бедствии.

2. Фашизм и национал-социализм

В стремлении отмежеваться от возникших в межвоенной Европе националистических, антикоммунистических тоталитарных режимов, с которыми их собственный строй имел до неприличия много общего и которые часто опирались на те же круги избирателей, коммунистические пропагандисты переработали понятие “фашизм”, приспособив его для обозначения любого режима, противостоящего коммунизму, особенно муссолиниевской Италии и гитлеровской Германии, но при случае также и Соединенных Штатов и других демократий. При таком словоупотреблении любой человек, любая группа или правительство, которые не были коммунистическими или не симпатизировали коммунизму, становились “фашистами”, уже состоявшимися или потенциальными. Такое манихейское представление совершенно не соответствовало действительности: между фашистской Италией и национал-социалистической Германией существовали огромные различия, не говоря уже о непроходимой пропасти, отделявшей обе эти страны от Соединенных Штатов.

Те, кто отвергает тоталитаризм как родовое понятие, одинаково приложимое к СССР, фашистской Италии и нацистской Германии, в качестве основного довода ссылаются на то, что последние две страны, в отличие от Советского Союза, допускали частную собственность. Это обстоятельство является в их глазах свидетельством, что в качестве “консервативных” и “буржуазных” режимов они более напоминают “капиталистические” страны, чем “пролетарскую” Россию. Такой подход к делу получил благословение Коммунистического интернационала, который в начале 1920-х годов определил “фашизм” как высшую и последнюю стадию “финансового капитализма” — как капитализм в его предсмертной агонии⁹. Настойчивое утверждение Москвы, что “фашизм” являет собой диаметрально противоположность “комму-

низму”, было широко принято в социалистических и либеральных кругах Запада.

Действительно, и фашистская Италия, и нацистская Германия разрешали частную собственность, точнее сказать, мирились с ее существованием. Однако это была собственность в особом и ограниченном смысле слова — не та бесспорная собственность, которую утверждали римское право и Европа девятнадцатого столетия, а скорее условное владение, оставлявшее государству, высшей власти, право вмешательства и даже конфискации имущества в случае, если, по ее мнению, им неправильно пользовались. Экономическая политика в муссолиниевской Италии и гитлеровской Германии напоминала тот “государственный социализм”, который с приходом к власти хотел установить Ленин в Советской России, имея в виду, что частные предприятия будут работать на государство (от этой идеи он вынужден был отказаться под давлением “левых коммунистов”¹⁰). В Италии и Германии такая система была внедрена с успехом, поскольку здешние корпорации, как и в других странах (включая Соединенные Штаты) показали себя податливыми, готовыми подчиняться любому контролю и регулированию, если сохраняются их прибыли.

Что касается фашистской Италии, следует помнить, что Бенито Муссолини, ее основатель и вождь, стал политической знаменитостью в канун Первой мировой войны, когда он был социалистом самого радикального разбора, весьма похожим на Ленина. Подобно Ленину, он ставил под сомнение собственные революционные возможности рабочего класса и руководящую роль в социальной революции отводил интеллектуальной элите. Также подобно Ленину, он презирал не принимавших революции социалистов-реформистов. Наставником и вдохновителем для него был Маркс. В 1912 году он добился исключения умеренных из Итальянской социалистической партии, чем снискал похвалу Ленина; тогда же он стал редактором газеты “Аванти!”, официального печатного органа партии. Иными словами, идеология основателя фашистской власти имела свои корни в революционном социализме, одинаково враждебном и консерватизму, и либерализму.

До августа 1914 года Муссолини противился вовлечению Италии в надвигающуюся мировую войну и угрожал общественным насилием в случае, если правительство встанет на тропу войны. Однако зрелище патриотического безумия, охватившего Европу летом 1914 года, убедило его, что национализм

представляет собой силу более мощную, чем классовая солидарность. В ноябре 1914 года, повергая в удивление и отчаяние своих товарищей, он выступил за участие Италии в войне и сам записался в армию. Этот поворот кругом стоил Муссолини исключения из Итальянской социалистической партии, но он продолжал считать себя социалистом до середины 1919 года, когда, оказавшись не в состоянии вернуть себе расположение прежних соратников, он основал Фашистскую партию. Поначалу эта партия взяла революционный тон, призывала к промышленным стачкам и другим формам насилия в попытке перешибить социалистов в использовании беспорядков, сопровождавших наступление мира. Первоначальная (1919) программа фашистов была радикальной и революционной. Неудача, постигшая Муссолини в его попытке вернуть себе таким образом руководящую роль в социалистическом движении, которое приобрело коммунистическую окраску, заставила его выдвинуть собственную программу, предложенную им в виде смеси социализма и национализма. Начиная с 1920 года он представлял Италию как “пролетарскую” страну, эксплуатируемую враждебными “плутократическими” государствами, которые упорно не признают за ней права на ее законное место под солнцем¹¹. Подлинно классовая борьба, согласно фашистской доктрине, это борьба межгосударственная. Фашизм стремился преодолеть узкие границы классовых интересов: все классы должны подчинять свои частные интересы государственным и сотрудничать в противостоянии внешнему врагу.

Исключения не делалось и для состоятельных собственников. Муссолини признавал принцип частной собственности, но считал его не священным правом, а привилегией, которую дает государство. В соответствии с этими представлениями он тяжело наваливался на частные предприятия. В 1920-е годы он присвоил себе право вмешиваться в дела рынка, “поправлял” уровень прибылей и принуждал коммерческие фирмы признавать профсоюзы своими равными партнерами. В ряде случаев фашистское государство заменяло правления частных корпораций. Надуманное коммунистическое представление о “фашизме” как “высшей” форме капитализма бьет поэтому далеко мимо цели: это было движение, которое ставило государственный интерес выше частного и регулировало поведение предпринимателей так же, как и рабочих. И действительно, в мае 1934 года Муссолини сообщил палате депутатов, что три четверти промышленности и сель-

ского хозяйства Италии находятся в руках государства, чем, как он пояснил, созданы условия, позволяющие ему, когда он сочтет необходимым, ввести в стране либо “государственный капитализм” либо “государственный социализм”¹².

У Гитлера не было такого же, как у Муссолини, социалистического прошлого. Он признавал, что многому научился у “марксистов”, но это относилось главным образом к манипулированию толпой; из их теорий он не знал в сущности ничего. Тем не менее он разделял ненависть и презрение социалистов к “буржуазии”, “капитализму” и использовал в собственных целях мощные социалистические традиции Германии. Присутствовавшие в официальном названии гитлеровской партии (“Национал-социалистическая рабочая партия Германии”) прилагательные “социалистическая” и “рабочая” имели не только пропагандистскую ценность. Как говорит один из авторитетнейших знатоков истории нацизма, его ранние идейные установки “содержали ядро последовательной революционности в оболочке иррациональной, настроенной на насилие политической идеологии. Ни в коем случае они не были выражением реакционных устремлений: они выросли из рабочей и профсоюзной среды”¹³. Накануне прихода нацистской партии к власти треть ее членов составляли промышленные рабочие, которые были самой большой профессиональной группой в ее рядах¹⁴. Партия включила в свою символику красный флаг, объявила 1 мая национальным праздником и оплачиваемым выходным днем, потребовала, чтобы ее члены называли друг друга “Genosse”, то есть “товарищ”. Однажды, в разгар Второй мировой войны, Гитлер заявил даже, что “национал-социализм и марксизм в основе своей — одно и то же”¹⁵. “Капитализм” отождествлялся со “всемирным еврейством” и противопоставлялся нацистской Германии, имевшей якобы “народный” (*völkische*) характер¹⁶. Конечной социальной целью Гитлера было иерархическое общество, в котором статус “аристократа” будет доставаться за личный “героизм”, проявленный на поле сражения¹⁷. Именно этот элемент радикализма в доктрине и практике нацизма, вопреки широко распространенному мифу, будто крупный капитал финансировал продвижение гитлеровской партии к власти, заставил руководителей корпораций относиться к Гитлеру с подозрением и значительно ограничил поддержку, на которую он рассчитывал с их стороны¹⁸. Принятая партией в 1920 году программа из двадцати пяти

пунктов предвосхитила идеи государства социального обеспечения”, которым предстояло появиться во время Второй мировой войны в докладе Бевериджа (см. ниже) и быть принятыми лейбористской партией в 1945 году. Она требовала от государства обеспечить полную занятость, национализировать тресты, взять на себя заботу о престарелых, предоставить каждому гражданину возможность получения высшего образования, оказать поддержку школьному обучению детей из бедных семей, улучшить общественную систему здравоохранения и во всех областях жизни поставить интересы “общества” выше интересов личности¹⁹.

Учитывая, что для нацистов идеалом была этническая общность и высшей ценностью национальность (или раса), не приходится удивляться их отказу признавать какие-либо основные права человека, включая и право частной собственности. Для них — как и для коммунистов и фашистов — право было только орудием государственной власти: законным было то и только то, что шло на благо “народа”, под каковым понималась его плоть от плоти нацистская партия²⁰. Задачей экономики было обслуживание государства, особенно, как и в Советском Союзе после 1929 года, подготовка страны к надвигающейся мировой войне, которая должна была решить самую жгучую проблему Германии — дать ей “жизненное пространство”. Эту всезатмевающую цель предполагалось достичь за счет такого сочетания государственных и частных интересов, при котором решающее слово предоставлялось государству. В туманных выражениях, рассчитанных на успокоение частных предпринимателей, одно из официальных заявлений 1935 года поясняло, каким образом имелось в виду действовать: “Управлять силовой экономикой будут не государство, а (частные) предприниматели, действующие свободно и под своим ничем не скованную ответственность... *Государство* ограничивает себя функцией *контроля*, который является, конечно, *всеохватывающим*. (Курсив мой. — Авт.) Оно также сохраняет за собой право вмешательства... для безусловного обеспечения верховенства общественных интересов”^{*}.

^{*} Johannes Darge in *Der deutsche Volkswirt* 10 (20. Dezember, 1935), cit. in Samuel Lurie, *Private Investment in a Controlled Economy: Germany, 1933–1939* (New York, 1947), 5n. “Силовая экономика” — это, по-видимому, неуклюжий перевод употребленного в оригинале и непереводимого ввиду его бессмысленности слова *Machtwirtschaft*.

Добравшись до руля управления Германией, нацисты в течение месяца приостановили действие конституционных гарантий неприкосновенности частной собственности²¹. Уважение собственности сохранялось, но лишь до тех пор, пока собственник пользовался ею во благо народа и государства: говоря словами нацистского теоретика, “собственность... перестала быть частным делом, существуя теперь как своего рода льгота, предоставляемая государством на условии “правильного” ее использования”²². За два года до того, как он стал диктатором, Гитлер так подавал это в разговоре не для печати с одним газетным издателем: “Я хочу, чтобы каждый сохранял приобретенную им для себя собственность, следуя принципу: общее благо выше личного интереса. Но контроль должен быть в руках государства, и всякий собственник должен сознавать себя агентом государства... Третий рейх всегда будет сохранять за собой право контролировать собственников”²³.

На таких основаниях немецкий диктатор требовал права “ограничивать либо экспроприировать собственность по своему усмотрению в тех случаях, когда такие ограничения или экспроприации отвечают “задачам общества”²⁴. В составленном в 1931 году проекте программного заявления о будущем германской экономики право частной собственности определялось даже как право “узуфрукта”, то есть право пользоваться и получать доход с имущества, принадлежащего другому, в данном случае государству*.

Первыми жертвами этой политики были евреи, имущество которых беспорядочно экспроприировалось, пока у них

* Avraham Barkai, *Nazi Economics* (New Haven and London, 1990), 37. Один национал-социалистический теоретик права дал следующее, по-своему особое толкование этой политики: “Собственность является еще одной отличительной чертой национального (*völkisch*) режима. Марксистская и большевистская доктрина представляет собственность как воровство и на этом основании приговаривает ее к уничтожению путем “передачи средств производства в руки общества”. В отличие от марксистско-большевистской теории, немецкий социализм, составляющий основу новой конституции, признает собственность как необходимую составную часть национального устройства общества. Но он не менее решительно отвергает порочное либеральное представление о частной собственности... Для немецкого социализма... всякая собственность есть общая собственность (*Gemeingut*)”. [Ernst Huber, *Verfassungsrecht des Grossdeutschen Reiches*, 2. Aufl. (Hamburg, 1939), 372–73.]

не осталось вообще никакой собственности, после чего их стали изгонять из страны либо отправлять на смерть²⁵. Закон, принятый в 1934 году, разрешил государству экспроприировать также собственность коммунистов. Не было нужды применять такие же крутые меры в отношении предпринимателей-”арийцев”, потому что они послушно, если и не с великой радостью, откликнулись на главную заботу Гитлера — включились в кампанию перевооружения. Этим объясняется, почему нацисты никогда не испытывали необходимости национализировать свою экономику. Подобным же образом оставлены были в покое крупные земельные владения — отчасти в расчете заручиться поддержкой юнкеров, отчасти же потому, что они считались эффективнее мелких хозяйств.

Тем не менее экономическая свобода была резко ограничена. Вдохновляясь муссолиниевским идеалом корпоративного устройства общества, нацистское государство вмешивалось в экономическую жизнь на всех уровнях, регулировало цены, зарплату, дивиденды и капиталовложения, ограничивало конкуренцию и улаживало трудовые споры²⁶. Задачей задач всех звеньев контроля германской экономики была подготовка ее к агрессивной войне — ближайшей цели Гитлера. Как и Советский Союз, нацистская Германия была превращена в страну, жизнь которой была приспособлена к надвигающейся войне и не допускала, чтобы частная собственность вставала помехой на пути эффективной экономической мобилизации*. Несколько раз, обращаясь к частным предпринимателям Германии и назидательно указывая на советскую плановую экономику, Гитлер предупреждал их, что либо они должны оказывать государству требуемые услуги, либо государство возьмет их предприятия в свои руки²⁷.

В 1933 году правительство выпустило “закон об обязательном картелировании”, по которому оно присваивало себе право объединять предприятия с целью регулирования рынка их изделий и сокращения конкуренции. Со временем Берлин сколотил сотни таких обязательных картелей, которые опреде-

* Военные затраты Германии накануне Второй мировой войны, в 1938–39 годах, оцениваются как 61 процент бюджетных расходов правительства и 19,7 процента валового внутреннего продукта. [Wolfram Fischer, *Deutsche Wirtschaftspolitik, 1918–1945*, 3. Aufl. (Opladen, 1968), 68.] Это почти соответствует показателям для Советского Союза в канун его крушения в 1991 году.

ляли, под государственным надзором, что можно производить вошедшим в них фирмам и какие цены они могут назначать на свою продукцию; обычной практикой до конца 1941 года была работа предприятий с ориентацией на издержки производства, сведения о которых подавались правительственным органам, после чего те разрешали “накинуть” 3–6 процентов в качестве прибыли²⁸. В 1936 году был учрежден рейхскомиссариат ценообразования с целью обеспечить “экономически справедливые цены”. Действие рыночного механизма ценообразования было таким образом приостановлено²⁹. По закону о картелях запрещалось делать новые капиталовложения без предварительного их одобрения правительством³⁰. Государственные власти регулировали также выплату дивидендов: изданный в 1934 году закон устанавливал, что распределяемые среди акционеров доходы не могут превышать 6 процентов оплаченного капитала; по другому закону любые доходы свыше этой нормы подлежали вложению в государственные облигации с отодвинутыми в будущее сроками погашения³¹. От держателей муниципальных и других облигаций потребовали обменять их на бумаги новых выпусков с более низкими процентными ставками³². Частных предпринимателей то и дело подхлестывали упреками в “экономическом эгоизме” и неустанными напоминаниями, что интересы отдельного человека должны уступать место интересам общества*.

Постепенно нацистское правительство ввело контроль и на рынке труда, запретив со временем (1939) переход рабочих с предприятия на предприятие³³. Отменены были коллективные договоры: зарплата, как и часы работы и условия труда, устанавливались предприятиями под надзором правительственных чиновников (“доверенных лиц рабочих”). В канун Второй мировой войны ставки зарплаты были заморожены на уровне кризисных 1932–1933 годов³⁴.

Как нацисты относились к собственности, наглядно показывает законодательство, регулировавшее пользование и

* R. J. Overy, *War and Economy in the Third Reich* (Oxford, 1994), 99 and *passim*. Возглавляемый Германом Герингом государственный концерн Рейхсверке, прежний стальной трест с его металлургическими и машиностроительными заводами, угольными шахтами, рудниками и судоходными компаниями стал со временем крупнейшим хозяйственным предприятием Европы. Это было скорее исключением из политики контроля, чем заменой частного предпринимательства.

распоряжение сельскохоззяйственными угодьями. Хотя сельское хозяйство было упадочным сектором германской экономики, оно имело для нацистов большую ценность как символ их мистического поклонения земле (*Blut und Boden*) и культа древних германских племен³⁵. Ему также отводилось важное место в подготовке войны, в которой надежные поставки продовольствия приобретали огромное значение. Право владельцев мелких и средних участков передавать собственность в наследство по завещанию было в 1933 году резко ограничено введением порядка, согласно которому число наследников сводилось к одному — по назначению завещателя. Продажа таких участков допускалась только с разрешения суда. Декретом 1937 года устанавливалось, что крестьянину, неэффективно обрабатывающему землю, может быть предписано исполнение определенных указаний государства, а в случае ослушания его хозяйство может быть в принудительном порядке передано в опеку или в аренду более умелому хозяину; в крайних случаях предусматривалось лишение его собственности. Земля могла быть изъята для “общинного” пользования с компенсацией, причем это понятие толковалось весьма вольно, без особого учета рыночных цен. И наконец, не последнее по важности: правительство определяло, какие культуры крестьянину полагается выращивать и какую часть собранного урожая зерновых он обязан отдать государственным заготовителям³⁶. Во многих отношениях земельная собственность в нацистской Германии стала подобием имущественного фонда, переданного в доверительное управление государству, притом что у номинальных собственников оставалось мало прав и много обязанностей.

- Собственность была сохранена в руках ее владельцев по необходимости, а не по соображениям идеологии... Капиталовложения контролировались, свобода выбора занятий была мертва, цены фиксированы, каждый сектор экономики был в худшем случае жертвой, в лучшем же пособником (нацистского) режима... Вопреки марксистской и неомарксистской мифологии, никогда, по-видимому, не случалось, чтобы капиталистическая по внешности экономика направлялась по столь явно некапиталистическому и даже антикапиталистическому пути, как это было в случае с германской экономикой между 1933 и 1939 годами³⁷.

Посягательства на собственность в Третьем рейхе в 1930-е годы были лишь скромным намеком на то, что имелось в виду сделать по достижении окончательной победы.

Движение к полной отмене прав личности и свобод в тоталитарных государствах шло, таким образом, рука об руку с движением к полной отмене частной собственности. Дальше всего дело зашло в коммунистических странах, несколько меньше продвинулось в нацистской Германии и менее всего в фашистской Италии; но во всех трех странах борьба за установление тотальной политической власти сопровождалась целенаправленными нападениями на права частной собственности. Опыт тоталитаризма подтверждает, что если для свободы нужны гарантии прав собственности, то точно так же стремление к безграничной личной власти над гражданами требует подрыва власти граждан над вещами, потому что она позволяет им вырваться из тисков всеохватывающей власти государства.

3. Государство-благодетель

В отличие от тоталитарных и других деспотических режимов, демократии провозглашают свое безоговорочное уважение принципа частной собственности: никогда прежде не было в мире так много конституций, устанавливающих его нерушимость. В действительности, однако, дело обстоит иначе. Права собственности и связанные с ними свободы подрываются различными способами — иногда открыто и, по видимости, в конституционных пределах, а иногда обходными путями и с использованием средств, сомнительных с точки зрения законности: выясняется, что государство забирает, даже когда дает. (Ибо, говоря словами древнего философа, “к какой бы вещи ни был приставлен сообразительный охранник, именно этой вещи он и будет также ловким похитителем”.) Наступление на права собственности не всегда бывает явным и очевидным, потому что разворачивается оно во имя “общего блага” — весьма растяжимого понятия, толкуемого сообразно интересам тех, кому оно выгодно.

Не все предвидели такой поворот событий. В 1920-е годы Моррис Коэн, профессор философии в Колумбийском университете, ученый с широким кругом интересов, выражал уверенность, что в современных условиях традиционное различие между верховной властью и собственностью, между

imperium и *dominium*, в основном потеряло смысл. Крупные капиталисты, считал он, приобрели так много власти над столь большой частью населения, что они стали верховными правителями *de facto*: “Не подлежит сомнению, — писал он, используя оборот речи, всегда позволяющий предупредить о наличии причин для сомнений, — что наши законы о собственности наделяют суверенной властью капитанов нашей индустрии и тем более наших финансовых капитанов”³⁸. В первой половине двадцатого века это мнение преобладало.

Но, как часто случается, именно в то время, когда некая тенденция представляется неумолимой, вдруг обнаруживается, что движение уже пошло вспять, потому что в дело вступили вызванные к жизни противодействующие силы. В двадцатом веке волны покатались в иную сторону, изменилось понимание демократическими правительствами своих задач, причем эта перемена исключила всякую возможность подавления общественных интересов частными и выдвижения предпринимателей на роль “суверенов”.

В восемнадцатом и девятнадцатом столетиях общепринято было считать, что бедность представляет собой следствие личных промахов человека и лежит поэтому за пределами правового регулирования. Так, в 1834 году в докладе членов комиссии, занимавшейся законом о бедных, который привел в Англии к резкому сокращению вспомоществований, традиционно раздававшихся беднякам на дому, утверждалось, что действующие законы о бедных не могут достигнуть своей цели, поскольку они пытаются отменить “тот самый закон природы, по которому каждый человек и его семья должны расплачиваться за свое расточительство и дурное поведение”³⁹. Автор статьи во влиятельном английском журнале средневикторианского времени высмеивал выдвинутую тогда некоторыми либералами идею, что “собственность налагает обязанности так же, как она дает права”, и излагал свои возражения: “У собственности нет никакой внутренней обязанности быть благотворительницей. Обязанности бывают у бедных, не у богатых; и первая обязанность трудолюбивых бедняков — не быть бедными”⁴⁰. Столетие назад президент-демократ Гровер Кливленд мог позволить себе не подписать законопроект о предоставлении помощи пострадавшим от засухи техасским фермерам на том основании, что лучше оказание такой помощи возложить на частных благотворителей, чтобы граждане не попали в чрезмерную зависимость от “отеческой заботы” правительства. “Я не думаю, —

писал он, оправдывая свое вето, — что могущество и обязанность правительства, представляющего общие интересы, могут простирается так далеко, чтобы охватывать и меры облегчения индивидуальных страданий, что ни в коем случае не может быть должным образом увязано с общественными услугами или льготами... Следует постоянно внедрять в сознание мысль, что, хотя люди и поддерживают правительство, правительство не обязано поддерживать людей⁴¹.

Представления, выражаемые с такой грубой прямотой и сегодня трудно поддающиеся пониманию, свидетельствуют не столько о нравственной глухоте, сколько об убеждении, что в своей бедности человек повинен сам, ибо она есть кара, назначаемая природой за такие грехи, как бездельничанье, распущенность и пьянство. Это убеждение было унаследовано от времени, когда безработца была явлением малозаметным, инфляция практически неведома, а забота о больных и несчастных возлагалась на частную благотворительность. Но сказывалось также и незнание действительности, потому что отсутствовали статистические сведения о характере и распространенности бедности⁴².

В 1880-е годы отношение к бедности начало меняться. Правительства постепенно стали признавать, что во многих случаях бедность появляется по неподвластным ее жертвам причинам и что права собственности, не поставленные ни в какие рамки, позволяют богатым угнетать бедных. Свою роль сыграла и политика, а именно желание заручиться поддержкой избирателей из низших классов, только что получивших право голоса, как, вместе с тем, и боязнь социализма. Результатом стало смещение акцентов в социальной политике: свобода и собственность уступили место социальной справедливости и равенству.

Почва для нового подхода к социальным проблемам была подготовлена глубокими изменениями во взглядах западного человека на право и законодательство. Как было отмечено выше, по европейской традиции, восходящей к Средним векам, задачей права и законодательства было не вводить новшества, а поддерживать сложившиеся обычаи: о великом английском государственном деятеле середины восемнадцатого века Уильяме Питте-старшем, герцоге Чатамском, восемь лет занимавшем пост премьер-министра, говорят, что он не провел через парламент ни единого законопроекта⁴³. Право считалось не подлежащим изменениям, поскольку его опорами были при-

рода и воля общества; законодателям и юристам надлежало лишь выяснять суть существующих законов и указывать, как они должны применяться в конкретных случаях. Появление в конце восемнадцатого века “историзма”, утверждавшего, что человеческие институты постоянно пребывают в развитии, изменило традиционный взгляд на право. Было признано, что поскольку в делах человеческих все происходит по человеческой же воле, постольку все это может быть изменено — и улучшено — посредством образования и законодательства. В Англии, которая шла в этом отношении впереди всего мира, человеком, возглавившим нападки на традиционный образ мысли, был Иеремия Бентам. Ученик Гельвеция, он критиковал Блэкстоуна за утверждение, будто прошлое указывает путь настоящему. В отличие от Блэкстоуна, который преподавал право такое, каково оно есть, Бентам взялся обучать праву такому, “каким оно должно быть”⁴⁴. Именно Бентам, более чем любой другой мыслитель, распространил представление о том, что с помощью законов можно излечивать любые социальные язвы. Ко второй четверти девятнадцатого столетия общепринятым стало убеждение, что дело парламента — творить законы. В середине века в Англии была создана профессиональная гражданская служба с задачей выявлять социальные проблемы страны и предлагать меры для их решения. Парламент часто следовал ее советам, многие из которых предполагали “разнообразные и прямые посягательства на свободу договорных отношений” и таили в себе “коварные последствия для самого идеала общества, построенного на договорной основе”⁴⁵. Так закладывались философские основы государства социальной благотворительности.

Политические же его основы были заложены в Германии 1880-х годов. Обеспокоенный успехами среди германских рабочих запрещенной социал-демократической партии, Бисмарк законодательно утвердил программы социального страхования от болезней, производственных травм и трудностей, переживаемых людьми преклонного возраста. За этим последовали законы, делавшие воскресенье выходным днем для рабочих. Были учреждены суды для улаживания споров о зарплате. В начале двадцатого века по инициативе либеральной партии подобные законы были приняты и в Англии: закон о безработных трудящихся (1905); законы о компенсационных выплатах рабочим (1897, 1906), которые возложили на работодателей финансовую ответственность за производственный

травматизм; закон о пенсиях по старости (1912), обеспечивший пенсию каждому низкооплачиваемому британцу в возрасте 70 лет и старше. Венцом этих законодательных мер стал закон о социальном страховании 1911 года, который учредил пособия по болезни и безработице за счет вкладов, вносимых работодателями, работниками и государством. В 1912 году Британия приняла закон о минимальной заработной плате.

До Первой мировой войны социальные законы предусматривали главным образом страхование на случай нечаянных увечий и безработицы, а также смягчение невзгод старости. Со временем, однако, особенно в годы Великой депрессии с ее беспрецедентной безработицей, представления о первостепенных потребностях человека и об ответственности общества за их удовлетворение существенно расширились. Незаметно, но с огромными последствиями для собственности и свободы, законодательство, посвященное социальному благополучию, из области страхования переместилось в область обеспечения: со страхования от неприятностей оно переключилось на гарантированное обеспечение того, что Франклин Рузвельт назвал “удобно устроенной жизнью”*. Расширение государственной ответственности, в свою очередь, вело к расширению участия и вмешательства государства в дела общества и, соответственно, к посягательству на свободу. Ибо, как указывал Фридрих Хайек, всякое расширение государственных полномочий таит в себе и создает угрозу свободе, потому что “(1) люди обычно достигают согласия в подходах к решению лишь очень немногих из их общих задач; (2) правительство, чтобы быть демократическим, должно действовать на основе согласия; (3) по этой причине демократическое правительство возможно лишь при том условии, что оно ограничивает свою деятельность немногими областями, в которых существует общественное согласие; (4) отсюда следует, что при попытке заняться другими, выходящими из этого круга, делами государство обнаруживает, что оно может действовать не иначе, как прибегая к принуждению, в результате чего разрушаются как свобода, так и демократия”⁴⁶.

Программы социальной помощи, принятые в 1930-е годы в нескольких странах, потребовали огромных денежных затрат,

* В ходе президентской кампании 1932 года Рузвельт блеснул заявлением: “Каждый человек имеет право на жизнь, и это значит, что он имеет также право вести удобно устроенную жизнь...” [Carl N. Degler, *Out of Our Past* (New York, 1959), 413.]

которые невозможно было покрыть одними налоговыми поступлениями. Они превратили современное демократическое правительство в гигантский механизм перераспределения частных средств — посредством налогообложения доходов правительство присваивает большую долю заработков корпораций и отдельных лиц, часть оставляя себе на управление программами помощи, а остальное распределяя среди получателей этой помощи. Философским обоснованием таких действий служит социалистическая доктрина, согласно которой государство обязано не только облегчить участь бедных, но и “отменить” саму бедность*. Двигаясь к этой цели, правительство берется обеспечивать не столько равенство возможностей, основную мечту либерализма, сколько равенство заработков, то есть выполнять задачу, близкую к коммунистическому идеалу, выражаемому в словах: “от каждого по способностям, каждому по его труду”⁴⁷. Цель определил президент Линдон Джонсон, ведущий в послевоенное время архитектор государства социальной благотворительности в Соединенных Штатах; в обращении, адресованном университету Говарда, он заявил в июне 1965 года: “Свобода это недостаточно... Мы добиваемся не просто свободы, но возможности... не просто равенства как права и теоретической установки, но равенства на деле и в *результатах*”^{**} (курсив мой. — Авт.).

Ни Джонсон и его спичрайтеры, ни широкая публика скорее всего не имели ни малейшего представления о том, как далеко уводят эти слова от западной традиции. Социальное равенство, если оно вообще возможно, достижимо только в принудительном порядке, то есть ценой урезания свободы. Оно по необходимости требует нарушения прав собственности тех граждан, которые обладают богатством или общест-

* Источник распространения этих представлений в Соединенных Штатах Клинт Боллик [Clint Bollick, *The Affirmative Action Fraud* (Washington, D. C, 1996), 43–45] усматривает в работах М. Харрингтона и К. Дженкса [Michael Harrington, *The Other America* (New York, 1962); Christopher Jenks, *Inequality* (New York and London, 1972)]. В действительности, однако, они вытекают из всей идеологии социализма.

** Hugh Davis Graham, *The Civil Rights Era* (New York, 1990), 1974. Речь, предложенная Биллом Мойерсом, была написана Дэниэлом Патриком Мойнихэном и Ричардом Гудвиным. [Ibid.] Это понятие проглядывало уже в некоторых речах Рузвельта. [Richard A. Epstein in *Social Philosophy and Policy* 15, No. 2 (Summer 1998), 420.]

венным статусом, превышающими средний уровень. Едва только устранение бедности становится для государства целью, как оно вынуждено усматривать в собственности не фундаментальное право гражданина, а препятствие на пути к социальной справедливости. Поэтому все эгалитаристские доктрины — в очень большом сходстве с рассуждениями защитников королевского абсолютизма, вроде Гоббса, — считают важным настаивать, что собственность — это не естественное право, а лишь общественный институт, в силу чего общество правомочно регулировать ее, прибегая к помощи государства⁴⁸. В этих доводах кроется малозаметное смещение понятий, при котором обязанность государства защищать частную собственность превращается в право верховного распорядителя этой собственности.

В старину подобные покушения на собственность удавалось успешно отбивать именем свободы и “прав по рождению”. Но тогда угроза собственности и всему с нею связанному исходила от наследственных монархов: парламент, как представитель народа, не позволял правительству (то есть королевской власти) вводить налоги по собственному усмотрению, ссылаясь на то, что оно не может распоряжаться имуществом своих подданных без их согласия. Но положение в корне изменилось, когда власть стала выборной, потому что теперь любой закон как бы заведомо получает народное одобрение. В условиях демократии собственность не является действенным ограничителем политической власти, потому что собственники рассаживаются, так сказать, по обе стороны стола переговоров и через своих представителей облагают налогами сами себя⁴⁹. Представители же эти, находясь в зависимости от избирателей, среди которых больше бедных, чем богатых, “добиваются поддержки избирателей путем выпячивания выгод и преуменьшения издержек, связанных с теми или иными политическими инициативами”*. Такая практика, принятая на протяжении двадцатого века почти во

* Charles K. Rowley, Introduction to Charles K. Rowley, ed., *Property Rights and the Limits of Democracy* (Aldershot, England, and Bookfield, Vt., 1933), 20. Хайек поставил под вопрос этику системы, “в которой не большинство дающих определяет, что следует давать немногим нуждающимся, а большинство берущих решает, что оно возьмет у состоятельного меньшинства” [F. A. Hayek, *The Constitution of Liberty* (Chicago, 1960), 289].

всех промышленных демократических странах, существенно изменила статус частной собственности: “В Соединенных Штатах одним из важнейших событий последнего десятилетия было выступление правительства в роли источника богатства. Правительство это гигантский сифон. Оно всасывает доходы и власть, а выплескивает богатство: деньги, пособия, услуги, контракты, льготы и лицензии. Правительство всегда занималось такими делами. Но если прежде, занимаясь этой деятельностью, оно вело себя скромно, то теперь оно выказывает свою щедрость с огромным, поистине имперским размахом.

Раздаваемые правительством ценности принимают разные формы, но у них есть одна общая черта. Они неуклонно теснят традиционные формы богатства — те, что связаны с частной собственностью. Социальное страхование замещает сбережения; правительственный контракт вытесняет клиентуру и добрую волю бизнесмена. Благосостояние все большего и большего числа американцев зависит от их взаимоотношений с правительством. Во все возрастающей степени американцы живут за счет государственных щедрот, которые правительство распределяет по своему усмотрению, а получатели принимают на условиях, отражающих “общественный интерес”.

Разрастание правительственной щедрости, сопровождаемое соответствующим законодательством, имеет глубокие последствия. Оно затрагивает основы индивидуализма и независимости. Оно влияет на то, как действует Билль о правах³⁰.

Поскольку всегда и повсеместно бедные избиратели численно превосходят богатых, теоретически ничто не ограничивает возможностей демократического государства грубо попиравать права частной собственности. Некоторые наблюдатели опасаются, что этот процесс неотвратимо ведет к разрушению демократии, но они не принимают во внимание неизбежной ответной реакции, которая уже набирает силу с 1980-х годов, когда затраты на постоянно разрастающиеся программы социальной благотворительности стали создавать угрозу бюджетного краха. Другая причина, по которой посягательства на частную собственность не превращаются в неумолимое движение к своему логическому концу, то есть к ее упразднению, это то обстоятельство, что среди самых богатых вероятность участия в выборах вдвое больше, чем среди самых бедных³¹. Кроме того, владельцы собственности проявляют больше решимости защищать свое имущество,

чем посягающие на него с целью перераспределения: как правило, частные собственники переигрывают радетелей “общего блага”, потому что они могут потерять больше, чем те выиграть. При всем том происходит неуклонное, порой незаметное сокращение прав частной собственности и различных связанных с ними гражданских прав — как результат погони за социальной справедливостью, которую ведет современное государство социальной благоденствия.

Современное правительство* не только “перераспределяет” имущество своих граждан, но и определяет порядок его использования. Ссылаясь на законы об охране окружающей среды, оно ограничивает пользование землей и жилищем. Оно вмешивается в свободу договорных отношений, законодательно устанавливая минимальный уровень зарплаты и навязывая определенную практику найма рабочей силы (“affirmative action”). Оно контролирует квартирную плату. Оно не оставляет без своего вмешательства ни одну сторону предпринимательской, коммерческой деятельности, наказывая за все, что хоть немного смахивает на согласованную фиксацию цен, устанавливая тарифы на коммунальные услуги, препятствуя образованию трестов, регулируя работу служб связи и транспорта, заставляя банки кредитовать жителей указываемых им кварталов и так далее. Назначенная президентом Клинтоном и возглавленная вице-президентом Гором рабочая группа по подготовке материалов для реорганизации правительства прикинула в 1993 году, во что “обходится частному сектору соблюдение всех предъявляемых ему (извне) требований”, и оценила его потери “по крайней мере в 430 млрд долл. — 9 процентов нашего валового внутреннего продукта!”⁵². В итоге сегодня частная собственность мало напоминает то, чем она была несколько столетий назад, и все больше приближается к статусу условного владения.

Эти меры навязываются бюрократией регулирующих учреждений, которая действует большей частью скрытно от глаз общественности и прибирает к рукам те властные полномочия, разделение которых стремились обеспечить авторы нашей конституции: “Административные органы объединяют в одном учреждении все черты и функции законодатель-

* Применительно к Соединенным Штатам, если нет уточняющих оговорок, под “правительством” понимаются как федеральные власти, так и правительства штатов и местные администрации.

ной, исполнительной и судебной властей... Эти органы устанавливают правила (законодательная функция), давая по ходу дела толкование основополагающим законам (функция суда) Они добиваются соблюдения законов и собственных правил (функция исполнительной власти), устанавливают факты нарушения правил и намечают санкции против предполагаемых нарушителей (функции суда)... Если суды будут уклоняться как это сейчас часто происходит, от выполнения своей конституционной роли защитников прав и во всех многообразных делах, которыми занимаются административные органы, станут полагаться на их мнения, это будет означать, что первоначально задуманная конституционная система коренным образом изменилась”⁵³.

Трудность, возникающая в этой непривычной и опасной ситуации, связана с тем, что в условиях современности государственное вмешательство неизбежно и во многих отношениях благотворно, чего, наверное, не было, когда частной собственности грозил королевский абсолютизм. Понятие “общественного блага”, даже если им грубо злоупотребляют, заслуживает, тем не менее, внимания и уважения. Загрязнение окружающей среды делает необходимым, чтобы правительство следило за промышленными и автомобильными выбросами. Кто-то должен следить за тем, чтобы люди не подвергались дискриминации со стороны государственных учреждений по причине их расовой, национальной принадлежности, вероисповедания или пола, и этим кем-то может быть только государственная власть. Чистоту воздуха надо обеспечивать. Врачам надо выдавать лицензии, а престарелым и бедным должно быть обеспечено медицинское обслуживание. Во всем этом без государственного вмешательства не обойтись. Государственное вмешательство ограничивает свободу, но и защищает ее: правильно было сказано, что “демократия укрепляется, когда надевается узда на некоторые виды экономической свободы”⁵⁴. Мы, таким образом, оказываемся перед лицом нового и парадоксального положения: в современном мире частная собственность, традиционно самый прочный бастион свободы, должна быть ради блага общества ограничена, что, в свою очередь, угрожает расширением власти государства до таких пределов, что это ограничивает и подвергает опасности свободу общества. И все же затруднительно оказывать государству сопротивление во имя свободы, потому что в его действиях отражается свободная

воля свободных граждан. Это может означать, что собственность не может более служить гарантом свободы и что само ее сохранение становится проблематичным. Но это может также означать, что нужно найти способ, как надежно обеспечить сохранение собственности в качестве фундаментального права человека, которое общество не должно нарушать, добиваясь упрочения основ социальной справедливости. Ниже мы предложим подойти к делу, руководствуясь мыслью, что эти две взаимосвязанные задачи решаются не столько с помощью законов и институтов, сколько за счет выбора подходящих способов исполнения законов и использования институтов.

Прежде чем двинуться дальше, надо разобраться с утверждением, что частная собственность в ее традиционном смысле устаревает просто в силу особенностей современной экономики. Если это верно, дальнейший разговор станет беспредметным.

4. Современные корпорации и собственность

Огромное большинство человечества зарабатывает сегодня на жизнь во многом так же, как делало это всегда, то есть выращивая продовольственные культуры, занимаясь рыболовством, ремеслом, торговлей и продавая свой труд. Для этого большинства собственность по-прежнему означает некие физически осязаемые предметы, особенно землю и всякого рода товары. Но для жителей индустриально развитых обществ за последние два века положение резко изменилось. Для них воплощением богатства стали деньги, знания и другие невещественные ценности; значение производственного сектора относительно падает по мере расширения сектора услуг и финансов. Следуя за низкой ценой труда, производство товаров все больше перемещается в бедные страны. Хотя землевладение все еще может служить источником больших состояний, все же земля, до девятнадцатого века остававшаяся главным видом частной собственности, превратилась в экономически малозначительную величину.

- Дело обстоит так, что признаваемые нашими современными законами права собственности, не имеющей вещественного содержания, по своей общей стоимости, вероятно, в огромной степени превосходят такие права на землю и про-

чие осязаемые предметы. Эта современная невещественная собственность включает в себя, в частности, долговые расписки, векселя, патентные права и акции корпораций⁵⁵.

Не менее важную роль в изменении природы собственности сыграл рост государственного вмешательства в экономику, который в ряде стран привел к национализации многих производственных ресурсов, а в других к образованию гигантских корпораций, завладевших большей частью таких ресурсов. Эти сдвиги побудили некоторых ученых задаться вопросом, сохраняет ли силу традиционное понятие частной собственности.

В 1932 году Адольф А. Берль и Гардинер К. Минз выпустили важную книгу под названием “Современная корпорация и частная собственность”. Ее центральная мысль была представлена в предисловии: “Перевод двух третей промышленного богатства страны из собственности отдельных лиц в собственность больших, финансируемых акционерным капиталом корпораций коренным образом изменяет жизнь собственников, жизнь трудящихся и способы обращения с собственностью”.

Авторы далее утверждали, что это развело между собой “две отличительные функции собственности — рисковое использование коллективного богатства коммерческого предприятия и подлинно ответственное управление этим предприятием”. По этой причине, считали они, нельзя больше говорить о “собственности в прежнем смысле”⁵⁶. В пересмотренном издании книги, появившемся в 1968 году, Берль доказывал, что со времени первого ее выхода в свет процесс концентрации производственных ресурсов в руках акционерных компаний шел неуклонно. По его подсчетам, в 1960-е годы на долю шестисот-семисот крупных корпораций в США приходилось 70 процентов несельскохозяйственного коммерческого оборота. Собственность, сохранившаяся в частных руках, оказалась представленной главным образом непроизводственным имуществом в виде жилых домов, потребительских товаров и изделий длительного пользования и акций⁵⁷. Таким образом, ввиду “массовой коллективизации собственности, работающей на производство”, корпорации подчинили себе производственные ресурсы, тогда как отдельным лицам во владение оставлены предметы потребления: они стали “пассивными” собственниками. Эта теория послужила основой для распространившихся во время хо-

лодной войны предсказаний о неизбежной “конвергенции” капитализма и социализма*.

По сути Берль и Минз по-своему пересказывали марксистский тезис о расхождении при капитализме путей труда и собственности на средства производства. Но в их рассуждениях недостатков было даже больше, чем в теории, послужившей им источником вдохновения⁵⁸. Факты, к которым они привлекли внимание, сомнений не вызывают; спорны выводы, сделанные ими на основе этих фактов. Представление, что управляющие корпорациями действуют вне всякого контроля со стороны акционеров, заведомо ложно: обладая огромными пакетами акций, пенсионные фонды и фонды взаимного страхования оказывают ощутимое воздействие на управление корпорациями. Свое недовольство управляющими акционеры могут выразить сбросом акций и соответствующим снижением их цены. Плохо работающих управляющих рано или поздно сменяют. Как говорит Гарольд Демзетц, “в мире, где личный интерес играет существенную роль в выборе экономического поведения, глупо полагать, будто собственники ценных ресурсов станут систематически отдавать их в руки управляющим, которые не будут заботиться об их интересах”⁵⁹.

Далее, понятие “собственность” никогда не включало в себя управление, осуществляемое самими собственниками. Собственность в ее классическом определении означала право пользования и распоряжения имуществом. Собственность всегда совмещалась с практикой передачи своего имущества в доверительное управление другим лицам при общем понимании, что право собственности сохраняется за владельцем. Уже в пятнадцатом веке европейские купцы передавали свой капитал в пользование торговым компаниям, обладавшим преимущественными льготами и привилегиями, как и профессионально управляемым акционерным компаниям. Появивши-

* В опубликованном накануне Второй мировой войны во Франции эссе [*L'homme et la propriété* (Paris, 1939)] Берль высказался в пользу системы, очень похожей на муссолиниевское “корпоративное государство”, и настаивал, что обществу следует “организоваться вокруг некой основной идеи” и что этой идеей должна быть производительность, которая станет заботой каждого физически здорового гражданина, “чья преданность общественному долгу будет подтверждением его свободы, а не знаком его порабощения” (56). Поразительно, с какой готовностью деморализованные либералы 1930-х годов усваивали идеи и даже язык и фашизма, и коммунизма.

мися в шестнадцатом веке в Англии акционерными компаниями управляли не собственники акций, а их доверенные лица. Корпоративное право Франции утвердило тип делового объединения, известный как *société commandité par actions* и требующий от акционеров передачи управляющим полного контроля над вложенным капиталом; и эти коммандитные общества появились уже в шестнадцатом веке⁶⁰. Сегодняшний держатель сотни акций корпорации с капиталом в миллиард долларов является ее частичным — пусть и в ничтожно малой доле — собственником, потому что он в любой момент может продать свои акции на открытом рынке. Думать, будто обладание собственностью предполагает личное участие в управлении ею, равносильно такому же ложному представлению, что демократия обязывает каждого гражданина лично участвовать в законодательной работе, как это и делалось в древности в народных собраниях; но века уже миновали с тех пор, как была осознана невозможность привлекать к этой деятельности многомиллионное население, и проблема была решена учреждением парламентского представительства. Так что современная корпорация не изжила частную собственность. Напротив, значительно прирастив богатство промышленных демократий, она поспособствовала ее дальнейшему процветанию.

Еще один изъян, которым страдает тезис Берля — Минза, состоит в принятом ими определении собственности. Возможно, под влиянием марксистской теории, господствовавшей в то время в Советском Союзе, авторы книги свели это понятие к “правам на средства производства”, тогда как в действительности оно включает в себя любое имущество, приносящее его собственнику материальную выгоду. Деньги, акции, облигации и недвижимость, как бы “пассивны” они ни были по отношению к производству, нельзя произвольно исключать из понятия собственности; то же относится, конечно, и к авторским и патентным правам.

Не более убедительны и рассуждения некоторых современных авторов, полагающих, что само это понятие “распалось”, потому что сегодня собственность несравнимо усложнилась в сопоставлении с тем, чем она была во времена расцвета либерализма, и, превратившись из “права” в “призрачную связку прав”, в качестве таковой не поддается уже точному определению⁶¹. Подражая естествоиспытателям, для которых не существует то, что не поддается измерению, некоторые теоретики в области обществоведения отказывают в существовании всему,

чему они не в состоянии дать четкого определения. Однако трудность, возникающая при попытке описать явление, не дает оснований отрицать факт его существования. Эрнандо де Сото вспоминает: “В Перу, когда я был мальчишкой, мне говорили, что фермы, на которые я заглядывал, принадлежат крестьянской общине, а не отдельным хозяевам. Однако едва я переходил с одного поля на другое, как и лаять начинала другая собака. Собаки не знали, какой там был порядок по закону; все, что они знали, это какая земля принадлежит их хозяину”⁶².

Именно по этим причинам, несмотря на широкий отклик, который получила книга Берля — Минза, она мало повлияла на профессиональные занятия экономистов. Два критика этой книги пишут: “Наш собственный статистический анализ с использованием только тех данных и тех методов, которые были известны тогдашним экономистам, “не дает никаких ясных подтверждений, что находящиеся под властью менеджеров корпорации сколько-нибудь существенно отличаются от управляемых собственниками компаний в том, что касается вознаграждения управляющих, или в уровне прибыльного использования активов. По-видимому, экономическая мысль, следовавшая традиционной теории, инстинктивно сознавала этот факт и потому продолжала работать, не обращая на *Современную корпорацию* ровным счетом никакого внимания”.

5. Налогообложение

Говорят, в нашей жизни с уверенностью можно ждать только двух вещей — смерти и налогов; а между тем прямое налогообложение доходов населения, ставшее столь непрременной частью нашего существования, — это изобретение двадцатого столетия*. До появления демократического государства правительствам полагалось жить на собственные средства, которые дополнялись таможенными и акцизными сборами, а также поступлениями от всякого рода повинностей. Прямыми налогами, вроде французской *taille* или российской подушной подати, облагались только низшие классы, то есть беднейшие

* “Прямыми” налогами облагаются люди; “косвенными” — вещи, услуги и сделки. Таким образом, подходящий налог прямой, тогда как налоги на недвижимость, таможенные пошлины и акцизные сборы суть налоги косвенные.

слои, и на саму повинность платить эти налоги смотрели как на признак низкого положения в обществе. К богатым за деньгами обращались только в чрезвычайных обстоятельства, что обычно означало войну или угрозу войны. Поэтому столетиями прямые налоги, коль скоро их собирали, воспринимались как добровольные “взносы”⁶⁴. В Англии прямые налоги считались “дарами”, которые подданные подносили короне через своих представителей; так же в основном принято было смотреть на вещи и в американских колониях⁶⁵. Во Франции начала нового времени налоги, вводимые провинциальными штатами, считались “добровольными подношениями” (*dons gratuits*)⁶⁶.

В древних Афинах на налоги смотрели как на отличительное свойство тирании: афинские граждане налогами не облагались. Финансы города-государства складывались из доходов, получаемых от публичной собственности (в том числе от серебряных рудников Лавриона), из судебных сборов и штрафов, а также за счет косвенных налогов, таких как налог с продаж и портовые сборы. Когда возникала угроза безопасности города, афиняне вносили деньги на его оборону, кто сколько может, но очень заботились, чтобы вызванные временными обстоятельствами сборы не превращались в постоянные⁶⁷. Иначе вел себя в Сиракузах тиран Дионисий (405–367 до н.э.), устанавливавший такие подати, что, по словам Аристотеля, на их уплату уходила вся собственность подданных. А вот как обстояло дело в древнем Риме: в глазах римлян налоги были своего рода данью, и облагались ими только покоренные народы и прочие неграждане. Источниками финансов Рима были поступления от платежей за пользование землей (*ager publicus*) и другим государственным имуществом, сбор дани и военная добыча. Основной производственный ресурс страны — частные земельные владения (*ager privatus*) от налогообложения был свободен⁷⁰.

В Средние века обязанность платить постоянные налоги воспринималась как утрата личной свободы, поскольку это казалось равнозначным обложению данью; таков, например, был взгляд, распространенный у франков⁷¹. Средневековым французским королям надлежало самим оплачивать свою жизнь и деятельность, и по этой причине им запрещалось отчуждать какую бы то ни было часть королевских владений. Ни Меровинги, ни Каролинги не имели никаких налоговых систем и свои расходы на управление государством и войны

покрывали за счет ренты, поступавшей из их поместий, сбором дани с покоренных народов и военной добычей⁷². Существуют кое-какие свидетельства о налогообложении доходов в средневековых итальянских городах, где торговля и промышленность вытеснили сельское хозяйство из числа основных источников богатства*. Тем не менее прямые налоги в Европе, как и в древности в Афинах, относились к разряду чрезвычайных мер военного времени. Так, в 1695 году Франция ввела подушный налог, который все подданные, сообразно их средствам, должны были платить на продолжение войны Аугсбургской лиги⁷³. В 1799 году Англия ввела прогрессивный подоходный налог для покрытия расходов на войну с Францией. Подданные с годовыми заработками менее 60 фунтов стерлингов от его уплаты освобождались; остальным же надлежало платить по прогрессивной шкале: на доходы в 200 фунтов и выше налог составлял 10 процентов. Этому непопулярному сбору было позволено тихо исчезнуть по окончании наполеоновских войн⁷⁴. Позже в девятнадцатом веке подоходный налог был восстановлен, но с умеренными ставками, составившими в среднем 5 процентов.

В Соединенных Штатах прямые налоги также явились побочным продуктом войны. Революционная война финансировалась не за счет налогов — у конгресса еще не было достаточной власти, чтобы их ввести, — а за счет займов⁷⁵. Вплоть до гражданской войны правительство Соединенных Штатов покрывало свои расходы главным образом за счет поступлений от таможенных пошлин и продажи земли, и этого по большей части с лихвой хватало⁷⁶. В гражданскую войну, однако, правительственные расходы увеличились в двадцать раз, и тогда был учрежден подоходный налог. Этим налогом, введенным в 1861 году, облагались все доходы начиная с 800 долларов по ставке 3 процента, которая прогрессивно возрастала и достигала 10 процентов для доходов свыше 5000 долларов. В 1872 году налог был отменен. В 1895 году законопроект о постоянном подоходном налоге Верховный суд объявил неконституционным на том основании, что в качестве прямого налога он подлежит сбору по штатам пропорцио-

* См., напр., критические замечания историка шестнадцатого века Франческо Гвиччардини по поводу прогрессивного налога, который использовали Медичи во Флоренции. [Hayek, *Constitution of Liberty*, 515–16.]

нально их населению⁷⁷. Окончательно он был узаконен Шестнадцатой поправкой, принятой в 1913 году*.

Налог на наследство время от времени вводился в античных государствах (преимущественно в Риме), как и в средневековой Европе⁷⁸, но с широким размахом он начал применяться в девятнадцатом столетии, а особенно во время и непосредственно после Первой мировой войны. Великобритания ввела “налог на смерть” в 1894 году. В Соединенных Штатах постоянный сбор налога на наследство начался в годы Первой мировой войны⁷⁹.

История, таким образом, свидетельствует, что в период, простирающийся от классической античности до двадцатого века, постоянное (в отличие от связанного с чрезвычайными обстоятельствами) налогообложение считалось в западном мире незаконным, если только речь не шла об обложении данью покоренных народов; платить налог правителям своей страны означало нести на себе клеймо социальной приниженности. Считалось, что в мирное время власти должны существовать на собственные средства. Это было возможно, потому что в старину обязанности государства были очень ограниченными, и среди них не было ни одной, сопоставимой с социальными задачами, которые оно берет на себя сегодня; средства требовались в основном на войну и на содержание королевского двора. К прямому налогообложению прибегали преимущественно в военное время. Введение налогов должны были одобрять — обычно через своих представителей** те, — кому их предстояло платить.

Постоянное взыскание прямого подоходного налога по ставкам прогрессивной шкалы является побочным продуктом про-

* О Соединенных Штатах говорят, что это единственное в мире государство, облагающее налогами своих граждан, живущих за пределами страны, где они не пользуются благами, получение которых теоретически оплачивается их налогами. Согласно недавно установленному правилу, американец, отказывающийся от гражданства США, обязан платить федеральные налоги в течение десяти лет после этого отказа.

** Так считали колонисты в Америке. Лозунг “никаких налогов без представительства” отнюдь не означал, что американцы готовы с радостью платить налоги, коль скоро получат голос в политических делах, но он выражал их убеждение, что “налоги, вводимые без согласия (плательщиков), являются конфискацией, подрывающей права собственности”. [James W. Ely, *The Guardian of Every Other Right*, 2nd ed. (New York and Oxford, 1998), 27.]

водимой государством политики социальной благотворительности: то и другое появилось одновременно, и необходимость введения этого вида налогообложения обосновывалась большими расходами, которых требуют социальные программы*.

Сомнения выражались и по поводу моральной обоснованности самого принципа сбора налогов. Один немецкий ученый назвал его “величайшей несообразностью”: “Как это происходит, что в распоряжение жадного до налогов казначейства люди отдают до половины и более своего честно заработанного дохода, не требуя взамен ничего равноценного, а налоговые власти, действуя весьма характерным для них образом, ухитряются время от времени тайно поднимать налоги посредством сохранения твердых ставок даже тогда, когда деньги обесцениваются?”**

Другой ученый заявляет, что полномочие на сбор налогов есть не что иное, как “право государства на отчуждение частной собственности без компенсации”, и представляет собой поэтому “конфискацию без всяких оснований”⁸⁰. Ричард Эпстайн разделяет эту точку зрения: “Посредством налога правительство отнимает собственность в самом узком смысле слова, так что в конце концов берет себе в собственность и владение то, что прежде находилось в частных руках... Налогообложение является очевидным изъятием частной собственности”***.

* Высказывалось, однако, мнение, что поскольку повышение ставки налога дает либо незначительный, либо нулевой прирост поступлений, а порой ведет даже к их сокращению, вводятся они не столько по экономическим или социальным соображениям, сколько в порядке отклика на общественное раздражение. [Helmut Schoeck, *Envy* (New York, 1966), 325–26.] Эту точку зрения разделяет и Хайек. [*Constitution of Liberty*, 311–12.]

** Günter Schmolders, in Uwe Schultz, ed., *Mit dem zehnten fing es an* (München, 1986), 245. Автор имеет в виду, что при инфляции люди, которых налоговая шкала относит к группам с низкими доходами, попадают в число получающих более высокие доходы, хотя реально уровень их благосостояния нисколько не меняется.

*** Richard A. Epstein, *Takings* (Cambridge, Mass., 1985), 100. Это утверждение, как и вся критика, которой Эпстайн подверг государство социального благоденствия, были оставлены учеными без внимания, как говорят, “главным образом потому, что они оказались неприемлемыми для левого крыла академических кругов...” [Calvin R. Massey in *Harvard Journal of Law and Public Policy* 20, No. 1 (1996), 85–86]. Мэсси считает налогообложение в принципе делом справедливым, но только не “налоги по ставкам прогрессивной

Мы оставим в стороне вопрос о том, действительно ли регулярный сбор налогов представляет собой “лишенную всяких оснований конфискацию” или, напротив, является, как говорят другие, оправданной оплатой услуг, которые современное государство оказывает своим гражданам. Обратимся сразу к теме, имеющей непосредственное отношение к нашему исследованию, а именно к тому, каким образом налоги воздействуют на статус частной собственности и традиционно связанные с нею права.

6. Растущая власть государства

Соединенные Штаты, которые далее будут в центре нашего внимания, сильно отстали от Западной Европы с принятием программ социального обеспечения, потому что здесь традиционно делался упор на то, что человеку следует полагаться на собственные силы. Хотя неприкосновенность частной собственности еще со Средних веков вошла основополагающим принципом в неписанные конституции западноевропейских стран, особенно Англии, нигде этот принцип не уважали больше, чем в колониях Северной Америки. Страна, ставшая Соединенными Штатами, не имеет себе равных в мировой истории в том смысле, что была основана людьми, бившимися за частную собственность. Здесь средний класс не “возник” — он был налицо со дня сотворения. Об Америке восемнадцатого века было сказано, что это “мир среднего класса”⁸¹. Огромное большинство иммигрантов, обосновавшихся в Северной Америке, стали обладателями земли. Ее было предостаточно, и в желании привлечь поселенцев колонии щедро раздавали им большие участки. Так образовалось общество среднего класса, наделенного землей, и к середине восемнадцатого столетия “большинство колонистов были земельными собственниками и 80 процентов населения жило за счет сельского хозяйства”⁸². Неудивительно, что в умах американских колонистов на правах самоочевидной истины

шкалы”, которые “ложатся бременем на немногих ради блага многих”, что является нарушением содержащейся в Пятой поправке оговорки об “изъятиях”, требующей, чтобы “тяготы государственных расходов равномерно распределялись по всему обществу, а не становились бременем для немногих избранных”. [Ibid., 88.]

утвердилось убеждение, что защита собственности является главной задачей государства и что правительство, не справляющееся с этой задачей, теряет свой мандат. Американская революция свершалась ради защиты собственности как опоры свободы, ибо люди считали, что налогообложение колонистов без предоставления им возможности выразить свое отношение к налогам равносильно конфискации. “На каждой стадии развития конфликта до 1776 года и потом американцы утверждали, что отстаивают права собственности”⁸³*

Но отсюда еще не следует, что американские колонии и Соединенные Штаты в девятнадцатом веке были краем ничем не стесненной частной собственности. Миф о полной свободе предпринимательства в американском прошлом давно уже развеян. Верховное право власти на принудительное, в общественных интересах, отчуждение частной собственности со справедливым возмещением и до, и после революции действовало в Северной Америке гораздо чаще и шире, чем в Англии⁸³. Среди американцев не без влияния религии существовало широкое согласие в том, что если каждому человеку и дано право обладать собственностью, чтобы обеспечивать жизнь свою и своей семьи, то в конечном счете богатство должно все-таки служить общине, и у нее, соответственно, есть право регулирования этого богатства⁸⁴. На всем протяжении восемнадцатого и девятнадцатого веков законодатель-

* P. J. Marshall in John Brewer and Susan Staves, eds., *Early Modern Conceptions of Property* (London and New York, 1995), 533. Принимая во внимание, какое первостепенное значение придавалось в американских колониях частной собственности, многие ученые выражали удивление, почему ни в конституции США, ни в Билле о правах нет прямого указания на неприкосновенность собственности. Одним из объяснений этого пробела может быть то, что в те времена понятие “счастье” включало в себя и “собственность”: “Приобретение собственности и стремление к счастью так тесно сплелись между собой в умах поколения основателей, что упоминания одного было достаточно, чтобы указать и на то, и на другое”. [Willi Paul Adams, *The First American Constitutions* (Chapel Hill, N. C., 1980), 193.] Эту взаимосвязь явным образом представила в 1784 году конституция Нью-Гемпшира: “Все люди обладают определенными естественными правами, каковыми являются право на жизнь и свободу и их защиту, право приобретать, иметь и отстаивать собственность — словом, право добиваться и достигать счастья”. [Cited in James W. Ely, Jr., *The Guardian of Every Other Right*, 2nd ed. (New York and Oxford, 1998), 30.]

ные органы и на федеральном уровне, и на уровне штатов часто прибегали к мерам регулирования частной собственности⁸⁵. Более того, много важных предприятий, которые в Европе были общественной собственностью — например, коммунальные, транспортные, телефон и телеграф, — в Америке оказались в частных руках, и именно поэтому правительство здесь стремилось держать под своим надзором и регулировать их деятельность. Но аппарат государственного принуждения был развит слабо, а общественные настроения решительно склонялись в сторону индивидуализма. В решениях Верховного суда предпочтения отдавались правам собственности, которые он чаще всего ставил выше социальной справедливости; в сознание внедрялось представление об опоре на собственные силы как о способе решения всех социальных и экономических проблем.

Потому и случилось так, что когда разразилась Великая депрессия, выкинувшая двадцать миллионов американцев с их рабочих мест, механизма помощи безработным у Вашингтона не оказалось. Достижением рузвельтовского Нового курса было создание такого механизма. В рамках Нового курса были приняты закон 1935 года о социальном обеспечении с задачей помочь престарелым, инвалидам и безработным, закон 1938 года о справедливых условиях труда, установивший минимальную зарплату и максимальную продолжительность рабочего времени в ряде отраслей. Эти меры с запозданием обеспечили американцам те социальные блага, которыми немцы и англичане пользовались уже десятилетиями. Меры эти были, конечно, необходимы, и они спасли Соединенные Штаты от социальных беспорядков с возможными разрушительными последствиями.

Но законодательство Нового курса это только часть картины. Движимые глубоко скептическим представлением о будущем капитализма, Рузвельт и его советники содействовали коренным и долговременным переменам в отношении к частной собственности: законы, задуманные и представленные в качестве чрезвычайных мер, были искусно обращены в принципы преобразований, коренным образом изменившие подход к частной собственности со стороны сначала правительства, а потом и судов. Это было проделано посредством распространения принципа фундаментальных “прав” с политической на экономическую сферу⁸⁶ и привело к тому, что понятие права превратилось из “защиты от” в “притязание

на”. По ходу дела был изменен смысл слова “безопасность” (security), и оно, как говорил Рузвельт, стало означать “не только защиту... от нападения агрессоров... (но) также экономическую безопасность, социальную безопасность, нравственную безопасность”⁸⁷.

Когда Верховный суд, руководствуясь прежними принципами, объявил несколько законов Нового курса неконституционными, Рузвельт попытался изменить его состав посредством назначения новых и более либеральных судей. И хотя в 1937 году позорная попытка перетасовать состав суда в свою пользу провалилась, деморализованный суд забил отбой; когда же старые судьи подали в отставку и на их место пришли назначенцы Рузвельта, сама философия, которой следовал Верховный суд, претерпела существенные изменения: “Споры по поводу законности программы Нового курса долго питали враждебное отношение к судебной защите прав собственности... Едва Верховный суд принял Новый курс, судьи тут же резко отстранились от дел, связанных с экономическим регулированием. То была огромной важности перемена в отношении суда к правам собственности и свободе предпринимательства. С первых дней своего существования, заметил один ученый, “суд видел свою миссию в ограждении собственности от посягательств граждан и созданных ими законодательных органов. После 1937 года он от этой своей миссии отказался”. Так что следующему поколению досталось сильно урезанное понятие прав собственности... Соответственно, конгрессу и законодательным собраниям штатов суд предоставил большую волю в выборе их экономической политики, ограничив себя проявлениями поверхностной заботы о правах отдельных обладателей собственности”⁸⁸.

Эта смена позиций нашла свое отражение в появившихся в начале Второй мировой войны как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах далеко идущих планах социального реформирования, а также в представлениях о том, из чего складывается ответственность общества перед его обделенными судьбой гражданами. Традиционно “права” граждани-на были понятием-отрицанием: это были свободы “от” (от религиозных преследований, от произвольного ареста, от цензуры и т. п.). Теперь они приобрели утверждающее значение в смысле “прав на” (жилье, медицинское обслуживание и т. д.) осуществление которых, как настаивали, является обязанностью государства. Хотя этот пересмотр понятий

произошел без шума и как бы ненамеренно, он открыл новую фазу в становлении государства социального благоденствия. Поиск первоисточника современного подхода к делу приводит к чрезвычайно популярному в свое время трактату Томаса Пейна “Права человека”. В первой части этой книги, вышедшей в 1791 году, Пейн определял “права” еще в ключе отрицания и считал, что они означают “свободу, собственность, безопасность и противодействие угнетению”. Но во второй части (в главе 5), появившейся в следующем году, он представил новый взгляд на вещи и развернул радикальную программу социальной благотворительности: финансовая поддержка бедствовавших 20, по его оценке, процентов населения, детские пособия и выплаты на образование детей, как и помощь престарелым “не в порядке милости или благодеяния, а по праву”. Такие идеи опережали свое время на целое столетие и потому немедленного действия не возымели.

Их час пришел в 1940-е годы. Один из первых в Соединенных Штатах призывов к созданию государства-собеса содержался в адресованном конгрессу в январе 1941 года послании “О положении страны”, где Рузвельт упомянул о “четырех свободах”, которых надлежит добиться по установлению мира. Две из этих “свобод” были традиционными и гарантированными конституцией: свобода слова и свобода вероисповедания. Но две другие — свобода от нужды и свобода от страха — представляли собой нечто новое и рождали вопросы, оставленные Рузвельтом без внимания. Бог с ним, высокопарным и довольно бессмысленным лозунгом “свободы от страха”; что же касается “свободы от нужды”, то на деле она означала не свободу, а право на получение за счет государства необходимых средств существования, то есть право на нечто, тебе не принадлежащее. Она связывала правительство обязательством обеспечить каждому гражданину удовлетворение его нужд, притом что эти “нужды” по самой их природе никогда не могут быть точно определены и, следовательно, способны бесконечно возрастать по мере того, как общество становится богаче и удовлетворение одних нужд рождает другие. Внедрение в жизнь подлинных свобод — свободы слова, свободы вероисповедания, свободы участия в выборах — не требует никаких или почти никаких расходов.

В отличие от этого, осуществление особых прав сопряжено с выделением больших средств. Поскольку у демократического правительства никаких собственных денег нет, вся-

кое требование денег от государства, чем бы оно ни оправдывалось, на деле есть требование, предъявляемое на деньги своих сограждан, и в его удовлетворении правительство выступает лишь как передаточное звено. Предполагается передача через механизм налогообложения части имущества более состоятельных граждан в руки менее состоятельных; прежде такого обязательства и такой роли правительства никогда на себя не брали*.

Новая программа Рузвельта явилась роковым шагом в сторону от первоначальных принципов Нового курса: “Ничто в Новом курсе не предполагало помощи человеку на том единственном основании, что он беден либо поставлен в неблагоприятные социальные условия”⁸⁹. Неясно, сознавал ли Рузвельт все смысловые нагрузки своего лозунга, ибо похоже, что он бросил его мимоходом, откликаясь на вопрос журналиста из “Филадельфия Инквайерер”⁹⁰. Те, кто, услышав о “свободе от нужды”, приветствовали ее как цель разумную и гуманную, не понимали, надо полагать, что прийти к этой цели можно только через нарушения прав собственности.

Туманные намерения Рузвельта на следующий год были подхвачены и растолкованы в Великобритании, в так называемом докладе Бевериджа, подготовленном по просьбе правительства и призывавшем государство заняться по окончании войны уничтожением “пяти великих зол” — нужды (то есть бедности), болезней, невежества, антисанитарии и без-

* Джон Хосперс следующим образом описывает процесс социального выравнивания: “Государство хорошо знает, что люди... жаждут... благ, особенно благ экономических. И государство старается их предоставлять, хотя бы ради того, чтобы люди вели себя спокойно и, если речь идет о демократии, чтобы завоевывать их голоса. Но тут возникает проблема, ибо у государства нет собственных ресурсов, которые могли бы быть источником этих благ. Одному человеку оно может дать только то, что отнимет у другого; если один человек получает нечто в обмен на ничто, то другому достанется ничто в обмен на сделанное им что-то. Однако гражданин-избиратель, чье внимание захвачено предвыборными обещаниями, забывает, что у политика, все это наобещавшего, нет и — даже когда он победит на выборах — не будет никаких средств, чтобы выполнить взятые обязательства; он должен будет отобрать доходы одной группы особых интересов и то, что ею заработано, передать другой группе (разумеется, за вычетом 40 процентов, которые составят комиссионное вознаграждение правительства)”. [John Hospers, “The Nature of the State” in *The Personalist* 59, No. 4 (October 1978), 399.]

делья (безработицы)*. Уильям Беверидж, ученый-экономист, определял “уничтожение нужды” как создание условий, “гарантирующих, что каждый гражданин, в обмен на его созидательные усилия, будет иметь доход, достаточный для существования его самого и тех, кто находится на его иждивении, причем и когда он работает, и когда работать не может”⁹¹. Для достижения этой цели требовались национальное планирование и использование силы государства “в той мере, в какой это может быть необходимо для поддержания занятости в послевоенных условиях”⁹². Средства на финансирование этой далеко идущей программы социальной благотворительности должны были поступать частью от наемных работников, частью от работодателей и частью от государства. Предполагалось “такое перераспределение национального дохода, которое позволяло бы ставить первоочередные дела на первое место и заниматься устранением нищеты прежде, чем обеспечивать наслаждение комфортом”⁹³.

То была развернутая социалистическая программа, которую лейбористская партия сделала потом своей платформой на выборах 1945 года и превратила в план действий сформированного ею правительства. Лейбористское правительство провело обширную национализацию частных предприятий в промышленности и на транспорте с тем, чтобы преодолеть недостаток социальных гарантий, который, по мнению ее лидеров, “разлагал душу”. Хотя лично Беверидж держался весьма консервативных взглядов на роль женщины в обществе, его доклад послужил толчком для подъема в Британии феминистского движения, которое выдвинуло требование, чтобы домашний труд рассматривался как вид производственной занятости и чтобы женщинам были предоставлены равные с мужчинами экономические права.

Доклад Бевериджа был существенно новым словом в том смысле, что прежние программы социальной поддержки предназначались для помощи *отдельным людям*, по тем или иным причинам в ней нуждавшимся. В отличие от этого, предложенный Бевериджем перечень благотворительных дел был составлен с прицелом на помощь не отдельным людям, а

* Sir William H. Beveridge, *The Pillars of Security and Other War-time Essays and Addresses* (New York, 1943), 49, 91–92. Предвосхитила эти установки принятая в 1920 году программа нацистской партии; см. выше, стр. 285–86.

обществу в целом, и не на то, чтобы облегчить жизнь нуждающимся, а на то, чтобы предотвратить само появление нужды.

Пополненный новыми расплывчатыми пожеланиями, этот перечень получил международное признание в полуообязательном законе единогласно принятой в 1948 году ООН Всеобщей декларации прав человека, наделившей каждого жителя земли правом на труд и “достойный уровень жизни”.

Отзвуки программы британских лейбористов можно было услышать в Соединенных Штатах при президенте Кеннеди, говорившем о необходимости переместить центр тяжести социального законодательства “с пособий... на избавление от потребности в пособиях” и помогать нуждающимся становиться на ноги⁹⁴. Но этой цели политика была подчинена лишь при его преемнике Линдоне Джонсоне. Движимый самым пагубным человеческим стремлением, желанием оставить след в истории, Джонсон объявил в 1964 году “общенациональную войну с бедностью” и поставил задачу одержать “полную победу”*. Историка впечатляет не столько грандиозность намеченного, сколько сопровождающая его путаница в понятиях. Ибо “война” по определению предполагает насилие, и трудно себе представить, каким образом насилие может смягчить нужду. Более того, поскольку “бедность” есть понятие относительное, “полная победа” над нею недостижима: по мере того как общество становится богаче или беднее, критерии бедности меняются. (Учитывая, что в последние десятилетия происходило повышение среднего уровня доходов, пишет Мелани Филипс, позволительно задать вопросом: “Если имеет место движение, поднимающее людей с доходами ниже среднего к более высокому уровню жизни то в какой момент эти люди перестают быть бедными?”⁹⁵ Майкл Харрингтон, автор, оказавший наиболее

* *Public Papers of the Presidents of the United States: Lyndon Johnson, 1963–64*, I (Washington, D. C., 1965), 376. Чарльз Маррэй утверждает, что открытие национальной проблемы в виде “структурной бедности” посреди общего процветания может быть более или менее точно датировано 1963 годом. Основной посылкой здесь послужило соображение: “не вина бедных, что они бедны”; виновата “система”. [Charles Murray, *Losing Ground* (New York, 1984), 26–27, 39.] На формирование такого образа мысли ощутимо повлияла появившаяся двумя годами ранее книга Майкла Харрингтона. [Michael Harrington, *The Other America*.]

вдохновляющее влияние на развертывание в Соединенных Штатах “войны с бедностью”, сам оказался в очень трудном положении когда потребовалось определить, что же такое бедность, помимо неудовлетворенных элементарных потребностей в здоровье, жилье, питании и образовании, и четкое определение бедности он подменил смутными общими рассуждениями насчет психологически тяжелого ощущения “отверженности” и нереализованных возможностей⁹⁶.

Таким образом, наряду с традиционным понятием отрицающих “свобод” — свобод “от” — на Западе появилось представление об утверждающих свободах, а лучше сказать, о правах “на”. Особой новизны, впрочем, в этом не было, поскольку, как отмечено выше, такого подхода к делу Томас Пейн ждал еще в 1790-е годы. Но то, что было тогда предложением радикала-одиночки, теперь превратилось в государственную политику. Исторически “права” были по своему смыслу гарантиями людям, что ни государство, ни общество не будут посягать на их жизнь, их свободу и их имущество; позднее к этому присоединилась и гарантия, что правительство у них будет таким, какое они сами себе выберут. Из объединения гражданских и политических прав составила свобода.

Социальные “права” — это совсем другое дело. Ибо когда гражданину обещают “свободу от нужды”, ему гарантируют не только защиту его собственности, но и обеспечиваемый с помощью государства доступ к чужой собственности. Это обязательство широко распахивает ворота для потока ложных притязаний, выдвигаемых различными группами, образуемыми как раз для этой цели: “прав” потребителей, квартиросъемщиков, некурящих, пациентов, инвалидов, иммигрантов, гомосексуалистов и т. д., и чтобы осуществить все эти права, требуется вмешательство государства, так что их предъявление ведет к усилению его власти. Предъявлению таких “прав” нет предела, потому что осуществляются они за чужой счет. Представление, что каждая потребность рождает “право”, приобрело в сегодняшней Америке статус почти религиозного догмата, что препятствует разумному их обсуждению⁹⁷.

Далее следует пара примеров, иллюстрирующих это положение. Реклама книги о расовых проблемах привлекает внимание фотографией чернокожего мужчины средних лет, который поднял над толпой плакат со словами: “Человек имеет право на жилище”. Этот лозунг можно толковать двояко. Если он означает, что каждый имеет право купить, нанять или

построить себе жилище, то это настолько очевидно и бесспорно, что не стоит разговора на публике. Так что не похоже, чтобы изображенный на рекламе мужчина имел в виду именно это. Он, по-видимому, хочет сказать, что каждый, он сам в том числе, имеет “право” получить жилище от общества — иначе говоря, на то, чтобы федеральное правительство, власти штата или органы местного самоуправления за счет денег налогоплательщиков купили, арендовали или построили ему жилище. В этом смысле слово “право” совершенно неуместно, ибо ни у кого нет “права” на получение чего бы то ни было за чужой счет: никому не дано право требовать, чтобы таксист, маляр, школьный учитель, банковский служащий или садовник, все уплачивающие налоги со своих заработков, вносили деньги, зарабатываемые их собственным трудом, на обеспечение кого-то другого жильем. Конференция, организованная в 1996 году ООН в Стамбуле, приняла резолюции о “праве на жилище”, равно как и о “праве на получение пищи”, которые Соединенные Штаты благоразумно отказались поддержать из опасения, что бедные страны затаскают их по судам⁸, при том даже, что их отказ мог быть истолкован как проявление безразличия к бездомным и голодным.

Другим примером путаницы, возобладавшей в вопросе о “правах”, служат развернувшиеся в Соединенных Штатах споры о нелегальных иммигрантах. Число таких иммигрантов в Калифорнии оценивается в 800 тысяч; обучение их детей обходится налогоплательщикам штата в 1,8 миллиарда долларов в год. В 1993 году конгресс США обсуждал законопроект о разрешении властям штатов отказывать детям незаконных иммигрантов в обучении в государственных школах. В своих комментариях на этот законопроект один мексиканский чиновник заметил, что его правительство, хотя оно и не одобряет незаконную иммиграцию, все же обеспокоено вопросом о соблюдении “прав” таких иммигрантов. Здравый смысл, однако, подсказывает, что права, которые только и есть у незаконного иммигранта, это разделяемые им со всем человечеством права на жизнь, на свободу, на собственность. У него нет никакого “права” обучать своих детей за счет налогоплательщиков страны, в которую он въехал незаконно.

Обязательства, взятые на себя государством-собесом, требуют для их выполнения целой армии гражданских служащих, которые должны заниматься сбором налогов, регулированием и распределением. Это, в свою очередь, означает, что админи-

страция (на федеральном уровне, в штатах и на местах) берет к себе на работу все возрастающую часть населения и выделяет все большую долю национального богатства на их жалованье. В 1900 году в собственности правительства США находилось 7 процентов национального имущества (не считая дорог и улиц общественного пользования и большей части имущества армии и флота), а на государственной службе было занято 4 процента рабочей силы страны. За полвека показатели утроились: в 1950 году государство было собственником 20 процентов национального имущества и держало у себя на службе 12,5 процента рабочей силы⁹⁹. Его доля в валовом внутреннем продукте росла по экспоненте: с 3,9 процента в 1870 она поднялась до 27 процентов в 1970 году¹⁰⁰. В значительной части этот сдвиг явился следствием рузвельтовского Нового курса и политики социальной поддержки, принятой во время и непосредственно после Второй мировой войны. Но еще круче эти цифры пошли вверх во второй половине века в результате обширных прибавок к ассигнованиям на социальные цели, особенно в рамках введенной президентом Линдоном Джонсоном программы “Великое общество”. В 1990-е годы государственные расходы в США достигли трети ВВП. (В Германии они составляют более половины ВВП, в Великобритании — 42 процента¹⁰¹.) На социальное обеспечение идет около половины этих денег — почти втрое больше, чем в 1960 году¹⁰². К 1995 году численность гражданских служащих, непосредственно занятых в аппарате государственного управления, достигла 19,5 миллиона человек¹⁰³. Таким образом, если в период с 1900 по 1992 год все население Соединенных Штатов увеличилось в 3,3 раза (с 76 до 250 миллионов), то численность правительственных служащих выросла в 18,7 раза, то есть росла почти в шесть раз быстрее.

Столь внушительное сосредоточение богатства страны в руках государства создает очевидные опасности для свободы личности, потому что правительство, осыпая граждан своими милостями либо отказывая в них, способно влиять на поведение (или добиваться послушания) большей части населения. Не было случайным совпадением то, что основы свободы на Западе закладывались тогда, когда власть государства распространялась лишь на ничтожную долю национального имущества*.

* “В 1688 или 1685 году во Франции и в Англии расходы центрального правительства составляли семь процентов национального продукта” [Frederick C. Lane in *Journal of Economic History* 35, No. 1 (March 1975), 16].

7. Защита окружающей среды против частной собственности

Имея в виду традиционную роль частной собственности в охране свободы личности, учитывая, какие богатства сосредоточились в руках государства, и принимая во внимание его предполагаемые полномочия нарушать права собственности ради общественного блага, правомерно задаться вопросом: не угрожает ли социальная благотворительность в ее сегодняшнем виде существующим в стране свободам?

На Западе вообще, а в Соединенных Штатах особенно, суды действительно охраняют имущество граждан от посягательств со стороны других граждан. Прямые, однозначные захваты или “изъятия”, осуществляемые правительством, требуют оправдания и соответствующей компенсации. На практике, однако, изъятия оказываются крайне близким подобием конфискаций. Во-первых, правительство очень вольно определяет, что именно является “общественным благом”, и под этой вывеской отбирает земли для сомнительных целей, вроде сооружения торговых центров либо жилых домов, что дает выгоды отдельным людям или группам населения, но не обществу в целом. Во-вторых, размеры компенсации часто устанавливаются весьма произвольно, порой на уровне ниже затрат собственника.

Еще одна сегодняшняя опасность для прав собственности имеет природу косвенной угрозы, таящейся в мерах, о которых не скажешь, что они очевидным образом подпадают под действие Пятой и Четырнадцатой поправок, образующих конституционную основу защиты прав собственности американских граждан*. Начиная с 1930-х годов суды проявляли склонность одобрять всякого рода покушения на имущественные права граждан, которые правительство прикрывало ссылками на “общественный интерес”. Обходясь, строго говоря, без “изъятий” имущества, правительство ограничивает собственника в способах его использования, когда устанавли-

* Пятая поправка гласит: “Никто не может... быть лишен жизни, свободы или собственности без должного судебного разбирательства; равным образом частная собственность не может быть обращена в общественное пользование без справедливой компенсации”. Четырнадцатая поправка воспрещает отдельным штатам уклоняться от соблюдения этого принципа.

вает правила, которые, по мнению ряда знатоков права, равнозначны “изъятиям под видом регулирования”: “Некоторые правила обязывают собственников предоставлять посторонним лицам доступ в пределы своих владений. Правила пользования землей могут ограничивать его целями проживания, коммерческой и промышленной деятельности; могут устанавливать предел плотности прилагаемых к земле усилий; могут запрещать на ней определенные виды деятельности; могут устанавливать минимальные размеры участка, минимальные площади или максимальную высоту, размеры боковых дворов и отступов при возведении определенных видов строений; некоторые сооружения они могут объявлять точками отсчета и настаивать, чтобы их перестройка или снос, полные или частичные, предпринимались только с согласия таких-то управлений или комиссий. Правила ограничивают набор допускаемых в торговый оборот товаров и назначаемые на них цены. Все эти правила неодинаковы, и различия между ними, несомненно, должны учитываться при оценке их экономических последствий или их правовой обоснованности. Но так или иначе все эти многообразные формы регулирования сводятся к частичным изъятиям частной собственности”*

Такого рода покушения на права собственности не получают того отпора, какой они вызвали бы в восемнадцатом или девятнадцатом веке, отчасти потому, что большинство людей они не затрагивают, а отчасти потому, что программы социальной поддержки приучили граждан больше беспокоиться о том, что государство дает, чем о том, что оно забирает.

В Англии и Соединенных Штатах государство вмешивалось в дела частных предпринимателей даже в пору наивысшего расцвета политики *laissez-faire*. В 1870-е и 1880-е годы несколько американских штатов приняли законы, имевшие целью добиться, чтобы деятельность предпринимателей, затрагивающая общественный интерес, была направлена на соблюдение этого интереса, даже если потребуются ограничение их прав собственности. Логика этих законов привела к введению контроля цен на коммунальные услуги и транс-

* Epstein, *Takings*, 101. Анализируя сегодняшние ограничения прав собственности в Соединенных Штатах, Эпстайн отмечает, что, уважая права землевладения и обычно должным образом компенсируя изъятия земли, правительство, “напротив, часто резко урезает свободу человека в пользовании и распоряжении собственностью”. [In *Social Philosophy and Policy* 15, No. 2 (Summer 1998), 424.]

портных тарифов. В 1887 году в решении по делу *Мунн против Иллинойса* Верховный суд подтвердил право штата Иллинойс регулировать цены, устанавливаемые владельцами чикагских элеваторов: поскольку, мол, эти цены влияют на общественное благосостояние, они подлежат контролю со стороны общества¹⁰⁴. Впоследствии суд поддержал введенный в Песильвании запрет на производство олеомargarина, обосновав свое решение тем, что этот продукт вреден для здоровья, хотя в действительности запрет был введен с целью поддержать молочную промышленность штата. Логика этих действий имела тот изъян, что, здравая в принципе, она не ведала никаких пределов в своих приложениях к практике: ведь интересы общества так или иначе затрагиваются любой промышленной или коммерческой деятельностью.

Судья Верховного суда Стивен Филд, оказавшийся в этих делах в меньшинстве, выдвигал два сильных аргумента. Если только имущество, говорил он, не было предоставлено самим обществом, на него не могут налагаться ограничения “в общественных интересах”. И второе: “пользование” является существенной отличительной чертой собственности и его ограничения представляют собой “изъятие”, требующее компенсации. Большинство судей думали иначе, ссылаясь на то, что отказ в “пользовании” или его ограничение не означают изъятия¹⁰⁵. Так было положено начало долгой истории судебных решений, касавшихся природы прав собственности, на протяжении которой Верховный суд в целом все более склонялся к признанию превосходства общественных интересов над частными правами. Помимо согласия на ограничение пользования, суд пришел к такому толкованию “изъятия”, которое сделало допустимым частичное изъятие, не обязывающее к компенсации в том смысле, в каком ее требует Пятая поправка. В своем важном решении 1979 года суд постановил, что “отказ в удовлетворении одного из традиционных прав собственности не равнозначен изъятию. По крайней мере, в случае, когда владелец сохраняет у себя весь “узел” прав собственности, извлечение из этого узла одной “нити” не является изъятием, потому что явление должно рассматриваться в его целокупности”¹⁰⁶.

Цитируя это решение, Ричард Эпстайн замечает, что оно противоречит часто выражавшемуся Верховным судом мнению, что частичное изъятие подпадает под оговорку о конфискации без возмещения, потому что судить следует не по тому, что за собственником сохраняется, а по тому, что он теряет.

Эта проблема приобретает особенно чувствительный характер в связи с мерами по защите окружающей среды, которая после 1970 года обрела выразительные черты религиозного культа; более того, в чем-то она уподобилась языческому поклонению силам природы*. Истерия защитников среды — первобытный страх, что планета вот-вот погибнет, страх, который прежде нагнетался накоплением ядерных вооружений, — дает мощное эмоциональное оправдание посягательствам на права собственности. Ибо как во времена холодной войны часто говорилось, что любые уступки Советскому Союзу оправданны, коль скоро они предотвращают возможную ядерную катастрофу, точно так же сегодня утверждается — нередко теми же самыми людьми, — что правами собственности следует жертвовать ради спасения жизни на земле. В обоих случаях проявляется глубоко сидящая в людях предрасположенность к ожиданию конца света.

Основными законами, затрагивающими частное пользование земель и другими естественными ресурсами, стали закон 1970 года о чистом воздухе, закон 1972 года о федеральных мерах против загрязнения воды и закон 1973 года об исчезающих видах. Эти законы наделили федеральную бюрократию широкими правами регулирования — факт, который не был в полной мере осознан в то время всеобщей одержимости чистотой воздуха и воды. Проводить эти законы в жизнь стало созданное президентом Никсоном в 1970 году Управление охраны окружающей среды¹⁰⁷.

Наглядным примером их действия служат меры, принимаемые для охраны так называемых заболоченных земель. В 1989 году президент Буш изменил определение, данное “заболоченным землям” в законе 1972 года о водных ресурсах, так что площадь подпадающих под него земель удвои-

* Люди, посвящающие себя защите окружающей среды, среди них и вице-президент Гор, любят цитировать речь, которую якобы произнес в 1854 году Вождь Сиэтл, глава индейцев-дувамишей, отменяя притязания белых, добывавшихся, чтобы племя продало им свои земли. В этой речи есть слова: “земля не принадлежит человеку, человек принадлежит земле”. Вообще-то подобные представления действительно обычны для первобытных народов (см. выше, стр. 111–114), но что касается именно этой речи, то ее в 1971 году придумал для телевизионного спектакля один сценарист Эй-би-си. [Matt Ridley, *The Origins of Virtue* (New York, 1996), 213–14.]

лась и государственный контроль был установлен дополнительно на 100 миллионах акрах, из которых 75 процентов принадлежали частным владельцам. Собственникам охраняемых земель предписывалось держать их в первоизданном состоянии¹⁰⁸. Проведение этих законов в жизнь было поручено Инженерному корпусу армии и Управлению охраны окружающей среды, и на оба учреждения посыпались обвинения в произволе, что отчасти объяснялось отсутствием четкого и авторитетного определения “заболоченных земель”. Некоторые из тех, кто, по представлениям чиновников, нарушил этот закон, были отправлены в тюрьму.

Верховный суд годами оказывал поддержку таким мерам регулирования. Так, в 1972 году он подтвердил правомерность местного закона, запретившего улучшение почвенного слоя на землях, определяемых как “заболоченные”, на том основании, что “у землевладельца нет абсолютного и неограниченного права изменять существенные свойства своей земли с видами на ее использование в целях, для которых она не годилась в ее природном состоянии и которые ущемляют права других”¹⁰⁹.

Но, как убедительно говорил Ричард Эпстайн, “обычный набор прав собственности не выделяет особого места для земли в ее природном состоянии; он предполагает пользование землей, включая ее улучшение, как одно из стандартных проявлений собственности”¹¹⁰.

В Великобритании дело защиты окружающей среды дошло до того, что видный знаток договорного права утверждает: “Идея абсолютной земельной собственности, абсолютного права собственника использовать свою землю и повышать ее качество наилучшим, с его точки зрения, способом... полностью исчезла из английского права”¹¹¹.

Законы о заболоченных землях более всех других мер, принимавшихся в защиту окружающей среды, дали толчок общенациональному движению протеста против вторжения государства в то, как частные владельцы земли используют свою собственность¹¹². Фермеры, лесозаготовительные компании и обычные граждане, почувствовавшие себя жертвами невозмещаемых “изъятий”, объединились и общим фронтом выступили против регулирующих правительственных органов, а заодно и против лоббистов — защитников среды и правоведов-теоретиков¹¹³. Набирает силу мнение, что всякое регулирование в вопросах пользования собственностью пред-

ставляет собой один из видов изъятия в том смысле, в каком это понятие присутствует в Пятой поправке, и в случае, когда оно имеет место, требуется надлежащее возмещение. По всей стране складываются группы частных лиц, готовые оказывать сопротивление попыткам правительства мешать свободному пользованию землей¹¹⁴. Одним из побочных следствий этого сопротивления стало то, что правительство вынуждено было отказаться от своих планов поднять статус чиновника, ведающего охраной окружающей среды, сделав его членом кабинета.

Оно, похоже, оказало воздействие и на Верховный суд, как о том говорят два его знаменательных решения в делах *Долан против города Тигард* (1994) и *Лукас против Совета Прибрежного округа Южной Каролины* (1992). В первом случае разбирался иск г-жи Долан из Орегона, владелицы фирмы — поставщика сантехнического оборудования, которой городские власти не хотели разрешить расширение ее бизнеса, пока она не отведет почти десятую часть своей земли под использование в качестве велосипедной дорожки и зеленой тропы. Дело Лукаса касалось двух участков пляжа, на которых владелец ничего не мог построить, потому что они подпадали под закон об охране пляжей; это по существу полностью обесценивало его собственность, в которую он вложил почти миллион долларов¹¹⁵. Оба дела Верховный суд решил в пользу истцов. По делу Долан он постановил, что городу надлежит выкупить землю, а не использовать ее как рычаг давления. Дело Лукаса было в конце концов улажено так, что Совет Прибрежного округа выкупил пляжные участки, уплатив их собственнику 1,5 миллиона долларов. Решения по обоим делам имели поворотное значение, поскольку обратили вспять прежнюю тенденцию, господствовавшую с 1930-х годов, когда мнимые общественные интересы ставились обычно выше действительных частных интересов: “впервые за более чем 50 лет (Верховный суд) уравнил права собственности с личными правами, защищаемыми Первой поправкой (свободы слова, печати, вероисповедания) и Четвертой поправкой (незаконные обыски и аресты имущества)”*. Тем не менее не-

* Theodore J. Buotrous, Jr., in *Wall Street Journal*, June 29, 1994, p. A17. Об антисобственнической направленности решений Верховного суда в период с 1937 по 1985 год см.: Charles K. Rowley in Nicholas Mercurio, *Taking Property and Just Compensation* (Boston etc., 1992), 79–124. Прежние тенденции Роули приписывает низкому

которые авторитетные люди считают, что владельцы собственности одержали лишь частичную победу, поскольку суд ввел требование компенсации только для случаев, когда правительственные правила не позволяют собственнику содержать или улучшать имущество¹¹⁶.

Сопrotивление злоупотреблениям в деле охраны окружающей среды нашло свое отражение и в законодательных предположениях. В 1994 году республиканцы выступили с программой “Контракт с Америкой”, которая, судя по поддержке, оказанной тогда избирателями кандидатам от этой партии, получила широкое народное одобрение; она содержала требование о возмещении собственникам потерь во всех случаях, когда правительственные установления сокращают (а не сводят к нулю) ценность принадлежащего им имущества. Законопроект о правах частной собственности, принятый палатой представителей в 1995 году, требовал возмещения во всех случаях, когда правительственные действия сокращают стоимость имущества на 10 процентов или более¹¹⁷. Ни один из этих законопроектов не стал пока действующим законом.

Правительство — не единственное учреждение, ограничивающее права собственности на недвижимость. Тем же грешат и частные объединения домовладельцев, которые присваивают себе функции наподобие государственных. Число таких объединений, создаваемых для текущего управления жилищными товариществами, кооперативными квартирами и семейными особняками, не достигало и 500 в 1964 году, но поднялось до 150 тысяч в 1992-м; по существующим оценкам, их правила и требования касаются 32 миллионов человек¹¹⁸. Задача этих объединений — сохранить ценность принадлежащей общине собственности путем введения строгих правил относительно внешнего вида и способов использования недвижимого имущества. Парадоксом является то, что, оберегая *ценность* принадлежащего общине имущества, они нарушают *права* собственности его владельцев. Многие устанавливаемые ими ограничения

уровню назначенных членов суда и давлению групп особых интересов. Суд, по его мнению, “установил политически обусловленный двойной стандарт, который требовал строго соблюдать, хотя бы по видимости, личные и гражданские права, оставляя при этом без внимания — а на деле подавляя — права экономические, имеющие по меньшей мере такую же опору в конституции” (95).

уместны и разумны. Но иные общины ударяются в крайности: могут, скажем, запрещать выращивание овощей или установку кондиционеров, ограничивать приглашение в гости внуков, определять, какого цвета быть шторам на окнах, не позволять доставку газет на дом или водружение американского флага и т. д., и т. п.¹¹⁹. Несоблюдение этих правил и требований может повлечь за собой наложение штрафа. Хотя теоретически селиться в таких общинах дело добровольное, у многих семей просто нет иного выбора: цена, местоположение или другие серьезные обстоятельства вынуждают их покупать жилье именно в этих общинах¹²⁰. Пойдя же на это, они в ошутимой мере теряют свободу и даже право на уединение.

8. Конфискации

По-видимому, в наиболее грубой форме права собственности в сегодняшних Соединенных Штатах юридически обоснованно попираются при конфискации имущества, либо признаваемого вовлеченным в акт преступления, либо принадлежащего человеку, в преступлении обвиненному. В первом случае с неким неодушевленным предметом обращаются так, будто он является соучастником преступления: собственнику не полагается никакого возмещения за его утрату¹²¹. Конфискация — древняя практика: в классической Греции наказывать причинившие вред неодушевленные предметы было обычным делом, а в средневековой Европе за убийство человека судили и казнили животных. Английское обычное право требовало конфискации повинных в причинении ущерба телег и лодок¹²². Мощный толчок развитию этой практики дала в последнее время борьба с незаконным оборотом наркотических средств. Она не вызывает широкого общественного возмущения, потому что конфискации проводятся с похвальной целью пресечь распространение наркотиков. Правовую основу для этих арестов собственности создал Верховный суд, вынесший в 1974 году постановление об изъятии у судоходной компании яхты стоимостью в несколько сот тысяч долларов после того, как правительственные агенты обнаружили на борту окурки сигареты, набитой марихуаной¹²³. Существуют и другие примеры таких, осуществленных с благословения Верховного суда, захватов имущества, вла-

дельцы которого не были лично причастны к совершенным преступлениям*.

Обретя такую свободу действий, правительственные органы проявили необычайное рвение в битвах за имущество, которое, хотя бы и без ведома и одобрения его владельца, использовалось в преступных целях: “Согласно большинству гражданских правовых норм, регулирующих изъятие имущества, в отличие от норм уголовного права, чиновники — исполнители закона могут налагать арест на личную собственность, движимую или недвижимую, без предупреждения и разбирательства, на основании одностороннего указания на всего-навсего возможные обстоятельства, позволяющие предполагать, что это имущество было каким-то образом вовлечено в свершение преступления. Действуя, следовательно, *in rem*, то есть направляя преследования против собственности, а не против подозреваемого лица, правительство может обходиться без обвинения владельца имущества или кого-либо еще в преступлении, чтобы совершить действия против “собственности”. Утверждения насчет “вовлеченности” могут простираются от подозрений, что данное имущество есть контрабанда, до предположений, что оно представляет собой результат совершенного преступления (даже если оно принадлежит лицу, в преступлении не подозреваемому), что оно является одним из орудий преступления, что оно как-то “способствовало” совершению преступных действий... Когда собственность изъята, на владельца, желающего получить ее обратно, перекладывается бремя доказательств его “невиновности”... До недавнего времени доказать это было почти невозможно, потому что правонарушителем считается сама вещь. Наделяя неодушевленную вещь личностными качествами, о ней говорят, что она “запятнана” противозаконным использованием”¹²⁴.

* “При рассмотрении любого гражданского иска, связанного с конфискацией, суд уклоняется от серьезного рассмотрения ущерба, причиненного правам собственности, потому что он не считает эти права достойными такого же уважения, как и права обвиняемого правонарушителя, представителя расового меньшинства или инакомыслящего, прикрывающегося Первой поправкой. На принятой в судах шкале конституционных ценностей права собственности стоят гораздо ниже, чем гражданские права или гражданские свободы”. [Leonard W. Levy, *A License to Steal* (Chapel Hill, N. C. and London, 1996), 88.]

В порядке примера: одним из своих недавних решений Верховный суд постановил, что автомобиль, находящийся в совместной собственности супружеской пары и использованный мужем, чтобы подобрать проститутку, может быть конфискован. Жена заявила протест, указав, что ничего об этом не знала и поведения супруга не одобряла, а стало быть, имеет право на возмещение правительством утраченного ею автомобиля. Однако главный судья Уильям Г. Ренквист, сославшись на прецеденты, относящиеся к началу девятнадцатого века, постановил что “принадлежащая данному собственнику часть имущества может быть изъята на основании того, каким образом оно было использовано, при том даже, что этот собственник не знал о таком его использовании”¹²⁵.

Размах подобного присвоения имущества частных лиц государственными учреждениями может быть показан статистически. В период с 1985 по 1993 год министерство юстиции провело 170 тысяч изъятий имущества и передало из вырученных от них денег более 2 миллиардов долларов исполнительным судебным органам и другим учреждениям, занимающимся борьбой с организованной преступностью в штатах и на местах. Кроме того, вероятно, еще 2 миллиарда было получено от реализации конфискованного имущества судебными властями штатов и органами местного управления¹²⁶. В 1993 году в Фонде конфискованного имущества министерства юстиции числилось более 500 миллионов долларов наличными и свыше 27 тысяч единиц арестованной собственности на общую сумму более 1,9 миллиарда долларов¹²⁷. Закон требует, чтобы выручка от продажи такого изъятого имущества шла исключительно на укрепление правопорядка; соответственно, значительная часть полученных таким путем денег передается местным органам полиции, которые известны тем, что используют их в личных интересах, на устройство, например, рождественских вечеринок и банкетов¹²⁸. Некоторые для пополнения средств, нужных для этих целей, затевали “точечные операции” по обнаружению наркотиков в дорогих домах или в пределах приглянувшихся земельных владений. При выборе целей для такого рода произвольных действий особое значение отводится чернокожим и латиноамериканцам: если при них оказываются крупные суммы денег, сразу исходят из предположения, что своим источником эти деньги имеют сбыт наркотиков и, по всей вероятности, подлежат конфискации.

С целью пресечь подобные нарушения прав собственности конгрессмен Генри Хайд внес в 1993 году законопроект о пересмотре положений о конфискации гражданского имущества. Ему еще предстоит стать законом.

9. Льготы и пособия

Рассмотренные нами случаи посягательства на собственность — налоги, правила защиты окружающей среды, конфискации относятся к категории “изъятий”. В той мере, в какой права собственности представляют собой важную сторону свободы, такие действия суть нарушения свободы. Но, как ни парадоксально, можно утверждать, что в сегодняшнем государстве социального благоденствия угроза свободе исходит и от “выдач”, то есть от состояния зависимости, в которое попадают отдельные люди, коммерческие предприятия и образовательные учреждения, когда их существование оказывается в большой мере или даже исключительно зависимым от правительственных субсидий, контрактов и других видов поддержки, ибо никакие приносимые ими блага не становятся собственностью в ее истинном смысле. Если свобода означает независимость, то зависимость ясно указывает на нечто противоположное.

В 1964 году профессор права Йельского университета Чарльз А. Райх выступил с получившим большой отклик эссе под названием “Новая собственность”, которым он привлек внимание к появлению в современных Соединенных Штатах (и, по смыслу, в других промышленных демократиях) такой формы собственности, которая обладает чертами условного или “феодалного владения. Это, по его мнению, создает опасность для личной свободы.

В поддержку своего мнения Райх перечислил восемь способов, какими правительство обеспечивает себе экономическое воздействие на население¹²⁹. Сопоставление приведенных им цифр с данными, относящимися к началу 1990-х годов, показывает, насколько ощутимо за минувшие тридцать пять лет возросла зависимость граждан США от милости государства.

1. Доходы и социальные блага. Это средства, которые правительство выделяет гражданам, не занятым ни на какой государственной службе; они предоставляются в виде выплат, пре-

дусматриваемых системой социального обеспечения, пособий по безработице и многообразных выдач деньгами и натурой по государственным программам социальной поддержки. С 1950 по 1980 год исчисленные в постоянных ценах расходы на социальную поддержку гражданских лиц выросли в двадцать раз, тогда как население лишь удвоилось¹³⁰. Крупную статью расходов составляли до последнего времени выплаты по закону о помощи семьям, имеющим на иждивении детей (25 миллиардов долларов были распределены среди тринадцати миллионов семей, в числе которых более четырех миллионов матерей-одиночек, в половине случаев никогда не бывших замужем)*. Еще существуют программы медицинской помощи, поддержки ветеранов, дополнительной социальной поддержки, выдачи талонов на питание и других видов помощи продовольствием, содействия с жильем для малоимущих, предоставления муниципального жилья с низкими ставками квартплаты, пособий на учебу, программы профессиональной подготовки ущемленных в своих возможностях взрослых и детей, летней занятости молодежи и помощи малоимущим в оплате электроэнергии. Представление о том, в какой мере значительная часть населения США зависит от правительственных подачек, дает статистика, свидетельствующая, что в 1976 году беднейшие 20 процентов почти все свои доходы получали в виде правительственных выплат: их собственные заработки составили лишь 3,3 миллиарда долларов, к чему и были добавлены “трансфертные выплаты” на общую сумму 75,8 миллиарда долларов. У следующих 20 процентов при собственных заработках в 75,8 миллиарда долларов общие доходы были за счет государства подняты до 119,7 миллиарда, то есть более чем в полтора раза¹³¹. Эти цифры говорят о том, что пятая часть населения США почти целиком, а еще пятая существенным образом зависела от государственных выплат. Иначе говоря, 60 процентов населения США, составляющие самую производительную его часть, полностью или частично содержали остальные 40 процентов.

* *New York Times*, August 9, 1996, p. A27. Программа, вошедшая составной частью в принятый в 1935 году закон о социальном обеспечении, первоначально предусматривала оказание помощи вдовам с малолетними детьми на руках, но со временем ее действие было распространено на матерей-одиночек. В результате проведенной в 1996 году реформы всей системы социальной поддержки эта программа теперь сворачивается.

2. *Работа в государственном секторе.* В 1961 году девять миллионов американцев были непосредственно заняты работой на государство. Добавив к этому еще от трех до четырех миллионов человек, работавших тогда в оборонных отраслях промышленности, которые опираются в основном на государственное финансирование, Райх предложил свою оценку, что от 15 до 20 процентов рабочей силы США черпали основную часть своих доходов из государственных фондов. Как отмечено выше, к 1995 году численность государственных гражданских служащих удвоилась и достигла 10,5 миллиона, из которых около трех миллионов работали на федеральное правительство¹³². В некоторых частях страны большинство жителей работало в государственных органах; так, в Аляске треть населения состоит в списках занятых на государственной службе, а в Джуно, столице штата, от половины до двух третей жителей работают либо на федеральное правительство, либо на власти штата, либо на городские органы управления¹³³.

Эти слои населения, включающие в себя бедняков, госслужащих и значительную часть престарелых, образуют группу, получившую название “коалиции высоких налогов”, то есть группу давления, заинтересованную в самом крутом по возможности повышении налогов. В 1975 году их удельный вес в электорате оценивался в 44,8 процента¹³⁴.

3. *Лицензии на профессиональную деятельность*, то есть разрешения заниматься своим видом труда широкому кругу лиц — от врачей до ростовщиков и распорядителей похоронами. (Говорят, что эти лицензии, хотя и были учреждены якобы в интересах общества, на деле служат самим их держателям, позволяя им не допускать в свою сферу конкурентов*.)

4. *Франшизы*, современная разновидность существовавших в шестнадцатом-восемнадцатом веках монополий, которые дают своим обладателям определенные экономические привилегии. Их сегодняшними примерами могут слу-

* Paul T. Heyne, *Private Keepers of the Public Interest* (New York etc., 1968), 82–84. Лицензирование медицинской практики докторов восходит к 1519 году, когда Генрих VIII выдал лондонским врачам подтвержденную палатой общин хартию, наделявшую их правом судить о квалификации других лекарей в городе и окрестностях. [John R. Commons, *Legal Foundations of Capitalism* (New York, 1942), 227–28.] В семнадцатом веке английские суды отменили эти ограничительные правила. [Ibid., 228.]

жить лицензии на теле- и радиовещание, выделение воздушных коридоров и выдача разрешений на производство алкоголя. Ныне государство признает лицензии как частную собственность, поскольку обладатель лицензии может ее продать.

5. *Правительственные контракты*, значение которых особенно велико в оборонной промышленности. В 1996 году ассигнования на национальную оборону достигли 265,7 миллиарда долларов и составили 17 процентов федерального бюджета; при этом 48,9 процента всей суммы было выделено на военные закупки¹³⁵.

6. *Субсидии (дотации)* сельскому хозяйству, судоходным компаниям, местным авиалиниям и жилищному строительству.

7. *Доступ к государственным ресурсам*. Государству принадлежат солидная часть американской экономики: в его руках сотни миллионов акров земли со всеми возможностями, которые открыты здесь для добычи полезных ископаемых, выпаса скота, лесозаготовок и проведения досуга; государство же является собственником транспортных путей и линий связи, радио и телевизионных частот и т. д. Часть этой собственности передается частным пользователям бесплатно или по сниженным за счет субсидий ценам¹³⁶.

5. *Услуги*, в том числе многие, имеющие коммерческое значение, как пересылка по почте находящихся в частной собственности печатных изданий и страхование домовладельцев.

Ко всему этому могут быть добавлены новые виды льгот и пособий, введенные уже после того, как Райх написал свою статью, — например, по программам медицинского обслуживания (Medicare) и медицинской помощи (Medicaid).

Райх задался вопросом о том, какова доля государственно распределяемого богатства в национальной экономике, и получил вот какой ответ: “В 1961 году, когда личные доходы составляли 416 432 миллионов долларов, расходы государственных учреждений всех уровней равнялись 164 875 миллиардам долларов. Только на жалованье своим служащим государство тратило около 45 миллиардов долларов. И в этих цифрах не учитывается огромное неосоздаваемое богатство, представленное лицензиями, франшизами, услугами и ресурсами. Более того, доля богатства, находящегося в руках государства, возрастает. Едва ли найдется гражданин, жизнь

которого не зависела хотя бы частично от благ, поступающих к нему из гигантского правительственного насоса”¹³⁷.

Растущая роль государства в национальной экономике по видимости не оказывает отрицательного влияния на основные права и свободы граждан США. Свобода слова, свобода выбора тех, кто будет ими управлять, свобода решать, где им работать, где жить, куда ездить, гарантируются конституцией и защищаются судами. Правительство не конфискует имущество, находящееся в их частной собственности (кроме случаев уголовного преследования), как это делалось в коммунистической России и нацистской Германии. Так что по всем внешним приметам принципы, провозглашенные в Билле о правах, строго соблюдаются. Это наводит на мысль, что традиционная взаимосвязь между частной собственностью и свободой, возможно, устарела: правительство может, по-видимому, на законных основаниях по собственному усмотрению присваивать и распределять существенную часть богатства граждан и тем не менее воздерживаться от посягательств на их свободы. Дело выглядит так, что сегодняшний американский гражданин живет в наилучшем из миров, где он сохраняет свои права и свободы, черпая вместе с тем многообразные блага из правительственных закромов.

Но внешность здесь обманчива. Современное демократическое государство устанавливает высокую степень контроля над своими гражданами, достигая его посредством перераспределения богатства, ограничения различными сомнительными с конституционной точки зрения способами прав граждан на пользование их имуществом и в то же время создавая опасную степень зависимости получателей его благ и милостей. О положении в Великобритании, которое во многих отношениях сходно с тем, что имеет место в Соединенных Штатах, историк права Атия говорит: “Те, кто выгадывает на сниженных за счет субсидий ставках квартплаты, кто пользуется благами бесплатных школьных завтраков, кто радуется вдвое сокращенной плате за проезд в автобусах и льготным тарифам на электроэнергию, все они (включая богатых) одинаково лишаются свободы выбора в том, как распорядиться назначаемыми субсидиями. Государство выделяет средства, но не позволяет отдельному человеку самому выбрать способ их использования, как не разрешает и продать доставшееся ему благо”¹³⁸.

Принимая блага, которые государство распределяет перчисленными выше способами, частные лица и организации не оставляют себе иного выбора, кроме как подчиниться условиям, вводимым правительством, целью которого, по его собственному определению, является благополучие не частного лица, а общества. Когда использование права ставится в зависимость от внешней инстанции, право обращается в условную привилегию, что на деле лишает собственника его прав собственности, поскольку безусловность есть одна из важных отличительных черт собственности. Эти факты заставили Райха утверждать, что в Соединенных Штатах государственные “выдачи” создали современный вид феодализма*. Для решения проблемы он предложил правительственные “щедроты” объявить “новой собственностью”, а получаемые блага признать “правом”, а не привилегией; соответственно, отмена их должна преследоваться по закону и сопровождаться компенсационными выплатами**.

10. Контракты

Право договаривающихся между собой в частном порядке сторон заключать взаимообязывающие контракты есть одно из прав собственности, имеющих определяющее значение. Особенно это относится к современным индустриальным обществам, где собственность представлена по большей части не физическими объектами, а кредитом и другим неосязаемым имуществом.

* Reich in *Yale Law Journal* 73, No.5 (April 1964), 770. “Особенности государств, посвящающих себя заботам об общественном благе, различны, но все они объединены одной основополагающей философией. Это доктрина, согласно которой богатствами, поступающими от правительства, его получатели пользуются на определенных условиях, и их могут отобрать, если того потребует высший государственный интерес”. [Ibid., 768.]

** Ibid., 785–87. Ibid, 75, No. 8 (July 1966), 770. Роберт Нельсон утверждает, однако, что процесс “приватизации” преобразует уже значительную часть Райховой “новой собственности”, воспроизводя то, что произошло в позднем Средневековье, когда условное владение развилось в полную собственность. [Robert H. Nelson in *Public Lands and Private Rights* (Lanham, Md., 1995), 334–37.]

- Если сельскохозяйственная экономика есть экономика “собственности” в точном смысле этого слова, основанная на прямом обладании осязаемыми благами, то промышленная экономика есть, в отличие от этого, экономика “контрактов”, основанная на разделении труда между многочисленными индивидуумами, которые посвящают либо себя лично, либо свои ресурсы достижению некой общей цели в надежде на будущий выигрыш, не связанный непосредственно с их собственной деятельностью. “Производственные цепочки” вытягиваются. Надо финансировать покупку оборудования, сырья, выделять средства на содержание запасов готовой продукции, на зарплату рабочим — и все это прежде, чем позволено будет думать о том, как распорядиться прибылями, поступающими от продажи произведенного. Все используют кредит. Промышленная экономика это одновременно и “экономика ожиданий”, и “экономика долгов”. Богатство не привязано больше к осязаемому и несокрушимому благу, каковым является земля; теперь оно опирается на новую “собственность”, представленную ее бесплотным родственником по имени кредит: индустриальная экономика есть экономика кредита¹³⁹ *.

В девятнадцатом и начале двадцатого века Верховный суд США неоднократно утверждал, что свобода заключения контракта является “частью прав личной свободы и частной собственности”¹⁴⁰, и заявлял на этом основании о неконституционности любой попытки вмешаться в договорные отношения. Но в течение двадцатого столетия отношение к свободе контрактов изменилось, потому что государство присвоило себе право вмешиваться и выступать в пользу более слабого, по его мнению, участника договора. Это представляет собой возврат к средневековым порядкам, когда городские власти а порой и национальные правительства устанавливали “справедливые” цены и “справедливые” зарплаты**. В современном государстве социальной поддержки правительство посягает на свободу участников договора на всех

* По словам Роскоу Паунда, в мире бизнеса “богатство создается по большей части из обещаний”. [Roscoe Pound, *Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven, Conn., 1922/1954), 133.]

** В Англии времен Тюдоров судьи на местах устанавливали размеры оплаты труда. [Keith Feiling, *History of England*, 509–13; Atiyah, *Rise and Fall*, 74.]

уровнях общественной и экономической жизни: оно устанавливает минимум зарплаты, которую частный работодатель должен платить частным же лицам — наемным работникам; оно указывает домовладельцам, кому сдавать квартиры, а иногда даже, какую назначать за них плату; оно вводит квоты по признакам расы и пола при наборе персонала частных предприятий и при зачислении в частные заведения высшей школы; оно оказывает давление на частные банки, заставляя их кредитовать обитателей определенной местности и определенные группы стесненных в своих возможностях граждан. Как следствие, под угрозой оказываются свобода частных договорных отношений, а вместе с ней и институт собственности.

А. Минимальная зарплата

В Соединенных Штатах практика законодательного вмешательства в соглашения между работодателем и наемным работником восходит к принятому в 1898 году решению Верховного суда, которым была признана правовая сила закона, введенного законодательным собранием штата Юта и ограничившего шестью часами рабочий день в шахтах. Хотя прежде подобные ограничения признавались нарушениями свободы договорных отношений, на сей раз суд, признав силы хозяев и работников неравными, постановил считать такие законы соответствующими конституции. В 1912 году Массачусетс стал первым штатом, принявшим закон о минимальной заработной плате, оговорив, правда, что исполнение его — дело добровольное. Иначе обстояло дело с законами о минимальной зарплате, принятыми впоследствии другими штатами. Эти законы были направлены главным образом против “выжимания пота”, каковым термином обозначались обычные условия оплаты труда женщин и детей, причем имелось в виду, что получаемой наемным работником зарплаты недостаточно для покупки предметов жизненной необходимости.

В 1923 году Верховный суд сделал эти законы штатов действительно реальными, поддержав решение суда округа Колумбия в деле *Детская больница против Адкинса*, каковым решением определялось, что законы о минимальной зарплате “представляют собой противоконституционное вмешательство в свободу контрактных отношений, входящую в число гаран-

тий, предусматриваемых Пятой поправкой, а именно ее положением об обязательности судебного разбирательства”¹⁴¹. Но вскоре условия изменились, а вместе с ними изменились и представления суда о конституционности. В 1937 году, когда страна находилась еще в глубокой депрессии, откликаясь на запрос о принятом штатом Вашингтон законе о минимальной оплате женского труда, суд объявил, что законы о минимальной зарплате согласуются с конституцией¹⁴². В следующем году конгресс принял закон о справедливых условиях труда, который стал с тех пор основой законодательства о минимальной оплате труда.

Мы воздержимся от обсуждения спорного вопроса о том, дают ли законы о минимальной зарплате те материальные выгоды наемным работникам, на которые те рассчитывают; отметим только, что, по имеющимся свидетельствам, они делают чересчур дорогостоящим труд малообразованных людей, особенно молодых чернокожих, так что многие из них оказываются безработными и становятся, таким образом, жертвами неумышленной дискриминации¹⁴³. Но поразительно, что даже приверженцы такого законодательства находят мало доводов в его пользу (помимо того, что оно безвредно): ведь среди подпадающих под него работников мало кто, похоже, получает меньше установленного законом минимума. Следовательно, видеть в нем надо скорее политическую, а не экономическую “позицию”, и судить о ней соответственно¹⁴⁴.

Таким образом, свобода договорных отношений нарушается, по-видимому, с единственной целью нанести еще один удар по правам собственности.

Б. Регулирование квартплаты

Если благотворное значение регулирования зарплаты вызывает споры, то не возникает никаких разногласий относительно регулирования квартирной платы, которое по существу все экономисты, независимо от их политических пристрастий, считают безусловно разрушительным и готовы признавать его не иначе, как в качестве временной чрезвычайной меры¹⁴⁵. Тем не менее его ревностно отстаивают некоторые радикальные идеологи, считая его средством “повышения сознательности” бедняков: “Можно надеяться, что от законов о квартплате квартиросъемщики перейдут к регули-

рованию финансовых учреждений и корпораций и к коренному пересмотру приоритетов общества”*.

Впервые регулирование квартплаты было введено во Франции с началом Первой мировой войны, чтобы не позволить домовладельцам наживаться за счет семей солдат и работников оборонных предприятий. Этому примеру последовали Англия и Соединенные Штаты, как и большинство стран — участниц войны и даже некоторые не воевавшие государства. Регулирование сохранялось в течение некоторого времени после установления мира, а в нескольких случаях продолжалось и в 1930-е годы. Возрождено оно было во время Второй мировой войны.

В большинстве американских городов (правда, не в Нью-Йорке) регулирование квартплаты было отменено после Второй мировой войны, но то тут, то там — особенно в больших университетских городах, как Беркли в Калифорнии и Кембридж в Массачусетсе, — оно в 1970-х годах восстанавливалось под давлением активистов-радикалов. В Нью-Йорке, прозванном “мировой столицей регулирования квартплаты”, оно привело к беспрецедентному упадку городского жилого фонда, поскольку многие домовладельцы, лишенные возможности извлекать какую бы то ни было прибыль из своей собственности, либо перестали о ней заботиться, либо вовсе с нею расстались. Надежды, что жертвы этого небрежения обратятся к “коренному пересмотру приоритетов общества”, не осуществились, потому что выяснилось, что более всего от регулирования квартплаты выиграли не бедняки, жившие в муниципальных домах и переоборудованных квартирах, а квартиросъемщики среднего возраста и среднего класса, способные наслаждаться городскими удобствами по твердым, поддерживаемым субсидиями ценам, причем среди этих людей оказа-

* Ted Dienstfrey in Walter Block and Edgar Olsen, eds., *Rent Control: Myths and Realities* (Vancouver, B. C., 1981), 7. Это подобие тактики, принятой в 1890-е годы российскими революционерами, которые, горя желанием поднять равнодушных к политике рабочих, поддерживали их требования о повышении зарплаты и сокращении рабочего дня в расчете, что, убедившись в невозможности добиться выполнения этих требований при существующем политическом и экономическом режиме, они проникнутся более радикальными настроениями. Расчеты не оправдались. [См.: Richard Pipes, *Social Democracy and the St. Petersburg Labor Movement, 1885–1897* (Cambridge, Mass., 1963), 57–75.]

лись мэр города Нью-Йорк и президент Американской биржи*. Сейчас, когда пишутся эти строки, более двух миллионов человек или четверть населения Нью-Йорка живут в квартирах, оплачиваемых по регулируемым или “стабилизированным” ставкам. Сторонники регулирования квартплаты теперь сменили основу своих доводов: вместо утверждений, будто это помощь бедным, чего очевидным образом нет, они стали говорить, что таким путем в Нью-Йорке образуется больше “разнообразия”. Один профессор по градостроительству в Колумбийском университете говорит, что регулирование квартплаты “является важнейшим фактором превращения Нью-Йорка в такой город, где хочется жить. Он сохраняет покой своих кварталов и одновременно обеспечивает многоцветье жизни”.¹⁴⁶

По тому же разряду проходят правительственные запреты на дискриминацию при сдаче квартир внаем сообразно закону 1968 года о справедливом предоставлении жилья (с поправками 1988 года)¹⁴⁷. Требования этого закона трудно проводить в жизнь, потому что сдают в наем или продают жилье по большей части мелкие собственники. Однако если властям случается уличить в дискриминационных действиях крупную корпорацию, повинную в непредоставлении жилья на расовых основаниях, закон обходится с ней очень сурово, налагая большие штрафы. Так, в мае 1997 года большое жюри на Манхэттене присудило 640 тысяч долларов расово смешанной паре, которой было отказано в найме квартиры в кооперативном доме по причинам, которые были расценены как расовая дискриминация¹⁴⁸.

Однако право исключать других из круга пользующихся твоим имуществом всегда было существенным атрибутом собственности. Когда собственники, в данном случае собственники кооперативной квартиры, не могут по каким бы то ни было причинам отказать кому-либо в ее найме, они, можно сказать, перестают быть ее собственниками. Стало быть, такого рода антидискриминационное законодательство подрывает самые основы прав собственности. Кроме того, его последствия ока-

* Lawrence M. Friedman, *Government and Slum Housing* (Chicago, 198), 128. Это классический пример в пользу некоторых критиков государства-благотворителя, утверждающих, что политика социальной поддержки обеспечивает выгоды среднему классу за счет как богатых, так и бедных. [См.: Albert O. Hirshman, *The Rhetoric of Reaction* (Cambridge, Mass., 1991), 60–9.]

зались противоположными ожидаемым: имеющиеся данные свидетельствуют, что с его вступлением в силу расовая сегрегация, разделяющая центры городов и пригороды, возросла¹⁴⁹.

В. Регулирование банковской деятельности и “резервы”

Убедительным примером вреда, наносимого законами, возлагающими на частные предприятия заботу об общественном благе, являются правила, введенные для банков¹⁵⁰. Интересам общества, как и своих собственников, банки служат предоставлением разумных кредитов: давая займы деньги, принадлежащие другим — тем, кто доверил их попечению банка. При отсутствии данных, свидетельствующих об обратном, не может быть никаких причин думать, будто, выдавая кредиты, банки руководствуются какими бы то ни было соображениями, помимо надежности заемщиков, их готовности, равно как и способности, выплатить проценты и вернуть сумму займа. Говоря словами, которые легенда приписывает римскому императору Веспасиану, *pecunia non olet* — деньги не пахнут. Швейцарские банкиры без всяких угрызений совести сотрудничали с нацистской Германией, производя операции с ценностями, отобранными у евреев, как не уклонялись и европейские или американские банкиры от ведения дел с коммунистическими режимами. Можно, следовательно, исходить из того, что прибыль, приносимая чернокожими или женщинами, желательна ничуть не меньше, чем та, что поступает от белых мужчин. Так что, если банки проявляют нежелание выдавать займы жителям определенных кварталов или представителям некоторых групп населения, разумно предположить, что ими движет опыт, подсказывающий, что тут дело идет о неприемлемо высоком риске. Исторически вознаграждением за высокий уровень риска служили высокие ставки процента. Сегодня, однако, такое решение вопроса невозможно, потому что оно было бы нарушением антидискриминационного законодательства и подлежало бы судебному разбирательству. В результате у жителей определенных районов и у некоторых групп населения возникают трудности с получением ипотечных займов и других видов кредита.

Таково действительное положение вещей, которое правительство истолковывает как очевидную дискриминацию и стремится выправить, ориентируя деятельность банков на кредитование меньшинств и жителей тех городских общин,

на территории которых эти банки расположены. Правовой основой для этого вмешательства в дела частных предприятий служат три закона: закон 1974 года о равном доступе к кредиту, запретивший дискриминацию при предоставлении займов по основаниям, связанным с расой, вероисповеданием или полом; закон 1975 года об открытости данных ипотечного кредитования, обязавший банки представлять в правительственные органы подробные сведения относительно расы, пола и доходов каждого взявшего заем под залог недвижимости; закон 1977 года о реинвестициях в свои общины, который обязывает банки предоставлять займы обитателям тех кварталов, где расположены сами банки¹⁵¹. В силу того, что министерство юстиции не дает четких указаний на условия, при которых банк может законно отклонить просьбу о займе, потенциально любой подобный отказ может быть истолкован как проявление дискриминации¹⁵².

Каждый год чиновники из Федеральной резервной системы присваивают банкам рейтинги на основе выставляемых им оценок за соблюдение требований этого законодательства — от “плохо” до “отлично”. Рейтинги имеют денежную стоимость, потому что они влияют на решения, которые регулирующие банковскую деятельность органы принимают по вопросам слияний, расширений и приобретений¹⁵³. Заставляя банки идти на повышенный риск, сопряженный с кредитованием ненадежных заемщиков, федеральное правительство во все не проявляет склонности возмещать им убытки в случае возможного невозвращения долгов.

Другой разновидностью государственного контроля, навязанного частным предпринимателям якобы с целью добиться большего расового равновесия, являются так называемые “резервы”, за счет которых фирмы, находящиеся в руках меньшинств, пользуются преимуществами при распределении правительственных контрактов. Суммарный объем таких контрактов достигает приблизительно 200 миллиардов долларов, ежегодно выплачиваемых более чем 60 тысячам компаний, на которых занято свыше пятой части рабочей силы страны*.

* Associated Press, September 2, 1996. В 1995–1996 годах эти резервы составили 6,4 миллиарда долларов, которые были предоставлены более чем шести тысячам компаний, принадлежавших почти исключительно представителям этнических или расовых меньшинств. *New York Times*, August 15, 1977, p. A1.

Принятый порядок позволяет фирмам, владельцами которых являются чернокожие или женщины, получать федеральные контракты даже в тех случаях, когда они предлагают не самую низкую цену исполнения. Эта практика представляет собой двоякое нарушение равенства: во-первых, она дискриминирует претендующих на контракты нечернокожих и мужчин, во-вторых, оплачивая заказанные товары и услуги по завышенным ценам, она разбазаривает деньги налогоплательщиков. Эту практику Верховный суд признал неконституционной в одном конкретном случае, когда разбирая в 1995 году дело одной компании в штате Колорадо, принадлежавшей белому мужчине и не получившей федерального контракта на строительство шоссе, который был передан предложившей худшие условия фирме с хозяином латиноамериканского происхождения. Согласно газетному отчету, суд постановил: “Не существует поголовно всем членам группы меньшинства принадлежащего права на предпочтительное к ним отношение со стороны правительства в силу того только, что исторически имела место дискриминация”. Тем не менее для продолжения этой практики суд оставил дверь открытой, признав допустимыми “программы расовых предпочтений... в качестве ответной меры на поддающиеся количественной оценке проявления дискриминации в отношении потерпевшей стороны”¹⁵⁴.

В стремлении угодить “значительные слои избирателей демократической партии, то есть чернокожих и другие меньшинства”, и при этом соблюсти нормы, установленные Верховным судом, администрация Клинтона решила спасти практику “резервов” постановлением, что дискриминация имеет место во всех случаях, когда предприятия “меньшинств” не получают своей доли заказов или их мощности не используются в полную меру¹⁵⁵. И в голову, по-видимому, не приходит, что фирмы меньшинств могут “недоиспользоваться” из-за их недостаточной эффективности или чересчур высоких издержек. Администрация Клинтона, которая требует от автомобилестроительных фирм, поставляющих машины правительству, чтобы они “представляли планы закупок у компаний, принадлежащих меньшинствам”, “надавила” в феврале 1998 года на Большую тройку с целью добиться увеличения к 2001 году закупок у таких компаний до 5 процентов, то есть до 8,8 млрд долларов¹⁵⁶.

11. Меры утверждения (равенства) при найме на работу

Самым вызывающим образом договорные права частных лиц и организаций попираются правительством во имя реального равенства, в порядке проведения в жизнь принятых начиная с 1964 года законов и правил, нацеленных на осуществление мер, которые охватываются емким понятием “гражданские права”. Поле осуществления мер, рассчитанных на утверждение равенства и впервые пущенных в ход президентом Джонсоном, расширялось затем при последующих администрациях, как демократических, так и республиканских. Изначально задуманные как давно назревшие действия по претворению в жизнь предписанного Четырнадцатой и Пятнадцатой поправками принципа недопущения дискриминации чернокожих граждан, они вскоре были распространены на другие группы населения, включая женщин и инвалидов, и в конце концов превратились в орудие “дискриминации наоборот”, направленной против белых и против мужчин. Это было неизбежно, потому что и самые благородные идеалы, коль скоро они предписываются законами, на практике осуществляются бюрократами, которые, следуя природе своих обязанностей, склонны напирать на средства и пренебрегать целями. И ключевая роль принадлежит именно бюрократам, ибо “если президенты и конгрессы приходят и уходят, то федеральные управления остаются...”¹⁵⁷.

- Такова уж судьба любой социальной реформы в Соединенных Штатах — впрочем, возможно, и в других странах, — что затеваемая энтузиастами, людьми дальновидными, политиками, государственными деятелями, она вскоре попадает в руки профессиональных исполнителей. Это имеет два следствия. С одной стороны, работа делается хорошо. Энтузиасты двигаются дальше и начинают новые великие дела, а профессионалы продолжают трудиться над реформой, оставленной без общественного внимания. И тут наступает очередь второго следствия. Профессионалы, сосредоточившиеся исключительно на реформе, все больше и больше удаляются от общественного мнения, а заодно, в сущности, и от здравого смысла. И наконец они приходят к тому, что представляется логичным и необходимым им самим, но не лезет ни в какие ворота с точки зрения почти всех других людей¹⁵⁸.

Законодательную основу мер утверждения образуют закон о гражданских правах 1964 года и несколько распорядительных указов президента Джонсона, исполнение которых было поручено Комиссии по соблюдению равенства при найме на работу и другим федеральным органам. Закон 1964 года был самым радикальным из всех когда-либо и где бы то ни было принимавшихся законов о гражданских правах*. Закон сохранил ряд достойных похвалы положений, рассчитанных на недопущение дискриминации в осуществлении избирательных прав и при посещении мест общественного пользования, а равным образом и на устранение сегрегации в государственных школах. Главной мишенью был Юг, но важнейшие положения закона имели гораздо более широкое значение. Статья VI устанавливала, что «никто в Соединенных Штатах на основании расовой принадлежности, цвета кожи или национального происхождения не может быть исключен из круга участников или получателей выгод либо подвергаться дискриминации при осуществлении любой программы или деятельности, *проводимой с финансовой помощью федеральной власти*»¹⁵⁹, каковое определение, как мы увидим, относится к великому множеству частных предприятий и многим работающим на частной основе высшим учебным заведениям. Двумя годами позже это запретительное требование было распространено на дискриминацию по признаку пола, а в 1973 году на дискриминацию граждан с физически ограниченными возможностями.

Антидискриминационные положения статьи VI, действующие, как сказано, лишь в отношении учреждений, получающих федеральную финансовую поддержку, затрагивали почти все государственные школы и университеты, как равным образом и значительную часть медицинских учреждений¹⁶⁰. Статья VII, однако, дополнительно расширила область применения этого правила, введя запрет на дискриминацию по признакам расы, цвета кожи, вероисповедания, пола или национального происхождения для профсоюзов, бюро най-

* Термин «меры утверждения» (“affirmative action”) впервые как бы мимоходом был брошен в марте 1961 года в распорядительном указе президента Кеннеди. Сторонником его использования выступил вице-президент Джонсон, который вдохнул жизнь в это лишнее ясного смысла выражение, взятое из Национального закона (Вагнера) об отношениях в промышленности (1935). [Graham, *Civil Rights Era*, 27–28, 33–36.]

ма рабочей силы и всех предприятий с числом работников более пятнадцати, занятых в торговых операциях между штатами либо имеющих деловые отношения с федеральным правительством, но при этом исключала (до 1973 года) из сферы действия закона 10,1 миллиона служащих администраций штатов и органов местного самоуправления и 4,3 миллиона работников образовательных учреждений¹⁶¹. От каждого работодателя, подпадавшего под действие закона, чиновники, которым было поручено проводить его предписания в жизнь, требовали выработать “приемлемую программу мер утверждения”, каковой надлежало включать в себя “выявление участков, где работодатель недостаточно использует труд представителей меньшинств и женщин, с последующим определением задач и составлением расписания действий, предпринимаемых работодателем по своей доброй воле с целью устранения этих недостатков”¹⁶².

Подписывая в 1965-м и потом снова в 1967 году распорядительные указы о выполнении предписаний закона, президент Джонсон особо подчеркивал запрет на дискриминацию по признакам “расовой принадлежности, вероисповедания, цвета кожи или национального происхождения” (признак пола появился в этом ряду позднее). Как от правительственных, так и от частных учреждений эти предписания требовали обширной деятельности по сбору и учету данных о расовом, этническом и половом составе их персонала. Ясное представление о масштабах действия этого закона дает тот факт, что сегодня под него подпадают почти 200 тысяч фирм с числом занятых около 26 миллионов человек, образующих добрую четверть рабочей силы страны¹⁶³. В 1972 году те же предписания были распространены на учебные заведения, а также на административные органы штатов и местного самоуправления.

Статья VII явила собой революционную меру, заложившую основу для многочисленных антидискриминационных законов и предписаний, воплощение которых в жизнь в огромной степени увеличило власть государства, урезав соответственно свободу договорных отношений частных лиц и предприятий. Включив в список опекаемых сначала женщин, затем престарелых и, наконец, инвалидов, она дала правительству неслыханные полномочия на вмешательство во взаимоотношения частных граждан. Недемократичной она была и в том смысле, что не нашла поддержки у значи-

тельного большинства граждан, включая и тех, кого должна была облагодетельствовать. Опрос, проведенный в 1977 году службой Гэллага, показал, что в целом из девяти американцев восемь возражают против предоставления льгот меньшинствам; среди небелых жителей страны на каждого выступившего “за” пришлось более двух высказавшихся “против”. Представители службы заключили: “Редко по такому спорному вопросу общественное мнение бывает столь единодушным, как в этом случае. Меры утверждения не находят поддержки ни в одной группе населения”¹⁶⁴.

Стоит в этой связи заметить, что глагол “дискриминировать” в такой мере наполнился политическим содержанием, что почти утратил свое первоначальное значение “различать, выделять”. В обычном словоупотреблении право различать входит, конечно, в понятие свободы, образуя ее важную составную часть. Не позволять гражданам, в отличие от правительств, проводить различия значит отнимать у них одно из основополагающих прав.

Статья VII запретила работодателям оказывать “предпочтение отдельным лицам или группам”: она была направлена на достижение равенства возможностей, то есть преследовала негативную цель. Такая постановка вопроса помогла провести закон о гражданских правах через упорно ему противившийся конгресс. Но как мы знаем, у президента Джонсона на уме было нечто много более позитивное, когда год спустя после принятия закона он говорил, что желает “не просто равенства как права и теоретической установки, но равенства на деле и в *результатах*”. Поставив перед собой такую цель, федеральное правительство развернуло амбициозную кампанию социального переустройства.

Принятый в 1964 году закон о гражданских правах при воплощении в жизнь оказался совершенно непохожим на своего тезку образца 1866 года, подчеркивавшего права граждан на собственность и их равенство перед законом¹⁶⁵. Скорее он был созвучен закону о гражданских правах 1875 года, который запрещал дискриминацию на частных предприятиях (в гостиницах, на транспорте общего пользования, в местах отдыха и развлечений). В 1883 году Верховный суд признал этот закон неконституционным на том — поразительном и неприемлемом для нас сегодня — основании, что он посягает на права частных лиц и предприятий: “Недопустимо было бы терпеть ссылки на пережитки рабовладения по поводу каж-

дого случая дискриминации, которую человек сочтет нужным проявить, приглашая в свой дом гостей, либо предоставляя тем или иным людям место в своей карете, экипаже или коляске, либо определяя состав публики на концерте или в театре, либо решая, с кем ему иметь дело в других сферах общения и бизнеса”¹⁶⁶.

Одна из трудностей, связанных с осуществлением антидискриминационных требований закона, состоит в том, что он не устанавливает — да и не может установить — четких критериев, позволяющих судить о его нарушениях. Чиновники, отвечающие за соблюдение этого закона, не могут действовать, исходя из смутных представлений о намерениях; они должны опираться на ясные, однозначные нормы, каковые способна дать только статистика, отражающая действительное положение вещей. Поэтому вскоре после принятия закона о гражданских правах правительственные учреждения пришли к тому, что свои заключения о наличии дискриминации стали *выводить* из факта существенных расхождений между долями, которые приходятся в общем составе занятых на белых мужчин и представителей меньшинств (определяемых по признакам расы или пола)¹⁶⁷. Уже в 1968 году Управление федерального надзора за соблюдением договоров при министерстве труда выпустило инструкцию, в которой оно, избегая термина “квоты”, повело речь о “целях и сроках их достижения”. В декабре 1971 года это выражение было растолковано как означающее ощутимый рост “использования меньшинств и женщин”, причем под “недоиспользованием” предлагалось понимать “наличие среди занятых на определенного вида работе меньшего количества представителей меньшинств или женщин, чем разумно было бы ожидать с учетом их численности среди готовых взяться за данную работу”¹⁶⁸. С помощью юристов Комиссии по соблюдению равноправия при найме на работу в судах низшей инстанции была создана особая структура, действующая на основе прецедентного права и призванная заменить “традиционное выяснение намерений оценкой последствий”: “Это, в свою очередь, позволит комиссии представлять (на рассмотрение суда) *prima facie* дела, подкрепленные статистическими данными и неотягощенные учетом намерений, так что на работодателя посредством такой процедуры будет возлагаться бремя доказательств в его защиту, которое, ввиду сокрушительных обвинений статистики, выдержать ему будет нелегко”¹⁶⁹.

В такого рода “оценках последствий” учитывается соблюдение количественных квот, устанавливающих, сколько должно быть небелых и женщин в общей численности наемных работников, среди лиц, продвигаемых по службе, а также среди принятых на учебу студентов. С самого начала, однако, конституционность квот представлялась сомнительной: статья VII их запрещала, а Верховный суд вынес в 1978 году определение об их неконституционности. Суд, тем не менее, позволил проводить внедрение равенства, следуя “гибким” нормам. Поэтому у бюрократических учреждений, занятых осуществлением программы, появилась склонность заменять слово “квоты” благозвучным “цели”. В 1970 году министерство труда ввело для работодателей правило, согласно которому “доля представителей меньшинств в числе нанимаемых на работу должна равняться или быть близкой доле меньшинств в общем населении данной местности”¹⁷⁰.

Одна из проблем, возникающих с связи с выполнением таких требований, состоит в том, что при найме на работу, зачислении в учебное заведение и продвижении по службе проводятся проверочные испытания, а представители таких меньшинств, как чернокожие и латиноамериканцы, а также женщины выдерживают эти испытания менее успешно, чем белые мужчины и лица азиатского происхождения. Ради устранения этого барьера суды постановили, что предъявление требований, не имеющих прямого отношения к предполагаемым служебным обязанностям (например, наличие диплома о полном среднем образовании), представляет собой нарушение гражданских прав. То же самое сказано о назначении администрацией одинаковых для всех испытуемых экзаменов. Так, в деле *Григгс против Дьюк Пауэр компани*, слушавшемся в 1971 году и создавшем прецедент, Верховный суд единогласно постановил, что работодатель не может выставлять условием найма некий минимальный уровень квалификации, если только он не в состоянии доказать, что наличие такого уровня имеет существенное значение для выполнения предполагаемой работы. (В данном случае продвижение по службе компания ставила в зависимость от наличия диплома о среднем образовании и положительных результатов теста-проверки способностей¹⁷¹.) Суд далее постановил, что дискриминацией является предъявление всем испытуемым одинаковых требований. Чернокожий мужчина, которого в 1963 году “Моторола” отказалась взять на ра-

боту, потому что он не прошел теста на способность делать выбор из ряда возможностей, подал жалобу в Комиссию штата Иллинойс по соблюдению справедливых условий занятости. Комиссия сочла проведение данного теста несправедливым в отношении “групп, обездоленных по части культуры и поставленных в неблагоприятное положение”, потому что “не были учтены различия в окружающей среде”, и обязала компанию взять чернокожего заявителя на работу, а проведение теста прекратить¹⁷².

Главный судья Бюргер сказал, что, “принимая закон (о гражданских правах), конгресс имел в виду воздействовать на *последствия*, а не только на мотивы”. Это было явно искаженное толкование закона 1964 года¹⁷³. При таком подходе к делу любое общее требование и любая проверка квалификации, обнаруживающие разные для чернокожих и для белых итоги испытаний, могут служить очевидным доказательством дискриминации¹⁷⁴. Это означает, что отсутствие дискриминации в наборе предъявляемых требований представляет собой дискриминацию классический пример орвеллианского новояза.

Предприниматели оказались под давлением, заставившим их искать окольные пути “улучшения” квалификационных данных своих работников, представляющих меньшинства, с тем чтобы добиваться необходимого смещения рас и полов и избегать привлечения к ответственности за нарушение закона. Таким образом, исходное стремление не придавать значения цвету кожи уступило место расовым квотам и расписаниям. От предпринимателей требуют регулярно подавать в правительственные учреждения пухлые отчеты с указанием, сколько среди их работников представителей каждой относимой к меньшинствам группы и на каких должностных уровнях они заняты. Тяжбы по поводу дискриминации, действительной или мнимой, стали процветающим бизнесом.

Беда с квотами, как их ни назови, заключается в том, что они дискриминационны по самой своей сути, потому что достижение некой желанной цели ставят в зависимость не от личных навыков и способностей человека, а от его принадлежности к определенной группе, выделяемой по признакам расы, этнического происхождения или пола. Не таково было намерение творцов закона, но дело неизбежно свелось именно к этому, потому что иначе закон был бы неосуществим.

Своего рода нелепостью высшего порядка практика применения законодательства о гражданских правах оборачивается в случае с воплощением в жизнь закона 1990 года об американцах, физически ограниченных в своих возможностях. В толковании, данном этому закону в 1997 году, его действие было распространено на наемных работников с “психическими заболеваниями”, проявляющимися в постоянных опозданиях, ошибочных суждениях и враждебном отношении к коллегам и руководителям. Согласно выпущенной в 1997 году “инструкции о применении”, работодателям запрещается принимать дисциплинарные меры в отношении лиц, отличающихся грубым поведением или являющихся на работу в неряшливом виде. Взамен предписывается прилагать все силы к созданию для таких работников “комфортных” условий¹⁷⁵.

Весь набор антидискриминационных законов и правил в том виде, как он сложился после 1964 года, не только вводит дискриминацию лиц, которым не посчастливилось принадлежать к одной из групп, выделенных для предпочтительного к ним отношения, но и подрывает деятельность затрагиваемых этими мерами организаций и учреждений. Все это держится на ложной посылке, будто частные заведения — будь то предприятия или университеты — суть микрокосмы общества в целом и будто их задачей является удовлетворение личных потребностей и желаний занятых в них людей, а не достижение их собственных целей, таких как повышение производительности и прибыльности либо обеспечение высшего качества образования. “Распределительная справедливость” неуместна при назначениях в коммерческих предприятиях или в высших учебных заведениях, потому что в обществе “соображения распределительной справедливости имеют смысл только в отношении тех видов деятельности, которые для того и существуют, чтобы предоставлять некие блага и возможности тем, кто в них участвует”¹⁷⁶. Эти соображения никоим образом не могут определять назначения в преподавательском составе высшей школы, а распространенные убеждения, что все-таки могут, основываются “на порочной модели преподавательского состава колледжа или университета, то есть на представлении, что его следует рассматривать как гражданское общество в миниатюре... Преподавательский состав университета существует не для того, чтобы заботиться о благах и возможностях самих нынешних

и возможных в будущем преподавателей, а для того, чтобы служить внешней цели — достижению совершенства в преподавании и научных изысканиях. Таким образом, при назначении преподавателя единственный относящийся к делу вопрос состоит... вот в чем: нанимает ли колледж или университет человека, наиболее способного... содействовать достижению этой цели? Все прочие соображения либо неуместны, либо несущественны”*

То же самое относится, конечно, к назначениям и должностным продвижениям на предприятиях частного бизнеса.

Ничего не стоят и выдвигаемые в пользу квот надуманные соображения, будто они позволяют придать университетским курсам больше “разнообразия”. Существуют всякие виды “разнообразия”, помимо того, что определяется различиями по расе и полу. Опрос, проведенный в 1989 году Фондом Карнеги, выявил, что 4 процента университетских преподавателей гуманитарных дисциплин и 2,2 процента ведущих курсы общественных наук говорят о себе как о “консерваторах”, тогда как свыше 40 процентов относят себя к “либералам”. Тем не менее Американская ассоциация преподавателей университетов, которая деятельно печется о “разнообразии” по признакам расы и пола, “никогда не предлагала выправлять положение, устанавливая “цели и сроки” привлечения на работу консерваторов или сторонников других недостаточно представленных течений мысли” и не делала этого на том основании, что “в отношении политических взглядов (это) не было бы осуществлением права преподавателей принимать решения сообразно установленным критериям разнообразия”¹⁷⁷.

* Jeffrie G. Murphy in Steven M. Cahn, ed., *Affirmative Action and the University* (Philadelphia, 1993), 165, 168. Нелепость требования о том, чтобы в каждой профессиональной группе или организации отражался расовый и половой состав общества в целом, удачно высмеивается следующим пародийным заявлением, якобы сделанным от имени еврейского меньшинства: “Евреи выходят из спортивного обездоленной среды. Ирвингу некогда было играть в песочнице, потому что он был перегружен домашней работой и уроками музыки. Сейчас ему 25, а он все еще не умеет играть в бейсбол, но “жадет научиться”. Поэтому Лига защиты евреев требует, чтобы в Нью-Йорке, где евреи составляют 24 процента населения, 24 процента игроков городских бейсбольных команд были евреями”. [Цит. в: George C. Roche, *The Balancing Act* (La Salle, 11., 1974), 27–28.]

Процедуры, предусматриваемые мерами утверждения, привели к тому, что прерогатива кадровых решений весьма опасным образом перешла от частных учреждений к государству, то есть к правительственной бюрократии: “Антидискриминационное законодательство противостоит свободе договорных отношений, отрицает принцип, согласно которому все люди наделены правом вести дела с кем им угодно и руководствоваться при этом разумными соображениями, неразумными соображениями или вовсе не имея никаких соображений. Порядок договорных отношений возлагает на государство как его главную задачу создание условий, при которых каждый человек мог бы использовать свою гражданскую правомочность обладать собственностью, заключать контракты, привлекать к суду и отвечать перед судом и выступать свидетелем. Права, признаваемые и защищаемые в этом случае государством, легко становятся всеобщими и могут одновременно использоваться всеми... В интересах всех людей государство держит под своей защитой зону свободы от посягательств и обмана... Принцип недопущения дискриминации сильно урезает понятие как этой свободы договорных отношений, так и соответствующей ей, пусть и ограниченной, роли государства¹⁷⁸.”

Статья VII закона 1964 года о гражданских правах была дополнительно извращена и пущена в ход как средство ограничения свободы слова на рабочем месте. Хотя в самих формулировках статьи нет на то и намек, но в толкованиях правительственных органов и судов она предстала как запрет на выражение “расистских”, “сексуальных” и даже религиозных взглядов, которые коллеги по работе могут посчитать для себя оскорбительными. Так, в 1988 году один из окружных апелляционных судов США постановил: “Хотя статья VII и не обязывает работодателя уволить всех занятых у него “Арчи Банкеров”**, закон требует от него незамедлительных действий, чтобы не допускать со стороны такого рода расистов выражений, которые обидны или оскорбительны для их коллег. Узнавая, что публичное выражение расистских или сексуальных взглядов недопустимо, люди со временем могут усвоить, что придерживаться таких взглядов нежелательно и

** Арчи Банкер — персонаж популярного в США телесериала 70-х — начала 80-х годов; тип отъявленного расиста, постоянно толкующего о своем превосходстве над “иностранцами”. — *Прим. ред.*

в частной жизни. Таким образом статья VII может послужить освобождению нашего общества от предвзятостей и предрассудков”¹⁷⁹.

Это судебное определение являет собой классический пример того, как закон, в данном случае запрещающий дискриминацию наемных работников по признакам расовой принадлежности, вероисповедания или пола, может быть в его применении раздвинут далеко за изначально имевшиеся в виду пределы и превратиться в средство ограничения свободы слова и изменения общественного поведения.

12. Меры утверждения (равенства) в высших учебных заведениях

Наглядное представление о том, как новообретенные финансовые полномочия позволяют государству нарушать договорные права своих граждан, дает вмешательство федеральных властей в дела высшей школы. Щедрые субсидии колледжам и университетам, выдаваемые в виде грантов на исследования, материальной помощи студентам и налоговых послаблений, способствовали необычайно широкому распространению высшего образования в Америке: с 1870 по 1992 год доля лиц с высшим образованием в общем населении страны выросла десятикратно, и сейчас уже в течение нескольких лет от 33 до 45 процентов выпускников средних школ получают потом дипломы колледжей. (В 1900 году колледжи посещали лишь 4 процента американцев в возрасте от восемнадцати до двадцати одного года¹⁸⁰.) Хотя государственная поддержка высшей школы началась еще в 1862 году, когда была принята программа бесплатного предоставления земли колледжам, все же до Второй мировой войны на содержание колледжей и помощь студентам Вашингтон выделял ничтожно малые средства. Еще в середине 1930-х годов на федеральное финансирование колледжей и университетов шли средства, составлявшие менее 5 процентов всех расходов на высшую школу Соединенных Штатов¹⁸¹. После Второй мировой войны положение изменилось. Принятый в 1944 году и затем несколько раз дополнявшийся закон об устройстве гражданской жизни демобилизованных, называемый в народе “солдатским законом”, предусматривал для ветеранов бесплатное обучение в колледже плюс скромное пособие на

жизнь. В результате число принятых в колледжи и университеты выросло с 1,5 миллионов человек в 1940 до 2,7 миллионов в 1950 году¹⁸².

В 1957 году Советский Союз поразил мир запуском первого искусственного спутника Земли, и ни на одну страну это не подействовало так, как на Соединенные Штаты, которые никогда прежде не чувствовали физической угрозы со стороны враждебной державы, тогда как теперь спутник наглядно засвидетельствовал способность советской военщины послать ракету с ядерной боеголовкой в любую точку мира. Соединенные Штаты, как это вскоре и подтвердилось, были вполне способны повторить это достижение: если они проигрывали в ракетной гонке, то лишь потому, что сознательно решили в этой гонке не участвовать. С подачи своих ученых США остановились на заключении, что с военной точки зрения баллистические ракеты не обладают достаточной точностью, и решили полагаться на бомбардировщики дальнего радиуса действия как на основное средство доставки ядерного оружия сдерживания. Тем не менее на волне разбушевавшейся истерии представителям образовательных учреждений удалось убедить и общественное мнение, и конгресс, что техническое достижение России явилось следствием превосходства российской системы образования. По закону 1958 года об организации образования в интересах национальной обороны были выделены большие средства на федеральную поддержку студентам частью в виде фантов, частью в форме займов. Миллиарды долларов пошли в университеты на финансирование исследований оборонного значения. В каждом очередном десятилетии на эти цели направлялось все больше федеральных денег. Закон 1965 года о высшем образовании, составивший часть джонсоновской программы “Великое общество”, превзошел все прежние надежды, предложив сделать учебу в колледже доступной для каждого американца.

В 1977 году федеральные расходы на высшее образование достигли 14 миллиардов долларов¹⁸³. В более близкое нам время 75 процентов денег, идущих на финансовую поддержку студентов, поступают из федеральных источников¹⁸⁴.

Оценка как положительных, как и отрицательных последствий, которые эта обильная выдача федеральных денег имела для качества обучения в Америке и для финансового состояния высших учебных заведений, лежит за пределами настоящего исследования¹⁸⁵. Нас интересует, какие возможности раз-

мах этих ассигнований дает правительству для вмешательства в дела высшей школы, особенно в набор студентов и преподавателей. С этой точки зрения последствия были неизменно вредными.

Ни принятый в 1964 году закон о гражданских правах, ни другие законы, последовавшие в его развитие, не предусматривали “мер утверждения” в высших учебных заведениях. Более того, начиная с 1950-х годов основополагающие национальные законы об образовании запрещали какому бы то ни было “министерству, управлению, администратору или государственному служащему Соединенных Штатов” осуществлять “какое-либо управление, надзор или контроль” в отношении учебного процесса в школах и колледжах, что дало основание одному из авторитетов в этой области прямо заявить, что “федеральный контроль (учебных заведений) противозаконен”¹⁸⁶. И тем не менее министерство здравоохранения, образования и социальной помощи установило критерии, по которым оно судит, практикуется ли в университетах и колледжах дискриминация, и которые на деле равнозначны введению квот по расе и полу. Все получающие государственные дотации колледжи и университеты, а их более двух тысяч, обязаны теперь регулярно представлять правительству статистические данные о расовом и половом составе своей студенческой братии и преподавательского корпуса — данные, которые ранее собирать было не принято. Если положение признается “неудовлетворительным”, соответствующие заведения должны принимать настойчивые и видимые меры к достижению равновесия между расами и полами, рискуя в противном случае остаться без федеральных денег. Юридическим оправданием государственного вмешательства в вопросы зачисления студентов и найма преподавателей служит то, что образовательные учреждения, будучи освобождены от налогов, получают косвенную субсидию; кроме того, и сами они, и их студенты являются получателями прямых государственных дотаций.

Когда дело касается найма и продвижения по службе преподавателей, учреждения высшей школы все более и более оказываются под пристальным надзором федеральной бюрократии. Они вынуждены идти навстречу правительственным требованиям из опасения лишиться федеральной финансовой поддержки. В 1939/40 году частные вузы получили от федерального правительства 0,7 процента своих текущих

доходов; к 1969/70 году этот показатель поднялся до 22,5 процента¹⁸⁷. Годовой бюджет Колумбийского университета однажды был наполовину покрыт Вашингтоном. Правительственные субсидии на исследовательские и учебные программы составили в 1968 году 38 процентов бюджета Гарвардского университета¹⁸⁸. Принстон, обладающий третьим по величине университетским фондом страны, получил в 1991 году 32,4 процента своих доходов от правительственных контрактов и грантов — примерно на треть больше, чем от собственного фонда¹⁸⁹. Колледжи просто не могут позволить себе остаться без федеральных денег, необходимых не только для их текущей деятельности, но и для поддержки студентов, не могут рисковать утратой этих средств, настаивая на своем праве зачислять, нанимать и продвигать по службе, исходя из собственных требований и суждений. Насколько удалось установить, лишь два небольших института с общим числом студентов пять тысяч отважились поступить таким образом. В 1996 году в США осталось всего три колледжа с чисто мужским составом студентов. (При этом продолжали, однако, действовать восемьдесят четыре частных колледжа исключительно для женщин¹⁹⁰.) Не так давно правительство и суды заставили две уважаемые военные академии, Военный институт Вирджинии (ВИВ) и Цитадель, отказаться от их традиции принимать слушателями только мужчин. После решения Верховного суда, обязавшего ВИВ пустить в свои стены женщин, судья Антонин Скалиа, выражая особое мнение, заметил, что “согласно провозглашаемым и применяемым сегодня конституционным принципам, раздельное по полу обучение в государственных заведениях является антиконституционным”¹⁹¹.

На деле меры утверждения неизбежно приводят к “обратной дискриминации”, то есть к отсеиванию при наборе студентов и преподавательского состава абитуриентов и кандидатов из числа белых и/или мужчин, показавших на приемных испытаниях равные или лучшие результаты в сравнении с чернокожими и/или женщинами. В начале 1970-х годов президент Корнельского университета с необычной откровенностью обрисовал политику, которой другие следовали молчаливо: он наставлял преподавателей принимать на работу “дополнительно представителей меньшинств и женщин”, даже если “во многих случаях для этого понадобится брать людей, мало подготовленных или вовсе неподготовлен-

ных”¹⁹². Почти тот же порядок был заведен при наборе студентов, при котором были занижены требования к абитуриентам из меньшинств. Когда в 1977 году Калифорнийский университет отказался от мер утверждения в отношении чернокожих и латиноамериканцев, что привело к существенному сокращению абитуриентов из этих двух групп, министерство юстиции указало университету, что оно намерено разобраться, нет ли здесь нарушения федерального закона о гражданских правах, поскольку предъявление одинаковых для всех требований создает-де более благоприятные условия для белых студентов. Если бы министерство пришло к выводу, что университет нарушил таким образом закон — то есть допустил дискриминацию путем отказа от дискриминации, — он мог бы лишиться более чем 1,1 миллиона долларов федеральных дотаций. На счастье, федеральные власти пока еще не требуют от университетов отказаться от стандартных приемных экзаменов, к чему толкает логика вводимых им критериев отбора студентов. Стоит отметить, что среди чернокожих и других студентов из меньшинств, зачисляемых в американские колледжи в порядке заполнения квот, высок удельный вес тех, кто оказывается не в состоянии завершить учебу: в 1993 году отсея среди них составил 72 процента*.

Вопрос о конституционности мер утверждения при приеме студентов в колледжи был поставлен перед Верховным судом вот в каком виде: “не ставится ли лицо, которое не принадлежит к расовому меньшинству, в неблагоприятное положение, когда в результате официально принимаемых мер предпочтение оказывается другим единственно по расовому основанию”¹⁹⁴. Из всех дел, рассмотренных судом в этой связи, самым знаменитым было дело Управляющие Калифорнийского университета против Бакки (1978). Истцу, Алану Бакки, было отказано в зачислении на медицинский факультет Калифорнийского университета в Дэвисе, хотя и его

* Clint Bolick, *The Affirmative Action Fraud* (Washington, D. C, 1966), 79. “В ходе одного обследования, проведенного десяток лет назад Калифорнийским университетом, было установлено, что если в Беркли от 65 до 75 процентов студентов, представителей белой и азиатской расовых групп, успешно заканчивали курс за четыре года, то для 18 процентов чернокожих и 22 процентов латиноамериканцев требовался обычно пятилетний срок. 30 процентов всех чернокожих и латиноамериканцев оставляли университет в первый год учебы”. [William L/O’ Neill in *New York Times*, April 7, 1998, p. A30.]

школьные оценки, и баллы, набранные на вступительных экзаменах, были выше, чем у ряда чернокожих абитуриентов, принятых согласно правилам “резервирования мест”. Он подал в суд жалобу на дискриминацию по расовому признаку в нарушение Четвертой поправки, которая гарантирует равную защиту прав. Дело возбудило необычайный интерес ввиду тех последствий, какие оно могло возыметь для всей программы мер утверждения. Голоса в Верховном суде раскололись, и пятеро судей против четырех решили дело в пользу Бакки, потребовав, чтобы университет зачислил его в студенты, но в решении суда, объявившем строгие квоты противозаконными, отсутствовало недвусмысленное запрещение предпочтений на расовом основании, так что для дальнейших злоупотреблений дверь осталась открытой. Четыре несогласных судьи настаивали на том, что Бакки не превзошел бы на экзаменах абитуриентов из меньшинств, если бы прежде не существовало направленной против них дискриминации¹⁹⁵.

Один из способов, каким университеты пользуются для дискриминации белых мужчин, — это изменения требований, предъявляемых на вступительных экзаменах, чем и обеспечивается достижение поставленной цели “равновесия”. При поступлении в колледжи белые абитуриенты мужского пола показывают на стандартных приемных испытаниях по предметам математического цикла существенно лучшие результаты, чем абитуриентки, и лучшие, чем чернокожие, как по математике, так и по словесности: в 1993 году на предварительных отборочных испытаниях юноши более чем вдвое превзошли девушек за счет своего значительного превосходства по математической части. С целью поднять шансы абитуриенток баллам, полученным на экзаменах по словесности, где они выступали почти вровень с юношами, был придан вдвое больший вес по сравнению с показателями на испытаниях по предметам математического цикла. Этот произвольно установленный порядок наносил ущерб абитуриентам мужского пола, особенно азиатского происхождения, потому что представители азиатских этнических групп (обоого пола) выдающимся образом справляются с испытаниями по предметам математического цикла и относительно неважно показывают себя в гуманитарных дисциплинах¹⁹⁶. Но поскольку такие подгонки не принесли желаемых результатов, стали прибегать и к другим приемам. Так, в октябре 1997 года Управление по гражданским правам, исполнившись решимо-

сти увеличить количество девушек, способных заслужить национальную стипендию, заставило Совет колледжей ввести в программу приемных испытаний новый экзамен — сочинение, “в предположении, что общий балл у девушек возрастет, потому что сочинения — это одна из сфер, в которых девушки обычно затмевают юношей”. Это нововведение несколько повысило экзаменационные успехи девушек, но все же недостаточно, и для достижения желаемых результатов, возможно, потребуются дополнительные изменения¹⁹⁷.

Ради достижения требуемого “равновесия” некоторые вузы занялись откровенной обратной дискриминацией, направленной против абитуриентов из числа белых мужчин и лиц азиатского происхождения: чернокожих и латиноамериканцев зачисляют в студенты, если они набирают минимум баллов, тогда как азиаты и белые должны показать почти совершенные результаты¹⁹⁸.

13. Школьные автобусы

Из всех видов осуществляемого во имя расового равенства государственного вмешательства в жизнь общества ничто не имело столь разрушительных для свободы последствий и не противоречило поставленной цели в такой степени, как принудительная доставка учеников на занятия школьными автобусами. Как это было и с программами внедрения, первоначально предполагалось ограничить использование школьных автобусов лишь случаями, где оно позволило бы выправить бесспорно нетерпимое положение. Однако в погоне за социальной справедливостью затея получила вскоре более широкий размах и затронула другие стороны общественной жизни. Причем видная роль в этом деле опять-таки была отведена на федеральным деньгам.

Принятый в 1964 году Закон о гражданских правах был нацелен прежде всего на школы южных штатов, где в ходу была жесткая расовая сегрегация. Закон 1965 года о начальном и среднем образовании открыл школам доступ к большим федеральным субсидиям, которые в руках властей стали дубинкой, позволявшей вышибать сегрегацию из школ Юга. Поиному и в более трудном для разрешения виде эта проблема стояла на Севере, где сегрегация в школах была не осознанно проводимой политикой, а естественным следствием того об-

стоятельства, что белые, чернокожие и латиноамериканцы живут здесь в городах раздельными общинами, что делает государственные школы сегрегированными *de facto*.

Решать проблему взялись посредством принудительной доставки учеников на занятия школьными автобусами. На Севере начало было положено в 1974 году в Бостоне, откуда эта практика была распространена на другие города. Автобусы были пущены в ход с благословения Верховного суда, и намеченную меру стали проводить в жизнь с тем бездумным упорством, какое умеют проявлять социальные реформаторы, когда крах своих усилий принимают за свидетельство, что действовали недостаточно решительно. Большинство американцев, одинаково и белых, и чернокожих, выступили против принудительного использования автобусов; в 1970-х годах против действий федеральных властей, направленных на устранение сегрегации в школах, были 70 процентов чернокожих, для блага которых все это якобы затевалось¹⁹⁹. Попытка насильственно установить равенство привела к вопиющему нарушению свободы: ни одному ребенку не было позволено “сбежать” из школы, к которой он был приписан на основании его расовой принадлежности или национального происхождения²⁰⁰. Это стало своего рода призывом безответных детей на обязательную службу.

Результаты оказались также противоположными ожидаемым, поскольку доставка детей автобусами увеличила сегрегацию в школах Севера: не желая мириться с тем, что их чада становятся грузом, предназначенным для автобусных перевозок, белые семьи либо стали переводить своих детей в частные школы, либо сами начали переселяться в пригороды. В 1972 году, до начала обязательного пользования автобусами, в государственных школах Бостона около 60 процентов учеников были белыми; в 1995 году доля белых нелатиноамериканцев среди школьников города сократилась до 18 процентов²⁰¹. Обнародованные в 1997 году результаты исследования, проведенного Гарвардской педагогической школой, показали, что за этими цифрами стоит не отклонение от нормы, а общенациональная тенденция: в 1990-е годы, главным образом по причине исхода белых из крупных городов, откуда их выталкивает желание избежать необходимости иметь дело со школьными автобусами, сегрегация чернокожих и латиноамериканцев в государственных школах неуклонно возрастала и, похоже, будет расти дальше²⁰².

14. Подводя итоги

Представленный нами обзор показывает, что в двадцатом веке направление ветра не было благоприятным для прав собственности и всего, с ними связанного. То обстоятельство, что в состязании с тоталитаризмом демократия и права собственности в конечном счете одержали верх, не должно заслонять другого факта, а именно, что даже в демократическом обществе представление о собственности подверглось существенному пересмотру и в результате из понятия полного властного обладания (*dominion*) превратилось в нечто похожее на понятие средневекового условного владения, так что имущественные права частных лиц оказались нарушенными и продолжают систематически нарушаться. Образование правительств на основе демократических избирательных процедур само по себе не обязательно обеспечивает уважение гражданских прав населения. При необходимости убедиться в этом достаточно вспомнить правление Наполеона III, первого во Франции главы государства, который был избран путем всеобщего голосования избирателей-мужчин и использовал свою законно полученную власть для подавления свободы печати, арестов и ссылки граждан без суда и следствия и в целом для захвата диктаторских полномочий. Воистину демократия способна быть “несвободной”²⁰³.

Можно, конечно, говорить, что определенные жертвы по части личной свободы приемлемы, коль скоро такой ценой покупается возможность значительно улучшить положение обездоленных членов общества. Но проблема в том, что такие улучшения не бесспорны; более того, дело выглядит так, что в действительности благотворительность, нацеленная на удовлетворение потребностей, превышающих самое необходимое, увеличивает нищету.

Мы показали, что такие меры, как минимальные ставки зарплаты, регулирование квартирной платы и принудительное пользование школьными автобусами либо не позволяют справиться с проблемами, ради решения которых они вводятся, либо усугубляют их. Но существуют и более тревожные свидетельства того, что весь набор благотворительных мер, предназначенных для устранения бедности и создания равенства, дают результаты, прямо противоположные ожидаемым: “Начав в 1965 году войну с бедностью, федеральные власти, правительства штатов и органы местного самоуправ-

ления израсходовали на преодоление нищеты более 5,4 триллиона долларов. Что это за деньги, 5,4 триллиона долларов? Это на 70 процентов больше, чем было потрачено на Вторую мировую войну. За 5,4 триллиона долларов вы смогли бы купить все 500 корпораций, проходящих по списку журнала “Форчун”, и все сельскохозяйственные угодья Соединенных Штатов. Тем не менее... степень распространения бедности сегодня (1996) выше, чем она была в 1965 году”²⁰⁴.

В период между 1965-м, когда была принята программа “Великое общество”, и 1993 годом доля в населении живущих за чертой бедности поднялась с 12,5 до 15 процентов. Произошло это в тот промежуток времени, когда ежегодные расходы на социальную поддержку выросли с 50 миллиардов долларов до 324 миллиардов²⁰⁵. Объяснение столь неожиданного хода событий в том, что благотворительность способствует распространению иждивенчества, а иждивенчество плодит бедность. Наиболее очевидным образом эта тенденция проявляется в случае с программой помощи семьям, имеющим на иждивении детей. Первоначально задуманная как способ оказать помощь овдовевшим матерям, она стала главным образом поощрять одиноких женщин к обзаведению детьми, которых государство стало брать на свое содержание. И таким образом, если в 1980 году вне брака рождались лишь 5,3 процента детей, то в 1990-м этот показатель поднялся до 28 процентов; среди чернокожих он составил 65,2 процента. В составе 92 процентов семей, получающих социальную помощь, нет отцов*. Изобильная благотворительность, то есть социальная помощь, не ограничивающая себя поддержкой ее получателей в чрезвычайных и не зависящих от них обстоятельствах, а представляющая собой попытку обеспечить им (говоря словами Франклина Делано Рузвельта) “удобно устроенную жизнь”, не только подрывает принцип собственности, этого неперемennого дополнения свободы, но и уничтожает сама себя.

Право собственности само по себе не есть гарантия гражданских прав и свобод. Но исторически из всех существовавших способов защиты и тех и других оно было самым действенным, потому что оно создает особое пространство, в ко-

* Tanner, *End of Welfare*, 70, 63. В Германии 500 тысяч детей живут не на средства своих отцов, а на деньги государства. Vera Gaserow in *Die Zeit*, No. 51 (13. Dezember, 1996). S. 67.

торое по взаимному согласию ни государство, ни общество не смеют вторгаться: проводя разграничительную линию между публичным и частным, оно делает собственника, так сказать, равноправным партнером верховной власти. Поэтому есть основания считать, что оно важнее избирательного права граждан*. Ослабление прав собственности в результате таких действий, как распределение материальных средств в целях социальной поддержки и вмешательство в контрактные отношения ради “соблюдения гражданских прав”, подрывает свободу и в самых развитых демократиях, даже если их растущее в мирных условиях богатство и соблюдение демократических процедур создают впечатление, что все идет хорошо.

* “Государственный департамент ссылается на демократию как на важный критерий в оценке положения с правами человека. Представленный им обзор за 1995 год клеймит Китай как “авторитарное государство”, в котором коммунистическая партия держит монополию “на право принятия решений”. Это неточно, поскольку в значительной мере право принимать решения — решения, которые люди принимают, зарабатывая себе на жизнь, то есть решения сеять, жать, убирать урожай, торговать и обмениваться плодами своего труда, — это право во многом передано народу. Точка зрения государственного департамента правильна только в том случае, если в жизни видеть одну политику”. [Tom Bethell, *The Noblest Triumph* (New York, 1998), 335.] Я не уверен, что готов полностью поддержать это суждение, но общее направление мысли не лишено оснований.

Предостережения

Мир, в котором все люди свободны и равны, был бы земным раем. Создать такой мир трудно; но, оказавшись перед выбором, мы должны поставить свободу выше равенства. Потому что отсутствие свободы неизбежно ведет к самому грубому выражению неравенства и несправедливости: к деспотизму. Неравенство же необязательно ведет к упразднению свободы.

Карл Поппер¹

Мы проследили эволюцию как идеи, так и института собственности, а затем на противоположных примерах России и Англии показали, как тесно собственность и ее отпрыск — право связаны со свободой, для которой они являются необходимым, хотя и не достаточным условием. В последней главе мы указали на тревожные события, которые в двадцатом веке позволяют правительствам во имя социальной справедливости и “общего блага” отменять или нарушать права собственности и по ходу дела иногда отменять и часто ограничивать личные свободы.

На пороге двадцать первого столетия традиционные угрозы свободе и собственности уже не так велики. Падение коммунизма устранило брошенный им когда-то самый прямой и опасный вызов, притом что экономические провалы социализма подорвали само представление, будто отмена частной собственности на средства производства кладет конец всем общественным невзгодам. Пусть даже не терпящим частной собственности тираниям удается там и тут держаться у власти, они все равно либо оказываются в изоляции, либо постепенно уступают духу времени: лозунги дня — демократия и приватизация*.

* Это соответствует истине несмотря на то, что бывшие коммунистические страны, недавно принявшие демократию и приватизацию, прежде всего Россия, испытывают огромные трудности с освоением западной модели. Надо иметь в виду, что о возвращении к советской модели не говорят даже коммунистические партии этих стран. Они хотят “приправить” демократию и рынок политикой социальной помощи и в определенной мере государственным вмешательством в экономику создать сплав, не относящийся к разряду неосуществимых.

Однако эти добрые перемены ни в коем случае не означают, что будущее свободы обеспечено: оно все еще под угрозой, хотя опасность исходит из иного, ранее не существовавшего источника. Главная опасность свободе связана сегодня не с тиранией, а с равенством — с равенством, понимаемым как равенство вознаграждений. Сюда же относятся и требования социальной безопасности.

Свобода по своей природе никак с равенством не связана, потому что живые существа отличаются друг от друга в силе, разуме, смелости, настойчивости и всем прочем, от чего зависит успех. Равенство возможностей и равенство перед законом (в том смысле, в каком говорил об этом Моисей израильтянам в книге Левит 24:22: “Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца; ибо Я Господь, Бог ваш”), не только совместимы со свободой, но и важны для ее существования. Чего не скажешь о равенстве вознаграждений. Поскольку этого вида равенства нет ни в животном мире, ни у примитивных народов, его следует рассматривать как противоестественное и, значит, достижимое только путем принуждения, и этим объясняется, почему все утопические схемы предполагают установление деспотической власти, а все деспоты настаивают на равенстве своих подданных*. Как более века назад заметил Уолтер Бэдджот, “нет способа сделать людей одновременно и свободными, и равными”².

Есть своя ирония в том, что насаждение равенства разрушает не только свободу, но и само равенство, ибо, как показал коммунистический опыт, те, кому поручается обеспечить социальное равенство, требуют привилегий и самих себя вы-

* Сознавая суть проблемы, некоторые современные политологи попытались перетолковать “равенство” таким образом, чтобы придать ему видимость совместимости со свободой. Так, Майкл Уолзер (Michel Walzer) в *Spheres of Justice* (New York, 1983) предлагает различать “простое” равенство — равенство в обычном смысле слова — и “сложное равенство”, при котором люди оказываются неравными в отдельных областях жизни и потому не могут обладать силой, дающей им возможность господствовать, а устранение такой возможности он определяет как задачу политического эгалитаризма (xiii). Какова бы ни была теоретическая ценность такого различения, оно никак не относится к повседневной жизни, где значение имеет только “простое” равенство. Показательно, что, выдвигая свою программу, Уолзер отвергает само намерение описать способ, “каким мы могли бы действовать для создания такого общества” (xiv).

соко возносят над толпой рядовых граждан. Насажение равенства рождает также всепроникающую коррупцию, поскольку элита, которая распоряжается всеми товарами и услугами — как и должно быть, коль скоро они подлежат уравнительному распределению, — рассчитывает на вознаграждение за эту свою деятельность.

И все же идеал золотого века, когда все были равны, потому что не знали “моего” и “твоего”, никогда не терял привлекательности в глазах человечества; это один из его устойчивых и, по-видимому, несокрушимых мифов. В соперничестве равенства и свободы равенство обладает превосходящей силой, поскольку утрата свободы ощущается лишь тогда, когда это происходит, а боль, причиняемую неравенством, приходится переживать каждый день, на каждом шагу.

Тенденция современности указывает, похоже, на то, что граждане демократических стран готовы безоговорочно отдавать свои свободы в обмен на социальное равенство (вкуче с экономическим благополучием), забывая, как представляется, о последствиях. А последствия состоят в том, что сокращаются их возможности сохранять и использовать свои заработки и свою собственность, самостоятельно решать вопросы найма и увольнения, свободно вступать в договорные отношения и даже высказывать свое мнение, причем всего этого их постепенно лишают правительства, поглощенные перераспределением частных богатств и подчинением индивидуальных прав групповым. Понятие государства социального благоденствия, каким оно сложилось во второй половине двадцатого века, никак не сочетается с представлением о личной свободе, поскольку оно позволяет отдельным группам с особыми нуждами объединяться и настаивать на своем праве удовлетворять эти нужды за счет всего общества и по ходу дела неуклонно раздувать власть государства, которое выступает от их имени*. Разглядеть это подлинное положе-

* Albert O. Hirschman в книге *Rhetoric of Reaction* (Cambridge, Mass., 1991) оспаривает всю совокупность выдвинутых со времен Французской революции критических возражений против государства, следующего принципам демократии и социальной поддержки, включая и доводы Токвиля; он показывает, что основные мелодии этих возражений — что, мол, “прогрессивные” реформы либо дают результаты, противоположные желаемым, либо не дают вообще ничего и во всяком случае нарушают свободу — с унылым постоянством воспроизводятся всякий раз, едва только предлагаются

ние вещей сейчас мешают огромные богатства, которые создает промышленная экономика, действуя по всему земному шару в условиях мира. Но оно может стать болезненной очевидностью, если экономическая ситуация резко ухудшится и власть, обретенная государством во времена процветания, позволит ему восстанавливать социальное спокойствие за счет ущемления свободы.

Упразднив систему социальной помощи с ее многообразными “льготами” и ложными “правами”, возложив социальную защиту нуждающихся на семью и частную благотворительность, как оно и было встарь, до двадцатого века, можно было бы существенно уменьшить эту опасность. Но такое решение не годится, оно неосуществимо. Свободнический идеал общества, в котором правительство ничем не управляет, так же оторван от действительности, как и идеал утопического общества, где оно управляет всем и вся. Даже во времена высшего расцвета экономической свободы (*laissez-faire*) правительства повсюду так или иначе вмешивались в экономические и социальные дела: бездеятельное государство понятие столь же мифическое, как и первобытный коммунизм.

Но следует отыскать возможную альтернативу обеим крайностям. Когда речь идет о размахе государственной власти, вопрос заключается не в выборе “или-или” — между ее всеохватностью и полным отсутствием, — а в том, должно ее быть больше или меньше. Когда в девятнадцатом столетии Верховный суд счел необходимым допустить вмешательство в частные договорные обязательства — и пошел на это с большой неохотой, — само это вмешательство часто сопровождалось остерегающей оговоркой “в разумных пределах”. Сего-

существенные перемены. Своей очевидной цели — дискредитировать сопротивление “прогрессивным” переменам (суть которых он не уточняет) — автор не достигает, поскольку он сознательно не задается вопросом об основательности или неосновательности критики: я, пишет он, “не ставлю себе задачи обсуждать по существу различные доводы против политики социальной поддержки”, а скорее рассчитываю показать, как “деятельные участники этого “реакционного” действия... снова и снова подпадали под мощное влияние одного и того же образа мысли” (35). Но как он сам признает (164, 166), возвращение к одному и тому же “образу мысли” ничего не доказывает и, конечно же, не опровергает выводов; более того, оно может быть подтверждением их правильности.

дня больше, чем когда-либо, государство должно прибегать к регулированию, но делать это оно должно через силу и лишь в минимально необходимой мере, всегда памятуя, что экономические права его граждан (права собственности) так же важны, как и их гражданские права (права равенства перед законом), и что в действительности те и другие неотделимы друг от друга. А что касается “права” на равное вознаграждение, оно неосуществимо и во всяком случае подрывает подлинные личные права.

Крайне необходимо избавиться от берущего начало в Просвещении и обязательного с точки зрения идеала эгалитаризма представления о людях как податливых существах, которых с помощью образования, промывки мозгов и подходящих законов можно поднять до уровня морального совершенства. Антропология и история одинаково указывают, что в человеческой природе постоянно присутствует твердое ядро, не поддающееся никаким внешним воздействиям. Законодательная лихорадка современности, подстегиваемая ложной верой, будто человеческое поведение может быть изменено в корне и навсегда, пошла наперекор этому знанию, особенно окрепшему после крушения советского коммунизма, который был самой решительной из когда-либо предпринимавшихся попыток воздействовать на мысли и поведение человека. Если старое представление о вечности и неизменности права, которое остается только толковать, не выдерживает критики, то несостоятельно также и бентамовское сведение права к законодательству с функциями социальной инженерии. Здравый смысл подсказывает, что некоторые черты человеческого поведения не подвержены переменам, поскольку они воспроизводятся повсюду и во все времена. Как три с половиной столетия назад сказал Джеймс Харрингтон: “Что всегда было так, а не иначе, и по-прежнему происходит так, а не иначе, то всегда будет так, а не иначе”*. Это значит, что существуют пределы достижимого посредством законодательства и обучения, даже сопровождаемых принуждением: сами по себе они не в состоянии устранить социальную зависть, национальную неприязнь или враждебное

* James Harrington, *Politician* (London, 1659), cited in Charles Blitzer, *An Immortal Commonwealth* (New Haven, Conn., 1960), 93. Явная перекичка с Экклезиастом 1.9: “Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться...”

отношение к гомосексуалистам, а попытки направить их на решение такого рода задач скорее всего дадут результат, противоположный ожидаемому.

Одно из неизменных свойств человеческой природы, невосприимчивых к ухищрениям законодателей и педагогов, — склонность к приобретательству. Надеюсь, приведенные мною факты убедят читателя, что стремление к собственности изобличает в человеке жадность не более, чем желание поесть обжуривает в нем обжору, а влюбленность — развратника. Приобретательство присуще всем живым существам, оно распространено среди животных и детей, равно как и среди взрослых, на всех ступенях цивилизации, по каковой причине морализировать по этому поводу неуместно. Простейший его смысл в том, что таким образом выражается инстинкт самосохранения. Но помимо того, оно образует одну из основных черт человеческой личности, которой достижения и обретения служат средствами самореализации. И поскольку самоосуществление составляет суть свободы, свобода не может существовать, если насильственно устраняются собственность и рождаемое ею неравенство. Говоря словами английского политического мыслителя девятнадцатого века, “частная собственность есть самая суть неравенства”, и в то же время для утверждения свобод нет ничего важнее приобретения собственности³.

Без собственности не бывает ни процветания, ни свободы.

О тесной взаимосвязи собственности и процветания свидетельствует весь ход истории, показывающий, что одна из главных причин достижения Западом мирового экономического превосходства заключена в институте собственности, который там возник и там же получил свое наиболее полное развитие. Это убедительно показано в ряде научных работ таких авторов, как Норт и Томас, Ландес и Бетхел⁴. То же самое можно статистически показать и применительно к современности. Даже допуская, что такого рода статистика не отвечает требованиям точных наук, поскольку используемые ею понятия содержат немало субъективного, поставляемые ею данные впечатляют все же своей последовательной однонаправленностью. Исследования, проведенные под совместным попечительством “Heritage Foundation” и “Wall Street Journal”, показали, что страны, наиболее прочно гарантирующие экономическую свободу, в том числе право собственности, по существу все без исключений принадлежат к числу богатейших. Они же располагают наилучшими гражданскими службами и

судебными учреждениями. Это относится не только к странам с европейским населением, но также к Японии, Южной Корее, Гонконгу, Чили и Тайваню. И наоборот, страны с самым низким рейтингом в деле обеспечения прав собственности и свободы рынка (Куба, Сомали и Северная Корея) занимают последние места на шкале экономического благополучия⁵.

Взаимоотношения собственности и свободы сложнее, потому что, в отличие от процветания, “свобода” может пониматься по-разному (см. “Определения”, стр. 15–16). Например, прочность экономических прав (прав собственности) возможна и при отсутствии политических, то есть избирательных, прав. В Западной Европе права собственности уважались задолго до того, как ее граждане получили избирательные права. Сегодня в ряде наиболее процветающих стран с прочнейшими гарантиями собственности (например, в Сингапуре, Гонконге и Тайване) действуют авторитарные режимы правления. Серьезной ошибкой, которую в своей международной деятельности часто, к сожалению, допускает правительство США, является сведение свободы исключительно к демократии, ибо, как замечено выше, рядовые граждане могут пользоваться широким набором экономических и юридических прав, как и личными правами, не имея при этом возможности выбирать свое правительство⁶. Возможно, это происходит потому, что американцы, как наследники и выгодополучатели английского конституционного развития, воспринимают такие права и свободы настолько само собой разумеющимися, что они отождествляют свободу с представительной формой правления. История свидетельствует, что собственность может сосуществовать с произволом и даже политическим гнетом власти, тогда как демократия обойтись без собственности не может. Тесная взаимозависимость между собственностью и свободой не исключает разумных государственных ограничений на способы использования собственниками принадлежащего им имущества, как и государственного обеспечения жизненных стандартов для наиболее нуждающихся слоев населения. Нельзя, ясное дело, допускать, чтобы права собственности служили прикрытием разрушению окружающей среды или оправдывали пренебрежение первостепенными нуждами безработных, больных и престарелых. Сегодня тут едва ли кто станет возражать: даже Фридрих Хайек, неумолимый противник государственного

вмешательства в экономику, соглашался, что на государстве лежит обязанность обеспечить всем гражданам удовлетворение их “потребностей в еде, жилье и одежде на уровне, минимально достаточном для поддержания их здоровья и трудоспособности”⁷. Но эти слова не содержат согласия на предоставление государству права по собственному усмотрению использовать власть для вмешательства в свободу договорных отношений, для перераспределения богатства или для принуждения части населения к покрытию расходов на удовлетворение “прав”, которые явочным порядком присваивают себе некоторые особые группы избирателей. Вводимые в интересах общественного блага ограничения на использование собственности, конечно же, должны пониматься как “изъятия” и подлежать соответствующему возмещению. Как постановил Верховный суд в деле Долан, “мы не видим никаких причин, почему Оговорка об изъятиях, содержащаяся в Пятой поправке, которая так же образует часть Билля о правах, как и Первая поправка и Четвертая поправка, не может быть распространена на статус бедного родственника”⁸. Права собственности снова должны занять подобающее им место на шкале ценностей, а не приноситься в жертву недостижимому идеалу социального равенства и всеобщего экономического благополучия. Это требует сдвига во взглядах высших органов правосудия, которые с конца 1930-х годов стали исходить из того, что “следует решительно различать гражданские права и права собственности... и что гражданские права заслуживают большей юридической защиты, чем права собственности”^{*}.

Следует, если мы дорожим свободой, пересмотреть соотношение “гражданских прав” и “прав собственности”. Правам собственности, которые со временем обрели значение исключительного владения, а не беспрепятственного пользования, должен быть в максимально возможной мере возвращен их исходный, понятный смысл. Подобным же образом нуждается в пересмотре и концепция гражданских прав. За-

* William H. Riker in Ellen Frankel Paul and Howard Dickman, eds., *Liberty, Property, and the Constitutional Development* (Albany, N.Y., 1990), 49. Выдумка о противостоянии “прав собственности” и “прав человека” впервые появилась еще в 1910 году у Теодора Рузвельта, и потом ее повторил Франклин Делано Рузвельт в 1936-м. [Tom Bethell, *The Noblest Triumph* (New York, 1998), 174–176.]

кон о гражданских правах 1964 года вовсе не разрешает правительству вводить квоты на прием работников частными предприятиями или на зачисление студентов в высшие учебные заведения, а между тем федеральная бюрократия поступает так, будто ей это позволено. Тем более не найти в законе согласия с ограничением свободы слова на рабочем месте. Если права собственности постепенно урезались по ходу их применения, то точно так же понятие “гражданских прав” было раздвинуто до пределов, позволивших включить в него притязания отдельных групп населения на товары и услуги, которые сограждане должны предоставлять им, либо жертвуя собственными правами, либо оплачивая выставляемые счета. Взяв из предвыборной (1960) программы Демократической партии список “типографских”, по ее выражению, “прав”, Эйн Рэнд спрашивает: “за чей счет” будут эти “права” удовлетворяться? Ее ответ: раз рабочие места, еда, одежда, зоны отдыха, жилые дома, медицинское обслуживание, образование и т. д. “в природе не растут”, значит, обеспечить все это можно только за счет других. А коли так, тут не может быть речи о “правах”: “Если некоторым людям по праву достаются плоды труда других людей, значит, этих других лишают прав и обрекают на рабский труд. Любое мнимое “право” одного человека, которое предполагает нарушение прав другого, не является и не может быть правомерным. Никому не дано права возлагать на другого человека обязанность, которую тот не желает нести, требовать от него безвозмездного выполнения работы или службы... В состав права не включается материальное наполнение этого права другими: право предполагает только свободу зарабатывать и собственными усилиями добиваться материального наполнения этого права”*.

Такие “классовые права” относятся, стало быть, к разряду фантомов: “Не существуют, и не могут существовать никакие права, кроме Прав Человека, то есть прав, которые касаются действительно общего, что есть в каждом человеке как лич-

* Ayn Rand, *Capitalism: The Unknown Meal* (New York, 1966), 290–1. “Отметьте в этой связи, — добавляет она, — интеллектуальную точность отцов-основателей: они говорили о праве добиваться счастья, но не о праве на счастье. Это значит, что человек имеет право предпринимать действия, которые представляются ему необходимыми для достижения его счастья; это не значит, что счастливым его должны сделать другие” (291).

ности, и которые применимы ко всем, независимо от национальности, религии, цвет кожи, рода занятий и т. д.”*

Права, когда это понятие имеет какой-нибудь смысл, суть естественные права, а не те, что предоставляются законодательным действием⁹. Права, называемые сегодня “социальными”, это не “права” и уж никак не “заслуженные льготы”, поскольку никто не заслуживает получать что-либо за чужой счет; это скорее требования к обществу, которые оно может принять, а может и отвергнуть. И тем не менее сегодня в индустриально развитых демократических странах от большого числа граждан требуют работы ради помощи другим: в Швеции, самом ретроградном в этом отношении государстве, на каждого гражданина, зарабатывающего себе на жизнь, приходится 1,8 тех, кого полностью или частично содержат за счет уплачиваемых им налогов; в Германии и Великобритании это соотношение составляет 1:1, а в Соединенных Штатах — 1:0,76¹⁰. Поскольку среди людей, получающих государственную помощь, преобладают престарелые, а налогоплательщики — это более молодая часть населения, живущая на зарплату и жалованье, в обществах социальной благотворительности по мере их старения намывается почва для нездорового конфликта поколений.

С распространенной в наше время привычкой мыслить в понятиях скорее групповых прав, чем индивидуальных, связана и другая опасность: если этим открывается дорога к выделению тех, кто вправе рассчитывать на особые блага, то в равной мере возможным становится и отбор подлежащих особому наказанию. Например, сталинская программа “ликвидации”, то есть физического уничтожения, кулаков и гитлеровский геноцид евреев и цыган оправдывались представлением, что судить о людях и обращаться с ними следует исходя не из их поведения, а из их принадлежности к определенной группе, будь то социальной, этнической или расовой.

Если не проявить величайшей заботы о защите прав собственности, мы можем оказаться во власти режима, который, не будучи тираническим в обычном смысле слова, окажется, тем не менее, губительным для свободы. Составители американской конституции такой возможности не предвидели: “Ими двигало намерение защитить народ от его правителей,

* Henry Lepage, *Porquoi la propriété* (Paris, 1958), 438. Cf. Rand, *Capitalism*, 292: “Существуют только Права Человека — права, которыми обладают каждый человек и все люди как индивидуумы”.

а не от самого себя”¹¹. Причина в том, что защитить свободу они стремились от единственной опасности, с какой были знакомы, а именно от абсолютистской монархической власти. Но как выяснилось, в условиях современного, ориентированного на социальную благотворительность государства опасность может также исходить снизу, от наших с вами сограждан, которые, в силу своей все возрастающей зависимости от правительственных щедрот, больше беспокоятся о собственном благополучии, чем об общей свободе. “Опыт, — писал судья Брандейс, — должен научить нас более всего быть начеку и защищать свободу, когда правительство ставит благодетельные цели. Люди, рожденные в свободе, естественным образом проявляют бдительность с тем, чтобы дать отпор посягательствам на свободу со стороны зловредных правителей. Самую же большую опасность свободе создают вероломные поползновения людей, одержимых добрыми намерениями, но не понимающих смысла своих действий”¹².

Объясняется это тем, что деспотизм имеет два разных лица. Бывает произвол абсолютной власти монархов и диктаторов, никем не избираемых и никакими конституциями и парламентами не скованных. А в демократических обществах бывает тирания одной части населения в отношении другой: тирания большинства в отношении меньшинства, но также — в случаях, когда исход выборов определяется ничтожно малым количеством голосов, — тирания меньшинств в отношении большинства. Царская Россия в ее классическом облике являла собой пример традиционного деспотизма: без должного разбирательства дела власти могли задерживать, бросать в тюрьму либо отправлять в ссылку любого подданного; могли забирать его имущество; могли издавать любые удобные им законы. И все же на практике при старом режиме средний житель России почти никак с правительством не общался и мало ощущал его вмешательство в свою жизнь, потому что сфера правительственной деятельности была очень узкой и ограничивалась сбором налогов, набором рекрутов и охраной существующего порядка. Сегодня сфера деятельности правительства несравненно шире; правительство, конечно, выборное, но в жизнь граждан оно вмешивается гораздо больше, чем когда-либо прежде.

Как указывал Хайек, расширение сферы государственного управления включает в себе и сеет вокруг семени деспотизма по меньшей мере столь же отвратительного, как и традицион-

ный. Более всего Хайек был озабочен защитой демократии от неудержимой, как казалось, тенденции западных демократий к подчинению национальной экономики планированию, что, полагал он, непременно ведет к тирании. Эти страхи оказались неосновательными. Но его соображения об опасностях, таящихся в расширении полномочий государства, сохраняют свое значение: “Вероятность согласия значительной части населения относительно определенного образа действий уменьшается по мере расширения объема государственной деятельности... Демократические правительства успешно работали до тех пор, пока в соответствии с широко распространенными убеждениями функции государства ограничивались областями, в которых могло быть достигнуто согласие большинства. Цена, которую мы обязаны платить за сохранение демократической системы, это ограничение государственных действий только сферами, где достижимо общее согласие; и великое достоинство либерального общества состоит в том, что оно сводит необходимость согласия к минимуму, совместимому с многообразием мнений, всегда присутствующим в свободном обществе”¹³.

Эти рассуждения поясняют, почему вмешательство государства в жизнь граждан, даже направляемое добрыми намерениями, угрожает свободе: оно предполагает наличие консенсуса, которого в действительности нет, так что обеспечивать его приходится принуждением. Как мы говорили, современное государство социальной благотворительности ради достижения своих целей действительно обращается к различным видам принуждения.

Но отечески заботливый режим подрывает также волю людей, лишая их духа предпринимательства, которым дышит свобода. Какой вред может причинить длительная зависимость от благотворительности государства, стало ясно после развала Советского Союза, когда значительная часть населения, лишенная вдруг всесторонней государственной поддержки и не готовая самостоятельно обеспечивать себя средствами существования, начала тосковать по утраченному игу деспотизма.

Беда в том, что школы не учат истории, особенно истории права и конституционного развития, так что огромное большинство сегодняшних граждан не имеет и отдаленного представления о том, чему они обязаны своей свободой и процветанием, а именно о долгой и успешной борьбе за права, среди которых самое основное право частной собственности.

Люди поэтому не сознают, какое разлагающее воздействие окажет в конечном счете на их жизнь ограничение прав собственности.

Полтора века назад, глядя на демократические Соединенные Штаты и свою родную буржуазную Францию, аристократ Токвиль предчувствовал, что в современном мире свобода столкнется с неведомыми прежде опасностями. Правители будущих поколений, писал он, “будут не столько тиранами, сколько наставниками”¹⁴. Потакая желаниям людей и используя затем их зависимость от этой благотворительности, “наставники” отнимут у народа свободу. Он предвидел пришествие своего рода демократического деспотизма, при котором “неисчислимы толпы равных и похожих друг на друга людей... тратят свою жизнь в неустанных поисках маленьких и пошлых радостей, заполняющих их души”¹⁵. Над ними возвышается охранительная власть — нынешнее государство-благодетель, которое

- заботится о безопасности граждан, предусматривает и обеспечивает их потребности, облегчает им получение удовольствий, берет на себя руководство их основными делами, управляет их промышленностью, регулирует права наследования и занимается дележом их наследства. От чего бы ей совсем не лишиться их беспокойной необходимости мыслить и жить на этом свете?
“Равенство полностью подготовило людей к подобному положению вещей” и приучило “иногда даже воспринимать его как некое благо”.
- После того как все граждане поочередно пройдут через крепкие объятия правителя и он вылепит из них то, что ему необходимо, он простирает свои могучие длани на общество в целом. Он покрывает его сетью мелких, витиеватых, единообразных законов, которые мешают наиболее оригинальным умам и крепким душам вознестись над толпой. Он не сокрушает волю людей, но размягчает ее, сгибает и направляет; он редко побуждает к действию, но постоянно сопротивляется тому, чтобы кто-то действовал по своей инициативе; он ничего не разрушает, но препятствует рождению нового; он не тиранит, но мешает, подавляет, нервирует, гасит, оглушает и превращает в конце концов весь народ в стадо пугливых и трудолюбивых животных, пастырем которых выступает правительство¹⁶.
К этому ли мы стремимся?

Примечания

ВВЕДЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1 William Blackstone, *Commentaries on the Law of England*, II (London, 1809), 2.
- 2 A. N. Wilson, *Tolstoy* (London, 1988), 365.
- 3 Marcus Cunliffe, *The Right to Property: A Theme in American History* (Leicester University Press, 1974), 5.
- 4 *The Writings of James Madison*, ed. Gaillard Hunt, VI (New York and London, 1906).
- 5 Jacob Burckhardt, *Weltgeschichtliche Betrachtungen* (München, 1978), 16.
- 6 Stephen R. Munzer, *A Theory of Property* (Cambridge, 1990), 17.
- 7 Morris Cohen in *Cornell Law Quarterly* 13, No. 1 (December 1927), 12.
- 8 Isaiah Berlin, *Two Concepts of Liberty* (Oxford, 1958), 14.

ГЛАВА 1: ИДЕЯ СОБСТВЕННОСТИ

- 1 Lewis Mumford, *The Story of Utopias* (New York, 1922), 13–14.
- 2 Kennet R. Minogue in *Nomos*, No. 22 (1980), 3.
- 3 Rigobert Günter and Reimar Müller, *Das Goldene Zeitalter* (Stuttgart, 1988), 19–20; Arnold Künzli, *Mein und Dein: Zur Idee der Eigentumsfeindschaft* (Köln, 1986), 65; Frank E. Manuel and Fritzie P. Manuel, *Utopian Thought in the Western World* (Cambridge, Mass., 1979), 66–70. Себя Гесиод тоже считал жертвой насилия: его ограбил, а именно лишил доли в наследстве, брат.
- 4 *The Dialogues of Plato*, ed. В. Jowett, III (Oxford, 1892), 156–57. [Платон, *Государство*, 462. с, перев. А. Егунова, *Сочинения в трех томах*, т. 3, часть 1 (Москва, 1971), стр. 260.]
- 5 *Ibid.*, 159. [Там же, стр. 263]
- 6 *Plato's Republic*, ed. and trans. I. A. Richards (Cambridge, 1966, Book VIII, Nos. 550–51, p. 146. [Платон, *Государство*, 550, перев. А. Егунова, *Сочинения в трех томах*, т. 3, часть 1 (Москва, 1971), стр. 364.]
- 7 *Dialogues of Plato*, V, 121–22. [Платон, *Законы*, 739/b, с, d, перев. А. Егунова, *Сочинения в трех томах*, т. 3, часть 2 (Москва, 1972), стр. 213.]
- 8 Aristotle, *Politics*, 1266a and 1266b. *The Student's Oxford Aristotle*, ed. And trans. W. D. Ross, VI (London etc., 1942). [Аристотель, *Сочинения*, т. 4. (Москва, 1984), стр. 418–420.]

- 9 Richard McKeon in *Ethics* 18, No. 3 (April 1938), 304–12.
- 10 Aristotle, *Politics*, 1328a. [Аристотель, *Сочинения*, т. 4. стр. 603.]
- 11 *Ibid.*, 1263 a/40. [Там же, стр. 410.]
- 12 *Ibid.*, 1266 b/29–30. [Там же, стр. 420.]
- 13 *Ibid.*, 1263 b/13. [Там же, стр. 411.]
- 14 *Ibid.*, 1295 b/35–36, 41. [Там же, стр. 508.]
- 15 Aristotle, *Nicomachean Ethics*, 1134–35 [Аристотель, *Сочинения*, т. 4. стр. 160]; cf. Frederick Pollock, *Essays in the Law* (London etc., 1922), 32–33.
- 16 G. H. Sabine and Stanley B. Smith, *Introduction to Cicero's On the Commonwealth* (Columbus, Ohio, 1929), 22.
- 17 Richard Shlatter, *Private Property: The History of an Idea* (New Brunswick, N. J., 1951), 11.
- 18 Virgil, *Georgics*, I/126–29, trans. L. P. Wilkinson (Harmondsworth, 1982), 61. [Вергилий, *Георгики*, I/125–128, перев. С. Шервинского в кн.: Публий Вергилий Марон, *Буколики. Георгики, Энеида* (Москва, 1971), стр. 68.]
- 19 Ovid, *Metamorphoses*, I/134–36, trans. David R. Slavitt (Baltimore and London, 1944), 4. [Овидий, *Метаморфозы*, перев. С. Шервинского (Москва, 1977), стр. 35.]
- 20 Seneca, *Ad Lucilium Epistulae Morales*, Loeb Classical Library, I (London and New York, 1917), 19; see also 111, 123, 145 etc. [Луций Анней Сенека, *Нравственные письма к Луцилию* (Москва, 1977), стр. 9.]
- 21 Цит. в: Max Beer, *A History of British Socialism*, I (London, 1919), 4.
- 22 R. Besnier in *Annales d'histoire économique et sociale*, no. 46 (July 31, 1937), 328.
- 23 См. об этом: Vittorio Scialoja, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, 2 vols. (Roma, 1928–31).
- 24 James Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, II (New York, 1901), 585.
- 25 Shlatter, *Private Property*, 26–32.
- 26 Cicero, *De Officiis*, Loeb Classical Library, II (New York, 1913), 20–23.
- 27 Mark [Марк] 10:25. См. также: Matthew [Матф.] 10:9–10 и 19:21–24; Mark [Марк] 6:8–9 и 70:27.
- 28 Martin Hengel, *Property and Riches in the Early Church* (London, 1974), 26–28; Otto Schilling, *Reichtum und Eigentum in der altkirchlichen Literatur* (Tübingen und Freiburg, 1908), 17–18.
- 29 R. W. and A. J. Carlyle, *A History of Medieval Political Theory in the West*, I (Edinburgh and London, 1927), 132; Hengel, *Property and Riches*, 84.
- 30 *Ibid.*, 62.
- 31 Bede Jarret, *Social Theories of the Middle Ages, 1200–1500* (Westminster, Md., 1942), 122.
- 32 Цит. в: Alfons Heilmann, ed., *Texte der Kirchenväter*, II (München 1964), 208.
- 33 Edward L. Surtz in Thomas More, *Utopia*, ed., Robert B. Adams (New York and London, 1992), 170–1.

- 34 Hengel, *Property and Riches*, 20–1.
- 35 *Ibid.*, 17.
- 36 W. Dempsey in *St. Thomas Aquinas, Summa Theologica*, III (New York, 1948), p. 3357. B. W. Dempsey in *St. Thomas Aquinas, Summa Theologica*, III (New York, 1948), p. 3357.
- 37 *Summa Theologica*, II, Question 66, Articles 1 and 2 (New York, 1947), pp. 1476–77.
- 38 *Ibid.*, Article 1.
- 39 Carlyle and Carlyle, *Medieval Political Theory*, V (Edinburgh and London, 1928), 145–46. См. об этом также: Schilling, *Reichtum und Eigentum*, *passim*.
- 40 Alexander Gray, *The Socialist Tradition: From Moses to Lenin* (London etc., 1963), 42–60.
- 41 Gordon Leff, *Heresy in the Later Middle Ages*, I (Manchester and New York, 1967), 9.
- 42 *Ibid.*, I, 51–166, особенно 164–66.
- 43 Henry Lepage, *Porquoi la propriété* (Paris, 1985), 54–55.
- 44 S. Brandt, ed., *Der grosse Bauernkrieg* (Jena, 1925), 265.
- 45 Troeltsch, *Social Teaching*, II, 641–50.
- 46 Shlatter, *Private Property*, 64–65; McKeon in *Ethics*, 329–30.
- 47 Shlatter, *Private Property*, 65–67; McKeon in *Ethics*, 330–32; Carlyle and Carlyle, *Medieval Political Theory*, V, 420–25.
- 48 *Tractatus de potestate regia et papali*, написано около 1303 года, цит. McKeon в: *Ethics*, 331.
- 49 Arturo Graf, *Mitti, Leggende e Superstizioni del Medio Evo*, I (Bologna, 1965).
- 50 Manuel and Manuel, *Utopian Thought*, 59.
- 51 Cecil Jane, ed., *Select Documents Illustrating the Four Voyages of Columbus*, I (London, 1930), 8.
- 52 *Ibid.*, 14.
- 53 Gilbert Chinard, *L'Amérique et la rêve exotique* (Paris, 1934), 431. Список источников, которыми мог пользоваться Руссо, приводит Karl–Heinz Kohl в *Entzauberter Blick* (Berlin, 1981), 283, п. 233. О Руссо см. ниже, стр. 60 данного издания.
- 54 *The First Four Voyages of Amerigo Vespucci* (London, 1893), 7–11.
- 55 Edward Arber, ed., *The First Three English Books on America* (Birmingham, 1885), 78.
- 56 Lewis Hanke, *The Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America* (Philadelphia, 1949), 122.
- 57 Tomas Ortiz, цит. в: Lewis Hanke, *The First Social Experiments in America* (Cambridge, Mass., 1935), 51–52.
- 58 Kohl, *Entzauberter Blick*, 48–50.
- 59 Manuel and Manuel, *Utopian Thought*, 421.
- 60 Howard Mumford Jones, *O Strange New World* (New York, 1964), 50–61.
- 61 Louis de Bougainville, *A Voyage Round the World* (Amsterdam and New York, 1967), 252–53.
- 62 *Supplément au voyage de Bougainville* (1796), ed. Gibert Chinard (Paris etc., 1935).

- 63 Kohl, *Entzauberter Blick*, 224.
- 64 Robert B. Adams in *Sir Thomas More, Utopia*, ed., Robert B. Adams (New York and London, 1992), viii.
- 65 R. W. Chambers in *ibid.*, 145.
- 66 Edward Surtz and J. H. Hexter, eds., *The Complete Works of St. Thomas More, IV*. (New Haven and London, 1965), 241, 243. [Томас Мор, Утопия (Москва, 1978), стр. 276–277.]
- 67 “The City of the Sun” in *Ideal Empires and Republics* (New York and London, 1901), 213–317.
- 68 Richard Pipes, *Russia under the Bolshevik Regime* (New York, 1994), 314.
- 69 Cited in Hans Baron, *In Search of Florentine Civic Humanism, I* (Princeton, 1988), 232. В книге Барона (том I) много внимания уделено столкновению идеалов богатства и бедности в эпоху Ренессанса.
- 70 Werner Sombart, *Der Bourgeois* (München und Leipzig, 1913), 283.
- 71 Spinoza, *Ethics, Part iv, Proposition xx*. [Этика, IV, Теорема 20, перев. Н. Иванцова в кн.: Бенедикт Спиноза, Об усовершенствовании разума (Москва, 1998), стр. 766.]
- 72 Bryce, *Studies*, II, 593–97; Pollock, *Essays*, 40.
- 73 Bryce, *Studies*, II, 597.
- 74 Renée Neu Watkins, *The Family in Renaissance Florence* (Columbia, S. C, 1969), 12–14.
- 75 *Ibid.*, 148.
- 76 Jean Bodin, *The Six Bookes of a Commonweale*, English trans. of 1606, reprinted by Harvard University Press, Cambridge, Mass., in 1962.
- 77 *Ibid.*, 85.
- 78 *Ibid.*, 110. Источник этой фразы — Seneca’s *On benefits*, Book VII, Chapter iv: *Ad reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietat*”.
- 79 *Six Bookes*, II.
- 80 McKeon in *Ethics*, 342.
- 81 *Six Bookes*, 653. Cf. Quentin Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought*, II (Cambridge, 1978), 293–94.
- 82 Лучшее английское издание — J. Barbeyrac, *The Rights of War and Peace* (London, 1738).
- 83 Hugo Grotius, *The Jurisprudence of Holland*, 2 vols., ed. and trans. R. W. Lee (Oxford, 1926–1936).
- 84 Richard Tuck, *Natural Rights Theories* (Cambridge, 1979), 73.
- 85 Grotius, *Rights of War and Peace*, 136. [Гуго Гроций, О праве войны и мира, перев. А. Саккетти (Москва, 1956), стр 193.]
- 86 Grotius, *The Jurisprudence of Holland*, I.
- 87 Grotius, *Rights of War and Peace*, II.
- 88 Roger Lockyer, ed., *The Trial of Charles I* (London, 1959), 135
- 89 Karl Olivecrona in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie* 61 No. 1 (1975), 109–15; *Journal of the History of Ideas* 35, No. 2 (1974), 211–30.
- 90 V. W. Dempsey in *St. Thomas Aquinas, Summa Theologica*, iii (New York, 1948), p. 3357. О том, какой смысл это имело у Платона, см.: Antony Flew in Colin Kolbert, ed., *The Idea of Property* (Glasgow, 1997), 124; о представлениях Цицерона см.: Giorgio del Vecchio, *Die Gerechtigkeit* (Basel, 1958), 79–80, n. 27.

- 91 Hobbes's *Leviathan* (Oxford, 1943), 110 (Part I, Chapter XV); cf. Karl Olivecrona in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie* 61, No. 1 (1975), 113; Tuck, *Natural Rights*, 29 and *passim*.
- 92 Grotius, *Jurisprudence of Holland*, I, 71, 73.
- 93 J. W. Allen, *English Political Thought, 1603–1660* (London, 1938), 27.
- 94 *Ibid.*, 18.
- 95 Thomas Edwards, C. H. Firth, ed., *The Clarke Papers*, I (London, 1891), 1x–1xii.
- 96 Tuck, *Natural Rights Theories*, 150; Howard Nenner in J. R. Jones, ed., *Liberty Secured? Britain Before and After 1688* (Stanford, Calif., 1992), 94–94.
- 97 De Cive, in Sir William Molesworth, ed., *The English Works of Thomas Hobbes*, II (London, 1841), vi–vii.
- 98 Hobbes, *Leviathan*, 165 (Part II, Chapter xxi). [Томас Гоббс, *Левиафан*, перев. А. Гутермана, *Сочинения в двух томах*, т. 2 (Москва, 1991), стр. 67.]
- 99 James Harrington, *The Commonwealth of Oceana*; and *A System of Politics*, ed. J. G. A. Pocock (Cambridge, 1992), Chapter II, Article 10.
- 100 *Ibid.*, Chapter II, Article 8.
- 101 *Ibid.*, 271–72.
- 103 C. B. Macpherson, *The Political Theory of Possesive Individualism: Hobbes to Locke* (Oxford, 1962), 165.
- 104 Paschal Larkin, *Property in the Eighteenth Century* (London, 1930), 56.
- 105 Edited by Caroline Robbins in *Two English Republican Tracts* (Cambridge, 1969).
- 106 *Diary* (sic!) of Thomas Burton, Esq., III (London, 1828), 133.
- 107 Robbins, *Two English Republican Tracts*, 89–90.
- 108 *Ibid.*, 271–72.
- 109 *Ibid.*, 271–72.
- 110 H. F. Russell Smith, *Harrington and His Oceania* (Cambridge, 1914), 141–68.
- 111 Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett (Cambridge, 1960), 401, 368. [Джон Локк, *Два трактата об управлении*, *Сочинения в трех томах*, т. 3 (Москва, 1988), стр. 376, 343.]
- 112 Peter Laslett in Locke, *Two Treatises*, 99–100.
- 113 Locke, *Two treatises*, 286. [Локк, *Два трактата об управлении*, стр. 263.]
- 114 *Ibid.*, 368–69. [Там же, стр. 343.]
- 115 О том, какие антикапиталистические выводы подсказывает локковская теория собственности, см.: M(ax) Beer, *A History of British Socialism*, I (London, 1953), 102–3, 107, and *passim* и С. Н. Драйвер in F. J. H. Hearnshaw, ed., *The Social and Political Ideas of Some English Thinkers of the Augustan Age, A. D. 1650–1750* (London, 1928), 91.
- 116 Jeremy Waldron, *The Right to Private Property* (Oxford, 1988), 137.
- 117 Beer, *British Socialism*, I, 65–71.
- 118 Manuel and Manuel, *Utopian Thought*, 349–55, 574.
- 119 Firth, ed., *Clarke Papers*, I, lxix–lxx.

- 120 Цит. в: Н. Т. Dickinson, *Liberty and Property* (New York, 1977)
- 121 См. главу 2.
- 122 David Hume, *Essays Moral, Political, and Literary*, II, “Concerning the Principles of Morals: iii. Of Justice”, in *The Philosophical Works*, IV (London, 1882), 191. [Дэвид Юм, *Исследование о принципах морали*, перев. В. Швырева, *Сочинения в двух томах*, т. 2 (Москва, 1965), стр. 240.]
- 123 Adam Smith, *The Wealth of Nations*, ed. Edwin Cannan, Modern Library (New York, 1994), 418 (Book III, Chapter ii). [Адам Смит, *О природе и причинах богатства народов* (Москва, 1962), стр. 286.]
- 124 На эту тему см. также две работы Жильбера Шинара (Gilbert Chinard): *L'exotisme américain dans la littérature française au XVI siècle* (Paris, 1911) и *L'Amérique*.
- 126 Boswell on the Grand Tour: *Germany and Switzerland, 1764* (New York etc., 1953), 223–24.
- 127 Morelly, *Code de la Nature* (Paris, 1910), 15–16. [Морелли, *Кодекс природы* в кн.: *Утопический социализм*, (Москва, 1982), стр. 156.]
- 128 *Ibid.*, 85. [Там же, стр. 160.]
- 129 *Ibid.*, 9.
- 10 Jean-Jacques Rousseau, *Discourse on the Origin of Inequality* (Indianapolis, 1992), 17.
- 131 Jean-Jacques Rousseau, *On the Social Contract*, ed., Donald Cress (Indianapolis, 1983), 179. [Жан-Жак Руссо, *О политической экономии*, перев. А. Хаютина и В. Алексеева-Попова, в кн. *Трактаты* (Москва, 1969), стр. 128.]
- 132 *Ibid.*, 29 (Book I, Chapter 9). [Жан-Жак Руссо, *Об общественном договоре, или Принципы политического права*, перев. А. Хаютина и В. Алексеева-Попова, в кн. *Трактаты* (Москва, 1969), стр. 167.]
- 133 Edward L. Walter in *Introduction to Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract* (New York, 1906), *xlvi*.
- 134 Franco Venturi, *Utopia and Reform in the Enlightenment* (Cambridge, 1971), 97–98.
- 135 Jean Touchard, *Histoire des idées politiques*, II (Paris, 1959), 411.
- 136 Charle Gide et Charle Rist, *Histoire des doctrines économiques*, I (Paris, 1947), 27.
- 137 Touchard, *Histoire*, II, 412.
- 138 Larkin, *Property*, 217.
- 139 *Ibid.*, 216.
- 140 Code Civil, Articles 544 and 545.
- 141 Guido de Ruggiero, *The History of European Liberalism* (Boston 1959), 27–28.
- 142 Pierre Joseph Proudhon, *What is Property?* (New York, 1966), 66
- 143 Beer, *British Socialism*, I, 100.
- 144 Larkin, *Property*, 217.
- 145 Pierre Gaxotte, *The French Revolution* (London and New York 1932), Chapter XII.
- 146 Manuel and Manuel, *Utopian Thought*, 557.
- 147 Filippo Buonarroti, *Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf* (Paris,

- 1957). В английском переводе: Bronterre, ed., Buonarroti's History of Babeufs Conspiracy for Equality (London, 1836).
- 148 Gaxotte, French Revolution, 292.
- 149 Babeufs Conspiracy, 314–15.
- 150 Locke, Two treaties, 286. [Локк, Два трактата об управлении, Сочинения в трех томах, т. 3. стр. 374.]
- 151 В кн.: William Godwin, Political and Philosophical Writings, ed. Marc Philp, III. (London, 1993).
- 152 Ibid., 464.
- 153 Их мастерски разбирает Грэй (Gray) в своей Socialist Tradition, Chapters VI through X.
- 154 Pierre-Josef Proudhon, Qu'est-ce la propriété (Paris, 1840).
- 155 Alan Macfarlane, The Origins of English Individualism (Cambridge, 1979), 39.
- 156 Georg Hanssen, Agrarhistorische Abhandlungen, I (Leipzig, 1880), 1–76.
- 157 August von Haxthausen, Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands, 3 Bände (Hanover, 1847–1852).
- 158 Karl Dickopf, Georg Ludwig von Maurer (Kalimünz, 1960), 160–6.
- 159 Sumner Maine, Lectures on the Early History of Institutions (London, 1975), 1–2.
- 160 Josef Kulischer, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte, I (München und Berlin, 1928), 29–30.
- 161 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 4 (Москва, 1955), стр. 438.
- 162 Shlomo Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx (Cambridge, 1968), 109.
- 163 Karl Marx and Friedrich Engels, The German Ideology (New York, 1947), 9–11. [К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 3 (Москва, 1955), стр. 21.]
- 164 Ibid., 11–13. [Там же, стр. 22.]
- 165 Marx and Engels, The Holy Family. [К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 2 (Москва, 1955), стр. 38–39.]
- 166 Marx, Capital, I. [К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 23 (Москва, 1960), стр. 498.]
- 167 Marx and Engels, German Ideology, 53. [К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 3 (Москва, 1955), стр. 32.]
- 168 Gray, Socialist Tradition, 327.
- 169 Борис Чичерин, Опыты по истории русского права (Москва, 1858), стр. 1–58.
- 170 Denman W. Ross, The Early History of Land-holding among the Germans (Boston, 1883), 39.
- 171 Fustel de Coulanges, The Origin of Property in Land (London, 1891); впервые напечатано в Revue des Questions Historiques, No. 45 (1889), 349–439.
- 172 Coulanges, Origin of Property in Land, 17.
- 173 Ibid., 150.
- 174 John Stuart Mill, Principles of Political Economy, ed. Sir William Ashley (London, 1909), Book II, Chapters I and II, pp. 199–237. [Джон Стю-

- арт Милль, Основы политической экономии, т. I, книга II, перев. А. Калинина, Р. Столпера (Москва, 1980), стр. 337–398.]
- 175 Ibid., 208. [Там же, стр. 349.]
- 176 Ibid., 227–28. [Там же, стр. 375.]
- 177 Ibid., 231, 233. [Там же, стр. 385.]
- 178 P. S. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract* (Oxford, 1979), 628–29.
- 179 Léon Duguit (1905), цит. в Lepage, *Porquoi la propriété*, 436.
- 180 Carl N. Degler, In *Search of Human Nature* (New York, 1991), 32–34. См. также ниже главу 2.
- 181 Charles Letourneau, *Property: Its Origin and Development* (London, 1892), x, 365.
- 182 Margaret Mead and Ruth L. Buzel, eds., *The Golden Age of American Anthropology* (New York, 1960), 8.
- 183 C. R. Carpenter, цит. у Edmund Leach в *New York Review of Books* 11, No. 6, (October 10, 1968), 24.
- 184 Theodosius Dobzhansky, цитирует Roger D. Masters в *Social Science Information* 14, No. 2 (1975), 14, 24.
- 185 A. Irving Hallowell in *Quarterly Review of Biology*, No. 31 (1956), 91.
- 186 John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Mass., 1971).
- 187 Ibid., 3.
- 188 Ibid., 62.
- 189 Ibid., 305. Г. Хардин называет эту книгу “одной длинной сноской к Марксу”. [Garrett Hardin and John Baden, eds., *Managing the Commons* (San Francisco, 1977), 7.]
- 190 Ibid., 73–74.
- 191 Ibid., 84.
- 192 Ibid., 106–7.
- 193 Ibid., 107, 101, 530–41.
- 194 См., например: John Christman, *The Myth of Property: Toward an Egalitarian Theory of Ownership* (New York and Oxford, 1994).
- 195 Erich Fromm, *To Have or to Be?* (New York, 1976). [Э. Фромм, *Иметь или быть?* (М., 1986).]
- 196 Ibid., 16. [Там же, стр. 45.]
- 197 Ibid., 170. [Там же, стр. 192.]
- 198 Alfred Marshall, *Principles of Economics*, 8th ed. (New York, 1948), 48.
- 199 Manuel and Manuel, *Utopian Thought*, 159.
- 200 Alan Ryan, *Property* (Stony Stratford, England, 1987), 55.
- 201 Douglass North and R. P. Thomas, *The Rise of the Western World* (Cambridge, 1973), I. Теоретическое развитие этих соображений см. в книге Норта *Structure and Change in Economic History* (New York and London, 1981).
- 202 North and Thomas, *Rise of the Western World*, 2–3, 8.
- 203 North, *Structure and Change*, 158–66. Об этом см. также: Tom Bethell, *The Noblest Triumph* (New York, 1998).

ГЛАВА 2: ИНСТИТУТ СОБСТВЕННОСТИ

- 1 Émile de Laveleye, *De la propriété et ses formes primitives* (Paris, 1874). Хороший библиографический обзор этой литературы содержится в кн.: Wilhelm Schmidt, *Das Eigentum auf den ältesten Stufen der Menschheit*, I (Münster in Westfalen, 1937), 4–17.
- 2 Исключением является написанный с большим замахом недавно опубликованный трактат Джона Пуэлсона. [John P. Powelson, *The Story of Land: A World History of Land Tenure and Agrarian Reform* (Cambridge, Mass., 198).]
- 3 L. T. Hobhouse, *Property: Its Duties and Rights* (London, 1913), 3–4.
- 4 Это понятие ввел Роберт Ардри (Robert Ardrey) в кн.: *The Territorial Imperative: A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations* (New York, 1966).
- 5 P. Leyhausen in K. Lorenz and P. Leyhausen, eds., *Motivation of Human and Animal Behavior* (New York, 1973), 99.
- 6 Edward T. Hall, *The Hidden Dimension* (Garden City, N. Y., 1966), 10–14.
- 7 H. Eliot Howard, *Territory in Bird Life* (London, 1920), 15, 180–6.
- 8 *Ibid.*, 74.
- 9 V. C. Wynne-Edwards, *Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour* (New York, 1962).
- 10 Ernest Beaglehole, *Property: A Study in Social Psychology* (London, 1931), 31–63.
- 11 Richard S. Miller in *Advances in Ecological Research* 4 (1967), 1–74, cited by E. O. Wilson in J. F. Eisenberg and W. S. Dillon, eds., *Man and Beast: Comparative Social Behaviour* (Washington, D. C, 1971), 194.
- 12 N. Tinbergen, *Social Behavior in Animals* (London, 1953), 8–14.
- 13 Ardrey, *Territorial Imperative*, 3.
- 14 C. V. Moffat, in *Irish Naturalist* 12, No. 6 (1903), 152–57.
- 15 Heini P. Hediger in Sherwood L. Washburn, *Social Life of Early Man* (Chicago, 1961), 36–38.
- 16 Monika Meyer-Holzappel, *Die Bedeutung des Besitzes bei Tier und Mensch* (Biel, 1952), 3.
- 17 *Ibid.*, 18n. Cf. *The American Heritage Dictionary of the English Language* (New York, 1970), s. v. “nest”.
- 18 Meyer-Holzappel, *Die Bedeutung*, 3.
- 19 Edward W. Soja, *The Political Organization of Space*, Commission on College Geography, Resource Paper 8 (Washington, D. C, 1971), 23.
- 20 Edward O. Wilson, *Sociobiology: The New Synthesis* (Cambridge, Mass., 1975), 565. Сведения о пространствах, потребных некоторым животным, свел в таблицу Nicolas Peterson в: *American Anthropologist* 77 (1975), 54.
- 21 N. Tinbergen, *The Study of Instinct* (Oxford, 1951), 176.
- 22 Hall, *Hidden Dimension*, 16–19.
- 23 Wilson, *Sociobiology*, 256–57.
- 24 Beaglehole, *Property*, 56.
- 25 Об этом см.: Konrad Lorenz, *On Aggression* (New York, 1966); см. так-

- же: Tinbergen in *Science* 160, No. 3, 835 (1968), 1411–18, и его *Study of Instinct*.
- 26 Ashley Montagu, *Man and Aggression* (New York, 1968), 9. (Курсив мой.)
- 27 *Academic Questions* 8, No. 3 (Summer 1995), 76–81.
- 28 Stephen Jay Gould, *The Mismeasure of Man* (New York, 1981), 28.
- 29 Carl N. Degler, *In Search of Human Nature* (New York, 1991), 318–19, 321.
- 30 Leonard Berkowitz in *American Scientist* 57, No. 3 (Autumn 1969), 383.
- 31 Herbert Croly, *The Promise of American Life* (Cambridge, Mass., 1965), 400. Впервые вышла в свет в 1909 году.
- 32 Soja, *Political Organization of Space*, 3.
- 33 Цит. в: Jeremy Waldron, *The Right to Private Property* (Oxford, 1988), 377–78.
- 34 Jean Baechler in *Nomos*, No. 22 (1980), 273.
- 35 Richard Pipes, *Russia Under the Bolshevik Regime* (New York, 1994), 290–1.
- 36 Richard H. Tawney, *The Acquisitive Society* (New York, 1920), 73–74.
- 37 *The International Journal of Psycho-Analysis* 34, part 2 (1953), 89–97; N. Laura Kemptner in *Journal of Social Behavior and Personality* 6, No. 6 (1991), 210.
- 38 Arnold Gesell and Frances I. Ilg, *Child Development* (New York, 1949), 417–21.
- 39 Helen C. Dawe in *Child Development* 5, No. 2 (June 1934), 139–57, особенно 150.
- 40 Melford E. Spiro, *Children of the Kibbutz* (Cambridge, Mass., 1958), 373–76.
- 41 Lita Furby in *Political Psychology* 2, No. 1 (Spring 1980), 30–42.
- 42 *Ibid.*, 31, 35.
- 43 *Ibid.*, 32–33.
- 44 Spiro, *Children of the Kibbutz*, 397–98.
- 45 Torsten Malmberg, *Human Territoriality* (The Hague, 1980), 59, 308.
- 46 Carol J. Guardo in *Child Development* 40, No. 1 (March 1969), 143–51.
- 47 Melville J. Herskovitz, *Economic Anthropology* (New York, 1952), 327.
- 48 E. Adamson Hoebel, *Man in the Primitive World*, 2nd ed. (New York etc., 1958), 431.
- 49 C. Daryl Forde, *Habitat, Economy and Society* (London and New York, 1934), 461.
- 50 Max Weber, *General Economic History* (New Brunswick, N. J. 1981), 38.
- 51 Robert Lowie in *Yale Law Journal* 37, No. 5 (March 1928), 551.
- 52 Обобщение, сделанное в кн.: Malmberg, *Human Territoriality*, 86, на основании данных, приводимых в кн.: P. A. Sorokin, C. C. Zimmerman, and C. J. Galpin, eds., *A Systematic Source Book in Rural Sociology*, I (Minneapolis, 1930), 574–75. В этой последней работе представлено содержательное обсуждение различных теорий о первоначальных формах землевладения [pp. 568–76].
- 53 Beaglehole, *Property*, 145–47.
- 54 L. T. Hobhouse, G. C. Wheeler, and M. Ginsberg, *The Material Culture and Social Institutions of the Simpler Peoples* (London, 1915), 243.

- 55 Beaglehole, Property, 134.
- 56 Bronislaw Malinowski, *Crime and Custom in Savage Society* (New York, 1951), 60.
- 57 Beaglehole, Property, 158–66.
- 58 *Ibid.*, 215–16.
- 59 *Ibid.*, 140–2.
- 60 Robert H. Lowie, *Primitive Society* (New York, 1920), 235–36. Cf. W[alter] Nippold, *Die Anfänge des Eigentums bei den Naturvölkern und die Entstehung des Privateigentums* (The Hague, 1954), 82; Beaglehole, Property, 140–2.
- 61 Herskovitz, *Man and His Works*, 283.
- 62 Colin Clark and Margaret Haswell, *The Economics of Subsistence Agriculture*, 3rd. ed. (New York, 1967), 28–29.
- 63 Robert McC. Netting in Steadman Upham, ed., *The Evolution of Political System's* (Cambridge, 1990), 59.
- 64 Terry L. Anderson and P. J. Hill in *Journal of Law and Economics* 18, No. 1 (1975), 175–76.
- 65 Edwin N. Wilmsen in *Journal of Anthropological Research* 29, No. 1 (Spring 1973), 4.
- 66 Lowie, *Primitive Society*. 213; Raymond Firth, *Primitive Economics of the New Zealand Maori* (New York, 1929), 361.
- 67 Paul Guiraud, *La propriété foncière en Grèce* (Paris, 1893). 32. См. также: J. B. Bury, *A History of Greece*, 3rd ed. (London, 1956), 54.
- 68 Leyhausen in Lorenz and Leyhausen, *Motivation*, 104.
- 69 Jomo Kenyatta, *Facing Mount Kenya* (London, 1953), 21. Об этом см. также: Daniel Biebuyck, ed., *African Agrarian Systems* (London, 1963).
- 70 Peter J. Usher in Terry L. Anderson, ed., *Property Rights and Indian Economics* (Lanham, Md., 1992), 47.
- 71 Frank K. Pitelka in *Condor* 61, No. 4 (1959), 253.
- 72 Явление “тоски по родному дому” разбирается (притом что необъяснимым образом остаются без внимания приведенные выше примеры) в кн.: Ina-Maria Greverus, *Der territoriale Mensch* (Frankfurt am Main, 1972).
- 73 Jules Isaac, *The Teaching of Contempt* (New York, 1964), 45. Цитата взята у Августина (О граде Божием, книга 18, глава 46).
- 74 Isaac, *Teaching of Contempt*, 39–73.
- 75 Повесть временных лет, перевод Д. С. Лихачева. Памятники литературы древней Руси. XI – начало XII века, (Москва, 1978), стр. 99.
- 76 Nippold, *Die Anfänge*, 84.
- 77 Audrey, *Territorial Imperative*, 102.
- 78 Richard Pipes, *The Russian Revolution* (New York, 1990), 113.
- 79 John E. Pfeiffer, *The Emergence of Society* (New York, 1977), 28.
- 80 Richard B. Lee and Irvn DeVore, eds., *Man the Hunter* (Chicago, 1968), 3.
- 81 Lowie, *Primitive Society*, 211–213.
- 82 Wilmsen in *Journal of Anthropological Research*, No. 29/1 (1973), 1–31.
- 83 Eleanor Leacock in *American Anthropologist* 56, No. 5, Part 2, *Memoir* 78 (1954), 1–59.
- 84 Schmidt, *Das Eigentum*, I, 290–1.

- 85 Harold Demsetz in *American Economic Review* 57, No. 2 (May 1967), 352–53.
- 86 Schmidt, *Das Eigentum*, I, 294–95. Автор перечисляет ряд таких объектов собственности.
- 87 Forde, *Habitat, Economy and Society*, 332–34, and W. Schmidt, *Das Eigentum*, II (Münster in Westfalen, 1940), 192–96, цит. в: Malmberg, *Human Territoriality*, 11.
- 88 Irvn DeVore in Eisenberg and Dillon, eds., *Man and Beast* (Washington, D. C, 1971), 309.
- 89 Напр., Leacock, in *American Anthropologist*, 2–3.
- 90 Lowie, *Primitive Society*, 210.
- 91 Max Ebert, ed., *Reallexikon der Vorgeschichte*, II (Berlin, 1925), 391; Beaglehole, *Property*, 158–66; Hoebel, *Man in the Primitive World*, 435, 443–43; Carleton Coon, *Hunting Peoples* (London, 1972), 176–80.
- 92 Vernon L. Smith in *Journal of Political Economy* 83, No. 4 (1975), 741. См. также: Douglass C. North in *Structure and Change in Economic History* (New York and London, 1981), 80.
- 93 Edella Schlager and Elinor Ostrom in Terry L. Anderson and Randy T. Simmons, eds., *The Political Economy of Customs and Culture* (Lanham, Md., 1993), 13–41.
- 94 Robert C Ellickson, *Order Without Law* (Cambridge, Mass., 1991), 191–206. Ср. главу LXXXIX романа Германа Мелвила *Моби Дик* (“Рыба на лине и ничья рыба”), где приводятся эти простые правила. За эту ссылку я признателен профессору Чарльзу Фриду из Гарвардской школы права.
- 95 James A. Wilson in Garrett Hardin and John Baden, eds., *Managing the Commons* (San Francisco, 1977), 96–111.
- 96 John Umbeck in *Explorations in Economic History* 14, No. 3 (July 1977), 197–226.
- 97 *Ibid.*, 214–15.
- 98 John Baden in Hardin and Baden, eds., *Managing the Commons*, 137.
- 99 Wilson, *Sociobiology*, 564.
- 100 Hugh Thomas, *A History of the World* (New York, 1979), 12–13.
- 101 Clark and Haswell, *Subsistence Agriculture*, 26–27.
- 102 Vernon L. Smith in *Journal of Political Economy* 83, No. 4 (1975), 727–55. Иной взгляд выражен в кн.: Robert J. Wenke, *Patterns in Prehistory* (New York and Oxford, 1984), 152, 154.
- 103 Charles E. Kay in *Human Nature* 5, No. 4 (1994), 359–98 and in *Western Journal of Applied Forestry*, October 1995, 121–26.
- 104 Matt Ridley, *The Origins of Virtue* (New York, 1996), 213–25.
- 105 Beaglehole, *Property*, 211; Schmidt, *Eigentum*, I, 292.
- 106 Hobhouse, Wheeler, and Ginsberg, *Material Culture*, Appendix I, 255–81.
- 107 Lowie, *Primitive Society*, 231–33.
- 108 Philip C Salzman in *Proceedings of the American Philosophical Society* III, No. 2 (April, 1967), 115–31.
- 109 Robert H. Lowie, *The Origin of the State* (New York, 1927).
- 110 Sir Henry Maine, *Ancient Law* (New York, 1964), 124, 126.

- 111 Lewis Henry Morgan, *Ancient Society* (Tucson, Ariz., 1985), 6–7.
- 112 J. E. A. Jolliffe, *The Constitutional History of Medieval England*, 4th ed. (London, 1961), 59–60.
- 113 *Ibid.*, 24.
- 114 Lowie, *Origin of the State*, 12–19.
- 115 Chester G. Starr, *Individual and Community* (New York and Oxford, 1986), 42–46.
- 116 North, *Structure and Change*, 23.
- 117 Douglass C. North and Robert Paul Thomas, *The Rise of the Western World: A New Economic History* (Cambridge, 1973), 8. Cf. Frederick C. Lane in *Journal of Economic History* 35, No. 1 (1975), 8–17.
- 118 Marc Bloch, *Feudal Society*, I (Chicago, 1964), 115.
- 119 Douglass North in Svetozar Pejovich, *The Codetermination Movement in the West* (Lexington, Mass., 1973), 128.
- 120 Max Weber, *Grundriss der Sozialökonomik: HI Abt. Wirtschaft und Gesellschaft*, 3. Aufl., II (Tübingen, 1947), 679.
- 121 L. Delaporte, *Mesopotamia* (New York, 1970), 101–12.
- 122 Christian Meier, *The Greek Discovery of Politics* (Cambridge, Mass., 1990), 13.
- 123 M. I. Finley, *Economy and Society in Ancient Greece* (London, 1981), 71–72; Starr, *Individual and Community*, 28.
- 124 Например, Alfred Zimmern, *The Greek Commonwealth*, 4th ed. (Oxford, 1924), 287–88. Другие примеры приводятся в кн.: Jules Toutain, *The Economic Life of the Ancient World* (New York, 1930), 12.
- 125 Toutain, *Economic Life*, 14. Cf. Gustave Glotz, *Ancient Greece at Work: An Economic History of Greece* (London and New York, 1926), 8–9.
- 126 Finley, *Economy and Society*, 217.
- 127 *Ibid.*, 218.
- 128 M. Rostovtseff, *Social and Economic History of the Hellenistic World*, I (Oxford, 1941), 273.
- 129 Starr, *Individual and Community*, vii.
- 130 Victor Davis Hanson, *The Other Greeks* (New York, 1995), 3.
- 131 *Cambridge Ancient History*, VI (Cambridge, 1933), 529.
- 132 Rostovtseff, *Social and Economic History*, 207–12.
- 133 Stephen Hodkinson in *Classical Quarterly*, n. s., 36, No. 2 (1986), 404.
- 134 Toutain, *Economic Life*, 113.
- 135 A. Bouché-Leclercq, *Histoire des Lagides*, Vol. iii, Part I (Paris, 1906), 179.
- 136 *Ibid.*, 191–92.
- 137 Rostovtseff, *Social and Economic History*, 300; Bouché-Leclercq, *Histoire des Lagides*, Vol. iii, Part I, 237–71.
- 138 Об этом см.: Reynold Noyes, *The Institution of Property* (New York, 1936), 27–220.
- 139 Tenney Frank, *An Economic History of Rome*, 2nd ed. (Baltimore, 1927), 14–15.
- 140 Noyes, *Institution of Property*, 44–49, 78–79.
- 141 P. S. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract* (Oxford, 1979), 110.

- 142 Toutain, *Economic Life*, 212–1 A.
- 143 Henry Lepage, *Porquoi la propriété* (Paris, 1985), 44.
- 144 Abbot Payson Usher, *A History of Mechanical Inventions*, rev. ed. (Cambridge, Mass., 1954), 32.
- 145 Эта тема исчерпывающим образом освещается в кн.: Maxime Kowalewsky, *Die Ökonomische Entwicklung Europas bis zum Beginn der kapitalistischen Wirtschaftsform*, I, (Berlin, 1901).
- 146 Bloch, *Feudal Society*, I, 228.
- 147 Helen Cam, *England Before Elizabeth* (New York, 1994), 97.
- 148 Bloch, *Feudal Society*, I, 190–2.
- 149 *Ibid.*, 196–98.
- 150 *Ibid.*, 208–10.
- 151 Birgit Sawyer, *Property and Inheritance in Viking Scandinavia: The Runic Evidence* (Alingsas, Sweden, 1988), 16.
- 152 Henry Pirenne, *Medieval Cities* (Princeton, 1946), 131–32.
- 153 Cited by John Hine Mundy in R. W. Davis, ed., *The Origins of Modern Freedom in the West* (Stanford, Calif., 1995), 113.
- 154 По материалам Robert von Keller, *Freiheitsgarantien für Person und Eigentum im Mittelalter* (Heidelberg, 1933), 86–238; см. также: Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, II, 576–79.
- 155 John H. Mundy, Introduction to Henry Pirenne, *Early Democracies in the Low Countries* (New York, 1963), xxvi.
- 156 Weber, *General Economic History*, 318.
- 157 George H. Sabine, *A History of Political Theory*, rev. ed. (New York, 1955), 403–41.
- 158 J. H. Elliott, *Imperial Spain, 1469–1716* (London, 1963), 73.
- 159 Jean Bodin, *The Six Bookes of a Commonweale* (Cambridge, Mass., 1962), 651–53.
- 160 Reinhold Schmid, *Die Gesetze der Angelsachsen* (Leipzig, 1858), 506.
- 161 Barbara Suchy in Uwe Schultz, ed., *Mit dem Zehnten fing es an* (München, 1986), 116.
- 162 Ingvar Andersson, *Schwedische Geschichte* (München, 1950), 237.
- 163 J. P. Sommerville, *Politics and Ideology in England, 1603–1640* (London, 1986), 160–3. См. ниже в главе 3.
- 164 J. L. M. de Gain-Montagnac, ed., *Mémoires de Louis XIV, écrits par lui-même*, I (Paris, 1806), 156.
- 165 Sir William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, Book I, Chapter 2, 15th ed. (London, 1809), 170.
- 166 Kirk H. Porter, *A History of Suffrage in the United States* (Chicago, 1918), 2–3. См. также: Chilton Williamson, *American Suffrage* (Princeton, 1968).
- 167 Charles Seymour and Donald Paige Frary, *How the World Votes*, I (Springfield, Mass., 1918), 4–180.
- 168 Porter, *History of Suffrage*, 7–13.
- 169 *Ibid.*, 109.
- 170 Jennifer Nedelsky, *Private Property and the Limits of American Constitutionalism* (Chicago and London, 1990), 18–19.
- 171 James A. Henretta, *The Evolution of American Society* (Lexington,

- Mass., 1973), 88–112; Williamson, *American Suffrage*, 20–61.
- 172 Guido de Ruggiero, *The History of European Liberalism* (Boston, 1961), 159, 177.
- 173 Карл Маркс, *Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.* [Карл Маркс и Фридрих Энгельс, *Сочинения*, т. 7 (Москва, 1956), стр. 10.]
- 174 Peter-Christian Witt in Schultz, ed., *Mit dem Zehnten*, 191–93; G. Schmölders in *ibid.*, 248.
- 175 Thomas Erskine Holland, *The Elements of Jurisprudence*, 12th ed. (Oxford, 1916), 82.
- 176 Orlando Patterson, *Freedom, I* (New York, 1991), 48. Автор считает, что первым ученым, обратившим внимание на такого рода взаимосвязь, был Макс Поленц. *Ibid.*, 79.
- 177 Herodotus, *Persian Wars*, Book V, Chapter 78. [Геродот, *История*, перевод Г. Стратановского (Ленинград, 1972), стр. 260.]
- 178 Thucydides, *History of the Peloponnesian War*, II, xli, Loeb Classical Library (Cambridge, Mass., 1991), I, 331. [Фукидид, *История*, перевод Г. Стратановского, А. Нейхарда, Я. Боровского (Ленинград, 1981), стр. 81.]
- 179 Finley, *Ancient Economy*, 28–29. (Курсив мой.)

ГЛАВА 3: АНГИЛИЯ И РОЖДЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

- 1 Edmund Burke, speech, “Conciliation with the Colonies”, in *The Works of... Edmund Burke*, III (London, 1823), 50.
- 2 A. F. Pollard, *The Evolution of Parliament*, 2nd ed. (London, 1926), 3–4.
- 3 J. Churton Collins, *Voltaire, Montesquieu, and Rousseau in England* (London, 1908), 158.
- 4 Voltaire, *Letters Concerning the English Nation* (London, 1926), Letter viii, 41–42.
- 5 Frederic Milner, *Economic Evolution of England* (London, 1931), 248.
- 6 Hans W. Kopp, *Parlamente: Geschichte, Grusse, Grenzen* (Frankfurt am Main, 1966), 16.
- 7 Sidney J. Madge, *The Domesday of Crown Lands* (London, 1938), 14.
- 8 *Ibid.*, 14–15, 19–20.
- 9 F. M. Stenton, *Anglo-Saxon England*, 3d ed. (Oxford, 1971), 550–4.
- 10 F. W. Maitland, *The Constitutional History of England* (Cambridge, 1946), 60; J. E. A. Jolliffe, *The Constitutional History of Medieval England*, 4th ed. (London, 1961), 55.
- 11 Robert H. Lowie, *Primitive Society* (New York, 1920), 383–88.
- 12 Richard Thurnwald in *The Encyclopaedia of the Social Sciences*, XI (New York, 1944), 390–1.
- 13 Jacque Ellul, *Histoire des Institutions*, I (Paris, 1995), 649–50.
- 14 Helen Cam, *England Before Elizabeth* (New York, 1952), 47.
- 15 Marc Bloch, *Feudal Society*, I (Chicago, 1964), 111–12. См. цитату из Генри Мэйна в главе 2, стр. 137–138 данного издания.
- 16 Jolliffe, *Constitutional History*, 57–58.
- 17 *Ibid.*, 72–73.

- 18 Maitland, *Constitutional History*, I.
- 19 *Cam, England Before Elizabeth*, 55–56.
- 20 Stephen Dowell, *A History of Taxation and Taxes in England*, I (London, 1888), 7.
- 21 Sally Harvey in Joan Thirsk, ed., *The Agrarian History of England and Wales*, II (Cambridge, 1988), 85. Cf. Charles H. Pearson, *History of England During the Early and Middle Ages*, I (London, 1867), 669.
- 22 C. W. Previtт-Orton, *The Shorter Cambridge Medieval History*, I (Cambridge, 1953), 584, 586.
- 23 Dowell, *History of Taxation*, I, 7.
- 24 Madge, *Domesday*, 29.
- 25 Gordon Batho in H. P. R. Finberg, *The Agrarian History of England and Wales*, IV (Cambridge, 1967), 256.
- 26 Maitland, *Constitutional History*, 179; *Cam, England Before Elizabeth*, 123.
- 27 Maitland, *Constitutional History*, 180.
- 28 *Cam, England Before Elizabeth*, 104–5.
- 29 P. S. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract* (Oxford, 1979), 91.
- 30 Maitland, *Constitutional History*, 62.
- 31 Kopp, *Parlamente*, 12.
- 32 K. Smellie in *Encyclopaedia of the Social Sciences*, IX (New York, 1944), 369.
- 33 J. H. Baker, *An Introduction to English Legal History*, 3d ed. (London, 1990), 296–317.
- 34 *Cam, England Before Elizabeth*, 89–90.
- 35 Alan Macfarlane, *The Origins of English Individualism* (Cambridge, 1979).
- 36 Alan Macfarlane, *The Culture of Capitalism* (Oxford, 1987), 192.
- 37 R. H. Tawney, *The Agrarian Problem in the Sixteenth Century* (London, 1912), 98–99.
- 38 Kopp, *Parlamente*, 14–15.
- 39 *Cam, England Before Elizabeth*, 125–26.
- 40 Maitland, *Constitutional History*, 185–87.
- 41 *Ibid.*, 256–57; G. R. Elton, *Studies in Tudor and Stuart Politics and Government*, II (Cambridge, 1974), 29–30.
- 42 Maitland, *Constitutional History*, 195.
- 43 Sir John Fortescue, *De Laudibus Legum Angliae*, ed. and trans. S. B. Chrimes (Cambridge, 1949), 24–25.
- 44 См. об этом: William Holdsworth, *Some Makers of English Law* (Cambridge, 1938), Chapter iii.
- 45 Paul Brand, *The Origins of the English Legal Profession* (Oxford, 1992).
- 46 J. H. Baker in R. W. Davis ed. *The Origins of Modern Freedom in the West* (Stanford, 1995), 191. В очерке Бэйкера речь идет о вкладе обычного права в развитие личной свободы в Англии.
- 47 Frank Smith Fussner, ed., in *Proceedings of the American Philosophical Society* 101, No. 2 (1957), 206.
- 48 Arthur R. Hogue, *Origins of the Common Law* (Bloomington, Ind., 1966), 107.

- 49 Ibid., 232.
- 50 P. S. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, 95. Cf. Roscoe Pound in *Encyclopaedia of the Social Sciences*, IV (New York, 1944), 53.
- 51 James A. Williamson, *The Tudor Age* (London and New York, 1979), 439.
- 52 John R. Commons, *Legal Foundations of Capitalism* (New York, 1924), 233. Cf. J. G. A. Pocock, *The Ancient Constitution and the Feudal Law* (New York, 1967), *passim*.
- 53 J. P. Sommerville, *Politics and Ideology in England, 1603–1640* (London and New York, 1986), 87–92.
- 54 William S. Holdsworth, *Essays in Law and History* (Oxford, 1946), 49.
- 55 David Harris Sacks in Philip T. Hoffman and Kathryn Norberg, *Fiscal Crises, Liberty, and Representative Government, 1450–1789* (Stanford, Calif., 1994), 16, citing Charles Gray.
- 56 Commons, *Legal Foundations*, 50.
- 57 A. L. Rowse, *The England of Elizabeth* (New York, 1951), 333–36.
- 58 Michael J. Braddick, *The Nerves of State* (Manchester and New York, 1996), 91–95.
- 59 Dowell, *History of Taxation*, I, 194.
- 60 Williamson, *Tudor Age*, 1–3.
- 61 Batho in Finberg, *Agrarian History*, IV, 256.
- 62 Madge, *Domesday*, 29.
- 63 Williamson, *Tudor Age*, 140.
- 64 Joyce Yowings in Finberg, *Agrarian History*, IV, 332–33.
- 65 Dowell, *History of Taxation*, I, 135–36.
- 66 Williamson, *Tudor Age*, 157.
- 67 Ibid.
- 68 Sacks in Hoffman and Norberg, *Fiscal Crises*, 39.
- 69 Batho in Finberg, *Agrarian History*, IV, 265–66.
- 70 Sacks in Hoffman and Norberg, *Fiscal Crises*, 39.
- 71 Williamson, *Tudor England*, 344.
- 72 Ibid., 421.
- 73 Kenyon, *Stuart England*, 54.
- 74 Ivor Jennings in *Encyclopaedia Britannica* (Chicago, 1970), XVII, 378.
- 75 Kenyon, *Stuart England*, 31; Maitland, *Constitutional History*, 240.
- 76 Williamson, *Tudor England*, 438.
- 77 Maitland, *Constitutional History*, 248–49. Несколько иные данные приводятся в кн.: Williamson, *Tudor Age*, 438.
- 78 Kenyon, *Stuart England*, 32.
- 79 Ibid., 34.
- 80 Williamson, *Tudor Age*, 101–5, 243.
- 81 Ibid., 439.
- 82 Elton, *Studies*, 283. Cf. Williamson, *Tudor Age*, 9, 437.
- 83 George H. Sabine, *A History of Political Theory* (New York, 1938), 395–97.
- 84 Feiling, *History of England*, 445.
- 85 Kenyon, *Stuart England*, 71.
- 86 Lawrence Stone, *The Crisis of the Aristocracy, 1568–1641* (London, 1972), 65–128.

- 87 Frederick C. Dietz, *English Public Finance, 1558–1641*, II, (New York, 1964), 299.
- 88 Batho in Finberg, *Agrarian History*, IV, 273.
- 89 C V. Wedgwood, *The King's Peace, 1637–1641*, (New York, 1956), 153–54; Christopher Clay in Thirsk, ed., *Agrarian History*, V, Vol. 2, 154.
- 90 Sommerville, *Politics and Ideology*, 147.
- 91 *Ibid.*, 151.
- 92 Robert Zaller in J. H. Hexter, ed., *Parliament and Liberty from the Reign of Elizabeth in the English Civil War* (Stanford, Calif., 1992), 202.
- 93 Barry Coward, *The Stuart Age*, 2nd ed. (London and New York, 1994), 110.
- 94 Wedgwood, *King's Peace*, 153–54; Coward, *Stuart Age*, 108.
- 95 Dietz, *English Public Finance*, II, 299.
- 96 Conrad Russell, *Parliaments and English Politics, 1621–1629* (Oxford, 1979), 19.
- 97 Perez Zagorin, *The Court and the Country: The Beginning of the English Revolution* (New York, 1971), 98–99.
- 98 *Ibid.*, 90.
- 99 Coward, *Stuart Age*, 95; Sommerville, *Politics and Ideology*, 116.
- 100 Zagorin, *Court and the Country*, 120–31.
- 101 “The Form of Apology and Satisfaction” приводится в: J. P. Kenyon, ed., *The Stuart Constitution, 1603–1688*, 2nd ed. (Cambridge, 1986), 29–35; On “The Humble Answer” см.: Jack Hexter in J. H. Hexter, ed., *Parliament and Liberty*, (Stanford, Calif., 1992), 28–32.
- 102 J. H. Hexter in Hexter, ed., *Parliament and Liberty*, 11–12. Подробно этот вопрос рассматривает Johann P. Sommerville, *ibid.*, 56–84.
- 103 J. W. Allen, *English Political Thought, 1603–1660*, I (London, 1938), 26.
- 104 *Ibid.*, 32.
- 105 S. Reed Brett, *John Pyt, 1583–1643* (London, 1940), 86.
- 106 *Ibid.*, 81–82, 86.
- 107 S[amuel] R. Gardiner, ed., *The Constitutional Documents of the Puritan Revolution: 1625–1660*, 3rd ed. (Oxford, 1936), 69.
- 108 *Ibid.*, 67.
- 109 Hexter in Hexter, ed., *Parliament and Liberty*, I.
- 110 Brett, *Pyt*, 82.
- 111 Dietz, *Public Finance*, II, 262–63.
- 112 Feiling, *History of England*, 457.
- 113 Zagorin, *Court and the Country*, 116.
- 114 Sommerville, *Politics and Ideology*, 159.
- 115 Clive Holmes in Hexter, ed., *Parliament and Liberty*, 135–136.
- 116 John Adair, *A Life of John Hampden* (London, 1976), 3.
- 117 Brett, *Pyt*, 225–26.
- 118 Dowell, *History of Taxation*, I, 222.
- 119 Wedgwood, *King's Peace*, 383.
- 120 Kenyon, *Stuart England*, 125; Maitland, *Constitutional History*, 293.
- 121 Kenyon, *Stuart England*, 127; Maitland, *Constitutional History*, 294.
- 122 Madge, *Domesday*, 63–66.
- 123 Christopher Clay in Thirsk, ed., *Agrarian History*, V, vol. 2, 119–54.

- 124 Feiling, *History of England*, 507
- 125 M. J. Braddick, *Parliamentary Taxation in Seventeenth-Century England* (Woodbridge, Suffolk, 1994), 292, 293n.
- 126 Madge, *Domesday*, 262–63; George Clark, *The Later Stuarts, 1600–1714*, 2nd ed. (Oxford, 1955), 5.
- 127 C.D. Chandaman, *The English Public Revenue, 1660–1688*, (Oxford, 1975), III.
- 128 Joan Thirsk in *Journal of Modern History* 26, No. 4 (December 1954), 315–28; Clay in Thirsk, ed., *Agrarian History*, V, vol. ii, 156.
- 129 Chandaman, *English Public Revenue*, III.
- 130 Milner, *Economic Evolution*, 249; Clark, *Later Stuarts*, 6–7; Wedgwood, *King's Peace*, 155.
- 131 Dowell, *History of Taxation and Taxes*, II, 41–42.
- 132 Chandaman, *English Public Revenue*, 2, 138.
- 133 Braddick, *Nerves of State*, 10.
- 134 Jones in Hoffman, *Fiscal Crises*, 70–1.
- 135 Coward, *Stuart Age*, 290.
- 136 Chandaman, *English Public Revenue*, 277.
- 137 *Ibid.*, 278.
- 138 Coward, *Stuart Age*, 333, 335.
- 139 Madge, *Domesday*, 275.
- 140 Howard Nenner in J. R. Jones, ed., *Liberty Secured? Britain Before and After 1688* (Stanford, Calif., 1992), 92.
- 141 Kenyon, *Stuart England*, 228.
- 142 См. об этом: Lois G. Schworer, *The Declaration of Rights, 1689* (Baltimore and London, 1981).
- 143 David Ogg, *England in the Reigns of James II and William III* (Oxford, 1955), 242.
- 144 Dowell, *History of Taxation and Taxes*, II, 42.
- 145 Clark, *Later Stuarts*, 56–57; Coward, *Stuart Age*, 348–49.
- 146 Coward, *Stuart Age*, 375–76.
- 147 *Ibid.*, 379, 454.
- 148 *Ibid.*, 453.
- 149 Maitland, *Constitutional History*, 312–13.
- 150 Élie Halevy, *A History of the English People in the Nineteenth Century*, I, *England in 1815* (London, 1949), 6.
- 151 Это убедительно показал А. Р. Meyers в работе *Parliaments and Estates in Europe to 1789* (London, 1949), одном из немногих сравнительных исследований представительных учреждений.
- 152 *Ibid.*, 24.
- 153 Antonio Marongiu, *Medieval Parliaments: A Comparative Study* (London, 1968), 100.
- 154 J. H. Elliot, *Imperial Spain, 1469–1716* (London, 1963), 18.
- 155 Frederick Powicke, cited in *Relazioni of the Tenth International Congress of the Historical Sciences, Rome, 1955*, I (Florence, 1955), 18.
- 156 R. Jalliffier, *Histoire des Etats Generaux (1302–1614)* (Paris, 1963), 18.
- 157 Maurice Rey, *Le Domaine du Roi... sous Charles VI, 1388–1413* (Paris, 1965), 35.

- 158 Elliot, *Imperial Spain*, 80–1, 193–94.
 159 *Ibid.*, 80–1.
 160 Douglass C. North and Robert P. Thomas, *The Rise of the Western World* (Cambridge, 1973) 129–31.
 161 C. B. A. Behrens, *The Ancien Regime* (London, 1972), 90.
 162 George Edmundson, *History of Holland* (Cambridge, 1922), 112.

ГЛАВА 4: ВОТЧИННАЯ РОССИЯ

- 1 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года, 1-е изд., 45 томов (Санкт-Петербург, 1830), т. IV, № 1857, 20 июня, 1701 г., стр. 169–70. В дальнейшем ПСЗ.
- 2 М. Н. Тихомиров, *Древнерусские города*, 2-е изд. (Москва, 1956).
- 3 М. Ф. Владимирский-Буданов, *Обзор истории русского права*, 4-е изд. (Санкт-Петербург и Киев, 1905), стр. 524; Г. Ф. Шершеневич, *Учебник русского гражданского права*, 7-е изд. (Санкт-Петербург, 1909), стр. 242.
- 4 В. Б. Кобрин, *Власть и собственность в средневековой России (XV–XVI вв.)* (Москва, 1985), стр. 32–33. Ср.: С. В. Веселовский, *Феодалное землевладение в северо-восточной Руси*, I (Москва и Ленинград, 1947), где из фактического отсутствия источников, могущих документально подтвердить существование частной земельной собственности до приблизительно 1350 года почему-то делается вывод, что такая собственность была “очень распространена” (стр. 8).
- 5 Alan Macfarlane, *The Origins of English Individualism* (Cambridge, 1979), Chapter 5.
- 6 В. О. Ключевский, *Курс русской истории*, I (Москва, 1937), Лекция XVIII, стр. 327–328; ср.: А. Е. Пресняков, *Образование великорусского государства* (Петроград, 1918), стр. 26–27.
- 7 А. Н. Насонов, *Монголы и Русь* (Москва и Ленинград, 1940), стр. 10.
- 8 Там же, стр. 77–78.
- 9 Там же, стр. 28–29.
- 10 Александр Лакиер, *О вотчинах и поместьях* (Санкт-Петербург, 1848), стр. 132.
- 11 На эту тему см.: Klaus Zernack, *Die burgstädtischen Volksversammlungen bei den Ost- und Westslawen*, in *Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des Europäischen Ostens*, Reihe I, Band 33 (Wiesbaden, 1967).
- 12 М. Богословский, *Земское самоуправление на русском севере в XVII в.*, I (Москва, 1909), стр. 56.
- 13 И. М. Кулишер, *История русского народного хозяйства*, II (Москва, 1925), стр. 46; Богословский, *Земское самоуправление*, стр. 48.
- 14 Я. Е. Водарский, *Дворянское землевладение в России в XVII – первой половине XIX в.* (Москва, 1988), стр. 3.
- 15 М. Дьяконов, *Очерки общественного и государственного строя древней Руси*, 4-е изд. (Санкт-Петербург, 1912), стр. 244–247.

- 16 Иван Андреевский, О договоре Новгорода с немецкими городами и Готландом (Санкт-Петербург, 1855), стр. 4.
- 17 А. Л. Хорошкевич, Торговля Великого Новгорода в XIV–XV веках (Москва, 1963).
- 18 Н. Л. Подвигина, Очерки социально-экономической и политической истории Новгорода Великого в XII–XIII вв. (Москва, 1976), стр. 106.
- 19 Там же, стр. 38.
- 20 История СССР. I (Москва, 1948), стр. 126.
- 21 С. Н. Валк, ред., Грамоты Великого Новгорода и Пскова (Москва и Ленинград, 1949), стр. 9–10.
- 22 Подвигина, Очерки, стр. 12–13, 115–116.
- 23 С. В. Юшков, История государства и права СССР, I (Москва, 1940), стр. 200–201.
- 24 Подвигина, Очерки, стр. 114.
- 25 А. В. Арциховский в Исторических записках № 2 (1938), стр. 122, 125–126; О. В. Мартышин, Вольный Новгород (Москва, 1992), стр. 87–88.
- 26 А. М. Гневушев, Очерки экономической и социальной жизни сельского населения новгородской области после присоединения Новгорода к Москве, I (Киев, 1915), стр. 310.
- 27 Арциховский в Исторических записках № 2 (1938), стр. 114–116.
- 28 Zernack, Die burgstädtischen Volksversammlungen, 189.
- 29 Памятники русского права, II (Москва, 1953), стр. 212; George G. Weickhardt in Russian Review 51 (October 1992), 467–68.
- 30 А. Никитский, Очерк внутренней истории Пскова (Санкт-Петербург, 1873), стр. 120–121, 126.
- 31 Насонов, Монголы, стр. 94.
- 32 Там же, стр. 128.
- 33 Там же, стр. 114.
- 34 См. ниже, стр. 266 данного издания.
- 35 В. Н. Вернадский, Новгород и новгородская земля в XV веке (Москва-Ленинград, 1961), стр. 321–324.
- 36 Кулишер, История, II, стр. 50; Веселовский, Феодальное землевладение, стр. 288–290.
- 37 Дьяконов, Очерки, стр. 256–258; В. Сергеевич, Лекции и исследования по древней истории русского права, 4-е изд. (Санкт-Петербург, 1910), стр. 543.
- 38 Памятники русского права, VI, Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 года (Москва, 1957), стр. 223.
- 39 С.В.Рожественский, Служилое землевладение в московском государстве XVI века (Санкт-Петербург, 1897), стр. 8–9. Веселовский, однако, оспаривает существование поместий до царствования Ивана III. [Феодальное землевладение, стр. 302.]
- 40 Веселовский, Феодальное землевладение, стр. 55.
- 41 Об этом см.: А. А. Зимин, Опричнина Ивана Грозного (Москва, 1964), стр. 306–359; Р. Г. Скрынников, Царство террора (Санкт-Петербург, 1992).

- 42 Р. Г. Скрынников, Начало опричнины (Ленинград, 1966), стр. 278–297.
- 43 Г. Перетякович, Поволжье в XV и XVI веках (Москва, 1877), стр. 246–271.
- 44 Giles Fletcher, Of the Russe Commonwealth (1591) (Cambridge, Mass., 1966), 26–26v. [Д. Флетчер, О государстве русском (Санкт-Петербург, 1906), стр. 41.]
- 45 История России с древнейших времен, III (Москва, 1960), стр. 705–706. О том, как дело обстояло на Западе, см.: J. C. Holt in Past and Present, No. 57 (1972), 7–8.
- 47 Дьяконов, Очерки, стр. 255–256.
- 48 Текст этого законодательного акта сохранился лишь в одной версии: Полное собрание русских летописей, XIII (Санкт-Петербург, 1904), стр. 268–269; Рождественский, Служилое землевладение, стр. 51–52.
- 49 Веселовский, Феодальное землевладение, стр. 89.
- 50 Рождественский, Служилое землевладение, стр. 59, iii.
- 51 Е. Д. Сташевский, Землевладение московского дворянства в первой половине XVII века (Москва, 1911), стр. 26–27.
- 52 Там же, стр. 17.
- 53 Шершеневич, Учебник, стр. 201–202.
- 54 Памятники русского права, VI, Соборное уложение, стр. 228.
- 55 Е. И. Индова в кн. Е. И. Павленко, ред., Дворянство и крепостной строй России XVI–XVIII вв. (Москва, 1975), стр. 275n.
- 56 Fletcher, Russe Commonwealth, 46v–47. [Д. Флетчер, О государстве русском (Санкт-Петербург, 1906), стр. 68.]
- 57 Павел Смирнов, Города московского государства в первой половине XVII века, том I, часть 1 (Киев, 1919), стр. 352.
- 58 Там же, стр. 77.
- 59 Там же, стр. 12.
- 60 Там же, стр. 14–15.
- 61 Otto Brunner, Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, 2. Aufl. (Guttingen, 1968), 235–36.
- 62 С. М. Соловьев, История России с древнейших времен, VII (Москва, 1962), стр. 46.
- 63 Heiko Haumann in Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas, Neue Folge, Band. 27, Heft 4 (1979), 486; Владимирский-Буданов, Обзор, стр. 245.
- 64 J. Michael Hittle, The Service City (Cambridge, Mass., 1979), 34.
- 65 Смирнов, Города, I/1, стр. 20.
- 66 В. О. Ключевский, Письмо редактору, Русские ведомости, № 125 (9 мая 1887).
- 67 Смирнов, Города, I/2, стр. 351–352; А. М. Сахаров, Образование и развитие российского государства в XIV–XVII в. (Москва, 1969), стр. 77.
- 68 Ю. Р. Клокман, Социально-экономическая история русского города (Москва, 1967), стр. 31; Brunner, Neue Wege, 226. Кит Файлинг говорит, что в 1640 году в Англии, “вероятно”, не более 50 процентов

- населения жили за счет сельского хозяйства. [Keith Feiling, *A History of England* (London, 1950), 509.]
- 69 Alexander A. Tchuprow (Чупров), *Die Feldgemeinschaft* (Strassburg, 1902), глава II.
- 70 В. Н. Латкин, Учебник истории русского права периода империи, 2-е изд. (Санкт-Петербург, 1909), стр. 205. Ср.: С. Ф. Платонов, *Очерки по истории смуты в московском государстве XV–XVII вв.*, 3-е изд. (Санкт-Петербург, 1910), стр. 155.
- 71 Я. Е. Водарский в *Вопросах военной истории России* (Москва, 1969), стр. 237–238.
- 72 ПСЗ, том V, № 2789, 23 марта 1714 г., стр. 91–94.
- 73 А. Романович-Славатинский, *Дворянство в России* (Санкт-Петербург, 1870), стр. 239.
- 74 Н. Н. Ефремова в кн.: *Российская Академия Наук, Институт Государства и Права, Собственность: Право и Свобода* (Москва, 1992), стр. 47.
- 75 *Энциклопедический словарь Общества Брокгауз и Ефрон*, том XXVIII, стр. 187.
- 76 С. П. Луппов, *Книга в России в XVII веке* (Ленинград, 1970), стр. 28.
- 77 А. Сергеев в *Книжном обозрении*, № 18 (2 мая 1995), стр. 21.
- 78 Ефремова в кн. *Собственность*, стр. 47.
- 79 Richard Pipes, *Russia Under the Old Regime*, (London and New York, 1974), 210. [Ричард Пайпс, *Россия при старом режиме* (Москва, 1993), стр. 277.]
- 80 Helen Cam, *England Before Elizabeth* (New York, 1952), 119.
- 81 Латкин, Учебник, стр. 201–202.
- 82 ПСЗ, том XV, № 11444, 18 февраля 1762, стр. 912–915.
- 83 Pipes, *Russia Under the Old Regime*, 178 [Пайпс, *Россия при старом режиме*, стр. 235]
- 84 О. А. Омельченко, “Законная монархия” Екатерины Второй (Москва, 1993), стр. 29, 211. По словам А. Кизеветтера [Исторические силуэты: люди и события (Берлин, 1931)], помещики были очень довольны этими ревизиями.
- 85 ПСЗ, том XVIII, № 13235, 19 января 1769, стр. 805.
- 86 ПСЗ, том XXI, № 15447, 28 июня 1782, стр. 613–615 и № 15518, 22 сентября 1782, стр. 676.
- 87 ПСЗ, т. XXII, № 16187, 21 апреля 1785, стр. 344–358.
- 88 В. Н. Латкин, *Законодательные комиссии в России в XVIII ст.*, I (Санкт-Петербург, 1887), стр. 303–304.
- 89 Омельченко, “Законная монархия”, стр. 178–179.
- 90 Heinrich Altrichter, *Wandlungen des Eigentumsbegriffs und neuere Ausgestaltung des Eigentumsrechts* (Marburg und Lahn, 1930), 1–2.
- 91 ПСЗ, том XVIII, № 12950, 30 июля 1767, стр. 282.
- 92 Н. Д. Чечулин, ред., *Наказ императрицы Екатерины II* (Санкт-Петербург, 1907), стр. 86.
- 93 См.: В. И. Семевский, *Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века*, I (Санкт-Петербург, 1888), стр. 196–222 и др.

- 94 П. А. Хромов, *Экономическое развитие России*, (Москва, 1967) стр. 77.
- 95 Якушкин, *Очерки*, стр. 192.
- 96 Владимирский-Буданов, *Обзор*, стр. 247; Омельченко, “Законная монархия”, стр. 178–179.
- 97 A. E. Pollard, *The Evolution of Parliament*, 2nd ed. (London, 1926), 169, 171.
- 98 Robert von Keller, *Freiheitsgarantien für Person und Eigentum im Mittelalter* (Heidelberg, 1933), 68.
- 99 William H. Riker in Ellen Frankel Paul and Howard Dickman, eds., *Liberty, Property, and the Future of Constitutional Government* (Albany, N. Y., 1990), 51–52.
- 100 И. К. Луппо, *Дени Дидро* (Москва, 1960), стр. 107.
- 101 Richard Wortman in Olga Crisp and Linda Edmondson, eds., *Civil Rights in Imperial Russia* (Oxford, 1989), 16.
- 102 План государственного преобразования Графа М. М. Сперанского (Москва, 1905), стр. 305.
- 103 С. С. Татищев, *Император Александр II: его жизнь и царствование*, I (Санкт-Петербург, 1903), стр. 308.
- 104 Приводимые ниже сведения почерпнуты из кн.: Латкин, *Учебник*, стр. 212–232; Владимирский-Буданов, *Обзор*, стр. 245–247.
- 105 ПСЗ, том VI, № 3669, 29 октября 1720, стр. 252.
- 106 ПСЗ, том XV, № 11166, 13 декабря 1760, стр. 582–584 и № 11216, 15 марта 1761, стр. 665–666.
- 107 ПСЗ, том XVII, № 12311, 17 января 1765, стр. 10.
- 108 Хромов, *Экономическое развитие*, стр. 69–70.
- 109 Geoffrey Hosking, *Russia: People and Empire, 1552–1917* (Cambridge, Mass., 1997), 200.
- 110 Victor Leontovitsch, *Geschichte des Liberalismus in Russland* (Frankfurt am Main, 1957), 165.
- 111 О. Ю. Яхшиян в кн.: *Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.)* (Москва, 1966), стр. 92.
- 112 ПСЗ, том XXII, № 16188, 21 апреля 1785, стр. 358–384. (В данном, первом издании ПСЗ этому указу ошибочно был присвоен номер 16187 – тот же, что и Жалованной грамоте дворянству.)
- 113 Клокман, *Социально-экономическая история*, стр. 119.
- 114 Joseph Bradley in *Russian History*, VI, Pt. i (1979), 22.
- 115 Pipes, *Russia Under the Old Regime*, 212–15 [Пайпс, *Россия при старом режиме*, стр. 278–283]
- 116 G. R. Elton, *The Tudor Revolution in Government* (Cambridge, 1953), 415.
- 117 Stanislaw Kutrzeba, *Historia ustroju Polski w zarysie*, Wyd. 3., I (Lwyw, 1912), 204.
- 118 ПСЗ, том XXIV, № 17906, 5 апреля 1797, стр. 525–569.
- 119 Латкин, *Учебник*, стр. 204–205.
- 120 Н. М. Дружинин, *Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева*, II (Москва, 1958), стр. 76.
- 121 Olga Crisp in Crisp and Edmondson, *Civil Rights*, 44.

- 122 В. М. Кабузан, Изменения в размещении населения в России (Москва, 1971), стр. 12.
- 123 Хромов, Экономическое развитие, стр. 77–78.
- 124 Olga Crisp in Crisp and Edmondson, *Civil Rights*, 37; А. А. Кизеветтер, Исторические очерки (Москва, 1912), стр. 486.
- 125 М. Полиевктов, Николай I (Москва, 1918), стр. 4.
- 126 Кизеветтер, Исторические очерки, стр. 481–483; Полиевктов, Николай I, стр. 313.
- 127 Кизеветтер, Исторические очерки, стр. 480–482.
- 128 П. Семенов-Тянь-Шанский, Мемуары, III, Эпоха освобождения крестьян (Петроград, 1915), стр. 230–231.
- 129 Teodor Shanin, *The Awkward Class* (Oxford, 1972), 30–1, 220n; cf. Macfarlane, *Origins*, 19–20.
- 130 И. Ф. Гиндин, Русские коммерческие банки (Москва, 1948), стр. 63.
- 131 Richard Pipes, *Russian Revolution* (New York, 1990), 78.
- 132 Государственная Дума, Стенографический отчет (1906), I, i, стр. 2, заседание 13 мая, 1906.
- 133 Geoffrey A. Hosking, *The Russian Constitutional Experiment* (Cambridge, 1973), 61.

ГЛАВА 5: СОБСТВЕННОСТЬ В ДВАДЦАТОМ СТОЛЕТИИ

- 1 Richard A. Epstein, *Takings* (Cambridge, Mass., 1985), x.
- 2 Charles A. Reich in *Yale Law Journal* 75, No. 8 (July 1966), 1269.
- 3 Источники приводимых ниже сведений указаны в работах автора *Russian Revolution* (New York, 1990), Chapters 15 and 16, pp. 671–744, и *Russia Under the Bolshevik Regime* (New York, 1994), Chapter 8, p. 369–435.
- 4 Об этом см.: Vladimir Brovkin, *Beyond the Front Lines of the Civil War* (Princeton, 1994).
- 5 Richard Pipes, ed., *The Unknown Lenin* (New Haven, Conn., 1996), 60–1.
- 6 Источник данных по 1938 году – Страны мира: Ежегодный справочник (Москва, 1946), 129.
- 7 Д. Е. Тагунов в журн. Советское государство и право vii (1981), 130.
- 8 David Hume, “Of Justice”, in *The Philosophical Works*, IV (London, 1882), 453. [Дэвид Юм, Сочинения в двух томах, т. 2 (Москва, 1965), стр. 236.]
- 9 Leonid Luks, *Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie* (Stuttgart, 1984).
- 10 Pipes, *Russian Revolution*, 674–79.
- 11 A. James Gregor, *The Fascist Persuasion in Radical Politics* (Princeton, 1974), 176–77.
- 12 Opera Omnia di Benito Mussolini, XXVI (Firenze, 1958), 256; см. также: Erwin von Beckerath, *Wesen und Werden des faschistischen Staates* (Berlin, 1927), 143–44.
- 13 Karl Dietrich Bracher, *Die deutsche Diktatur*, 2. Aufl. (Frankfurt, 1979), 59.

- 14 Ibid., 156.
- 15 Цит. по: F. A. Hayek, *The Road to Serfdom* (London, 1976), 22n. [См.: Хайек, Дорога в рабство II Вопросы философии № 10, 1990, стр. 129.]
- 16 G. Feder (1923), цит. в: Axel Kuhn, *Das faschistische Herrschaftssystem und die moderne Gesellschaft* (Hamburg, 1973), 80.
- 17 Hermann Rauschning, *Hitler Speaks* (London, 1939), 48–50.
- 18 H. A. Turner, Jr., *German Big Business and the Rise of Hitler* (New York, 1985), 345.
- 19 Walther Hofer, ed., *Der Nazionalsozialismus: Dokumente 1933–1945* (Frankfurt am Main, 1957), 28–31.
- 20 Bracher, *Die deutsche Diktatur*, 235, 394; Pipes, *Russia Under the Bolshevik Regime*, 275.
- 21 Frieda Wunderlich in *Social Research* 12, No. 1 (February 1945), 68.
- 22 Цит. в: David Schoenbaum, *Hitler's Social Revolution* (Garden City, N. Y., 1967), 147. В главе 4 этой книги содержатся авторитетные сведения на тему “Третий рейх и деловой мир”.
- 23 Edouard Calic, *Ohne Maske* (Frankfurt am Main, 1968), 37.
- 24 Schoenbaum, *Hitler's Social Revolution*, 147.
- 25 Об этом см.: Avraham Barkai, *From Boycott to Annihilation* (Hanover, N. H., and London, 1989).
- 26 Samuel Lurie, *Private Investment in a Controlled Economy: Germany 1933–1939* (New York, 1947), 47–73.
- 27 Wolfram Fischer, *Deutsche Wirtschaftspolitik, 1918–1945*, 3. Aufl. (Opladen, 1968), 77.
- 28 Avraham Barkai, *Nazi Economics* (Oxford, 1990), 237.
- 29 Lurie, *Private Investment*, 51.
- 30 Ibid., 200–1.
- 31 Ibid., 131–36.
- 32 Barkai, *Nazi Economics*, 204.
- 33 Ibid., 230; Lurie, *Private Investment*, 56–58.
- 34 Barkai, *Nazi Economics*, 229; Lurie, *Private Investment*, 56–58.
- 35 Wunderlich in *Social Research* 12, No. 1 (February 1945), 60–76; J. E. Farquharson, *The Plough and the Swastika* (London, 1976).
- 36 Barkai, *Nazi Economics*, 204.
- 37 Schoenbaum, *Hitler's Social Revolution*, 150, 114. См. также: Elie Halevy, *Histoire du socialisme europeen* (Paris, 1948), 279–81.
- 38 Morris Cohen in *Cornell Law Quarterly* 13, No. 1 (December 1927), 29.
- 39 P. S. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract* (Oxford, 1979), 239.
- 40 George Jacob Holyoake in *The Nineteenth Century*, June 1879, 1115. Взгляды на собственность в Англии восемнадцатого – девятнадцатого веков обсуждает Karl Polanyi в *The Great Transformation* (New York, 1944), 86–129.
- 41 *The Writings and Speeches of Grover Cleveland* (New York, 1892), 450.
- 42 Atiyah, *Rise and Fall*, 241–44.
- 43 Ibid., 91.
- 44 Elie Halevy, *The Growth of Philosophical Radicalism* (Boston, 1955), 35.
- 45 Atiyah, *Rise and Fall*, 254–55.

- 46 Albert O. Hirshman, *The Rhetoric of Reaction* (Cambridge, Mass., 1991), 112.
- 47 К. Маркс и Ф. Энгельс, *Сочинения*, т. 19 (Москва, 1961), стр. 20.
- 48 См., напр.: Kent Greenawalt, *Discrimination and Reverse Discrimination* (New York, 1983), 34.
- 49 C. Reynold Noyes in *Journal of Legal and Political Sociology* I, No. 3–4 (April 1943), 91.
- 50 Charles A. Reich in *Yale Law Journal* 73, No. 5 (April 1964), 733.
- 51 *New York Times*, August 11, 1996, Section 4, pp. 1, 14.
- 52 Цит. в кн.: Vice President Al Gore, ed., *Creating a Government That Works Better and Costs Less* (New York, 1993), 32.
- 53 Mark L. Pollot, *Grand Theft and Petit Larceny* (San Francisco, 1993), XXVI. Cf. F. A. Hayek, *The Constitution of Liberty* (Chicago, 1960), 258.
- 54 Dan Usher, *The Economic Prerequisites to Democracy* (New York, 1981), 90.
- 55 Francis S. Philbrick in *University of Pennsylvania Law Review* 86, No. 7 (May 1938), 692.
- 56 Adolf A. Berle and Gardiner C. Means, *The Modern Corporation and Private Property* (New York, 1968), vii–viii.
- 57 *Ibid.*, viii–x.
- 58 Критическое обсуждение книги Берля и Минза, приуроченное к пятидесятилетию ее выхода в свет, см. в: *Journal of Law and Economics* 26, No. 2 (June 1983).
- 59 *Ibid.*, 390.
- 60 Nathan Rosenberg and L. E. Berdzell, Jr., *How the West Grew Rich* (New York, 1986), 205; Henry Lepage, *Pourquoi la propriete* (Paris, 1985), 143.
- 61 См., напр.: Thomas C. Grey in *Nomos*, No. 22 (1980), 69–85.
- 62 *Economist*, September 11, 1993, 12.
- 63 George J. Stigler and Claire Friedland in *Journal of Law and Economics* 26, No. 2 (June 1983), 259.
- 64 Uwe Schultz in Uwe Schultz, ed., *Mit dem zehnten fing es an* (München, 1986), 7–8.
- 65 Forrest McDonald, *Novus Ordo Seclorum: The Intellectual Origins of the Constitution* (Lawrence, Kans., 1985), 24–25.
- 66 A. R. Mayers, *Parliaments and Estates in Europe in 1789* (London, 1975), 104.
- 67 M. I. Finley, *Economy and Society in Ancient Greece* (London, 1981), 90, and *The Ancient Economy* (Berkeley and Los Angeles, 1973), 95–96.
- 68 Aristotle, *Politics*. [Аристотель, *Политика*, 1313b.]
- 69 Dietwulf Baatz in Schultz, ed., *Mit den zehnten*, 38–50.
- 70 Noyes in *Journal of Legal and Political Sociology*, 74.
- 71 Elsbet Orth in Schultz, ed., *Mit den zehnten*, 78.
- 72 Henry Pirenne, *Medieval Cities* (Princeton, 1946), 40–42.
- 73 Arthur Tilley, ed., *Modern France* (Cambridge, 1922), 298, 303.
- 74 Elie Halevy, *A History of the English People in 1815* (London, 1924), 326–28.
- 75 Edward C. Kirkland, *A History of American Economic Life*, 3rd ed. (New York, 1951), 262–63. В США право вводить налоги правительство

- впервые получило по федеральной конституции, принятой в 1787–1788 годах.
- 76 Ibid., 267.
- 77 U. S. Constitution, Article I, Section 9, No. 4.
- 78 William J. Shultz in *Encyclopedia of the Social Sciences*, VIII, (New York, 1944), 43–44.
- 79 Ibid., 44.
- 80 Noyes in *Journal of Legal and Political Sociology*, 92.
- 81 Richard Hofstadter, *America at 1750* (New York, 1970), 131.
- 82 James W. Ely, Jr., *The Guardian of Every Other Right* (New York and Oxford, 1998), 16.
- 83 James W. Ely, Jr. in James W. Ely, Jr., ed., *Property Rights in American History* (New York and London, 1997), 67–84.
- 84 William B. Scott, In *Pursuit of Happiness* (Bloomington, Ind., 1977), 15–23.
- 85 См.: Ely, *The Guardian of Every Other Right*, 59–100.
- 86 Ayn Rand, *Capitalism: The Unknown Ideal* (New York, 1966), 200.
- 87 Franklin D. Roosevelt, *Nothing to Fear* (Freeport, N. Y., 1946), 389. См.: Richard A. Epstein in *Social Philosophy and Policy* 15, No. 2 (Summer 1998), 412–36.
- 88 Ely, Jr., *The Guardian of Every Other Right*, 132–33. Цитата в цитате взята из кн.: Leo Pfeffer, *This Honorable Court* (Boston, 1965), 322.
- 89 Charles Murray, *Losing Ground* (New York, 1984), 17.
- 90 Robert E. Sherwood, *Roosevelt and Hopkins* (New York, 1948), 231.
- 91 Sir William H. Beveridge, *The Pillars of Security and Other Wartime Essays and Addresses* (New York, 1943), 49–50.
- 92 Ibid., 58.
- 93 Ibid., 65.
- 94 Murray, *Losing Ground*, 23.
- 95 Melanie Phillips in Frank Field, *Stakeholder Welfare* (London, 1996), 99.
- 96 Michael Harrington, *The Other America* (New York, 1962), 179.
- 97 Garrett Hardin and John Baden, eds., *Managing the Commons* (San Francisco, 1977), x. Cf. Rand, *Capitalism*, 162.
- 98 *New York Times*, November 18, 1996, p. A3.
- 99 Solomon Fabricant, *The Trend of Government Activity in the United States Since 1900* (New York, 1952), 3, 7.
- 100 William Petersen in *Commentary*, January 1998, 3.
- 101 *Financial Times*, June 19, 1996, p. 2.
- 102 *Welt am Sonntag* (Berlin), 15. Dezember, 1996, S. 65.
- 103 *Statistical Abstract* (1997), Table 506, p. 321. Из этого общего числа государственных служащих 2,9 млн. человек работали в учреждениях федеральной власти.
- 104 Scott, *Pursuit of Happiness*, 140.
- 105 Ibid., 140–1.
- 106 Epstein, *Takings*, 76.
- 107 Alfred Marcus in James Q. Wilson, ed., *Politics of Regulation* (New York, 1980), 267–68.

- 108 Nancie G. Marzulla in Bruce Yandle, ed., *Land Rights* (Lanham, Md., 1995), 17. Karol J. Ceplo in *ibid.*, 104–49, and Tom Bethell, *The Noblest Triumph* (New York, 1998), 306.
- 109 Epstein, *Takings*, 122.
- 110 *Ibid.*, 123.
- 111 Atiyah, *The Rise and Fall*, 729.
- 112 Richard Minter in *Policy Review*, No. 70 (Fall 1994), 40; Tom Bethell in *American Spectator*, August 1994, 16–17.
- 113 Ceplo in Yandle, ed., *Land Rights*, 103.
- 114 Об этом см.: William Perry Pendley, *It Takes a Hero* (Bellevue, Wash., 1994), and Yandle, ed., *Land Rights*, *passim*.
- 115 О деле Лукаса см.: James R. Rinehart and Jeffrey J. Pompe in Yandle, ed., *Land Rights*, 67–101.
- 116 Erin O’Hara in Yandle, ed., *Land Rights*, 50–1. Cf. David L. Callies in David L. Callies, ed., *Takings* ([Chicago], 1996), 10–11.
- 117 *New York Times*, May 15, 1995, p. 1.
- 118 Evan McKenzie, *Privatopia* (New Haven and London, 1994), 11.
- 119 *Ibid.*, 13–15. См. также: Mitchell Pacelle in *Wall Street Journal*, September 21, 1994, pp. A, and A6.
- 120 McKenzie, *Privatopia*, 25.
- 121 Самое обстоятельное исследование этой малоизвестной проблемы см. в кн.: Leonard W. Levy, *A License to Steal* (Chapel Hill, N. C., and London, 1996). См. также: Henry J. Hyde, *Forfeiting Our Property Rights* (Washington, D. C., 1995). Автор – конгрессмен-республиканец, председатель юридического комитета палаты представителей.
- 122 William A. Robson, *Civilisation and the Growth of Law* (New York, 1935), 84–87.
- 123 *Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co.*, в кн.: Hyde, *Forfeiting Our Property Rights*, 71; Levy, *A License to Steal*, 82–85.
- 124 Roger Pilon in Hyde, *Forfeiting Our Property Rights*, viii.
- 125 *New York Times*, March 5, 1996, p. A21.
- 126 Levy, *License to Steal*, 139.
- 127 Hyde, *Forfeiting Our Property Rights*.
- 128 Levy, *License*, 144–60. В книге приводится множество примеров таких злоупотреблений и их разлагающего влияния на чиновников, отвечающих за соблюдение законов государства.
- 129 Reich in *Yale Law Journal* 73, No 5, 734–37.
- 130 Murray, *Losing Ground*, 14.
- 131 Usher, *Economic Prerequisites*, 122, 154.
- 132 *New York Times*, November 18, 1996, p. A3.
- 133 Kim DuFresne, *Alaska*, 4th ed. (Hawthorn, Australia, 1994), 29, 179.
- 134 Usher, *Economic Prerequisites*, 155.
- 135 *Statistical Abstract* (1997), Table 518, p. 334, and Table 520, p. 33.
- 136 Robert H. Nelson, *Public Lands and Private Rights* (Lanham, Md., 1995), 340–5.
- 137 Reich in *Yale Law Journal* 73, No 5, 737.
- 138 Atiyah, *The Rise and Fall*, 580.

- 139 Lepage, *Pourquoi la propriete*, 113–14.
140 F. S. Philbrick in *University of Pennsylvania Law Review*, 86, No. 7 (May 1938), 720.
141 Willis J. Nordlund, *The Quest for a Living Wage* (Westport., Conn., 1997), 21–22.
142 *Ibid.*, 26.
143 *New York Times*, July 9, 1996, p. D1 and D18; Alan Walters in *Financial Times*, April 25, 1997, p. 14.
144 Nordlund, *Quest*, 201–3.
145 Walter Block and Edgar Olsen, eds., *Rent Control: Myths and Realities* (Vancouver, B. C., 1981), xiv.
146 *Boston Globe*, April 28, 1997, p. A4.
147 Nathan Glazer, *Affirmative Discrimination* (New York, 1975), 133.
148 *New York Times*, May 14, 1997, p. A20; см. также: September 24, 1996, p. A16.
149 Glazer, *Affirmative Discrimination*, 136.
150 Об этом см.: Bob Zelnick, *Backfire*, 320. (Washington, D. C., 1996), 317–38.
151 *New York Times*, September 29, 1994, p. D2.
152 Zelnick, *Backfire*, 320.
153 *Ibid.*, 320.
154 *New York Times*, May 6, 1997, pp. A, and A27.
155 *Ibid.*
156 *Ibid.*, February 19, 1998, p. A16.
157 Hugh Davis Graham, *The Civil Rights Era* (New York, 1990), 7.
158 Glazer, *Affirmative Discrimination*, 77.
159 Курсив мой.
160 Jeremy Rabkin in Wilson, ed., *Politics of Regulation*, 307.
161 Graham, *Civil Rights Era*, 421.
162 Steven M. Cahn, ed., *Affirmative Action and the University* (Philadelphia, 1993), 1.
163 Zelnick, *Backfire*, 29.
164 *The Gallup Poll: Public Opinion, 1972–1977, II* (Wilmington, Del., 1978), pp. 1057–59.
165 Greenwalt, *Discrimination*, 92.
166 *Ibid.*, 102, 104.
167 Graham, *Civil Rights Era*, 244 ff.
168 Glazer, *Affirmative Discrimination*, 49.
169 Graham, *Civil Rights Era*, 250.
170 David G. Savage in *Los Angeles Times*, February 22, 1995, pp. A1 and A8.
171 Murray, *Losing Ground*, 94; Graham, *Civil Rights Era*, 383–84.
172 Zelnick, *Backfire*, 74.
173 Graham, *Civil Rights Era*, 387.
174 Glazer, *Affirmative Discrimination*, 52.
175 *New York Times*, April 30, 1997, p. A, and A20.
176 Jeffrie G. Murphy in Steven M. Cahn, ed., *Affirmative Action and the University* (Philadelphia, 1993), 168.
177 Stephen H. Balch and Peter N. Warren in *Chronicle of Higher Education*,

- June 21, 1996, p. A44. См. также: National Association of Scholars, Newsletter: Update 7, No. 3 (1996), 38.
- 178 Richard A. Epstein, *Forbidden Grounds* (Cambridge, Mass., 1992), 3–4.
- 179 Cited by Jonathan Rauch in *New Republic*, June 23, 1997, 26.
- 180 John D. Millet, *Financing Higher Education in the United States*, (New York, 1952), 38.
- 181 George Roche, *The Fall of the Ivory Tower* (Washington, D. C., 1994), 30.
- 182 Millet, *Financing Higher Education*, 38–39.
- 183 Chester E. Finn, Jr., *Scholars, Dollars, and Bureaucrats* (Washington, D. C., 1978), 10.
- 184 Roche, *Fall*, 50.
- 185 Эту тему обстоятельно и с неутешительными выводами рассматривает Рош в работе *Fall of the Ivory Tower*. См. также: Dinesh D'Souza, *Illiberal Education: The Politics of Race and Sex on the Campus* (New York, 1991).
- 186 Finn, *Scholars*, 140.
- 187 *Ibid.*, 14.
- 188 Richard M. Freeland, *Academia's Golden Age* (New York and Oxford, 1992), 384.
- 189 Philip G. Altbach and D. Bruce Johnstone, *The Funding of Higher Education* (New York and London, 1993), 74.
- 190 *New York Times*, August 21, 1996, p. B .
- 191 *Ibid.*, July 3, 1996, p. A23.
- 192 *Ibid.*, January 6, 1972, p. A36.
- 193 *Ibid.*, July 16, 1997, p. A19; *Boston Sunday Globe*, July 27, 1997, p. A8.
- 194 Ralph A. Rossum, *Reverse Discrimination* (New York, 1980), 1.
- 195 Thomas Sowell, *Civil Rights: Rhetoric or Reality?* (New York, 1984), 23.
- 196 David W. Murray in *Academic Questions* 9, No. 3 (Summer 1996), p. A8.
- 197 *New York Times*, January 14, 1998, p. C27.
- 198 John H. Bunzell in *Wall Street Journal*, February 1, 1988, p. A26.
- 199 Glazer, *Affirmative Discrimination*, 84; Graham, *Civil Rights Era*, 565.
- 200 Glazer, *Affirmative Discrimination*, 109.
- 201 Alan Lupo, *Boston Sunday Globe*, September 10, 1995, "City Weekly", pp. 2, 4; David Warsh in *ibid.*, September 8, 1996, p. E1.
- 202 *Harvard University Gazette*, April 10, 1997, 1 and 4.
- 203 Fareed Zakaria in *Foreign Affairs*, November-December 1997, 22–43.
- 204 Michael Tanner, *The End of Welfare* (Washington, D. C., 1996), 69.
- 205 *Ibid.*, 70.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. Dezember, 1976.

- 1 The *Collected Works of Walter Bagehot*, IV (Cambridge, Mass., 1968), 94.
- 2 James Fitzjames Stephen, *Liberty, Equality, Fraternity* (Cambridge, Mass., 1967), 174–75.
- 3 Douglass C. North and Robert Paul Thomas, *The Rise of the Western*

- World (Cambridge, 1973); David Landes, *The Wealth and Poverty of Nations* (New York, 1998); Tom Bethell, *The Noblest Triumph* (New York, 1998).
- 4 Bryan T. Johnson, Kim R. Holmes, and Melanie Kirkpatrick, eds., 1998 *Index of Economic Freedom* (Washington, D. C., 1998).
- 5 См. выше, стр. 365 данного издания.
- 6 F. A. Hayek, *The Road to Serfdom* (London, 1976), 90.
- 7 Cited by Richard Miniter in *Policy Review*, No. 70 (1994), 45–46.
- 8 Roger E. Meiners in Bruce Yandle, ed., *Land Rights: The 1990's Property Rights Rebellion* (Lanham, Md., 1995), 272.
- 9 Jan Herin in *Financial Times*, February 7, 1997, p. 10.
- 10 Roscoe Pound in *Yale Law Journal* 18, No. 7 (1909), 467.
- 11 В особом мнении, представленном в 1927 году. Цит. по: F. A. Hayek, *The Constitution of Liberty* (Chicago, 1960), 253. (Курсив мой.)
- 12 F. A. Hayek in *Contemporary Review* 153 (April 1938), 437–38.
- 13 Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, II (Cambridge, 1862), 391 (Book Four, Chapter iv). [Алексис де Токвиль, *Демократия в Америке* (Москва, 1992), стр. 496.]
- 14 *Ibid.* [Там же, стр. 497.]
- 15 *Ibid.*, 392–93. [Там же, стр. 497.]

Именной указатель

- Августин 31, 116
Айртон, Генри 58
д'Айя, Пьер 36
Аквинский, Фома (Аквинат)
32–33, 35, 46, 49
Александр I 255, 262, 263
Александр II 255, 264, 267
Александр III 267
Александр (Великий) Македон-
ский 24, 140, 162
Александр Невский 219
Альберти, Леон Баттиста 44–45
д'Анжера, Петер Мартир 38
Аристотель 18, 22–25, 32–33, 90,
137, 139, 157, 306
Атийя, П.С. 176, 335
- Бабёф, Франсуа Ноэль 70–73
Бакки, Алан 359–360
Беверидж, Уильям 286, 315–316
Бекингем 187
Бентам, Иеремия 141, 294
Берль, Адольф А. 302–305
Беттелхайм, Бруно 104
Бетхел, Том 371
Бёрк, Эдмунд 72, 163
Биглхоул, Эрнест 95
Бисмарк, Отто фон 204
Блан, Луи 72
Блок, Марк 143
Блэкстоун, Уильям 153, 294
Боас, Франц 84–85, 99
Бодэн, Жан 28, 35, 46–47, 51, 65,
150, 182
Босуэлл, Джеймс 60
Брандейс 376
Бриссо, Жан Пьер 70
- Бруни, Леонардо 44
Буанарроти, Филиппо 71
Бугенвиль, Луи де 39
Буркхардт, Якоб 12
Буш, Джордж 324
Бэдждот, Уолтер 367
Бэкон, Фрэнсис 183
- Василий III 238
Вебер, Макс 134
Вентури, Франко 64
Вергилий, Марон Публий 26
Веспасиан 342
Веспуччи, Америго 38
Вильгельм I Завоеватель 169, 172
Вильгельм III 199
Вильгельм Оранский 197–198
Витте, Сергей 267
Владимир, князь Киевский
116–117
Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) 163
Вордсворт, Уильям 72
- Габсбург, Рудольф фон 151
Гакстаузен, Август фон 74, 76, 80
Гебель, Э. 157
Гегель, Георг Вильгельм Фридрих
76, 100
Гельвеций 61, 73, 294
Гемпден, Джон 188, 191, 192–193
Генрих III 171
Генрих VIII 180, 260
Георг III 200
Геродот 161
Герцен, Александр 269
Гесиод 19–20, 136
Гесс, Моисей 76

- Гиро, Поль 113
 Гитлер, Адольф 285, 287–288
 Гоббс, Томас 49, 51, 55, 66, 297
 Говард, Г. Эллиот 94–95
 Годвин, Уильям 71–73, 91
 Гомер 19, 136–137
 Горемыкин, Иван 267–268
 Гроций, Гуго 28, 35, 47–51, 55
 Гульд, Стивен Джей 98
- Дарвин, Чарлз Роберт 83, 85, 108
 Декарт 56
 Демзетц, Гарольд 303
 Джеймс, Уильям 83, 100, 102–104, 279
 Джефферсон, Томас 271
 Джоллиор, Дж. 168
 Джонсон, Линдон 296, 317, 320, 345–348
 Дидро, Дени 40, 254
 Дионисий 306
 Добжанский, Феодосий 85
 Дрейк, Фрэнсис 180
- Екатерина II, Великая 161, 248–252, 254, 256, 258, 260, 262–263
 Елизавета 180, 182
- Зенон 25
 Зомбарт, Вернер 45
- Иван I Калита 218–219, 226, 238
 Иван III 218, 222–223, 227–230, 232, 238
 Иван IV Грозный 230–232
 Иоанн XXII 34
 Иоанн Парижский 35
- Казимир Великий 208
 Кальвин 34–35
 Камден, Уильям 175
 Кампанелла, Томмазо 42–43, 67
 Карл I 48–49, 152, 177, 179, 183–185, 187–192, 194
 Карл II 195, 197
 Карл XI 152
 Каролинги 306
 Кениата, Джомо 113, 128
- Кеннеди, Джон Ф. 317
 Киселев, Павел 262, 264
 Кливленд, Гровер 292
 Клинтон, Билл 299, 344
 Клисфен 137
 Ключевский, В.О. 216
 Колридж, Сэмюэл Тейлор 72
 Колумб, Христофор 36–38
 Коммерсон, Филибер 40
 Кондорсе, Жан Антуан Никола 88
 Коэн, Моррис 291
 Кромвель, Оливер 194–195
 Кук, сэр Эдвард 176–177, 189
 Куланж, Фюстель де 80, 113–114, 136
- Л'Аббе, Беард де 252
 Лавейе, Эмиль де 91
 Ландес 371
 Ланской, Сергей 255
 Ленин, В.И. 43, 71, 270, 274–277, 184
 Леопольд I 203
 Летурно, Шарль 83
 Ликург 20, 24
 Локк, Джон 54–57, 61, 65, 71, 73, 110, 271
 Лоренц, Конрад 92, 97, 99
 Лоуди, Роберт 109, 111, 130
 Луцилий 26
 Людовик XIV 152
 Людовик XVIII 155
 Лютер, Мартин 34
- Мабли, Габриэль де 73
 Мак-Дугал, Уильям 83
 Макиавелли, Никколо 52
 Макфарлейн, Алан 172
 Мамфорд, Льюис 17, 92
 Маркс, Карл 15, 73, 75–79, 155, 274–275, 283
 Маурер, Георг фон 74, 76, 80
 Маршалл, Альфред 88
 Мейтленд, Фредерик Уильям 144, 166, 168
 Меровинги 306
 Мид, Маргарет 84
 Милль, Джон Стюарт 81–82

- Минз, Гардинер К. 302–305
 Мирабо 66
 Моисей 367
 Монтегю, Эшли 98
 Монтескье, Шарль-Луи де 163
 Монфор, Симон де 173
 Мор, Томас 40, 43, 67, 106
 Морган, Льюис Генри 75–77, 118, 131
 Морелли 62, 70, 73
 Муссолини, Бенито 283–285
 Мэдисон, Джеймс 10, 154
 Мэйн, сэр Генри 130–132
 Мэйн, Самнер 84, 76
 Мэрримэн, Р.Б. 205
- Наполеон 65
 Наполеон III 155, 363
 Невиль, Генри 53–54
 Николай I 261–264, 267–268
 Никсон, Ричард 324
 Норт, Дуглас 89–90, 132, 134, 371
- Овидий 26
 Оуэн, Роберт 72
- Павел I 245, 260, 262
 Пейн, Томас 177, 314, 318
 Перикл 161
 Перчас, Сэмюэль 39
 Петр I, Великий 210, 243–245, 247–248, 250, 253, 255, 259, 264
 Петр III 248, 250, 259
 Пим, Джон 193–194
 Пиренн, Анри 146
 Платон 18, 20–25, 40, 46, 49, 61, 90, 137
 Плутарх 20, 24
 Поллард, А. Ф. 163
 Поппер, Карл 366
 Прудон, Пьер-Жозеф 67, 73
 Птолемей 140
 Пугачев, Емельян 250
- Райх, Чарльз А. 271, 331–334, 336
 Ривьер, Мерсье де ля 65
 Ричард II 179
 Робеспьер, Максимилиан 64, 70
- Романус, Эгидиус (Колонна) 35
 Росс, Денмэн У. 80
 Роттердамский, Эразм 40
 Роулс, Джон 86–87
 Рузвельт, Франклин Делано 295, 312–315, 364
 Руссо, Жан-Жак 38, 40, 60, 62–63, 73, 81, 91
 Рэнд, Эйн 374
- Саути, Роберт 72
 Сенека 26, 46, 48, 150
 Сен-Жюст, Луи де 70
 Сен-Симон, Клод Анри де 72
 Сент Джон, Оливер 192
 Скалия, Антонин 358
 Смит, Адам 59
 Смит, сэр Томас 163, 181
 Сократ 21
 Соловьев, Владимир 33
 Соловьев, Сергей 231
 Солон 136, 138
 Сото, Эрнандо де 305
 Спек, Франк Г. 118
 Сперанский, Михаил 255
 Спиноза 45
 Спиро, Мелфорд 103
 Сталин, И.В. 117, 277
 Стюарты 181–182
- Тамерлан 227
 Тацит 80, 166–167
 Тинберген, Николаас 92, 97–98
 Токвиль, Алексис де 378
 Томас, Роберт Пол 89, 371
 Тоуни, Ричард 102, 173
 Троллоп, Энтони 61, 68
 Тугэн, Жюль 136
 Тюдоры 179–180
- Угедей 217
 Уилсон, Эдвард 97–98
 Уинникот, Д.У. 102
 Уинстенли, Джерард 57, 67, 70
 Уоллстоункрафт, Мэри 71
 Уотсон, Джон 84–85
 Уортмэн, Ричард 255
 Успенский, Глеб 117

- Фейербах, Людвиг 76
Филд, Стивен 323
Филипп IV, Красивый 34–35
Филипп, Македонский 24
Филиппс, Мелани 317
Филмер, Роберт 54–55, 66
Финли, сэр Мозес 136–137, 159, 161
Флетчер, Джиль 231, 234
Фортескью, сэр Джон 163, 174, 176
Фромм, Эрих 87
Фэрби, Лита 104
- Хайд, Генри 331
Хайек, Фридрих 43, 295, 372, 376–377
Хаммурапи 107, 131
Хансен, Георг 74
Харрингтон, Джеймс 51–54, 165, 370
Харрингтон, Майкл 317
Хобхауз, Л.Т. 92
Хэллоуэлл, А. Ирвин 85
- Цезарь, Гай Юлий 80
- Цицерон, Марк Туллий 25, 28, 49
- Чемберс, Р.У. 42
Чингисхан 217–218
Чичерин, Борис 80, 218
- Шелли, Мэри 71
Шереметев 257
- Эдри 98
Эдуард (Исповедник) 151
Эдуард III 173, 178
Эдуард IV 170
Элиот, сэр Джон 186
Элтон, Г.Р. 181
Энгельс, Фридрих 73, 75–77, 79, 274
Эпстайн, Ричард А. 271, 309, 323, 325
Этельберт 169
- Юм, Дэвид 59, 88, 280
- Яков I 152, 177, 182–184
Яков II 197–198

Библиотека Московской школы
политических исследований

Ричард Пайнс

**Собственность
и свобода**

Корректор Л. Бусуек
Компьютерная верстка О. Козак

Подписано в печать 27.10.2008. Формат издания 60х90/16.
Печ. л. 26. Тираж 1500 экз. Заказ №

Московская школа политических исследований
Россия, 123104 Москва, Большой Козихинский пер., 7/2, офис 30.
Факс: (7499) 500-49-90
E-mail: mpps@mpps.su
<http://www.mpps.ru>